

Лес
ТОЛСТОЙ

Крестырьба соната



Annotation

В книгу вошли повести и рассказы позднего периода творчества Л.Н.Толстого: «Крейцера соната» (1889), «Отец Сергей» (1898), «Божеское и человеческое» (1906), пьеса «Живой труп» (1900). В этот период в полную мощь писатель проявил себя как мыслитель и духовный подвижник. Проникновенно звучит нравственная проповедь Л.Н.Толстого и в его публицистических произведениях того же времени: «Исповедь» (опубликована в России в 1906-м), «Не могу молчать» (1908). Писатель подводил итог пережитого за век, и благодаря гению Толстого этот итог во многом определил развитие европейской литературы и общественной мысли в веке следующем.

- [Лев Толстой](#)
 - [Крейцера соната](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [XVII](#)
 - [XVIII](#)
 - [XIX](#)
 - [XX](#)
 - [XXI](#)
 - [XXII](#)

- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)
- [XXVIII](#)
- [Послесловие к «Крейцеровой сонате»](#)
- [Дьявол](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [XVII](#)
 - [XVIII](#)
 - [XIX](#)
 - [XX](#)
 - [XXI](#)
 - [Вариант конца повести «Дьявол»](#)
- [Отец Сергей](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)

- Хозяин и работник

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X

- Алеша Горшок

- Корней Васильев

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI

- За что?

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII

- Божеское и человеческое

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI

- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [Что я видел во сне...](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
- [Ходынка](#)
- [\[Нечаянно\]](#)
- [Незаконченное. Наброски](#)
 - [Посмертные записки старца Федора Кузмича умершего 20 января 1864 года в Сибири, близ Томска на заимке купца Хромова](#)
 -
 - [I](#)
 - [Моя жизнь](#)
- [Живой труп](#)
 - [Действующие лица](#)
 - [Действие первое](#)
 - [Картина первая](#)
 - [Явление первое](#)
 - [Явление второе](#)
 - [Явление третье](#)
 - [Явление четвертое](#)
 - [Явление пятое](#)
 - [Явление шестое](#)
 - [Явление седьмое](#)
 - [Явление восьмое](#)
 - [Явление девятое](#)
 - [Явление десятое](#)
 - [Явление одиннадцатое](#)
 - [Явление двенадцатое](#)
 - [Явление тринадцатое](#)
 - [Явление четырнадцатое](#)
 - [Явление пятнадцатое](#)

- [Явление шестнадцатое](#)
- [Картина вторая](#)
 - [Явление первое](#)
 - [Явление второе](#)
 - [Явление третье](#)
 - [Явление четвертое](#)
 - [Явление пятое](#)
 - [Явление шестое](#)
- [Действие второе](#)
 - [Картина первая](#)
 -
 - [Явление первое](#)
 - [Явление второе](#)
 - [Явление третье](#)
 - [Явление четвертое](#)
 - [Явление пятое](#)
 - [Явление шестое](#)
 - [Картина вторая](#)
 -
 - [Явление первое](#)
 - [Явление второе](#)
 - [Явление третье](#)
 - [Явление четвертое](#)
 - [Явление пятое](#)
 - [Явление шестое](#)
 - [Явление седьмое](#)
 - [Явление восьмое](#)
 - [Явление девятое](#)
 - [Явление десятое](#)
- [Действие третье](#)
 - [Картина первая](#)
 -
 - [Явление первое](#)
 - [Явление второе](#)
 - [Явление третье](#)
 - [Явление четвертое](#)
 - [Явление пятое](#)
 - [Явление шестое](#)
 - [Явление седьмое](#)

- [Явление восьмое](#)
 - [Явление девятое](#)
- [Картина вторая](#)
 -
 - [Явление первое](#)
 - [Явление второе](#)
 - [Явление третье](#)
 - [Явление четвертое](#)
 - [Явление пятое](#)
- [Действие четвертое](#)
 - [Картина первая](#)
 -
 - [Явление первое](#)
 - [Явление второе](#)
 - [Явление третье](#)
 - [Явление четвертое](#)
 - [Явление пятое](#)
 - [Явление шестое](#)
 - [Картина вторая](#)
 -
 - [Явление первое](#)
 - [Явление второе](#)
 - [Явление третье](#)
 - [Явление четвертое](#)
 - [Явление пятое](#)
 - [Явление шестое](#)
- [Действие пятое](#)
 - [Картина первая](#)
 -
 - [Явление первое](#)
 - [Явление второе](#)
 - [Картина вторая](#)
 -
 - [Явление первое](#)
 - [Явление второе](#)
 - [Явление третье](#)
- [Действие шестое](#)
 - [Картина первая](#)
 -

- [Явление первое](#)
 - [Явление второе](#)
 - [Явление третье](#)
 - [Явление четвертое](#)
- [Картина вторая](#)
 -
 - [Явление первое](#)
 - [Явление второе](#)
 - [Явление третье](#)
 - [Явление четвертое](#)
 - [Явление пятое](#)
 - [Явление шестое](#)
 - [Явление седьмое](#)
 - [Явление восьмое](#)
 - [Явление девятое](#)
 - [Явление десятое](#)
- [Исповедь](#)
 - [Исповедь](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [Царю и его помощникам](#)
 - [Не могу молчать](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)

- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)

- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)



Лев Толстой
Крейцерова соната

Крейцера соната

Повесть

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Матфей, V, 28

Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.

Он же сказал им: не все вменяют слово сие: но кому дано.

Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит.

Матфей, XIX, 10, 11, 12

Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния, но трое ехало, так же как и я, с самого места отхода поезда: некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке, ее знакомый, разговорчивый человек лет сорока, с аккуратными новыми вещами, и еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями, еще не старый, но с очевидно преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Он был одет в старое, от дорогого портного пальто с барашковым воротником и высокую барашковую шапку. Под пальто, когда он расстегивался, видна была поддевка и русская вышитая рубаха. Особенность этого господина состояла еще в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливание или на начатый и оборванный смех.

Господин этот во все время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пассажирами. На заговариванья соседей он отвечал коротко и резко и или читал, или, глядя в окно, курил, или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай, или закусывал.

Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством, и я несколько раз хотел заговорить с ним, но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели наискоски друг против друга, он отворачивался и брался за книгу или смотрел в окно.

Во время остановки, перед вечером второго дня, на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, с своей соседкой, курящей дамой в полумужском пальто, пошли пить чай на станцию.

Во время отсутствия господина с дамой в вагон вошло несколько новых лиц, и в том числе высокий бритый морщинистый старик, очевидно купец, в ильковой шубе и суконном картузе с огромным козырьком. Купец сел против места дамы с адвокатом и тотчас же вступил в разговор с молодым человеком, по виду купеческим приказчиком, вошедшим в вагон тоже на этой станции.

Я сидел наискоски и, так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор. Купец объявил сначала о том,

что он едет в свое имение, которое отстоит только на одну станцию; потом, как всегда, заговорили сначала о ценах, о торговле, говорили, как всегда, о том, как Москва нынче торгует, потом заговорили о Нижегородской ярманке. Приказчик стал рассказывать про кутежи какого-то известного обоим богача-купца на ярманке, но старик не дал ему договорить и стал сам рассказывать про былые кутежи в Кунавине, в которых он сам участвовал. Он, видимо, гордился своим участием в них и с видимой радостью рассказывал, как он вместе с этим самым знакомым сделали раз пьяные в Кунавине такую штуку, что ее надо было рассказать шепотом и что приказчик захохотал на весь вагон, а старик тоже засмеялся, оскалив два желтых зуба.

Не ожидая услышать ничего интересного, я встал, чтобы походить по платформе до отхода поезда. В дверях мне встретились адвокат с дамой, на ходу про что-то оживленно разговаривавшие.

– Не успеете, – сказал мне общительный адвокат, – сейчас второй звонок.

И точно, я не успел дойти до конца вагонов, как раздался звонок. Когда я вернулся, между дамой и адвокатом продолжался оживленный разговор. Старый купец молча сидел напротив них, строго глядя перед собой и изредка неодобрительно жуя зубами.

– Затем она прямо объявила своему супругу, – улыбаясь, говорил адвокат в то время, как я проходил мимо него, – что она не может, да и не желает жить с ним, так как...

И он стал рассказывать далее что-то, чего я не мог расслышать. Вслед за мной прошли еще пассажиры, прошел кондуктор, вбежал артельщик, и довольно долго был шум, из-за которого не слышно было разговора. Когда все затихло и я опять услышал голос адвоката, разговор, очевидно, с частного случая перешел уже на общие соображения.

Адвокат говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе и как у нас все чаще и чаще являлись такие же случаи. Заметив, что его голос один слышен, адвокат прекратил свою речь и обратился к старику.

– В старину этого не было, не правда ли? – сказал он, приятно улыбаясь.

Старик хотел что-то ответить, но в это время поезд тронулся, и старик, сняв картуз, начал креститься и читать шепотом молитву. Адвокат, отведя в сторону глаза, учтиво дожидался. Окончив свою молитву и троекратное крещение, старик надел прямо и глубоко свой картуз, поправился на месте и начал говорить.

– Бывало, сударь, и прежде, только меньше, – сказал он. – По нынешнему времени нельзя этому не быть. Уж очень образованны стали.

Поезд, двигаясь все быстрее и быстрее, погромыхивал на стычках, и мне трудно было расслышать, а интересно было, и я пересел ближе. Сосед мой, нервный господин с блестящими глазами, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая с места, прислушивался.

– Да чем же худо образование? – чуть заметно улыбаясь, сказала дама. – Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невеста и не видали даже друг друга? – продолжала она, по привычке многих дам отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет. – Не знали, любят ли, могут ли любить, а выходили за кого попало, да всю жизнь и мучались; так, по-вашему, это лучше? – говорила она, очевидно обращая речь ко мне и к адвокату, но менее всего к старику, с которым говорила.

– Уж очень образованны стали, – повторил купец, презрительно глядя на даму и оставляя ее вопрос без ответа.

– Желательно бы знать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве, – чуть заметно улыбаясь, сказал адвокат.

Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его.

– Нет, уж это время прошло, – сказала она. Но адвокат остановил ее:

– Нет, позвольте им выразить свою мысль.

– Глупости от образования, – решительно сказал старик.

– Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что несогласно живут, – торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня и даже на приказчика, который, поднявшись с своего места и облокотившись на спинку, улыбаясь, прислушивался к разговору. – Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет, а люди имеют свои склонности, привязанности, – очевидно желая уязвить купца, говорила она.

– Напрасно так говорите, сударыня, – сказал старик, – животное скот, а человеку дан закон.

– Ну да как же жить с человеком, когда любви нет? – все торопилась дама высказывать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми.

– Прежде этого не разбирали, – внушительным тоном сказал старик, – нынче только завелось это. Как что, она сейчас и говорит: «Я от тебя уйду». У мужиков на что, и то эта самая мода завелась. «На, говорит, вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой, он кудрявей тебя». Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело страх должен быть.

Приказчик посмотрел и на адвоката, и на даму, и на меня, очевидно

удерживая улыбку и готовый и осмеять и одобрить речь купца, смотря по тому, как она будет принята.

– Какой же страх? – сказала дама.

– А такой: да убоится своего му-у-ужа! Вот какой страх.

– Ну, уж это, батюшка, время прошло, – даже с некоторой злобой сказала дама.

– Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя. Как была она, Ева, женщина, из ребра мужнина сотворена, так и останется до скончания века, – сказал старик, так строго и победительно потрянув головой, что приказчик тотчас же решил, что победа на стороне купца, и громко засмеялся.

– Да это вы, мужчины, так рассуждаете, – говорила дама, не сдвываясь и оглядываясь на нас, – сами себе дали свободу, а женщину хотите в терему держать. Сами небось себе все позволяете.

– Позволения никто не дает, а только что от мужчины в доме ничего не прибудет, а женщина-жена – утлый сосуд, – продолжал внушать купец.

Внушительность интонаций купца, очевидно, побеждала слушателей, и дама даже чувствовала себя подавленной, но все еще не сдавалась.

– Да, но я думаю, вы согласитесь, что женщина – человек, и имеет чувства, как и мужчина. Ну что же ей делать, если она не любит мужа?

– Не любит! – грозно повторил купец, двинув бровями и губами. – Небось полюбит!

Этот неожиданный аргумент особенно понравился приказчику, и он издал одобрительный звук.

– Да нет, не полюбит, – заговорила дама, – а если любви нет, то ведь к этому нельзя же принудить.

– Ну, а как жена изменит мужу, тогда как? – сказал адвокат.

– Этого не полагается, – сказал старик, – за этим смотреть надо.

– А как случится, тогда как? Ведь бывает же.

– У кого бывает, а у нас не бывает, – сказал старик.

Все помолчали. Приказчик пошевелился, еще подвинулся и, видимо не желая отстать от других, улыбаясь, начал:

– Да-с, вот тоже у нашего молодца скандал один вышел. Тоже рассудить слишком трудно. Тоже попалась такая женщина, что распутевая. И пошла чертить. А малый степенный и с развитием. Сначала с конторщиком. Уговаривал он тоже добром. Не унялась. Всякие пакости делала. Его деньги стала красть. И бил он ее. Что ж, все хужела. С некрещеным, с евреем, с позволения сказать, свела шашни. Что ж ему делать? Бросил ее совсем. Так и живет холостой, а она слоняется.

– Потому он дурак, – сказал старик. – Кабы он спервоначала не дал ей ходу, а укороту бы дал настоящую, жила бы небось. Волю не давать надо сначала. Не верь лошади в поле, а жене в доме.

В это время пришел кондуктор спрашивать билеты до ближайшей станции. Старик отдал свой билет.

– Да-с, загодя укорачивать надо женский пол, а то все пропадет.

– Ну, а как же вы сами сейчас рассказывали, как женатые люди на ярманке в Кунавине веселятся? – сказал я, не выдержав.

– Эта статья особая, – сказал купец и погрузился в молчанье. Когда раздался свисток, купец поднялся, достал из-под лавки мешок, запахнулся и, приподняв картуз, вышел на тормоз.

II

Только что старик ушел, поднялся разговор в несколько голосов.

– Старого завета папаша, – сказал приказчик.

– Вот Домострой живой, – сказала дама. – Какое дикое понятие о женщине и о браке!

– Да-с, далеки мы от европейского взгляда на брак, – сказал адвокат.

– Ведь главное то, чего не понимают такие люди, – сказала дама, – это то, что брак без любви не есть брак, что только любовь освящает брак и что брак истинный только тот, который освящает любовь.

Приказчик слушал и улыбался, желая запомнить для употребления сколько можно больше из умных разговоров.

В середине речи дамы позади меня послышался звук как бы прерванного смеха или рыдания, и, оглянувшись, мы увидели моего соседа, седого одинокого господина с блестящими глазами, который во время разговора, очевидно интересовавшего его, незаметно подошел к нам. Он стоял, положив руки на спинку сиденья, и, очевидно, очень волновался: лицо его было красно и на щеке вздрагивал мускул.

– Какая же это любовь... любовь... любовь... освящает брак? – сказал он, запинаясь.

Видя взволнованное состояние собеседника, дама постаралась ответить ему как можно мягче и обстоятельнее.

– Истинная любовь... Есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможен и брак, – сказала дама.

– Да-с, но что разуметь под любовью истинной? – неловко улыбаясь и робея, сказал господин с блестящими глазами.

– Всякий знает, что такое любовь, – сказала дама, очевидно желая прекратить с ним разговор.

– А я не знаю, – сказал господин. – Надо определить, что вы понимаете...

– Как? очень просто, – сказала дама, но задумалась. – Любовь? Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными, – сказала она.

– Предпочтение на сколько времени? На месяц? На два дни, на полчаса? – проговорил седой господин и засмеялся.

– Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите.

– Нет-с, я про то самое.

– Они говорят, – вступился адвокат, указывая на даму, – что брак должен вытекать, во-первых, из привязанности, любви, если хотите, и что если налицо есть таковая, то только в этом случае брак представляет из себя нечто, так сказать, священное. Затем, что всякий брак, в основе которого не заложены естественные привязанности – любовь, если хотите, – не имеет в себе ничего нравственно обязательного. Так ли я понимаю? – обратился он к даме.

Дама движением головы выразила одобрение разъяснению своей мысли.

– Засим... – продолжал речь адвокат, но нервный господин с горевшими огнем теперь глазами, очевидно, с трудом удерживался и, не дав адвокату договорить, начал:

– Нет, я про то самое, про предпочтение одного или одной перед всеми другими, но я только спрашиваю: предпочтение на сколько времени?

– На сколько времени? Надолго, на всю жизнь иногда, – сказала дама, пожимая плечами.

– Да ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на года, что очень редко, чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы, – говорил он, очевидно зная, что он удивляет всех своим мнением, и довольный этим.

– Ах, что вы! Да нет. Нет, позвольте, – в один голос заговорили мы все трое. Даже приказчик издал какой-то неодобрительный звук.

– Да-с, я знаю, – перекрикивал нас седой господин, – вы говорите про то, что считается существующим, а я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, к каждой красивой женщине.

– Ах, это ужасно, что вы говорите; но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь?

– Нет, нету. Если допустить даже, что мужчина и предпочел бы известную женщину на всю жизнь, то женщина-то, по всем вероятностям, предпочтет другого, и так всегда было и есть на свете, – сказал он и достал папиросочницу и стал закуривать.

– Но может быть и взаимность, – сказал адвокат.

– Нет-с, не может быть, – возразил он, – так же как не может быть, что в возу гороха две замеченные горошины легли бы рядом. Да кроме того, тут не невероятность одна, тут, наверное, пресыщение. Любить всю жизнь одну или одного – это все равно что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь, – говорил он, жадно затягиваясь.

– Но вы все говорите про плотскую любовь. Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве? – сказала дама.

– Духовное сродство! Единство идеалов! – повторил он, издавая свой звук. – Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе, – сказал он и нервно засмеялся.

– Но позвольте, – сказал адвокат, – факт противоречит тому, что вы говорите. Мы видим, что супружества существуют, что все человечество или большинство его живет брачной жизнью и многие честно проживают продолжительную брачную жизнь.

Седой господин опять засмеялся.

– То вы говорите, что брак основывается на любви, когда же я выражаю сомнение в существовании любви, кроме чувственной, вы мне доказываете существование любви тем, что существуют браки. Да брак-то в наше время один обман!

– Нет-с, позвольте, – сказал адвокат, – я говорю только, что существовали и существуют браки.

– Существуют. Да только отчего они существуют? Они существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, таинство, которое обязывает перед богом. У тех они существуют, а у нас их нет. У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, и выходит или обман, или насилие. Когда обман, то это легче переносится. Муж и жена только обманывают людей, что они в единобрачии, а живут в многоженстве и в многомужестве. Это скверно, но еще идет; но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешнее обязательство жить вместе всю жизнь и со второго месяца уж ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут, тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга, – говорил он все быстрее, не давая никому вставить слова и все больше и больше разгораясь. Все молчали. Было неловко.

– Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни, – сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разговор.

– Вы, как я вижу, узнали, кто я? – тихо и как будто спокойно сказал седой господин.

– Нет, я не имею удовольствия.

– Удовольствие небольшое. Я Позднышев, тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете, тот эпизод, что он жену убил, – сказал он, оглядывая быстро каждого из нас.

Никто не нашелся, что сказать, и все молчали.

– Ну, все равно, – сказал он, издавая свой звук. – Впрочем, извините! А!.. не буду стеснять вас.

– Да нет, помилуйте... – сам не зная, что «помилуйте», сказал адвокат.

Но Позднышев, не слушая его, быстро повернулся и ушел на свое место. Господин с дамой шептались. Я сидел рядом с Позднышевым и молчал, не умея придумать, что сказать. Читать было темно, и потому я закрыл глаза и притворился, что хочу заснуть. Так мы проехали молча до следующей станции.

На станции этой господин с дамой перешли в другой вагон, о чем они переговаривались еще раньше с кондуктором. Приказчик устроился на лавочке и заснул. Позднышев же все курил и пил заваренный еще на той станции чай.

Когда я открыл глаза и взглянул на него, он вдруг с решительностью и раздражением обратился ко мне:

– Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду.

– О нет, помилуйте.

– Ну, так не угодно ли? Только крепок. – Он налил мне чаю.

– Они говорят... И все лгут... – сказал он.

– Вы про что? – спросил я.

– Да все про то же: про эту любовь ихнюю и про то, что это такое. Вы не хотите спать?

– Совсем не хочу.

– Так хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было?

– Да, если вам не тяжело.

– Нет, мне тяжело молчать. Пейте ж чай. Или слишком крепок?

Чай действительно был как пиво, но я выпил стакан. В это время прошел кондуктор. Он проводил его молча злыми глазами и начал только тогда, когда тот ушел.

III

– Ну, так я расскажу вам... Да вы точно хотите?

Я повторил, что очень хочу. Он помолчал, потер руками лицо и начал:

– Коли рассказывать, то надо рассказывать все с начала: надо рассказать, как и отчего я женился и каким я был до женитьбы.

Жил я до женитьбы, как живут все, то есть в нашем кругу. Я помещик и кандидат университета и был предводителем. Жил до женитьбы, как все живут, то есть развратно, и, как все люди нашего круга, живя развратно, был уверен, что я живу, как надо. Про себя я думал, что я милашка, что я вполне нравственный человек. Я не был соблазнителем, не имел неестественных вкусов, не делал из этого главной цели жизни, как это делали многие из моих сверстников, а отдавался разврату степенно, прилично, для здоровья. Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но я гордился этим.

Он остановился, издал свой звук, как он делал всегда, когда ему приходила, очевидно, новая мысль.

– А ведь в этом-то и главная мерзость, – вскрикнул он. – Разврат ведь не в чем-нибудь физическом, ведь никакое безобразие физическое не разврат; а разврат, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение. А это-то освобождение я и ставил себе в заслугу. Помню, как я мучался раз, не успев заплатить женщине, которая, вероятно полюбив меня, отдалась мне. Я успокоился только тогда, когда послал ей деньги, показав этим, что я нравственно ничем не считаю себя связанным с нею. Вы не качайте головой, как будто вы согласны со мной, – вдруг крикнул он на меня. – Ведь я знаю эту штуку. Вы все, и вы, вы, в лучшем случае, если вы не редкое исключение, вы тех самых взглядов, каких я был. Ну, все равно, вы простите меня, – продолжал он, – но дело в том, что это ужасно, ужасно, ужасно!

– Что ужасно? – спросил я.

– Та пучина заблуждения, в которой мы живем относительно женщин и отношений к ним. Да-с, не могу спокойно говорить про это, и не потому, что со мной случился этот эпизод, как он говорил, а потому, что с тех пор, как случился со мной этот эпизод, у меня открылись глаза, и я увидел все

совсем в другом свете. Все наизуоборот, все наизуоборот!..

Он закурил папироску и, облокотившись на свои колени, начал говорить.

В темноте мне не видно было его лицо, только слышен был из-за дребезжания вагона его внушительный и приятный голос.

IV

– Да-с, только перемучавшись, как я перемучался, только благодаря этому я понял, где корень всего, понял, что должно быть, и потому увидал весь ужас того, что есть.

Так изволите видеть, вот как и когда началось то, что привело меня к моему эпизоду. Началось это тогда, когда мне было невступно шестнадцать лет. Случилось это, когда я был еще в гимназии, а брат мой старший был студент первого курса. Я не знал еще женщин, но я, как и все несчастные дети нашего круга, уже не был невинным мальчиком: уже второй год я был развращен мальчишками; уже женщина, не какая-нибудь, а женщина, как сладкое нечто, женщина, всякая женщина, нагота женщины уже мучала меня. Уединения мои были нечистые. Я мучался, как мучаются 0,99 наших мальчиков. Я ужасался, я страдал, я молился и падал. Я уже был развращен в воображении и в действительности, но последний шаг еще не был сделан мною. Я погибал один, но еще не налагая руки на другое человеческое существо. Но вот товарищ брата, студент, весельчак, так называемый добрый малый, то есть самый большой негодяй, выучивший нас и пить и в карты играть, уговорил после попойки ехать туда. Мы поехали. Брат тоже еще был невинен и пал в эту же ночь. И я, пятнадцатилетний мальчишка, осквернил себя самого и содействовал осквернению женщины, вовсе не понимая того, что я делал. Я ведь ни от кого от старших не слыхал, чтоб то, что я делал, было дурно. Да и теперь никто не услышит. Правда, есть это в заповеди, но заповеди ведь нужны только на то, чтобы отвечать на экзамене батюшке, да и то не очень нужны, далеко не так, как заповедь об употреблении «ut» в условных предложениях.

Так от тех старших людей, мнения которых я уважал, я ни от кого не слыхал, чтобы это было дурно. Напротив, я слыхал от людей, которых я уважал, что это было хорошо. Я слышал, что мои борьбы и страдания утишатся после этого, я слышал это и читал, слышал от старших, что для здоровья это будет хорошо; от товарищей же слышал, что в этом есть некоторая заслуга, молодечество. Так что вообще, кроме хорошего, тут ничего не виделось. Опасность болезней? Но и та ведь предвидена. Попечительное правительство заботится об этом. Оно следит за правильной деятельностью домов терпимости и обеспечивает разврат для гимназистов. И доктора за жалованье следят за этим. Так и следует. Они утверждают, что разврат бывает полезен для здоровья, они же и учреждают

правильный, аккуратный разврат. Я знаю матерей, которые заботятся в этом смысле о здоровье сыновей. И наука посылает их в дома терпимости.

– Отчего же наука? – сказал я.

– Да кто же доктора? Жрецы науки. Кто развращает юношей, утверждая, что это нужно для здоровья? Они. А потом с ужасной важностью лечат сифилис.

– Да отчего же не лечить сифилис?

– А оттого, что если бы 0,01 тех усилий, которые положены на лечение сифилиса, были положены на искоренение разврата, сифилиса давно не было бы и помину. А то усилия употреблены не на искоренение разврата, а на поощрение его, на обеспечение безопасности разврата. Ну, да не в том дело. Дело в том, что со мной, да и с 0,9, если не больше, не только нашего сословия, но всех, даже крестьян, случилось то ужасное дело, что я пал не потому, что я подпал естественному соблазну прелести известной женщины. Нет, никакая женщина не соблазнила меня, а я пал потому, что окружающая меня среда видела в том, что было падение, одни – самое законное и полезное для здоровья отправление, другие – самую естественную и не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека. Я и не понимал, что тут есть падение, я просто начал предаваться тем отчасти удовольствиям, отчасти потребностям, которые свойственны, как мне было внушено, известному возрасту, начал предаваться этому разврату, как я начал пить, курить. А все-таки в этом первом падении было что-то особенное и трогательное. Помню, мне тотчас же, там же, не выходя из комнаты, сделалось грустно, грустно, так что хотелось плакать, плакать о гибели своей невинности, о навеки погубленном отношении к женщине. Да-с, естественное, простое отношение к женщине было погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не было и не могло быть. Я стал тем, что называют блудником. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже не нормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже не нормальный, а испорченный навсегда человек – блудник. Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приемам, точно так же и блудника. Блудник может воздерживаться, бороться; но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского, у него уже никогда не будет. По тому, как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника. И я стал блудником и остался таким, и это-то и погубило меня.

– Да, так-с. Потом пошло дальше, дальше, были всякого рода отклонения. Боже мой! как вспомню я все мои мерзости в этом отношении, ужас берет! О себе, над которым товарищи смеялись за мою так называемую невинность, я так вспоминаю. А как услышишь о золотой молодежи, об офицерах, о парижанах! И все эти господа и я, когда мы, бывало, тридцатилетние развратники, имеющие на душе сотни самых разнообразных ужасных преступлений относительно женщин, когда мы, тридцатилетние развратники, входим чисто-начисто вымытые, выбритые, надушенные, в чистом белье, во фраке или в мундире в гостиную или на бал – эмблема чистоты – прелесть!

Ведь вы подумайте, что бы должно быть и что есть. Должно бы быть то, что, когда в общество к моей сестре, дочери вступит такой господин, я, зная его жизнь, должен подойти к нему, отозвать в сторону и тихо сказать: «Голубчик, ведь я знаю, как ты живешь, как проводишь ночи и с кем. Тебе здесь не место. Здесь чистые, невинные девушки. Уйди!» Так должно бы быть; а есть то, что, когда такой господин является и танцует, обнимая ее, с моей сестрой, дочерью, мы ликуем, если он богат и с связями. Авось он удостоит после Ригольбош и мою дочь. Если даже и остались следы, нездоровье, – ничего. Нынче хорошо лечат. Как же, я знаю, несколько высшего света девушек выданы родителями с восторгом за сифилитиков. О! о мерзость! Да придет же время, что обличится эта мерзость и ложь!

И он несколько раз издал свои странные звуки и взялся за чай. Чай был страшно крепкий, не было воды, чтобы его разбавить. Я чувствовал, что меня волновали особенно выпитые мною два стакана. Должно быть, и на него действовал чай, потому что он становился все возбужденнее и возбужденнее. Голос его становился все более и более певучим и выразительным. Он беспрестанно менял позы, то снимал шапку, то надевал ее, и лицо его странно изменялось в той полутьме, в которой мы сидели.

– Ну, вот так я и жил до тридцати лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь, и с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке, – продолжал он. – Я гваздался в гное разврата и вместе с тем разглядывал девушек, по своей чистоте достойных меня. Многих я забраковывал именно потому, что они были недостаточно чисты для меня; наконец я нашел такую, которую счел достойной себя. Это была одна из

двух дочерей когда-то очень богатого, но разорившегося пензенского помещика.

В один вечер, после того как мы ездили в лодке и ночью, при лунном свете, ворочались домой и я сидел рядом с ней и любовался ее стройной фигурой, обтянутой джерси, и ее локонами, я вдруг решил, что это она. Мне показалось в этот вечер, что она понимает все, все, что я чувствую и думаю, а что чувствую я и думаю самые возвышенные вещи. В сущности же, было только то, что джерси было ей особенно к лицу, также и локоны, и что после проведенного в близости с нею дня захотелось еще большей близости.

Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна.

Я вернулся в восторге домой и решил, что она верх нравственного совершенства и что потому-то она достойна быть моей женой, и на другой день сделал предложение.

Ведь что это за путаница! Из тысячи женящихся мужчин не только в нашем быту, но, к несчастью, и в народе, едва ли есть один, который бы не был женат уже раз десять, а то и сто или тысячу, как Дон Жуан, прежде брака. (Есть теперь, правда, я слышу и наблюдаю, молодые люди чистые, чувствующие и знающие, что это не шутка, а великое дело. Помогите им Бог! Но в мое время не было ни одного такого на десять тысяч.) И все знают это и притворяются, что не знают. Во всех романах до подробностей описаны чувства героев, пруды, кусты, около которых они ходят; но, описывая их великую любовь к какой-нибудь девице, ничего не пишется о том, что было с ним, с интересным героем, прежде: ни слова о его посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих женах. Если же есть такие неприличные романы, то их не дают в руки, главное, тем, кому нужнее всего это знать, — девушкам. Сначала притворяются перед девушками в том, что того распутства, которое наполняет половину жизни наших городов и деревень даже, что этого распутства совсем нет. Потом так приучаются к этому притворству, что наконец, как англичане, сами начинают искренно верить, что мы все нравственные люди и живем в нравственном мире. Девушки же, те, бедные, верят в это совсем серьезно. Так верила и моя несчастная жена. Помню, как, уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать хотя немного мое прошедшее, главное — про последнюю связь, которая была у меня и о которой она могла узнать от других и про

которую я потому-то и чувствовал необходимость сказать ей. Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. И отчего она не бросила!

Он издал свой звук, помолчал и отпил еще глоток чаю.

VI

– Нет, впрочем, так лучше, так лучше! – вскрикнул он. – Поделом мне! Но не в том дело. Я хотел сказать, что обмануты тут ведь только одни несчастные девушки. Матери же знают это, особенно матери, воспитанные своими мужьями, знают это прекрасно. И притворяясь, что верят в чистоту мужчин, они на деле действуют совсем иначе. Они знают, на какую удочку ловить мужчин для себя и для своих дочерей.

Ведь мы, мужчины, только не знаем, и не знаем потому, что не хотим знать, женщины же знают очень хорошо, что самая возвышенная, поэтическая, как мы ее называем, любовь зависит не от нравственных достоинств, а от физической близости и притом прически, цвета, покроя платья. Скажите опытной кокетке, задавшей себе задачу пленить человека, чем она скорее хочет рисковать: тем, чтобы быть в присутствии того, кого она прельщает, избалованной во лжи, жестокости, даже распутстве, или тем, чтобы показаться при нем в дурно сшитом и некрасивом платье, – всякая всегда предпочтет первое. Она знает, что наш брат все врет о высоких чувствах – ему нужно только тело, и потому он простит все гадости, а уродливого, безвкусного, дурного тона костюма не простит. Кокетка знает это сознательно, но всякая невинная девушка знает это бессознательно, как знают это животные.

От этого эти джерси мерзкие, эти нашлапки на зады, эти голые плечи, руки, почти груди. Женщины, особенно прошедшие мужскую школу, очень хорошо знают, что разговоры о высоких предметах – разговорами, а что нужно мужчине тело и все то, что выставляет его в самом заманчивом свете; и это самое и делается. Ведь если откинуть только ту привычку к этому безобразию, которая стала для нас второй природой, а взглянуть на жизнь наших высших классов как она есть, со всем ее бесстыдством, ведь это один сплошной дом терпимости. Вы не согласны? Позвольте, я докажу, – заговорил он, перебивая меня. – Вы говорите, что женщины в нашем обществе живут иными интересами, чем женщины в домах терпимости, а я говорю, что нет, и докажу. Если люди различны по целям жизни, по внутреннему содержанию жизни, то это различие непременно отразится и во внешности, и внешность будет различная. Но посмотрите на тех, на несчастных презираемых, и на самых высших светских барынь: те же наряды, те же фасоны, те же духи, то же оголение рук, плеч, груди и обтягивание выставленного зада, та же страсть к камушкам, к дорогим,

блестящим вещам, те же увеселения, танцы и музыка, пенье. Как те заманивают всеми средствами, так и эти. Никакой разницы. Строго определяя, надо только сказать, что проститутки на короткие сроки – обыкновенно презираемы, проститутки на долгие – уважаемы.

VII

– Да, так вот меня эти джерси, и локоны, и нашлепки поймали. Поймать же меня легко было, потому что я воспитан был в тех условиях, при которых, как огурцы на парах, выгоняются влюбляющиеся молодые люди. Ведь наша возбуждающая излишняя пища при совершенной физической праздности есть не что иное, как систематическое разжигание похоти. Удивляйтесь не удивляйтесь, а так. Ведь я сам этого до последнего времени ничего не видал. А теперь увидал. От этого-то меня и мучает то, что никто этого не знает, а говорит такие глупости, как вон та барыня.

Да-с, около меня нынче весной работали мужики на насыпи железной дороги. Обыкновенная пища малого из крестьян – хлеб, квас, лук; он жив, бодр, здоров, работает легкую полевую работу. Он поступает на железную дорогу, и харчи у него – каша и один фунт мяса. Но зато он и выпускает это мясо на шестнадцатичасовой работе с тачкой в тридцать пудов. И ему как раз так. Ну а мы, поедающие по два фунта мяса, дичи и всякие горячительные яства и напитки, – куда это идет? На чувственные эксцессы. И если идет туда, спасительный клапан открыт, все благополучно; но прикройте клапан, как я прикрывал его временно, и тотчас же получается возбуждение, которое, проходя через призму нашей искусственной жизни, выразится влюбленьем самой чистой воды, иногда даже платоническим. И я влюбился, как все влюбляются. И все было налицо: и восторги, и умиление, и поэзия. В сущности же, эта моя любовь была произведением, с одной стороны, деятельности мамы и портних, с другой – избытка поглощавшейся мной пищи при праздной жизни. Не будь, с одной стороны, катаний на лодках, не будь портних с талиями и т. п., а будь моя жена одета в нескладный капот и сиди она дома, а будь я, с другой стороны, в нормальных условиях человека, поглощающего пищи столько, сколько нужно для работы, и будь у меня спасительный клапан открыт, – а то он случайно прикрылся как-то на это время, – я бы не влюбился, и ничего бы этого не было.

VIII

– Ну, а тут так подошло: и мое состояние, и платье хорошо, и катанье на лодках удалось. Двадцать раз не удавалось, а тут удалось. Вроде как капкан. Я не смеюсь. Ведь теперь браки так и устраиваются, как капканы. Ведь естественно что? Девка созрела, надо ее выдать. Кажется, как просто, когда девка не урод и есть мужчины, желающие жениться. Так и делалось в старину. Вошла в возраст дева, родители устраивали брак. Так делалось, делается во всем человечестве: у китайцев, индейцев, магометан, у нас в народе; так делается в роде человеческом по крайней мере в 0,99 его части. Только в 0,01 или меньше нас, распутников, нашли, что это нехорошо, и выдумали новое. Да что же новое-то? А новое то, что девы сидят, а мужчины, как на базар, ходят и выбирают. А девки ждут и думают, но не смеют сказать: «Батюшка, меня! нет, меня. Не ее, а меня: у меня, смотри, какие плечи и другое». А мы, мужчины, похаживаем, поглядываем и очень довольны. «Знаю, мол, я не попадусь». Похаживают, посматривают, очень довольны, что это для них все устроено. Глядь, не поберегся, – хлоп, тут и есть!

– Так как же быть? – сказал я. – Что же, женщине делать предложение?

– Да уж я не знаю как; только если равенство, так равенство. Если нашли, что сватовство унизительно, то уж это в тысячу раз больше. Там права и шансы равны, а здесь женщина или раба на базаре, или привада в капкан. Скажите какой-нибудь матушке или самой девушке правду, что она только тем и занята, чтобы ловить жениха. Боже, какая обида! А ведь они все только это и делают, и больше им делать нечего. И что ведь ужасно – это видеть занятых этим иногда совершенно молоденьких бедных невинных девушек. И опять, если бы это открыто делалось, а то все обман. «Ах, происхождение видов, как это интересно! Ах, Лиза очень интересуется живописью! А вы будете на выставке? Как поучительно! А на тройках, а спектакль, а симфония? Ах, как замечательно! Моя Лиза без ума от музыки. А вы почему не разделяете эти убеждения? А на лодках!..» А мысль одна: «Возьми, возьми меня, мою Лизу! Нет, меня! Ну, хоть попробуй!..» О мерзость! ложь! – заключил он и, допив последний чай, принялся убирать чашки и посуду.

IX

– Да вы знаете, – начал он, укладывая в мешок чай и сахар, – то властвование женщин, от которого страдает мир, все это происходит от этого.

– Как властвование женщин? – сказал я. – Правда, преимущества прав на стороне мужчин.

– Да, да, это, это самое, – перебил он меня. – Это самое, то, что я хочу сказать вам, это-то и объясняет то необыкновенное явление, что, с одной стороны, совершенно справедливо то, что женщина доведена до самой низкой степени унижения, с другой стороны – что она властвует. Точно так же как евреи, как они своей денежной властью отплачивают за свое угнетение, так и женщины. «А, вы хотите, чтобы мы были только торговцы. Хорошо, мы, торговцы, завладеем вами», – говорят евреи. «А, вы хотите, чтобы мы были только предмет чувственности, хорошо, мы, как предмет чувственности, и поработим вас», – говорят женщины. Не в том отсутствие прав женщины, что она не может вотировать или быть судьей – заниматься этими делами не составляет никаких прав, – а в том, чтобы в половом общении быть равной мужчине, иметь право пользоваться мужчиной и воздерживаться от него по своему желанию, по своему желанию избирать мужчину, а не быть избираемой. Вы говорите, что это безобразно. Хорошо. Тогда чтоб и мужчина не имел этих прав. Теперь же женщина лишена того права, которое имеет мужчина. И вот, чтоб возместить это право, она действует на чувственность мужчины, через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз овладев этим средством, она уже злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми.

– Да где же эта особенная власть? – спросил я.

– Где власть? Да везде, во всем. Пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут, не оценишь положенных туда трудов людей, а посмотрите, в 0,9 этих магазинов есть ли хоть что-нибудь для мужского употребления? Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Считите все фабрики. Огромная доля их работает бесполезные украшения, экипажи, мебели, игрушки на женщин. Миллионы людей, поколения рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, в плену рабства и тяжелого труда держат 0,9 рода человеческого. А все оттого, что их унизили, лишили их

равных прав с мужчинами. И вот они мстят действием на нашу чувственность, уловлением нас в свои сети. Да, все от этого. Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только мужчина подошел к женщине, так и подпал под ее дурман и ошалел. И прежде мне всегда бывало неловко, жутко, когда я видал разряженную даму в бальном платье, но теперь мне прямо страшно, я прямо вижу нечто опасное для людей и противозаконное, и хочется крикнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет.

Да, вы смеетесь! – закричал он на меня. – А это вовсе не шутка. Я уверен, что придет время, и, может быть, очень скоро, что люди поймут это и будут удивляться, как могло существовать общество, в котором допускались такие нарушающие общественное спокойствие поступки, как те прямо вызывающие чувственность украшения своего тела, которые допускаются для женщин в нашем обществе. Ведь это все равно что расставить по гуляньям, по дорожкам всякие капканы, – хуже! Отчего азартная игра запрещена, а женщины в проституточных, вызывающих чувственность нарядах не запрещены? Они опаснее в тысячу раз!

– Ну вот, так-то и меня поймали. Я был то, что называется, влюблен. Я не только представлял ее себе верхом совершенства, я и себя за это время моего жениховства представлял тоже верхом совершенства. Ведь нет того негодяя, который, поискав, не нашел бы негодяев в каком-нибудь отношении хуже себя и который поэтому не мог бы найти повода гордиться и быть довольным собой. Так и я: я женился не на деньгах – корысть была ни при чем, не так, как большинство моих знакомых женились из-за денег или связей, – я был богат, она бедна. Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжать жить в таком же многоженстве, в каком они жили до брака; я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачия, и не было пределов моей гордости перед собой за это. Да, свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел.

Время, пока я был женихом, продолжалось недолго. Без стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства! Какая гадость! Ведь подразумевается любовь духовная, а не чувственная. Ну, если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была сизифова работа. Только выдумаешь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было. Все, что можно было сказать о жизни, ожидавшей нас, устройстве, планах, было сказано, а дальше что? Ведь если бы мы были животные, то так бы и знали, что говорить нам не полагается; а тут, напротив, говорить надо и нечего, потому что занимает не то, что разрешается разговорами. А при этом еще этот безобразный обычай конфет, грубого обжорства сладким и все эти мерзкие приготовления к свадьбе: толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах, белье, туалетах. Ведь вы поймите, что если женятся по Домострою, как говорил этот старик, то пуховики, приданое, постель – все это только подробности, сопутствующие таинству. Но у нас, когда из десяти брачующихся едва ли есть один, который не только не верит в таинство, но не верит даже в то, что то, что он делает, есть некоторое обязательство, когда из ста мужчин едва ли один есть уже неженатый прежде и из пятидесяти один, который вперед не готовился бы изменять своей жене при всяком удобном случае, когда большинство смотрит на поездку в церковь

только как на особенное условие обладания известной женщиной, – подумайте, какое ужасное значение получают при этом все эти подробности. Выходит, что дело-то все только в этом. Выходит что-то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями.

XI

– Так все женятся, так и я женился, и начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое! – с злобой прошипел он. – Я ходил раз в Париже по всем зрелищам и зашел смотреть по вывеске женщину с бородой и водяную собаку. Оказалось, что это было больше ничего, как мужчина декольте в женском платье и собака, засунутая в моржовую кожу и плавающая в ванне с водой. Все было очень мало интересно; но когда я выходил, то меня учтиво провожал показыватель и, обращаясь к публике у входа, указывая на меня, говорил: «Вот спросите господина, стоит ли смотреть? Заходите, заходите, по франку с человека!» Мне совестно было сказать, что смотреть не стоит, и показывающий, вероятно, рассчитывал на это. Так, вероятно, бывает и с теми, которые испытали всю мерзость медового месяца и не разочаровывают других. Я тоже не разочаровывал никого, но теперь не вижу, почему не говорить правду. Даже считаю, что необходимо говорить об этом правду. Неловко, стыдно, гадко, жалко и, главное, скучно, до невозможности скучно! Это нечто вроде того, что я испытывал, когда приучался курить, когда меня тянуло рвать и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно. Наслаждение от куренья, так же как и от этого, если будет, то будет потом: надо, чтоб супруги воспитали в себе этот порок, для того чтоб получить от него наслаждение.

– Как порок? – сказал я. – Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве.

– Естественном? – сказал он. – Естественном? Нет, я скажу вам, напротив, что я пришел к убеждению, что это не... естественно. Да, совершенно не... естественно. Спросите у детей, спросите у неразвращенной девушки. Моя сестра очень молодая вышла замуж за человека вдвое старше ее и развратника. Я помню, как мы были удивлены в ночь свадьбы, когда она, бледная и в слезах, убежала от него и, трясясь всем телом, говорила, что она ни за что, ни за что, что она не может даже сказать того, чего он хотел от нее.

Вы говорите: естественно! Естественно есть. И есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это неестественно! И девушка неиспорченная, я убедился, всегда ненавидит это.

– Как же, – сказал я, – как же бы продолжался род человеческий?

– Да вот как бы не погиб род человеческий! – сказал он злобно-иронически, как бы ожидая этого знакомого ему и недобросовестного возражения. – Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы английским лордам всегда можно было обжираться, – это можно. Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы больше было приятности, – это можно; а зайкнись только о том, чтобы воздерживаться от деторождения во имя нравственности, – батюшки, какой крик: род человеческий как бы не прекратился оттого, что десяток-другой хочет перестать быть свиньями. Впрочем, извините. Мне неприятен этот свет, можно закрыть? – сказал он, указывая на фонарь.

Я сказал, что мне все равно, и тогда он поспешно, как все, что он делал, встал на сиденье и задернул шерстяной занавеской фонарь.

– Все-таки, – сказал я, – если бы все признали это для себя законом, род человеческий прекратился бы.

Он не сейчас ответил.

– Вы говорите, род человеческий как будет продолжаться? – сказал он, усевшись опять против меня и широко раскрыв ноги и низко опершись на них локтями. – Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому? – сказал он.

– Как зачем? иначе бы нас не было.

– Да зачем нам быть?

– Как зачем? Да чтобы жить.

– А жить зачем? Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. И если так, то Шопенгауэры и Гартманы, да и все буддисты, совершенно правы. Ну, а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель. Так оно и выходит, – говорил он с видимым волнением, очевидно очень дорожа своей мыслью. – Так оно и выходит. Вы заметьте: если цель человечества – благо, добро, любовь, как хотите; если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединятся воедино любовью, что раскуют копья на серпы и так далее, то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная, и злая, и упорная – половая, плотская любовь, и потому если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить. Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый

воздержанием и чистотою. К нему всегда стремились и стремятся люди. И посмотрите, что выходит.

Выходит, что плотская любовь – это спасительный клапан. Не достигло теперь живущее поколение человечества цели, то не достигло оно только потому, что в нем есть страсти, и сильнейшая из них – половая. А есть половая страсть, и есть новое поколение, стало быть, и есть возможность достижения цели в следующем поколении. Не достигло и то, опять следующее, и так до тех пор, пока не достигнется цель, не исполнится пророчество, не соединятся люди воедино. А то ведь что бы вышло? Если допустить, что бог сотворил людей для достижения известной цели, и сотворил бы их или смертными, без половой страсти, или вечными. Если бы они были смертны, но без половой страсти, то вышло бы что? То, что они пожили бы и, не достигнув цели, умерли бы; а чтобы достигнуть цели, богу надо бы сотворять новых людей. Если же бы они были вечны, то положим (хотя это и труднее тем же людям, а не новым поколениям исправлять ошибки и приближаться к совершенству), положим, они бы достигли после многих тысяч лет цели, но тогда зачем же они? Куда ж их деть? Именно так, как есть, лучше всего... Но, может быть, вам не нравится эта форма выражения, и вы эволюционист? То и тогда выходит то же самое. Высшая порода животных – людская, для того чтобы удержаться в борьбе с другими животными, должна сомкнуться воедино, как рой пчел, а не бесконечно плодиться; должна так же, как пчелы, воспитывать бесполок, то есть опять должна стремиться к воздержанию, а никак не к разжиганию похоти, к чему направлен весь строй нашей жизни. – Он помолчал. – Род человеческий прекратится? Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое?

Он долго молчал после этого, выпил еще чаю, докурил папироску и, достав из мешка новые, положил их в свою старую запачканную папиросочницу.

– Я понимаю вашу мысль, – сказал я, – нечто подобное утверждают шекеры.

– Да, да, и они правы, – сказал он. – Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно – и главное – к своей жене.

XII

– В нашем же мире как раз обратное: если человек еще думал о воздержании, будучи холостым, то, женившись, всякий считает, что теперь воздержание уже не нужно. Ведь эти отъезды после свадьбы, уединения, в которые с разрешения родителей отправляются молодые, – ведь это не что иное, как разрешение на разврат. Но нравственный закон сам за себя отплачивает, когда нарушаешь его. Сколько я ни старался устроить себе медовый месяц, ничего не выходило. Все время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Началось это очень скоро. Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучною, стал спрашивать, о чем, стал обнимать ее, что, по-моему, было все, чего она могла желать, а она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Вероятно, ее измученные нервы подсказали ей истину о гадости наших сношений; но она не умела сказать. Я стал допрашивать, она что-то сказала, что ей грустно без матери. Мне показалось, что это неправда. Я стал уговаривать ее, промолчав о матери. Я не понял, что ей просто было тяжело, а мать была только отговорка. Но она тотчас же обиделась за то, что я умолчал о матери, как будто не поверив ей. Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее. Я упрекнул ее в капризе, и вдруг лицо ее совсем изменилось, вместо грусти выразилось раздражение, и она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность, ненависть почти ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это. «Как? что? – думал я. – Любовь – союз душ, и вместо этого вот что! Да не может быть, да это не она!» Я попробовал было смягчить ее, но наткнулся на такую непреодолимую стену холодной, ядовитой враждебности, что не успел я оглянуться, как раздражение захватило и меня, и мы наговорили друг другу кучу неприятностей. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. Я называл ссорой то, что произошло между нами; но это была не ссора, а это было только вследствие

прекращения чувственности обнаружившееся наше действительное отношение друг к другу. Я не понимал, что это холодное и враждебное отношение было нашим нормальным отношением, не понимал этого потому, что это враждебное отношение в первое время очень скоро опять закрылось от нас вновь поднявшеюся перегонной чувственностью, то есть влюблением.

И я подумал, что мы поссорились и помирились и что больше этого уже не будет. Но в этот же первый медовый месяц очень скоро наступил опять период пресыщения, опять мы перестали быть нужными друг другу, и произошла опять ссора. Вторая ссора эта поразила меня еще сильнее, чем первая. Стало быть, первая не была случайностью, а это так и должно быть и так и будет, думал я. Вторая ссора тем более поразила меня, что она возникла по самому невозможному поводу. Что-то такое из-за денег, которых я никогда не жалел и уж никак не мог жалеть для жены. Помню только, что она так как-то повернула дело, что какое-то мое замечание оказалось выражением моего желания властвовать над ней через деньги, на которых я утверждал будто бы свое исключительное право, что-то невозможное, глупое, подлое, несвойственное ни мне, ни ей. Я раздражился, стал упрекать ее в не деликатности, она меня, – и пошло опять. И в словах и в выражении ее лица и глаз я увидел опять ту же, прежде так поразившую меня, жестокую, холодную враждебность. С братом, с приятелями, с отцом, я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая была тут. Но прошло несколько времени, и опять эта взаимная ненависть скрылась под влюбленностью, то есть чувственностью, и я еще утешался мыслью, что эти две ссоры были ошибки, которые можно исправить. Но вот наступила третья, четвертая ссора, и я понял, что это не случайность, а что это так должно быть, так и будет, и я ужаснулся тому, что предстоит мне. При этом мучила меня еще та ужасная мысль, что это один я только так дурно, непохоже на то, что я ожидал, живу с женой, тогда как в других супружествах этого не бывает. Я не знал еще тогда, что это общая участь, но что все так же, как я, думают, что это их исключительное несчастье, скрывают это исключительное, постыдное свое несчастье не только от других, но и от самих себя, сами себе не признаются в этом.

Началось с первых дней и продолжалось все время, и все усиливаясь и ожесточаясь. В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я попался, что вышло не то, чего я ожидал, что женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое, но я, как и все, не хотел признаться себе (я бы не признался себе и теперь, если бы не конец) и скрывал не только от

других, но от себя. Теперь я удивляюсь, как я не видал своего настоящего положения. Его можно бы уже видеть потому, что ссоры начинались из таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из-за чего. Рассудок не успевал подделать под постоянно существующую враждебность друг к другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примиренья. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда... ох! гадко и теперь вспомнить – после самых жестоких слов друг другу вдруг молча взгляды, улыбки, поцелуи, объятия... Фу, мерзость! Как я мог не видеть всей гадости этого тогда...

XIII

Взошли два пассажира и стали усаживаться на дальней лавочке. Он молчал, пока они усаживались, но как только они затихли, он продолжал, очевидно ни на минуту не теряя нити своей мысли.

– Ведь что, главное, погано, – начал он, – предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь недаром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. А тут, напротив, люди делают вид, что мерзкое и стыдное прекрасно и возвышенно. Какие были первые признаки моей любви? А те, что я предавался животным излишества, не только не стыдясь их, но почему-то гордясь возможности этих физических излишеств, не думая притом нисколько не только о ее духовной жизни, но даже и об ее физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу, а дело было совершенно ясно: озлобление это было не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло ее.

Я удивлялся нашей ненависти друг к другу. А ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как ненависть взаимная сообщников преступления – и за подстрекательство и за участие в преступлении. Как же не преступление, когда она, бедная, забеременела в первый же месяц, а наша свиная связь продолжалась? Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько! Это я все рассказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Дурачье! думают, что я убил ее тогда, ножом, пятого октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Так точно, как они теперь убивают, все, все...

– Да чем же? – спросил я.

– Вот это-то и удивительно, что никто не хочет знать того, что так ясно и очевидно, того, что должны знать и проповедовать доктора, но про что они молчат. Ведь дело ужасно просто. Мужчина и женщина сотворены так, как животное, так что после плотской любви начинается беременность, потом кормление, такие состояния, при которых для женщины, так же как и для ее ребенка, плотская любовь вредна. Женщин и мужчин равное число. Что же из этого следует? Кажется, ясно. И не нужно большой мудрости, чтобы сделать из этого тот вывод, который делают животные, то есть воздержание. Но нет. Наука дошла до того, что нашла каких-то лейкоцитов,

которые бегают в крови, и всякие ненужные глупости, а этого не могла понять. По крайней мере, не слышать, чтобы она говорила это.

И вот для женщины только два выхода: один – сделать из себя урод, уничтожить или уничтожать в себе по мере надобности способность быть женщиной, то есть матерью, для того чтобы мужчина мог спокойно и постоянно наслаждаться; или другой выход, даже не выход, а простое, грубое, прямое нарушение законов природы, который совершается во всех так называемых честных семьях. А именно тот, что женщина, наперекор своей природе, должна быть одновременно и беременной, и кормилицей, и любовницей, должна быть тем, до чего не спускается ни одно животное. И сил не может хватить. И оттого в нашем быту истерики, нервы, а в народе – кликуши. Вы заметьте, у девушек, у чистых, нет кликушества, только у баб, и у баб, живущих с мужьями. Так у нас. Точно так же и в Европе. Все больницы истеричных полны женщин, нарушающих закон природы. Но ведь кликуши и пациентки Шарко – это совсем увечные, а полукалек женщин полон мир. Ведь только подумать, какое великое дело совершается в женщине, когда она понесла плод или когда кормит родившегося ребенка. Растет то, что продолжает, заменяет нас. И это-то святое дело нарушается – чем же? – страшно подумать! И толкуют о свободе, правах женщин. Это все равно что людоеды откармливали бы людей пленных на еду и вместе с тем уверяли бы, что они заботятся о их правах и свободе.

Все это было ново и поразило меня.

– Так как же? Если так, то, – сказал я, – выходит, что любить жену можно раз в два года, а мужчина...

– Мужчине необходимо, – подхватил он. – Опять милые жрецы науки уверили всех. Я бы им, этим волхвам, велел исполнять должность тех женщин, которые, по их мнению, необходимы мужчинам, что бы они тогда заговорили? Внушите человеку, что ему необходимы водка, табак, опиум, и все это будет необходимо. Выходит, что бог не понимал того, что нужно, и потому, не спросившись у волхвов, дурно устроил. Извольте видеть, дело не сходится. Мужчине нужно и необходимо, так решили они, удовлетворять свою похоть, а тут замешалось деторождение и кормление детей, мешающие удовлетворению этой потребности. Как же быть-то? Обратиться к волхвам, они устроят. Они и придумали. Ох, когда это развенчаются эти волхвы с своими обманами? Пора! Дошло уже вот докуда, с ума сходят и стреляются, и все от этого. Да как же иначе? Животные как будто знают, что потомство продолжает их род, и держатся известного закона в этом отношении. Только человек этого знать не знает и не хочет. И озабочен только тем, чтобы иметь как можно больше удовольствия. И это кто же?

Царь природы, человек. Ведь вы заметьте, животные сходятся только тогда, когда могут производить потомство, а поганый царь природы – всегда, только бы приятно. И мало того, возводит это обезьянье занятие в перл создания, в любовь. И во имя этой любви, то есть пакости, губит – что же? – половину рода человеческого. Из всех женщин, которые должны бы быть помощницами в движении человечества к истине и благу, он во имя своего удовольствия делает не помощниц, но врагов. Посмотрите, что тормозит повсюду движение человечества вперед? Женщины. А отчего они такие? А только от этого. Да-с, да-с, – повторил он несколько раз и стал шевелиться, доставать папиросы и курить, очевидно желая несколько успокоиться.

XIV

– Вот такой-то свиньей я и жил, – продолжал он опять прежним тоном. – Хуже же всего было то, что, живя этой скверной жизнью, я воображал, что потому, что я не соблазняюсь другими женщинами, что поэтому я живу честной семейной жизнью, что я нравственный человек и что я ни в чем не виноват, а что если у нас происходят ссоры, то виновата она, ее характер.

Виновата же была, разумеется, не она. Она была такая же, как и все, как большинство. Воспитана она была, как того требует положение женщины в нашем обществе, и поэтому как и воспитываются все без исключения женщины обеспеченных классов и как они не могут не воспитываться. Толкуют о каком-то новом женском образовании. Все пустые слова: образование женщины точно такое, какое должно быть при существующем не притворном, а истинном всеобщем взгляде на женщину.

И образование женщины будет всегда соответствовать взгляду на нее мужчины. Ведь все мы знаем, как мужчина смотрит на женщину: «Wein, Weiber und Gesang»,^[1] и так в стихах поэты говорят. Возьмите всю поэзию, всю живопись, скульптуру, начиная с любовных стихов и голых Венер и Фрин, вы видите, что женщина есть орудие наслаждения; она такова на Трубе, и на Грачевке, и на придворном бале. И заметьте хитрость дьявола: ну, наслаждение, удовольствие, так так бы и знать, что удовольствие, что женщина сладкий кусок. Нет, сначала рыцари уверяли, что они боготворят женщину (боготворят, а все-таки смотрят на нее как на орудие наслаждения). Теперь уже уверяют, что уважают женщину. Одни уступают ей место, поднимают ей платки; другие признают ее права на занятие всех должностей, на участие в правлении и т. д. Это все делают, а взгляд на нее все тот же. Она орудие наслаждения. Тело ее есть средство наслаждения. И она знает это. Все равно как рабство. Рабство ведь есть не что иное, как пользование одних подневольным трудом многих. И потому, чтобы рабства не было, надо, чтобы люди не желали пользоваться подневольным трудом других, считали бы это грехом или стыдом. А между тем возьмут отменяют внешнюю форму рабства, устроят так, что нельзя больше совершать купчих на рабов, и воображают и себя уверяют, что рабства уже нет, и не видят и не хотят видеть того, что рабство продолжает быть, потому что люди точно так же любят и считают хорошим и справедливым пользоваться трудами других. А как скоро они считают это

хорошим, то всегда найдутся люди, которые сильнее или хитрее других и сумеют это сделать. То же и с эмансипацией женщины. Рабство женщины ведь только в том, что люди желают и считают очень хорошим пользоваться ею как орудием наслаждения. Ну, и вот освобождают женщину, дают ей всякие права, равные мужчине, но продолжают смотреть на нее как на орудие наслаждения, так воспитывают ее и в детстве и общественным мнением. И вот она все такая же приниженная, развращенная раба, и мужчина все такой же развращенный рабовладелец.

Освобождают женщину на курсах и в палатах, а смотрят на нее как на предмет наслаждения. Научите ее, как она научена у нас, смотреть так на самое себя, и она всегда останется низшим существом. Или она будет с помощью мерзавцев-докторов предупреждать зарождение плода, то есть будет вполне проститутка, спустившаяся не на ступень животного, но на ступень вещи, или она будет то, что она есть в большей части случаев, – больной душевно, истеричной, несчастной, какие они и есть, без возможности духовного развития.

Гимназии и курсы не могут изменить этого. Изменить это может только перемена взгляда мужчин на женщин и женщин самих на себя. Переменится это только тогда, когда женщина будет считать высшим положением положение девственницы, а не так, как теперь, высшее состояние человека – стыдом, позором. Пока же этого нет, идеал всякой девушки, какое бы ни было ее образование, будет все-таки тот, чтобы привлечь к себе как можно больше мужчин, как можно больше самцов, с тем чтобы иметь возможность выбора.

А то, что одна побольше знает математики, а другая умеет играть на арфе, – это ничего не изменит. Женщина счастлива и достигает всего, чего она может желать, когда она обворочит мужчину. И потому главная задача женщины – уметь обвораживать его. Так это было и будет. Так это в девичьей жизни в нашем мире, так продолжается и в замужней. В девичьей жизни это нужно для выбора, в замужней – для властвования над мужем.

Одно, что прекращает или хоть подавляет на время это, это – дети, и то тогда, когда женщина не урод, то есть сама кормит. Но тут опять доктора.

С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих пятерых детей, случилось с первым же ребенком нездоровье. Доктора эти, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, – доктора эти милые наши, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, то есть мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины,

сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело. Дело в том, что в это самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной же силой проявились мучения ревности, которые не переставая терзали меня во все время моей женатой жизни, как они и не могут не терзать всех тех супругов, которые живут с женами, как я жил, то есть безнравственно.

– Я во все время моей женатой жизни никогда не переставал испытывать терзания ревности. Но были периоды, когда я особенно резко страдал этим. И один из таких периодов был тот, когда после первого ребенка доктора запретили ей кормить. Я особенно ревновал в это время, во-первых, потому, что жена испытывала то свойственное матери беспокойство, которое должно вызывать беспричинное нарушение правильного хода жизни; во-вторых, потому, что, увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно, заключил, что ей так же легко будет отбросить и супружескую, тем более что она была совершенно здорова и, несмотря на запрещение милых докторов, кормила следующих детей сама и выкормила прекрасно.

– Однако вы не любите докторов, – сказал я, заметив особенно злое выражение голоса всякий раз, как он упоминал только о них.

– Тут не дело любви и не любви. Они погубили мою жизнь, как они губили и губят жизнь тысяч, сотен тысяч людей, а я не могу не связывать следствия с причиной. Я понимаю, что им хочется, так же как и адвокатам и другим, наживать деньги, и я бы охотно отдал им половину своего дохода, и каждый, если бы понимал то, что они делают, охотно бы отдал им половину своего достатка, только чтобы они не вмешивались в вашу семейную жизнь, никогда бы близко не подходили к вам. Я ведь не собирал сведений, но я знаю десятки случаев – их пропасть, – в которых они убили то ребенка в утробе матери, уверяя, что мать не может разродиться, а мать потом рождает прекрасно, то матерей под видом каких-то операций. Ведь никто не считает этих убийств, как не считали убийств инквизиции, потому что предполагалось, что это на благо человечества. Перечесать нельзя преступлений, совершаемых ими. Но все эти преступления ничто в сравнении с тем нравственным растлением материализма, которое они вносят в мир, особенно через женщин. Уж не говорю про то, что если только следовать их указаниям, то благодаря заразам везде, во всем, людям надо не идти к единению, а к разъединению: всем надо, по их учению, сидеть врозь и не выпускать изо рта спринцовки с карболовой кислотой (впрочем, открыли, что и она не годится). Но и это ничего. Яд главный – в развращении людей, женщин в особенности.

Нынче уж нельзя сказать: «Ты живешь дурно, живи лучше», – нельзя

этого сказать ни себе, ни другому. А если дурно живешь, то причина в ненормальности нервных отправления или т. п. И надо пойти к ним, а они пропишут на тридцать пять копеек в аптеке лекарства, и вы принимайте. Вы сделаетесь еще хуже, тогда еще лекарства и еще доктора. Отличная штука!

Но не в этом дело. Я только говорил про то, что она прекрасно сама кормила детей и что это ношение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности. Если бы не это, все случилось бы раньше. Дети спасали меня и ее. В восемь лет у ней родилось пять человек детей. И всех она кормила сама.

— Где же они теперь, ваши дети? — спросил я.

— Дети? — испуганно переспросил он.

— Извините меня, может быть, вам тяжело вспоминать?

— Нет, ничего. Детей моих взяла моя свояченица и ее брат. Они не дали их мне. Я им отдал состояние, а их они мне не дали. Ведь я вроде сумасшедшего. Я теперь еду от них. Я видел их, но мне их не дадут. А то я воспитаю их так, что они не будут такими, как их родители. А надо, чтоб были такие же. Ну, да что делать! Понятно, что мне их не дадут и не поверят. Да я и не знаю, был ли бы я в силах воспитать их. Я думаю, нет. Я — развалина, калека. Одно во мне есть. Я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро еще узнают.

Да, дети живы и растут такими же дикарями, как и все вокруг них. Я видел их, три раза видел. Ничего я не могу для них сделать. Ничего. Еду к себе теперь на юг. У меня там домик и садик.

Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю. Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах — это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, это трудно, ужасно трудно...

Вы хоть слушаете, я и то благодарен.

– Вот вы напомнили про детей. Опять какое страшное лганье идет про детей. Дети – благословенье божие, дети – радость. Ведь это все ложь. Все это было когда-то, но теперь ничего подобного нет. Дети – мученье, и больше ничего. Большинство матерей так прямо и чувствуют и иногда нечаянно прямо так и говорят это. Спросите у большинства матерей нашего круга достаточных людей, они вам скажут, что от страха того, что дети их могут болеть и умирать, они не хотят иметь детей, не хотят кормить, если уж родили, для того чтобы не привязаться и не страдать. Наслаждение, которое доставляет им ребенок прелестью его, этих ручек, ножек, тельца всего, удовольствие, доставляемое ребенком, – меньше страдания, которое они испытывают – не говоря уже от болезни или потери ребенка, но от одного страха за возможность болезней и смерти. Взвесив выгоды и невыгоды, оказывается, что невыгодно и потому нежелательно иметь детей. Они это прямо, смело говорят, воображая, что эти чувства происходят в них от любви к детям, чувства хорошего и похвального, которым они гордятся. Они не замечают того, что этим рассуждением они прямо отрицают любовь, а утверждают только свой эгоизм. Для них меньше удовольствия от прелести ребенка, чем страданий от страха за него, и потому не надо того ребенка, которого они будут любить. Они жертвуют не собою для любимого существа, а имеющим быть любимым существом для себя.

Ясно, что это не любовь, а эгоизм. Но и осудить их, матерей достаточных семей, за этот эгоизм – не поднимается рука, когда вспомнишь все то, что они перемучаются от здоровья детей благодаря опять тем же докторам в нашей господской жизни. Как вспомню только, даже теперь, жизнь и состояние жены в первое время, когда было трое, четверо детей и она вся была поглощена ими, – ужас берет. Жизни нашей не было совсем. Это была какая-то вечная опасность, спасенье от нее, вновь наступившая опасность, вновь отчаянные усилия и вновь спасенье – постоянно такое положение, как на гибнущем корабле. Иногда мне казалось, что это нарочно делалось, что она прикидывалась беспокоящейся о детях, для того чтобы победить меня. Так это заманчиво, просто разрешало в ее пользу все вопросы. Мне казалось иногда, что все, что она в этих случаях делала и говорила, – она делала и говорила нарочно. Но нет, она сама страшно мучалась и казнилась постоянно с детьми, с их здоровьем и болезнями. Это была пытка для нее и для меня тоже. И нельзя ей было не мучаться. Ведь

влечение к детям, животная потребность кормить, лелеять, защищать их – была, как она и есть у большинства женщин, но не было того, что есть у животных, – отсутствия воображения и рассудка. Курица не боится того, что может случиться с ее цыпленком, не знает всех тех болезней, которые могут постигнуть его, не знает всех тех средств, которыми люди воображают, что они могут спасать от болезней и смерти. И дети для нее, для курицы, не мученье. Она делает для своих цыплят то, что ей свойственно и радостно делать; дети для нее радость. И когда цыпленок начинает болеть, ее заботы очень определенные: она греет, кормит его. И, делая это, знает, что она делает все, что нужно. Издохнет цыпленок, она не спрашивает себя, зачем он умер, куда он ушел, поквохчет, потом перестанет и продолжает жить по-прежнему. Но для наших несчастных женщин и для моей жены было не то. Уж не говоря о болезнях – как лечить, о том, как воспитывать, растить, она со всех сторон слышала и читала бесконечно разнообразные и постоянно изменяющиеся правила. Кормить так, тем; нет, не так, не тем, а вот этак; одевать, поить, купать, класть спать, гулять, воздух, – на все это мы, она преимущественно, узнавала всякую неделю новые правила. Точно со вчерашнего дня начали рождаться дети. А не так накормили, не так искупали, не вовремя, и заболел ребенок, и оказывается, что виновата она, сделала не то, что надо делать.

Это пока здоровье. И то мученье. Но уж если заболел, тогда кончено. Совершенный ад. Предполагается, что болезнь можно лечить и что есть такая наука и такие люди – доктора, и они знают. Не все, но самые лучшие знают. И вот ребенок болен, и надо попасть на этого самого лучшего, того, который спасает, и тогда ребенок спасен; а не захватил этого доктора или живешь не в том месте, где живет этот доктор, – и ребенок погиб. И это не ее исключительная вера, а это вера всех женщин ее круга, и со всех сторон она слышит только это: у Екатерины Семеновны умерло двое, потому что не позвали вовремя Ивана Захарыча, а у Марьи Ивановны Иван Захарыч спас старшую девочку; а вот у Петровых вовремя, по совету доктора, разъехались по гостиницам – и остались живы, а не разъехались – и померли дети. А у той был слабый ребенок, переехали, по совету доктора, на юг – и спасли ребенка. Как же тут не мучаться и не волноваться всю жизнь, когда жизнь детей, к которым она животной привязана, зависит от того, что она вовремя узнает то, что скажет об этом Иван Захарыч. А что скажет Иван Захарыч, никто не знает, менее всего он сам, потому что он очень хорошо знает, что он ничего не знает и ничему помочь не может, а сам только виляет как попало, чтобы только не перестали верить, что он что-то знает. Ведь если бы она была совсем животное, она так бы не

мучалась; если же бы она была совсем человек, то у ней была бы вера в бога, и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы: «Бог дал, бог и взял, от бога не уйдешь». Она бы думала, что жизнь и смерть как всех людей, так и ее детей вне власти людей, а во власти только бога, и тогда бы она не мучалась тем, что в ее власти было предотвратить болезни и смерти детей, а она этого не сделала. А то для нее положение было такое: даны самые хрупкие, подверженные самым бесчисленным бедствиям, слабые существа. К существам этим она чувствует страстную, животную привязанность. Кроме того, существа эти поручены ей, а вместе с тем средства сохранения этих существ скрыты от нас и открыты совсем чужим людям, услуги и советы которых можно приобретать только за большие деньги, и то не всегда.

Вся жизнь с детьми и была для жены, а потому и для меня, не радость, а мука. Как же не мучаться? Она и мучалась постоянно. Бывало, только что успокоимся от какой-нибудь сцены ревности или просто ссоры и думаем пожить, почитать и подумать; только возьмешься за какое-нибудь дело, вдруг получается известие, что Васю рвет, или Маша сходила с кровью, или у Андрюши сыпь, ну и, конечно, жизни уж нет. Куда скакать, за какими докторами, куда отделить? И начинаются клистиры, температуры, микстуры и доктора. Не успеет это кончиться, как начинается что-нибудь другое. Правильной, твердой семейной жизни не было. А было, как я вам говорил, постоянное спасение от воображаемых и действительных опасностей. Так ведь это теперь в большинстве семей. В моей же семье было особенно резко. Жена была чадолюбива и легковерна. Так что присутствие детей не только не улучшало нашей жизни, но отравляло ее. Кроме того, дети – это был для нас новый повод к раздору. С тех пор как были дети и чем больше они росли, тем чаще именно сами дети были и средством и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были орудием борьбы; мы как будто дрались друг с другом детьми. У каждого из нас был свой любимый ребенок – орудие драки. Я дрался больше Васей, старшим, а она Лизой. Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекли каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки, но нам, в нашей постоянной войне, не до того было, чтобы думать о них. Девочка была моя сторонница, мальчик же старший, похожий на нее, ее любимец, часто был ненавистен мне.

XVII

– Ну-с, так и жили. Отношения становились все враждебнее и враждебнее. И наконец дошли до того, что уже не разногласие производило враждебность, но враждебность производила разногласие: что бы она ни сказала, я уж вперед был не согласен, и точно так же и она.

На четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Мы перестали уже пытаться договориться до конца. О самых простых вещах, в особенности о детях, мы оставались неизменно каждый при своем мнении. Как я теперь вспоминаю, мнения, которые я отстаивал, были вовсе мне не так дороги, чтобы я не мог поступиться ими; но она была противного мнения, и уступить – значило уступить ей. А этого я не мог. Она тоже. Она, вероятно, считала себя всегда совершенно правой передо мной, а уж я в своих глазах был всегда свят перед нею. Вдвоем мы были почти обречены на молчание или на такие разговоры, которые, я уверен, животные могут вести между собой: «Который час? Пора спать. Какой нынче обед? Куда ехать? Что написано в газете? Послать за доктором. Горло болит у Маши». Стоило на волосок выступить из этого до невозможного сузившегося кружка разговоров, чтобы вспыхнуло раздражение. Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, за ход в винте, – все дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная! Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви – период злобы; энергический период любви – длинный период злобы, более слабое проявление любви – короткий период злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были то же самое животное чувство, только с разных концов. Жить так было бы ужасно, если бы мы понимали свое положение; но мы не понимали и не видали его. В этом и спасенье и казнь человека, что, когда он живет неправильно, он может себя затуманивать, чтобы не видать бедственности своего положения. Так делали и мы. Она старалась забыться напряженными, всегда поспешными занятиями хозяйством, обстановкой, нарядами своими и детей, учением, здоровьем

детей. У меня же было свое пьянство – пьянство службы, охоты, карт. Мы оба постоянно были заняты. Мы оба чувствовали, что чем больше мы заняты, тем злее мы можем быть друг к другу. «Тебе хорошо гримасничать, – думал я на нее, – а ты вот меня промучала сценами всю ночь, а мне заседание». – «Тебе хорошо, – не только думала, но и говорила она, – а я всю ночь не спала с ребенком».

Так мы и жили, в постоянном тумане не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все; я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался.

А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видеть этого. Я еще не знал тогда, что 0,99 супружества живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе. Тогда я еще не знал этого ни про других, ни про себя.

Удивительно, какие совпадения и в правильной и даже неправильной жизни! Как раз когда родителям жизнь становится невыносимой друг от друга, необходимы делаются и городские условия для воспитания детей. И вот является потребность переезда в город.

Он замолчал и раза два издал свои странные звуки, которые теперь уже совсем похожи были на сдержанные рыдания. Мы подходили к станции.

– Который час? – спросил он. Я взглянул, было два часа.

– Вы не устали? – спросил он.

– Нет, но вы устали.

– Меня душит. Позвольте, я пройду, выпью воды.

И он, шатаясь, пошел через вагон. Я сидел один, перебирая все, что он сказал мне, и так задумался, что и не заметил, как он вернулся из другой двери.

XVIII

– Да, я все увлекаюсь, – начал он. – Много я передумал, на многое я смотрю по-иному, и все это хочется сказать. Ну, и стали жить в городе. В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить сто лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда, все занято. Дела, общественные отношения, здоровье, искусства, здоровье детей, их воспитание. То надо принимать тех и этих, ехать к тем и этим; то надо посмотреть эту, послушать этого или эту. Ведь в городе во всякий данный момент есть одна, а то сразу две, три знаменитости, которые нельзя никак пропустить. То надо лечить себя, того или этого, то учителя, репетиторы, гувернантки, а жизнь пустым-пустешенька. Ну, так мы и жили и меньше чувствовали боль от сожигания. Кроме того, первое время было чудесное занятие – устройство в новом городе, на новой квартире, и еще занятие – переездов из города в деревню и из деревни в город.

Прожили одну зиму, и в другую зиму случилось еще следующее никому не заметное, кажущееся ничтожным обстоятельство, но такое, которое и произвело все то, что произошло. Она была нездорова, и мерзавцы не велели ей рожать и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством настояла на своем, и я покорился; последнее оправдание свиной жизни – дети – было отнято, и жизнь стала еще гаже.

Мужу, работнику, дети нужны, хотя и трудно ему выкормить, но они ему нужны, и потому его супружеские отношения имеют оправдание. Нам же, людям, имеющим детей, еще дети не нужны, они – лишняя забота, расход, сонаследники, они тягость. И оправдания свиной жизни для нас уже нет никакого. Или мы искусственно избавляемся от детей, или смотрим на детей как на несчастье, последствие неосторожности, что еще гаже. Оправданий нет. Но мы так нравственно пали, что мы даже не видим надобности в оправдании. Большинство теперешнего образованного мира предается этому разврату без малейшего угрызения совести.

Нечему угрызаться, потому что совести в нашем быту нет никакой, кроме, если можно так назвать, совести общественного мнения и уголовного закона. А тут и та и другая не нарушаются: совеститься перед обществом нечего, все это делают: и Марья Павловна и Иван Захарыч. А то что ж разводить нищих или лишать себя возможности общественной

жизни? Совесть перед уголовным законом или бояться его тоже нечего. Это безобразные девки и солдаты бросают детей в пруды и колодцы; тех, понятно, надо сажать в тюрьму, а у нас все делается своевременно и чисто.

Так прожили мы еще два года. Средство мерзавцев, очевидно, начинало действовать; она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней нерожавшей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 0,99 наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно.

XIX

Он вдруг приподнялся и пересел к самому окну.

– Извините меня, – проговорил он и, устремив глаза в окно, молча просидел так минуты три. Потом он тяжело вздохнул и опять сел против меня. Лицо его стало совсем другое, глаза жалкие, и какая-то странная почти улыбка морщила его губы. – Я устал немножко, но я расскажу. Еще времени много, не рассветало еще. Да-с, – начал он опять, закурив папиросу. – Она пополнела с тех пор, как перестала рожать, и болезнь эта – страдание вечное о детях – стала проходить; не то что проходить, но она как будто очнулась от пьянства, опомнилась и увидала, что есть целый мир божий с его радостями, про который она забыла, но в котором она жить не умела, мир божий, которого она совсем не понимала. «Как бы не пропустить! Уйдет время, не воротишь!» Так мне представляется, что она думала или скорее чувствовала, да и нельзя ей было думать и чувствовать иначе: ее воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимания – любовь. Она вышла замуж, получила кое-что из этой любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий и тут же неожиданную муку – детей! Мука эта истомила ее. И вот благодаря услужливым докторам она узнала, что можно обойтись и без детей. Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала, – для любви. Но любовь с огаженным и ревностью и всякой злостью мужем было уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь, по крайней мере, я так думал про нее. И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то. Я видел это и не мог не тревожиться. Сплошь да рядом стало случаться то, что она, как и всегда, разговаривая со мной через посредство других, то есть говоря с посторонними, но обращая речь ко мне, выражала смело, совсем не думая о том, что она час тому назад говорила противоположное, выражала полусерьезно, что материнская забота – это обман, что не стоит того – отдавать свою жизнь детям, когда есть молодость и можно наслаждаться жизнью. Она занималась детьми меньше, не с таким отчаянием, как прежде, но больше и больше занималась собой, своей наружностью, хотя она и скрывала это, и своими удовольствиями, и даже усовершенствованием себя. Она опять с увлечением взялась за фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого все и началось.

Он опять повернулся к окну устало смотревшими глазами, но тотчас

же опять, видимо сделав над собою усилие, продолжал:

– Да-с, явился этот человек. – Он замялся и раза два произвел носом свои особенные звуки.

Я видел, что ему мучительно было называть этого человека, вспоминать, говорить о нем. Но он сделал усилие и, как будто порвав то препятствие, которое мешало ему, решительно продолжал:

– Дрянной он был человечек, на мои глаза, на мою оценку. И не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому, что он действительно был такой. Впрочем, то, что он был плох, служило только доказательством того, как невиняема была она. Не он, так другой, это должно было быть. – Он опять замолчал. – Да-с, это был музыкант, скрипач; не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный, полубобщественный человек.

Отец его – помещик, сосед моего отца. Он – отец – разорился, и дети – три было мальчика – все устроились; один только, меньшой этот, отдан был к своей крестной матери в Париж. Там его отдали в консерваторию, потому что был талант к музыке, и он вышел оттуда скрипачом и играл в концертах. Человек он был... – Очевидно, желая сказать что-то дурное про него, он воздержался и быстро сказал: – Ну, уж там я не знаю, как он жил, знаю только, что в этот год он явился в Россию и явился ко мне.

Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложения слабого, хотя и не уродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальны. Лезущий в фамильярность насколько возможно, но чуткий и всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, с соблюдением внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усваивают себе иностранцы в Париже и что по своей особенности, новизне, всегда действует на женщин. В манерах деланная, внешняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками и отрывками, как будто вы все это знаете, помните и можете сами дополнить.

Вот он-то с своей музыкой был причиной всего. Ведь на суде было представлено дело так, что все случилось из ревности. Ничуть не бывало, то есть не то что ничуть не бывало, а то, да не то. На суде так и решено было, что я обманутый муж и что я убил, защищая свою поруганную честь (так ведь это называется по-ихнему). И от этого меня оправдали. Я на суде старался выяснить смысл дела, но они понимали так, что я хочу реабилитировать честь жены.

Отношения ее с этим музыкантом, какие бы они ни были, для меня это не имеет смысла, да и для нее тоже. Имеет же смысл то, что я вам рассказал, то есть мое свинство. Все произошло оттого, что между нами была та страшная пучина, о которой я вам говорил, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при которой первого повода было достаточно для произведения кризиса. Ссоры между нами становились в последнее время чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной страстью.

Если бы явился не он, то другой бы явился. Если бы не предлог ревности, то другой. Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал. Если с кем этого не случилось, то это особенно редкое исключение. Я ведь, прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства, а она тоже отравлялась.

– Да, это так было, и недолго перед тем.

Жили мы как будто в перемирие, и нет никаких причин нарушать его; вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит: «Не медаль, а похвальный отзыв». Начинается спор. Начинается перепрыгиванье с одного предмета на другой, попреки: «Ну, да это давно известно, всегда так: ты сказал...» – «Нет, я не говорил». – «Стало быть, я лгу!..» Чувствуешь, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчас начнется, и боишься этого, как огня, и потому хотел бы удержаться, но злоба охватывает все твоё существо. Она в том же, ещё худшем положении, нарочно перетолковывает всякое твоё слово, придавая ему ложное значение; каждое же её слово пропитано ядом; где только она знает, что мне больнее всего, туда-то она и колет. Дальше – больше. Я кричу: «Молчи!» – или что-то в этом роде. Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать её, чтобы договорить и доказать, и схватываю её за руку. Она прикидывается, что сделал ей больно, и кричит: «Дети, ваш отец бьет меня!» Я кричу: «Не лги!» – «Ведь это уж не в первый раз!» – кричит она, или что-нибудь подобное. Дети бросаются к ней. Она успокаивает их. Я говорю: «Не притворяйся!» Она говорит: «Для тебя все притворство; ты убьёшь человека и будешь говорить, что он притворяется. Теперь я поняла тебя. Ты этого-то и хочешь!» – «О, хоть бы ты издохла!» – кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова. Я никак не ожидал, чтобы я мог сказать такие страшные, грубые слова, и удивляюсь тому, что они могли выскочить из меня. Я кричу эти страшные слова и убегаю в кабинет, сажусь и курю. Слышу, что она выходит в переднюю и собирается уезжать. Я спрашиваю куда. Она не отвечает. «Ну, и черт с ней», – говорю я себе, возвращаюсь в кабинет, опять ложусь и курю. Тысячи разных планов о том, как отомстить ей и избавиться от неё и как поправить все это и сделать так, как будто бы ничего не было, приходят мне в голову. Я все это думаю и курю, курю, курю. Думаю убежать от неё, скрыться, уехать в Америку. Дохожу до того, что мечтаю о том, как я избавлюсь от неё и как это будет прекрасно, как сойду с другой, прекрасной женщиной, совсем новой. Избавлюсь тем, что она умрет, или тем, что разведусь, и придумываю, как это сделать. Вижу, что я путаюсь, что я не то думаю, что нужно, но и для того, чтобы не видеть, что я не то

думаю, что нужно, для этого-то курю.

А жизнь дома идет. Приходит гувернантка, спрашивает: «Где madame? когда вернется?» Лакей спрашивает, подавать ли чай. Прихожу в столовую; дети, в особенности старшая Лиза, которая уж понимает, вопросительно и недоброжелательно смотрит на меня. Пьем молча чай. Ее все нет. Проходит весь вечер, ее нет, и два чувства сменяются в душе: злоба к ней за то, что она мучает меня и всех детей своим отсутствием, которое кончится же тем, что она придет, и страх того, что она не придет и что-нибудь сделает над собой. Я бы поехал за ней. Но где искать ее? У сестры? Но это глупо приехать спрашивать. Да и бог с ней; если она хочет мучать, пускай сама мучается. А то ведь она этого и ждет. И в следующий раз будет еще хуже. А что, как она не у сестры, а что-нибудь делает или уже сделала над собой?.. Одиннадцать, двенадцать, час, иду в спальню, глупо одному там лежать и ждать, и тут же ложусь. Хочу чем-нибудь заняться, написать письма, читать; ничего не могу. Сажу один в кабинете, мучаюсь, злюсь и прислушиваюсь. Три, четыре часа – ее все нет. К утру засыпаю. Просыпаюсь – ее нет.

Все в доме идет по-старому, но все в недоумение и все вопросительно и укоризненно смотрят на меня, предполагая, что все это от меня. А во мне все та же борьба – злобы за то, что она меня мучает, и беспокойства за нее.

Около одиннадцати приезжает ее сестра послом от нее. И начинается обычное: «Она в ужасном положении. Ну что же это!» – «Да ведь ничего не случилось». Я говорю про невозможность ее характера и говорю, что я ничего не сделал.

– Да ведь не может же это так оставаться, – говорит сестра.

– Все ее дело, а не мое, – говорю я. – Я первого шага не сделаю. Разойтись так разойтись.

Свояченица уезжает ни с чем. Я смело сказал, говоря с ней, что не сделаю первого шага, но как она уехала и я вышел и увидел детей жалких, испуганных, я уже готов делать первый шаг. И рад бы его сделать, но не знаю как. Опять хожу, курю, выпиваю за завтраком водки и вина и достигаю того, чего бессознательно желаю: не вижу глупости, подлости своего положения.

Около трех приезжает она. Встречая меня, она ничего не говорит. Я воображаю, что она смирилась, начинаю говорить о том, что я был вызван ее укоризнами. Она с тем же строгим и страшно измученным лицом говорит, что она приехала не объясняться, а взять детей, что жить вместе мы не можем. Я начинаю говорить, что виноват не я, что она вывела меня из себя. Она строго, торжественно смотрит на меня и потом говорит:

– Не говори больше, ты расквасеешься.

Я говорю, что терпеть не могу комедий. Тогда она вскрикивает что-то, чего я не разбираю, и убегает в свою комнату. И за ней звенит ключ: она заперлась. Я толкаюсь, нет ответа, и я с злостью отхожу. Через полчаса Лиза прибегает в слезах.

– Что? что-нибудь случилось?

– Мама не слышно.

Идем. Я дергаю изо всех сил дверь. Задвижка плохо задвинута, и обе половинки отворяются. Я подхожу к кровати. Она в юбках и высоких ботинках лежит неловко на кровати без чувств. На столике пустая склянка с опиумом. Приводим в чувство. Еще слезы и, наконец, примирение. И не примирение: в душе у каждого та же старая злоба друг против друга с прибавкой еще раздражения за ту боль, которая сделана этой ссорой и которую всю каждый ставит на счет другого. Но надо же как-нибудь кончить все это, и жизнь идет по-старому. Так, такие-то ссоры и хуже бывали беспрестанно, то раз в неделю, то раз в месяц, то каждый день. И все одно и то же. Один раз я уже взял заграничный паспорт – ссора продолжалась два дня, – но потом опять полуобъяснение, полупримирение – и я остался.

– Так вот в таких-то мы были отношениях, когда явился этот человек. Приехал в Москву этот человек – фамилия его Трухачевский – и явился ко мне. Это было утром. Я принял его. Были мы когда-то на «ты». Он попытался срединными фразами между «ты» и «вы» удержаться на «ты», но я прямо дал тон на «вы», и он тотчас же подчинился. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но, странное дело, какая-то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомя с женою. Но нет, я, как нарочно, заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что, напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что я играл прежде. Я сказал, что не играю больше, но что жена моя хорошо играет.

Удивительное дело! Мои отношения к нему в первый день, в первый час моего свиданья с ним были такие, какие они могли быть только после того, что случилось. Что-то было напряженное в моих отношениях с ним: я замечал всякое слово, выражение, сказанное им или мною, и приписывал им важность.

Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это последнее время, была очень элегантна и заманчива, беспокояще красива. Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что она очень любила, так что нанимала для этого скрипача из театра, и на лице ее выразилась эта радость. Но, увидав меня, она тотчас же поняла мое чувство и изменила свое выражение, и началась эта игра взаимного обманыванья. Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену так, как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво-улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали ее. Я видел, что с первого же свиданья у ней особенно заблестели глаза, и, вероятно вследствие моей ревности, между ним и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела – и он краснел,

она улыбалась – он улыбался. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он встал, чтобы уезжать, и, улыбаясь, со шляпой на подрагивающей ляжке стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем. Помню я эту минуту именно потому, что в эту минуту я мог не позвать его, и тогда ничего бы не было. Но я взглянул на него, на нее. «И не думай, чтоб я ревновал тебя, – мысленно сказал я ей, – или чтоб я боялся тебя», – мысленно сказал я ему и пригласил его привозить как-нибудь вечером скрипку, чтобы играть с женой. Она с удивлением взглянула на меня, вспыхнула и, как будто испугавшись, стала отказываться, говорила, что она недостаточно хорошо играет. Этот отказ ее еще более раздражил меня, и я еще больше настаивал. Помню то странное чувство, с которым я смотрел на его затылок, белую шею, отделявшуюся от черных, расчесанных на обе стороны волос, когда он своей подпрыгивающей, какой-то птичьей походкой выходил от нас. Я не мог не признаться себе, что присутствие этого человека мучало меня. «От меня зависит, – думал я, – сделать так, чтобы никогда не видеть его». Но сделать так – значило признаться, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его! Это было бы слишком унижительно, говорил я себе. И тут же, в передней, зная, что жена слышит меня, я настоял на том, чтобы он нынче же вечером приехал со скрипкой. Он обещал мне и уехал.

Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений. Я очень любил музыку и сочувствовал их игре, устраивал ему пюпитр, переворачивал страницы. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонатку Моцарта. Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем несвойственный его характеру.

Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей и вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же хотя и притворялся заинтересованным музыкой, весь вечер не переставая мучался ревностью.

С первой минуты, как он встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: «Можно?» – и ответил: «О да, очень». Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому. Потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не

помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимал этого, но я, так же как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе как по писаному. Мучался я особенно тем, что я видел несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прерываемого привычной чувственностью, а что этот человек, и по своей внешней элегантности и новизне, и, главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему от совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а несомненно без малейшего колебания должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее веревку, сделать из нее все, что захочет. Я этого не мог не видеть, и я страдал ужасно. Но, несмотря на то или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но ласковым с ним. Для жены ли или для него я это делал, чтоб показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтоб обмануть самого себя, – не знаю, только я не мог с первых же сношений моих с ним быть прост. Я должен был, для того чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женою. Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его. Да так и кончилось.

И Позднышев в сильном волнении переменил положение и издал свой особенный звук.

– Странное дело, как действовало на меня присутствие этого человека, – начал он опять, очевидно делая усилие, для того чтобы быть спокойным. – Возвращаюсь с выставки домой на второй или на третий день после этого, вхожу в переднюю и вдруг чувствую, что-то тяжелое, как камень, наваливается мне на сердце, и не могу дать себе отчета, что это. Это что-то было то, что, проходя через переднюю, я заметил что-то напоминавшее его. Только в кабинете я дал себе отчет в том, что это было, и вернулся в переднюю, чтобы проверить себя. Да, я не ошибся: это была его шинель. Знаете, модная шинель. (Все, что его касалось, хотя я и не отдавал себе в том отчета, я замечал с необыкновенной внимательностью.) Спрашиваю, – так и есть, он тут. Прохожу не через гостиную, а через классную, в залу. Лиза, дочь, сидит за книжкой, и няня с маленькой у стола вертит какой-то крышкой. Дверь в залу затворена, и слышу оттуда равномерное *agreggio* и голос его и ее. Прислушиваюсь, но не могу разобрать. Очевидно, звуки на фортепиано нарочно для того, чтобы

заглушить их слова, поцелуй, может быть. Боже мой! что тут поднялось во мне! Как вспомню только про того зверя, который жил во мне тогда, ужас берет. Сердце вдруг сжалось, остановилось и потом заколотило, как молотком. Главное чувство, как и всегда, во всякой злости, было – жалость к себе. «При детях, при няне!» – думал я. Должно быть, я был страшен, потому что и Лиза смотрела на меня странными глазами. «Что ж мне делать? – спросил я себя. – Войти? Я не могу, я бог знает что сделаю». Но не могу и уйти. Няня глядит на меня так, как будто она понимает мое положение. «Да нельзя не войти», – сказал я себе и быстро отворил дверь. Он сидел за фортепиано, делал эти *agreggio* своими изогнутыми кверху большими белыми пальцами. Она стояла в углу рояля над раскрытыми нотами. Она первая увидела или услышала и взглянула на меня. Испугалась ли она и притворилась, что не испугалась, или точно не испугалась, но она не вздрогнула, не пошевелилась, а только покраснела, и то после.

– Как я рада, что ты пришел; мы не решили, что играть в воскресенье, – сказала она таким тоном, которым не говорила бы со мной, если бы мы были одни. Это и то, что она сказала «мы» про себя и его, возмутило меня. Я молча поздоровался с ним.

Он пожал мне руку и тотчас же с улыбкой, которая мне прямо казалась насмешливой, начал объяснять мне, что он принес ноты для приготовления к воскресенью и что вот между ними несогласие, что играть: более трудное и классическое, именно Бетховенскую сонату со скрипкой, или маленькие вещицы? Все было так естественно и просто, что нельзя было ни к чему придаться, а вместе с тем я был уверен, что все это было неправда, что они сговаривались о том, как обмануть меня.

Одно из самых мучительнейших отношений для ревнивцев (а ревнивцы все в нашей общественной жизни) – это известные светские условия, при которых допускается самая большая и опасная близость между мужчиной и женщиной. Надо сделаться посмешищем людей, если препятствовать близости на балах, близости докторов с своей пациенткой, близости при занятиях искусством, живописью, а главное – музыкой. Люди занимаются вдвоем самым благородным искусством, музыкой; для этого нужна известная близость, и близость эта не имеет ничего предосудительного, и только глупый, ревнивый муж может видеть тут что-либо нежелательное. А между тем все знают, что именно посредством этих самых занятий, в особенности музыкой, и происходит большая доля прелюбодеяний в нашем обществе. Я, очевидно, смутил их тем смущением, которое выражалось во мне: я долго ничего не мог сказать. Я был как перевернутая бутылка, из которой вода не идет оттого, что она слишком

полна. Я хотел изругать, выгнать его, но я чувствовал, что я должен был опять быть любезным и ласковым с ним. Я так и сделал. Я сделал вид, что одобряю все, и опять по тому странному чувству, которое заставляло меня обращаться с ним с тем большей лаской, чем мучительнее мне было его присутствие, я сказал ему, что полагаюсь на его вкус и ей советую то же. Он побыл настолько еще, насколько нужно было, чтобы сгладить неприятное впечатление, когда я вдруг с испуганным лицом вошел в комнату и замолчал, – и уехал, притворяясь, что теперь решили, что играть завтра. Я же был вполне уверен, что в сравнении с тем, что занимало их, вопрос о том, что играть, был для них совершенно безразличен.

Я с особенной учтивостью проводил его до передней (как не провожать человека, который приехал, с тем чтобы нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи!). Я жал с особенной лаской его белую, мягкую руку.

– Целый день этот я не говорил с ней, не мог. Близость ее вызывала во мне такую ненависть к ней, что я боялся себя. За обедом она при детях спросила меня о том, когда я еду. Мне надо было на следующей неделе ехать на съезд в уезд. Я сказал когда. Она спросила, не нужно ли мне чего на дорогу. Я не сказал ничего и молча просидел за столом и молча же ушел в кабинет. Последнее время она никогда не приходила ко мне в комнату, особенно в это время. Лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка. И в голову мне приходит страшная, безобразная мысль о том, что она, как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой и что она затем в такой неурочный час идет ко мне. «Неужели она идет ко мне?» – думал я, слушая ее приближающиеся шаги. Если ко мне, то я прав, значит. И в душе поднимается невыразимая ненависть к ней. Ближе, ближе шаги. Неужели не пройдет мимо, в залу? Нет, дверь скрипнула, и в дверях ее высокая, красивая фигура, и в лице, в глазах – робость и заискивание, которое она хочет скрыть, но которое я вижу и значение которого я знаю. Я чуть не задохнулся, так долго я удерживал дыханье, и, продолжая глядеть на нее, схватился за папиросочницу и стал закуривать.

– Ну что это, к тебе придешь посидеть, а ты закуриваешь, – и она села близко ко мне на диван, прислоняясь ко мне.

Я отстранился, чтоб не касаться ее.

– Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье, – сказала она.

– Я нисколько не недоволен, – сказал я.

– Разве я не вижу?

– Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя, как кокотка...

– Да если ты хочешь браниться, как извозчик, то я уйду.

– Уходи, только знай, что если тебе не дорога честь семьи, то мне не ты дорога (черт с тобой), но честь семьи.

– Да что, что?

– Убирайся, ради бога убирайся!

Притворялась она, что не понимает, о чем, или действительно не понимала, но только она обиделась и рассердилась. Она встала, но не ушла, а остановилась посередине комнаты.

– Ты решительно стал невозможен, – начала она. – Это такой характер,

с которым ангел не уживется, – и, как всегда, стараясь уязвить меня как можно больнее, она напомнила мне мой поступок с сестрой (это был случай с сестрой, когда я вышел из себя и наговорил сестре своей грубости; она знала, что это мучит меня, и в это место кольнула меня). – После этого меня уж ничто не удивит от тебя, – сказала она.

«Да, оскорбить, унижить, опозорить и поставить меня же в виноватых», – сказал я себе, и вдруг меня охватила такая страшная злоба к ней, какой я никогда еще не испытывал.

Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней; но в ту же минуту, как я вскочил, я помню, что я сознал свою злобу и спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству, и тотчас же ответил себе, что это хорошо, что это испугает ее, и тотчас же, вместо того чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе и радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне.

– Убирайся, или я тебя убью! – закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку. Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это. И, должно быть, я был страшен, потому что она так заробела, что даже не имела силы уйти, а только говорила:

– Вася, что ты, что с тобой?

– Уходи! – заревел я еще громче. – Только ты можешь довести меня до бешенства. Я не отвечаю за себя!

Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бешенства. Мне страшно хотелось бить, убить ее, но я знал, что этого нельзя, и потому, чтобы все-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричав: «Уходи!» – швырнул его оземь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока еще она видела (я сделал это для того, чтобы она видела), я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу, и бросать оземь их, продолжая кричать:

– Уйди! убирайся! Я не отвечаю за себя!

Она ушла – и я тотчас же перестал.

Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел; она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна.

К утру она успокоилась, и мы помирились под влиянием того чувства, которое мы называли любовью.

Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал ее к Трухачевскому, она несколько не смутилась и самым естественным образом

засмеялась. Так странна даже ей казалась, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку.

— Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да если хочешь, я готова никогда не видеть его. Даже в воскресенье, хотя и позваны все. Напиши ему, что я нездорова, и кончено. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен. А я слишком горда, чтобы позволить думать это.

И она ведь не лгала, она верила в то, что говорила; она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него, но ей не удалось это. Все было направлено против нее, в особенности эта проклятая музыка. Так все и кончилось, и в воскресенье собрались гости, и они опять играли.

XXIII

– Я думаю, что излишне говорить, что я был очень тщеславен: если не быть тщеславным в обычной нашей жизни, то ведь нечем жить. Ну, и в воскресенье я со вкусом занялся устройством обеда и вечера с музыкой. Я сам накупил вещей для обеда и позвал гостей.

К шести часам собрались гости, и явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона. Он держал себя развязно, на все отвечал поспешно с улыбочкой согласия и понимания, знаете, с тем особенным выражением, что все, что вы сделаете или скажете, есть то самое, чего он ожидал. Все, что было в нем непорядочного, все это я замечал теперь с особенным удовольствием, потому что это все должно было успокоить меня и показывать, что он стоял для моей жены на такой низкой ступени, до которой, как она и говорила, она не могла унизиться. Я теперь уже не позволял себе ревновать. Во-первых, я перемучался уже этой мукой, и мне надо было отдохнуть; во-вторых, я хотел верить уверениям жены и верил им. Но, несмотря на то что я не ревновал, я все-таки был ненатурален с ним и с нею и во время обеда и первую половину вечера, пока не началась музыка. Я все еще следил за движениями и взглядами их обоих.

Обед был как обед, скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера; помню, как он принес скрипку, отпер ящик, снял вышитую ему дамой покрывку, достал и стал строить. Помню, как жена села с притворно равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость – робость преимущественно перед своим умением, – с притворным видом села за рояль, и начались обычные *la* на фортепиано, пиччикато скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся и потом сказали что-то друг другу, и началось. Он взял первый аккорд. У него сделалось серьезное, строгое, симпатичное лицо, и, прислушиваясь к своим звукам, он осторожными пальцами дернул по струнам, и рояль ответил ему. И началось...

Он остановился и несколько раз сряду произвел свои звуки. Хотел начать говорить, но засопел носом и опять остановился.

– Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо? Знаете?! – вскрикнул он. – У!.. Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю.

Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом, – вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует, как зевота, как смех: мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего, смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося.

Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, – Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, – это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек.

А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно; мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да вот как, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот

как, как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета, но сознание этого нового состояния было очень радостно. Все те же лица, и в том числе и жена и он, представлялись совсем в другом свете.

После этого престо они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое *andante* с пошлыми варьяциями и совсем слабый финал. Потом еще играли по просьбе гостей то «Элегию» Эрнста, то еще разные вещицы. Все это было хорошо, но все это не произвело на меня и 0,01 того впечатления, которое произвело первое. Все это происходило уже на фоне того впечатления, которое произвело первое. Мне было легко, весело весь вечер. Жену же я никогда не видал такую, какую она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность какая-то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили. Я все это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что она испытывала то же, что и я, что и ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились новые, неиспытанные чувства. Вечер кончился благополучно, и все разъехались.

Зная, что я должен был через два дня ехать на съезд, Трухачевский, прощаясь, сказал, что он надеется в свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня, и это было мне приятно. Оказывалось, что так как я не вернусь до его отъезда, то мы с ним больше не увидимся.

Я в первый раз с истинным удовольствием пожал ему руку и благодарил его за удовольствие. Он также совсем простился с женой. И их прощанье показалось мне самым натуральным и приличным. Все было прекрасно. Мы оба с женой были очень довольны вечером.

– Через два дня я уехал в уезд, в самом хорошем, спокойном настроении простившись с женой. В уезде всегда бывало пропасть дела и совсем особенная жизнь, особенный мирок. Два дня я по десяти часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствие принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках и между прочим, как о вещи самой обыкновенной, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, чтобы он обещал принести ноты: мне казалось, что он тогда простился совсем, и потому это неприятно поразило меня. Но дела было столько, что некогда было подумать, и я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя и запер его скорей. «Какое мерзкое чувство эта ревность! – сказал я себе. – Что может быть естественнее того, что она пишет?»

И я лег в постель и стал думать о делах, предстоящих на завтра. Мне всегда долго не спалось во время этих съездов, на новом месте, но тут я заснул очень скоро. И как это бывает, знаете, вдруг толчок электрический, и просыпаешься. Так я проснулся, и проснулся с мыслью о ней, о моей плотской любви к ней, и о Трухачевском, и о том, что между нею и им все кончено. Ужас и злоба стиснули мне сердце. Но я стал образумливать себя. «Что за вздор, – говорил я себе, – нет никаких оснований, ничего нет и не было. И как я могу так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы. Что-то вроде наемного скрипача, известный за дрянного человека, и вдруг женщина почтенная, уважаемая мать семейства, моя жена! Что за нелепость!» – представлялось мне с одной стороны. «Как же этому не быть?» – представлялось мне с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего я женился на ней, то самое, во имя чего я с нею жил, чего одного в ней нужно было и мне и чего поэтому нужно было и другим и этому музыканту. Он человек неженатый, здоровый (помню, как он хрустел хрящом в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином), сытый, гладкий, и не только без правил, но, очевидно, с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются. И между ними связь музыки, самой утонченной похоти

чувств. Что же может удержать его? Ничто. Все, напротив, привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна, как была, так и есть. Я не знаю ее. Знаю ее только как животное. А животное ничто не может, не должно удержать.

Только теперь я вспомнил их лица в тот вечер, когда они после Крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу, не помню кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. «Как я мог уехать? – говорил я себе, вспоминая их лица. – Разве не ясно было, что между ними все совершилось в этот вечер? и разве не видно было, что уже в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, но что они оба, главное она, испытывали некоторый стыд после того, что случилось с ними?» Помню, как она слабо, жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с покрасневшегося лица, когда я подошел к фортепиано. Они уже тогда избегали смотреть друг на друга, и только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. Я с ужасом вспомнил теперь этот перехваченный мною их взгляд с чуть заметной улыбкой. «Да, все кончено», – говорил мне один голос, и тотчас же другой голос говорил совсем другое. «Это что-то нашло на тебя, этого не может быть», – говорил этот другой голос. Мне жутко стало лежать в темноте, я зажег спичку, и мне как-то страшно стало в этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Я закурил папироску и, как всегда бывает, когда вертишься в одном и том же кругу неразрешающихся противоречий, – куришь, и я курил одну папироску за другой, для того чтобы затуманить себя и не видеть противоречий.

Я не заснул всю ночь, и в пять часов, решив, что не могу оставаться более в этом напряжении и сейчас же поеду, я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадью. В заседание я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву; потому прошу, чтобы меня заменил член. В восемь часов я сел в тарантас и поехал.

Вошел кондуктор и, заметив, что свеча наша догорела, потушил ее, не вставляя новой. На дворе начинало светать. Позднышев молчал, тяжело вздыхая все время, пока в вагоне был кондуктор. Он продолжал свой рассказ, только когда вышел кондуктор и в полутемном вагоне слышался только треск стекол движущегося вагона и равномерный храп приказчика. В полусвете зари мне совсем уже не видно его было. Слышен был только его все более и более взволнованный, страдающий голос.

– Ехать надо было тридцать пять верст на лошадях и восемь часов по чугунке. На лошадях ехать было прекрасно. Была морозная осенняя пора с ярким солнцем. Знаете, эта пора, когда шипы выпечатываются на масляной дороге. Дороги гладкие, свет яркий и воздух бодрящий. В тарантасе ехать было хорошо. Когда рассвело и я поехал, мне стало легче. Глядя на лошадей, на поля, на встречных, забывал, куда я еду. Иногда мне казалось, что я просто еду и что ничего того, что вызвало меня, ничего этого не было. И мне особенно радостно бывало так забываться. Когда же я вспоминал, куда я еду, я говорил себе: «Тогда видно будет, не думай». На середине дороги сверх того случилось событие, задержавшее меня в дороге и еще больше развлекшее меня: тарантас сломался, и надо было чинить его. Поломка эта имела большое значение тем, что она сделала то, что я приехал в Москву не в пять часов, как я рассчитывал, а в двенадцать часов и домой – в первом часу, так как я не попал на курьерский, а должен был уже ехать на пассажирском. Поездка за телегой, починка, расплата, чай на постоялом дворе, разговоры с дворником – все это еще больше развлекло меня. Сумерками все было готово, и я опять поехал, и ночью еще лучше было ехать, чем днем. Был молодой месяц, маленький мороз, еще прекрасная дорога, лошади, веселый ямщик, и я ехал и наслаждался, почти совсем не думая о том, что меня ожидает, или именно потому особенно наслаждался, что знал, что меня ожидает, и прощался с радостями жизни. Но это спокойное состояние мое, возможность подавлять свое чувство кончилось поездкой на лошадях. Как только я вошел в вагон, началось совсем другое. Этот восьмичасовой переезд в вагоне был для меня что-то ужасное, чего я не забуду во всю жизнь. Оттого ли, что, сев в вагон, я живо представил себя уже приехавшим, или оттого, что железная дорога так возбуждающе действует на людей, но только, с тех пор как я сел в вагон, я уже не мог владеть своим воображением, и оно не переставая с

необычайной яркостью начало рисовать мне разжигающие мою ревность картины, одну за другой и одну циничнее другой, и все о том же, о том, что происходило там, без меня, как она изменяла мне. Я сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, и не мог оторваться от них; не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их. Мало того, чем более я созерцал эти воображаемые картины, тем более я верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись мне эти картины, как будто служила доказательством тому, что то, что я воображал, было действительностью. Какой-то дьявол, точно против моей воли, придумывал и подсказывал мне самые ужасные соображения. Давнишний разговор с братом Трухачевского вспомнился мне, и я с каким-то восторгом раздирал себе сердце этим разговором, относя его к Трухачевскому и моей жене.

Это было очень давно, но я вспомнил это. Брат Трухачевского, я помню, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину. И вот он, его брат, нашел мою жену. «Правда, она уже не первой молодости, зуба одного нет сбоку и есть пухлость некоторая, – думал я за него, – но что же делать, надо пользоваться тем, что есть». – «Да, он делает снисхождение ей, что берет ее своей любовницей, – говорил я себе. – Притом она безопасна». – «Нет, это невозможно! Что я думаю! – ужасаясь, говорил я себе. – Ничего, ничего подобного нет. И нет даже никаких оснований что-нибудь предполагать подобное. Разве она не говорила мне, что ей унижительно даже мысль о том, что я могу ревновать к нему? Да, но она лжет, все лжет!» – вскрикивал я – и начиналось опять... Пассажиров в нашем вагоне было только двое – старушка с мужем, оба очень неразговорчивые, и те вышли на одной из станций, и я остался один. Я был как зверь в клетке: то я вскакивал, подходил к окнам, то, шатаясь, начинал ходить, стараясь подогнать вагон; но вагон со всеми лавками и стеклами все точно так же подрагивал, вот как наш...

И Позднышев вскочил и сделал несколько шагов и опять сел.

– Ох, боюсь я, боюсь я вагонов железной дороги, ужас находит на меня. Да, ужасно! – продолжал он. – Я говорил себе: «Буду думать о другом. Ну, положим, о хозяине постоянного двора, у которого я пил чай». Ну вот, в глазах воображения возникает дворник с длинной бородой и его внук – мальчик одних лет с моим Васей. Мой Вася! Он увидит, как музыкант целует его мать. Что сделается в его бедной душе? Да ей что! Она любит... И опять поднималось то же. Нет, нет... Ну, буду думать об

осмотре больницы. Да, как вчера больной жаловался на доктора. А доктор с усами, как у Трухачевского. И как он нагло... Они оба обманывали меня, когда говорил, что он уезжает. И опять начиналось. Все, о чем я думал, имело связь с ним. Я страдал ужасно. Страдание главное было в неведении, в сомнениях, в раздвоении, в незнании того, что – любить или ненавидеть надо ее. Страдания были так сильны, что, я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы под вагон и кончить. Тогда, по крайней мере, не будешь больше колебаться, сомневаться. Одно, что мешало это сделать, была жалость к себе, тотчас же непосредственно за собой вызывавшая ненависть к ней. К нему же было какое-то странное чувство и ненависти и сознания своего унижения и его победы, но к ней страшная ненависть. «Нельзя покончить с собой и оставить ее; надо, чтоб она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла бы, что я страдал», – говорил я себе. Я выходил на всех станциях, чтобы развлекаться. На одной станции я в буфете увидал, что пьют, и тотчас же сам выпил водки. Рядом со мной стоял еврей и тоже пил. Он разговорился, и я, чтобы только не оставаться одному в своем вагоне, пошел с ним в его грязный, накуренный и забрызганный шелухой от семечек вагон третьего класса. Там я сел с ним рядом, и он много что-то болтал и рассказывал анекдоты. Я слушал его, но не мог понимать того, что он говорит, потому что продолжал думать о своем. Он заметил это и стал требовать к себе внимания; тогда я встал и ушел опять в свой вагон. «Надо обдумать, – говорил я себе, – правда ли то, что я думаю, и есть ли основание мне мучаться». Я сел, желая спокойно обдумать, но тотчас же вместо спокойного обдумыванья началось опять то же: вместо рассуждений – картины и представления. «Сколько раз я так мучался, – говорил я себе (я вспоминал прежние подобные припадки ревности), – и потом все кончалось ничем. Так и теперь, может быть, даже наверное, я найду ее спокойно спящую; она проснется, обрадуется мне, и по словам, по взгляду я почувствую, что ничего не было и что все это вздор. О, как хорошо бы это!» – «Но нет, это слишком часто было, и теперь этого уже не будет», – говорил мне какой-то голос, и опять начиналось. Да, вот где была казнь! Не в сифилитическую больницу я сводил бы молодого человека, чтобы отбить у него охоту от женщин, но в душу к себе, посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали ее! Ведь ужасно было то, что я признавал за собой несомненное, полное право над ее телом, как будто это было мое тело, и вместе с тем чувствовал, что владеть я этим телом не могу, что оно не мое и что она может распоряжаться им как хочет, а хочет распорядиться им не так, как я хочу. И я ничего не могу сделать ни ему, ни ей. Он, как Ванька-

ключничек перед виселицей, споеет песенку о том, как в сахарные уста было поцеловано и прочее. И верх его. А с ней еще меньше я могу что-нибудь сделать. Если она не сделала, но хочет, а я знаю, что хочет, то еще хуже: уж лучше бы сделала, чтоб я знал, чтоб не было неизвестности. Я не мог бы сказать, чего я хотел. Я хотел, чтоб она не желала того, что она должна желать. Это было полное сумасшествие!

– На предпоследней станции, когда кондуктор пришел собирать билеты, я, собрав свои вещи, вышел на тормоз, и сознание того, что близко, вот оно, решение, еще усилило мое волнение. Мне стало холодно, и я стал дрожать челюстями так, что стучал зубами. Я машинально с толпой вышел из вокзала, взял извозчика, сел и поехал. Я ехал, оглядывая редких прохожих, и дворников, и тени, бросаемые фонарями и моей пролеткой то спереди, то сзади, ни о чем не думая. Отъехав с полверсты, мне стало холодно ногам, и я подумал о том, что снял в вагоне шерстяные чулки и положил их в сумку. Где сумка? тут ли? Тут. А где корзина? Я вспомнил, что я забыл совсем о багаже, но, вспомнив и достав расписку, решил, что не стоит возвращаться за этим, и поехал дальше.

Сколько я ни стараюсь вспомнить теперь, я никак не могу вспомнить моего тогдашнего состояния: что я думал? чего хотел? ничего не знаю. Помню только, что у меня было сознание того, что готовится что-то страшное и очень важное в моей жизни. Оттого ли произошло то важное, что я так думал, или оттого, что предчувствовал, – не знаю. Может быть и то, что после того, что случилось, все предшествующие минуты в моем воспоминании получили мрачный оттенок. Я подъехал к крыльцу. Был первый час. Несколько извозчиков стояло у крыльца, ожидая седоков по освещенным окнам (освещенные окна были в нашей квартире, в зале и гостиной). Не отдавая себе отчета в том, почему есть еще свет так поздно в наших окнах, я в том же состоянии ожидания чего-то страшного взошел на лестницу и позвонил. Лакей, добрый, старательный и очень глупый Егор, отворил. Первое, что бросилось в глаза, в передней была на вешалке рядом с другим платьем его шинель. Я бы должен был удивиться, но не удивился, точно я ждал этого. «Так и есть», – сказал я себе. Когда я спросил Егора, кто здесь, и он назвал мне Трухачевского, я спросил, есть ли еще кто-нибудь. Он сказал:

– Никого-с.

Помню, как он ответил мне это с такой интонацией, как будто желал порадовать меня и рассеять сомнения, что есть еще кто. «Никого-с. Так, так», – как будто говорил я себе.

– А дети?

– Слава богу, здоровы. Давно спят-с.

Я не мог продохнуть и не мог остановить трясущихся челюстей. «Да,

стало быть, не так, как я думал: то прежде я думал – несчастье, а оказалось все хорошо, по-старому. Теперь же вот не по-старому, а вот оно все то, что я представлял себе и думал, что только представлял, а вот оно все в действительности. Вот оно все...»

Я чуть было не зарыдал, но тотчас же дьявол подсказал: «Ты плачь, сентиментальничай, а они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь сомневаться и мучаться». И тотчас чувствительность над собой исчезла, и явилось странное чувство – вы не поверите – чувство радости, что кончится теперь мое мученье, что теперь я могу наказать ее, могу избавиться от нее, что я могу дать волю моей злобе. И я дал волю моей злобе – я сделался зверем, злым и хитрым зверем.

– Не надо, не надо, – сказал я Егору, хотевшему идти в гостиную, – а ты вот что: ты поди, скорее возьми извозчика и поезжай; вот квитанция, получи вещи. Ступай.

Он пошел по коридору за своим пальто. Боясь, что он спугнет их, я проводил его до его каморки и подождал, пока он оделся. В гостиной, за другой комнатой, слышен был говор и звук ножей и тарелок. Они ели и не слышали звонка. «Только бы не вышли теперь», – думал я. Егор надел свое пальто с астраханским барашком и вышел. Я выпустил его и запер за ним дверь, и мне стало жутко, когда я почувствовал, что остался один и что мне надо сейчас действовать. Как – я еще не знал. Я знал только, что теперь все кончено, что сомнений в ее невинности не может быть и что я сейчас накажу ее и кончу мои отношения с нею.

Прежде еще были у меня колебания, я говорил себе: «А может быть, это неправда, может быть, я ошибаюсь», – теперь уж этого не было. Все было решено бесповоротно. Тайно от меня, одна с ним, ночью! Это уже совершенное забвение всего. Или еще хуже: нарочно такая смелость, дерзость в преступлении, чтобы дерзость эта служила признаком невинности. Все ясно. Сомнения нет. Я боялся только одного, как бы они не разбежались, не придумали еще нового обмана и не лишили меня тем и очевидности улики, и возможности наказать. И, с тем чтоб скорее застать их, я на цыпочках пошел в залу, где они сидели, не через гостиную, а через коридор и детскую.

В первой детской мальчики спали. Во второй детской няня зашевелилась, хотела проснуться, и я представил себе то, что она подумает, узнав все, и такая жалость к себе охватила меня при этой мысли, что я не мог удержаться от слез и, чтобы не разбудить детей, выбежал на цыпочках в коридор и к себе в кабинет, повалился на свой диван и зарыдал.

«Я – честный человек, я – сын своих родителей, я – всю жизнь

мечтавший о счастье семейной жизни, я – мужчина, никогда не изменявший ей... И вот! пять человек детей, и она обнимает музыканта, оттого что у него красные губы! Нет, это не человек!

Это сука, это мерзкая сука! Рядом с комнатой детей, в любви к которым она притворялась всю свою жизнь. И писать мне то, что она писала! И так нагло броситься на шею! Да что я знаю? может быть, все время это так было. Может быть, она давно с лакеями прижила всех детей, которые считаются моими. И завтра я бы приехал, и она в своей прическе, с своей этой талией и ленивыми грациозными движениями (я увидел все ее привлекательное ненавистное лицо) встретила бы меня, и зверь этот ревности навеки сидел бы у меня в сердце и раздирал бы его. Няня что подумает, Егор. И бедная Лизочка! Она уже понимала что-то. И эта наглость! и эта ложь! и эта животная чувственность, которую я так знаю», – говорил я себе.

Я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. Да, я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо. Что ж, ей убить? Да нет, это бы ей было слишком выгодно, и этого удовольствия я не доставлю ей. Да, и я сижу, а они там едят и смеются, и... Да, несмотря на то, что она была уж не первой свежести, он не побрезгал ею: все-таки она была недурна, главное же, по крайней мере, было безопасно для его драгоценного здоровья. «И зачем я не задушил ее тогда», – сказал я себе, вспомнив ту минуту, когда я неделю тому назад выталкивал ее из кабинета и потом колотил вещи. Мне живо вспомнилось то состояние, в котором я был тогда; не только вспомнилось, но я ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощущал тогда. Помню, как мне захотелось действовать, и всякие соображения, кроме тех, которые нужны были для действия, выскочили у меня из головы. Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, когда человек действует точно, неторопливо, но и не теряя ни минуты, и все только с одною определенною целью.

– Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый. Я вынул его из ножен. Ножны, я помню, завалились за диван, и помню, что я сказал себе: «Надо после найти их, а то пропадут». Потом я снял пальто, которое все время было на мне, и, мягко ступая в одних чулках, пошел туда.

И подкравшись тихо, я вдруг отворил дверь. Помню выражение их лиц. Я помню это выражение, потому что выражение это доставило мне мучительную радость. Это было выражение ужаса. Этого-то мне и надо было. Я никогда не забуду выражение отчаянного ужаса, которое выступило в первую секунду на обоих их лицах, когда они увидали меня. Он сидел, кажется, за столом, но, увидав или услышав меня, вскочил на ноги и остановился спиной к шкафу. На его лице было одно очень несомненное выражение ужаса. На ее лице было то же выражение ужаса, но с ним вместе было и другое. Если бы оно было одно, может быть, не случилось бы того, что случилось; но в выражении ее лица было, по крайней мере показалось мне в первое мгновение, было еще огорчение, недовольство тем, что нарушили ее увлечение любовью и ее счастье с ним. Ей как будто ничего не нужно было, кроме того, чтобы ей не мешали быть счастливой теперь. То и другое выражение только мгновение держалось на их лицах. Выражение ужаса в его лице тотчас же сменилось выражением вопроса: можно лгать или нет? Если можно, то надо начинать. Если нет, то начнется еще что-то другое. Но что? Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице выражение досады и огорчения сменилось, как мне показалось, когда она взглянула на него, заботою о нем.

На мгновение я остановился в дверях, держа кинжал за спиною. В это же мгновение он улыбнулся и до смешного равнодушным тоном начал:

– А мы вот музицировали...

– Вот не ждала, – в то же время начала и она, покоряясь его тону.

Но ни тот, ни другой не договорили: то же самое бешенство, которое я испытывал неделю тому назад, овладело мной. Опять я испытал эту потребность разрушения, насилия и восторга бешенства и отдался ему.

Оба не договорили... Началось то другое, чего он боялся, что разрывало сразу все, что они говорили. Я бросился к ней, все еще скрывая кинжал, чтобы он не помешал мне ударить ее в бок под грудью. Я выбрал

это место с самого начала. В ту минуту, как я бросился к ней, он увидел, и, чего я никак не ждал от него, он схватил меня за руку и крикнул:

– Опомнитесь, что вы! Люди!

Я вырвал руку и молча бросился к нему. Его глаза встретились с моими, он вдруг побледнел как полотно, до губ, глаза сверкнули как-то особенно, и, чего я тоже никак не ожидал, он шмыгнул под фортепиано, в дверь. Я бросился было за ним, но на левой руке моей повисла тяжесть. Это была она. Я рванулся. Она еще тяжелее повисла и не выпускала. Неожиданная эта помеха, тяжесть и ее отвратительное мне прикосновение еще больше разожгли меня. Я чувствовал, что я вполне бешеный и должен быть страшен, и радовался этому. Я размахнулся изо всех сил левой рукой и локтем попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было бы смешно бежать в чулках за любовником своей жены, а я не хотел быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило мною. Я повернулся к ней. Она упала на кушетку и, схватившись рукой за расшибленные мною глаза, смотрела на меня. В лице ее были страх и ненависть ко мне, к врагу, как у крысы, когда поднимают мышеловку, в которую она попала. Я, по крайней мере, ничего не видел в ней, кроме этого страха и ненависти ко мне. Это был тот самый страх и ненависть ко мне, которые должна была вызвать любовь к другому. Но еще, может быть, я удержался бы и не сделал бы того, что я сделал, если бы она молчала. Но она вдруг начала говорить и хватать меня рукой за руку с кинжалом:

– Опомнись! Что ты? Что с тобой? Ничего нет, ничего, ничего... Клянусь!

Я бы и еще помедлил, но эти последние слова ее, по которым я заключил обратное, то есть, что все было, вызывали ответ. И ответ должен был быть соответствен тому настроению, в которое я привел себя, которое все шло crescendo^[2] и должно было продолжать так же возвышаться. У бешенства есть тоже свои законы.

– Не лги, мерзавка! – завопил я и левой рукой схватил ее за руку, но она вырвалась. Тогда все-таки я, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была... Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла, и я как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок, ниже ребер.

Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что

они делают, – это вздор, неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Не могу сказать, чтобы я знал вперед, что я буду делать, но в ту секунду, как я делал, даже, кажется, несколько вперед, я знал, что я делаю, как будто для того, чтоб возможно было раскаяться, чтоб я мог себе сказать, что я мог остановиться. Я знал, что я ударяю ниже ребер и что кинжал войдет. В ту минуту, как я делал это, я знал, что я делаю нечто ужасное, такое, какого я никогда не делал и которое будет иметь ужасные последствия. Но сознание это мелькнуло как молния, и за сознанием тотчас же следовал поступок. И поступок сознавался с необычайной яркостью. Я слышал и помню мгновенное противодействие корсета и еще чего-то и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала. Я долго потом, в тюрьме, после того как нравственный переворот совершился во мне, думал об этой минуте, вспоминал, что мог, и соображал. Помню на мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того, что я убиваю и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Ужас этого сознания я помню и потому заключаю и даже вспоминаю смутно, что, воткнув кинжал, я тотчас же вытащил его, желая поправить сделанное и остановить. Я секунду стоял неподвижно, ожидая, что будет, можно ли поправить. Она вскочила на ноги, вскрикнула:

– Няня! он убил меня!

Услыхавшая шум няня стояла в дверях. Я все стоял, ожидая и не веря. Но тут из-под ее корсета хлынула кровь. Тут только я понял, что поправить нельзя, и тотчас же решил, что и не нужно, что я этого самого и хочу и это самое и должен был сделать. Я подождал, пока она упала и няня с криком: «Батюшки!» – подбежала к ней, и тогда только бросил кинжал прочь и пошел из комнаты.

«Не надо волноваться, надо знать, что я делаю», – сказал я себе, не глядя на нее и няню. Няня кричала, звала девушку. Я прошел коридором и, послав девушку, пошел в свою комнату. «Что теперь надо делать?» – спросил себя и тотчас же понял что. Войдя в кабинет я прямо подошел к стене, снял с нее револьвер, осмотрел его – он был заряжен – и положил на стол. Потом достал ножны из-за дивана и сел на диван.

Долго я сидел так. Я ничего не думал, ничего не вспоминал. Я слышал, что там что-то возились. Слышал, как приехал кто-то, потом еще кто-то. Потом слышал и видел, как Егор внес мою привезенную корзину в кабинет.

Точно кому-нибудь это нужно!

– Слышал ты, что случилось? – сказал я. – Скажи дворнику, чтобы дали знать в полицию.

Он ничего не сказал и ушел. Я встал, запер дверь и, достав папироски и спичку, стал курить. Я не докурил папироски, как меня схватил и повалил сон. Я спал, верно, часа два. Помню, я видел во сне, что мы дружны с ней, поссорились, но миримся, и что немножко что-то мешает, но мы дружны. Меня разбудил стук в дверь. «Это полиция, – подумал я, просыпаясь. – Ведь я убил, кажется. А может быть, это она, и ничего не было». В дверь еще постучались. Я ничего не отвечал, решая вопрос: было это или не было? Да, было. Я вспомнил сопротивление корсета и погружение ножа, и мороз пробежал по спине. «Да, было. Да, теперь надо и себя», – сказал я себе. Но я говорил это и знал, что я не убью себя. Однако я встал и взял опять в руки револьвер. Но странное дело: помню, как прежде много раз я был близок к самоубийству, как в тот день даже, на железной дороге, мне это легко казалось, легко именно потому, что я думал, как я этим поражу ее. Теперь я никак не мог не только убить себя, но и подумать об этом. «Зачем я это сделаю?» – спрашивал я себя, и ответа не было. В дверь постучались еще. «Да, прежде надо узнать, кто это стучится. Успею еще». Я положил револьвер и покрыл его газетой. Я подошел к двери и отодвинул задвижку. Это была сестра жены, добрая, глупая вдова.

– Вася! что это? – сказала она, и всегда готовые у ней слезы полились.

– Что надо? – грубо спросил я. Я видел, что совсем не надо было и незачем было быть с ней грубым, но я не мог придумать никакого другого тона.

– Вася, она умирает! Иван Федорович сказал. – Иван Федорович это был доктор, ее доктор, советчик.

– Разве он здесь? – спросил я, и вся злоба на нее поднялась опять. – Ну так что ж?

– Вася, поди к ней. Ах, как это ужасно, – сказала она.

«Пойти к ней?» – задал я себе вопрос. И тотчас же ответил, что надо пойти к ней, что, вероятно, всегда так делается, что когда муж, как я, убил жену, то непременно надо идти к ней. «Если так делается, то надо идти, – сказал я себе. – Да если нужно будет, всегда успею», – подумал я о своем намерении застрелиться и пошел за нею. «Теперь будут фразы, гримасы, но я не поддамся им», – сказал я себе.

– Поймай, – сказал я сестре, – глупо без сапог, дай я надену хоть туфли.

XXVIII

– И удивительное дело! Опять, когда я вышел из комнаты и пошел по привычным комнатам, опять во мне явилась надежда, что ничего не было, но запах этой докторской гадости – йодоформ, карболка – поразил меня. Нет, все было. Проходя по коридору мимо детской, я увидел Лизоньку. Она смотрела на меня испуганными глазами. Мне показалось даже, что тут были все пятеро детей и все смотрели на меня. Я подошел к двери, и горничная изнутри отворила мне и вышла. Первое, что бросилось мне в глаза, было ее светло-серое платье на стуле, все черное от крови. На нашей двуспальной постели, на моей даже постели – к ней был легче подход – лежала она с поднятыми коленями. Она лежала очень отлого на одних подушках, в расстегнутой кофте. На месте раны было что-то наложено. В комнате был тяжелый запах йодоформа. Прежде и больше всего поразило меня ее распухшее и синеющее по отекам лицо, часть носа и под глазом. Это было последствие удара моего локтем, когда она хотела удерживать меня. Красоты не было никакой, а что-то гадкое показалось мне в ней. Я остановился у порога.

– Подойди, подойди к ней, – говорила мне сестра.

«Да, верно, она хочет покаяться», – подумал я. «Простить? Да, она умирает, и можно простить ее», – думал я, стараясь быть великодушным. Я подошел вплоть. Она с трудом подняла на меня глаза, из которых один был подбитый, и с трудом, с запинками проговорила:

– Добился своего, убил... – И в лице ее, сквозь физические страдания и даже близость смерти, выразилась та же старая, знакомая мне холодная животная ненависть. – Детей... я все-таки тебе... не отдам... Она (ее сестра) возьмет...

О том же, что было главным для меня, о своей вине, измене, она как бы считала нестоящим упоминать.

– Да, полюбуйся на то, что ты сделал, – сказала она, глядя в дверь, и всхлипнула. В двери стояла сестра с детьми. – Да, вот что ты сделал.

Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидел в ней человека. И так ничтожно мне показалось все то, что оскорбляло меня, – вся моя ревность, и так значительно то, что я сделал, что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать: «Прости!» – но не смел.

Она молчала, закрыв глаза, очевидно не в силах говорить дальше.

Потом изуродованное лицо ее задрожало и сморщилось. Она слабо оттолкнула меня.

– Зачем все это было? Зачем?

– Прости меня, – сказал я.

– Прости? Все это вздор!.. Только бы не умереть!.. – вскрикнула она, приподнялась, и лихорадочно блестящие глаза ее устремились на меня. – Да, ты добился своего!.. Ненавижу!.. Ай! Ах! – очевидно, в бреду, пугаясь чего-то, закричала она. – Ну, убивай, убивай, я не боюсь... Только всех, всех, и его. Ушел, ушел!

Бред продолжался все время. Она не узнавала никого. В тот же день, к полдню, она померла. Меня прежде этого, в восемь часов, отвели в часть и оттуда в тюрьму. И там, просидев одиннадцать месяцев, дожидаясь суда, я обдумал себя и свое прошедшее и понял его. Начал понимать я на третий день. На третий день меня водили туда...

Он что-то хотел сказать и, не в силах будучи удержать рыдания, остановился. Собравшись с силами, он продолжал:

– Я начал понимать только тогда, когда увидал ее в гробу. – Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал: – Только тогда, когда я увидал ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, от не может понять... У! у! у!.. – вскрикнул он несколько раз и затих.

Мы долго сидели молча. Он всхлипывал и трясся молча передо мной.

– Ну, простите...

Он отвернулся от меня и прилег на лавке, закрывшись пледом. На той станции, где мне надо было выходить, – это было в восемь часов утра, – я подошел к нему, чтобы проститься. Спал ли он или притворялся, но он не шевелился. Я тронул его рукой. Он открылся, и видно было, что он не спал.

– Прощайте, – сказал я, подавая ему руку.

Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать.

– Да, простите, – повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ.

Послесловие к «Крейцеровой сонате»

Я получил и получаю много писем от незнакомых мне лиц, просящих меня объяснить в простых и ясных словах то, что я думаю о предмете написанного мною рассказа под заглавием «Крейцера соната». Попытаюсь это сделать, то есть в коротких словах выразить, насколько это возможно, сущность того, что я хотел сказать в этом рассказе, и тех выводов, которые, по моему мнению, можно сделать из него.

Хотел я сказать, *во-первых*, то, что в нашем обществе сложилось твердое, общее всем сословиям и поддерживаемое ложной наукой убеждение в том, что половое общение есть дело необходимое для здоровья и что так как женитьба есть дело не всегда возможное, то и половое общение вне брака, не обязывающее мужчину ни к чему, кроме денежной платы, есть дело совершенно естественное и потому долженствующее быть поощряемым. Убеждение это до такой степени стало общим и твердым, что родители, по совету врачей, устраивают разврат для своих детей; правительства, единственный смысл которых состоит в заботе о нравственном благосостоянии своих граждан, учреждают разврат, то есть регулируют целое сословие женщин, долженствующих погибать телесно и душевно для удовлетворения мнимых потребностей мужчин, а холостые люди с совершенно спокойной совестью предаются разврату.

И вот я хотел сказать, что это нехорошо, потому что не может быть того, чтобы для здоровья одних людей можно бы было губить тела и души других людей, так же как не может быть того, чтобы для здоровья одних людей нужно было пить кровь других.

Вывод же, который, мне кажется, естественно сделать из этого, тот, что поддаваться этому заблуждению и обману не нужно. А для того, чтобы не поддаваться, надо, *во-первых*, не верить безнравственным учениям, какими бы они ни поддерживались мнимыми науками, а *во-вторых*, понимать, что вступление в такое половое общение, при котором люди или освобождают себя от возможных последствий его – детей, или сваливают всю тяжесть этих последствий на женщину, или предупреждают возможность рождения детей, – что такое половое общение есть преступление самого простого требования нравственности, есть подлость, и что потому холостым людям, не желающим жить подло, надо не делать этого.

Для того же, чтобы они могли воздержаться, они должны, кроме того

что вести естественный образ жизни: не пить, не объедаться, не есть мяса и не избегать труда (не гимнастики, а утомляющего, не игрушечного труда), не допускать в мыслях своих возможности общения с чужими женщинами, так же как всякий человек не допускает такой возможности между собой и матерью, сестрами, родными, женами друзей.

Доказательство же того, что воздержание возможно и менее опасно и вредно для здоровья, чем невоздержание, всякий мужчина найдет вокруг себя сотни.

Это первое.

Второе то, что в нашем обществе, вследствие взгляда на любовное общение не только как на необходимое условие здоровья и на удовольствие, но и как на поэтическое, возвышенное благо жизни, супружеская неверность сделалась во всех слоях общества (в крестьянском особенно, благодаря солдатству) самым обычным явлением.

И я полагаю, что это нехорошо. Вывод же, который вытекает из этого, тот, что этого не надо делать.

Для того же, чтобы не делать этого, надо, чтобы изменился взгляд на плотскую любовь, чтобы мужчины и женщины воспитывались бы в семьях и общественным мнением так, чтобы они и до и после женитьбы не смотрели на влюбление и связанную с ним плотскую любовь как на поэтическое и возвышенное состояние, как на это смотрят теперь, а как на унижительное для человека животное состояние, и чтобы нарушение обещания верности, даваемого в браке, казнилось бы общественным мнением по крайней мере так же, как казнятся им нарушения денежных обязательств и торговые обманы, а не воспевалось бы, как это делается теперь, в романах, стихах, песнях, операх и т. д.

Это второе.

Третье то, что в нашем обществе, вследствие опять того же ложного значения, которое придано плотской любви, рождение детей потеряло свой смысл и, вместо того, чтобы быть целью и оправданием супружеских отношений, стало помехой для приятного продолжения любовных отношений, и что потому и вне брака и в браке, по совету служителей врачебной науки, стало распространяться употребление средств, лишаящих женщину возможности деторождения или стало входить в обычай и привычку то, чего не было прежде и теперь еще нет в патриархальных крестьянских семьях: продолжение супружеских отношений при беременности и кормлении.

И полагаю я, что это нехорошо. Нехорошо употреблять средства против рождения детей, во-первых, потому, что это освобождает людей от

забот и трудов о детях, служащих искуплением плотской любви, а во-вторых, потому, что это нечто весьма близкое к самому противному человеческой совести действию – убийству. И нехорошо невоздержание во время беременности и кормления, потому что это губит телесные, а главное – душевные силы женщины.

Вывод же, который вытекает из этого, тот, что этого не надо делать. А для того, чтобы этого не делать, надо понять, что воздержание, составляющее необходимое условие человеческого достоинства при безбрачном состоянии, еще более обязательно в браке.

Это третье.

Четвертое то, что в нашем обществе, в котором дети представляются или помехой для наслаждения, или несчастной случайностью, или своего рода наслаждением, когда их рождается вперед определенное количество, эти дети воспитываются не в виду тех задач человеческой жизни, которые предстоят им как разумным и любящим существам, а только в виду тех удовольствий, которые они могут доставить родителям. И что вследствие этого дети людей воспитываются как дети животных, так что главная забота родителей состоит не в том, чтобы приготовить их к достойной человека деятельности, а в том (в чем поддерживаются родители ложной наукой, называемой медициной), чтобы как можно лучше напитать их, увеличить их рост, сделать их чистыми, белыми, сытыми, красивыми (если в низших классах этого не делают, то только по необходимости, а взгляд один и тот же). И в изнеженных детях, как и во всяких перекормленных животных, неестественно рано появляется непреодолимая чувственность, составляющая причину страшных мучений этих детей в отроческом возрасте. Наряды, чтения, зрелища, музыка, танцы, сладкая пища, вся обстановка жизни, от картинок на коробках до романов и повестей и поэм, еще более разжигают эту чувственность, и вследствие этого самые ужасные половые пороки и болезни делаются обычными условиями вырастания детей обоего пола и часто остаются и в зрелом возрасте.

И я полагаю, что это нехорошо. Вывод же, который можно сделать из этого, тот, что надо перестать воспитывать детей людей, как детей животных, и для воспитания людских детей поставить себе другие цели, кроме красивого, выхоленного тела.

Это четвертое.

Пятое то, что в нашем обществе, где влюбление между молодым мужчиной и женщиной, имеющее в основе все-таки плотскую любовь, возведено в высшую поэтическую цель стремлений людей, свидетельством чего служит все искусство и поэзия нашего общества, молодые люди

лучшее время своей жизни посвящают: мужчины на выглядывание, приискивание и овладение наилучшими предметами любви в форме любовной связи или брака, а женщины и девушки – на заманивание и вовлечение мужчин в связь или брак.

И от этого лучшие силы людей тратятся не только на непроизводительную, но на вредную работу. От этого происходит большая часть безумной роскоши нашей жизни, от этого – праздность мужчин и бесстыдство женщин, не пренебрегающих выставленным по модам, заимствуемым от заведомо развратных женщин, вызывающих чувственность частей тела.

И я полагаю, что это нехорошо.

Нехорошо это потому, что достижение цели соединения в браке или вне брака с предметом любви, как бы оно ни было опозитизировано, есть цель, недостойная человека, так же как недостойна человека представляющаяся многим людям высшим благом цель приобретения себе сладкой и изобильной пищи.

Вывод же, который можно сделать из этого, тот, что надо перестать думать, что любовь плотская есть нечто особенно возвышенное, а надо понять, что цель, достойная человека, – служение ли человечеству, отечеству, науке, искусству ли (не говоря уже о служении богу) – какая бы она ни была, если только мы считаем ее достойной человека, не достигается посредством соединения с предметом любви в браке или вне его, а что, напротив, влюбление и соединение с предметом любви (как бы ни старались доказывать противное в стихах и прозе) никогда не облегчает достижение достойной человека цели, но всегда затрудняет его. Это пятое.

Вот то существенное, что я хотел сказать и думал, что сказал в своем рассказе. И мне казалось, что можно рассуждать о том, как исправить то зло, на которое указывали эти положения, но что не согласиться с ними никак нельзя.

Мне казалось, что не согласиться с этими положениями нельзя, во-первых, потому, что положения эти вполне согласны с прогрессом человечества, всегда шедшим от распушенности к большей и большей целомудренности, и с нравственным сознанием общества, с нашей совестью, всегда осуждающей распушенность и ценящей целомудрие; и, во-вторых, потому, что эти положения суть только неизбежные выводы из учения Евангелия, которые мы или исповедуем, или, по крайней мере, хотя и бессознательно, признаем основой наших понятий о нравственности. Но вышло не так.

Никто, правда, прямо не оспаривает положение о том, что

развратничать не надо до брака, не надо и после брака, что не надо искусственно уничтожать деторождение, что не надо из детей делать забавы и не надо ставить любовное соединение выше всего остального, – одним словом, никто не спорит о том, что целомудрие лучше распущенности. Но говорят: «Если безбрачие лучше брака, то очевидно, что люди должны делать то, что лучше. Если же люди сделают это, то род человеческий прекратится, и потому не может быть идеалом рода человеческого уничтожение его».

Но не говоря уже о том, что уничтожение рода человеческого не есть понятие новое для людей нашего мира, а есть для религиозных людей догмат веры, для научных же людей неизбежный вывод наблюдений об охлаждении солнца, в возражении этом есть большое, распространенное и старое недоразумение.

Говорят: «Если люди достигнут идеала полного целомудрия, то они уничтожаются, и потому идеал этот не верен». Но те, которые говорят так, умышленно или неумышленно смешивают две разнородные вещи – правило, предписание и идеал.

Целомудрие не есть правило или предписание, а идеал или, скорее, – одно из условий его. А идеал только тогда идеал, когда осуществление его возможно только в идее, в мысли, когда он представляется достижимым только в бесконечности и когда поэтому возможность приближения к нему – бесконечна. Если бы идеал не только мог быть достигнут, но мы могли бы представить себе его осуществление, он бы перестал быть идеалом. Таков идеал Христа, – установление царства бога на земле, идеал, предсказанный еще пророками о том, что наступит время, когда все люди будут научены богом, перекуют мечи на орала, копыя на серпы, лев будет лежать с ягненком и когда все существа будут соединены любовью. Весь смысл человеческой жизни заключается в движении по направлению к этому идеалу, и потому стремление к христианскому идеалу во всей его совокупности и к целомудрию, как к одному из условий этого идеала, не только не исключает возможности жизни, но, напротив того, отсутствие этого христианского идеала уничтожило бы движение вперед и, следовательно, возможность жизни.

Суждение о том, что род человеческий прекратится, если люди всеми силами будут стремиться к целомудрию, подобно тому, которое сделали бы (да и делают), что род человеческий погибнет, если люди, вместо борьбы за существование, будут всеми силами стремиться к осуществлению любви к друзьям, к врагам, ко всему живущему. Суждения такие вытекают из непонимания различия двух приемов нравственного руководства.

Как есть два способа указания пути ищущему, указания путешественнику, так есть и два способа нравственного руководства для ищущего правды человека. Один способ состоит в том, что человеку указываются предметы, долженствующие встретиться ему, и он направляется по этим предметам.

Другой способ состоит в том, что человеку дается только направление по компасу, который человек несет с собой и на котором он видит всегда одно неизменное направление и потому всякое свое отклонение от него.

Первый способ нравственного руководства есть способ внешних определений, правил: человеку даются определенные признаки поступков, которые он должен и которых не должен делать.

«Соблюдай субботу, обрезывайся, не крадь, не пей хмельного, не убивай живого, отдавай десятину бедным, не прелюбодействуй, омывайся и молись пять раз в день, крестись, причащайся и т. под.». Таковы постановления внешних религиозных учений: браминского, буддийского, магометанского, еврейского, церковного, ложно называемого христианским.

Другой способ есть способ указания человеку никогда не достижимого им совершенства, стремление к которому человек сознает в себе: человеку указывается идеал, по отношению к которому он всегда может видеть степень своего удаления от него.

«Люби бога твоего всем сердцем, и всею душой твоей, и всем разумением твоим и ближнего, как самого себя. Будьте совершенны, как отец ваш небесный».

Таково учение Христа.

Поверка исполнения внешних религиозных учений есть совпадение поступков с определениями этих учений, и совпадение это возможно.

Поверка исполнения Христова учения есть сознание степени несоответствия с идеальным совершенством. (Степень приближения не видна: видно одно отклонение от совершенства.)

Человек, исповедующий внешний закон, есть человек, стоящий в свете фонаря, привешенного к столбу. Он стоит в свете этого фонаря, ему светло, и идти ему дальше некуда. Человек, исповедующий Христово учение, подобен человеку, несущему фонарь перед собой на более или менее длинном шесте: свет всегда впереди его и всегда побуждает его идти за собой и вновь открывает ему впереди его новое, влекущее к себе освещенное пространство.

Фарисей благодарит бога за то, что он исполняет все.

Богатый юноша тоже исполнил все с детства и не понимает, чего

может не доставать ему. И они не могут думать иначе: впереди их нет того, к чему бы они могли продолжать стремиться. Десятина отдана, суббота соблюдена, родители почтены, прелюбодеяния, воровства, убийства – нет. Чего же еще? Для исповедующего же христианское учение достижение всякой ступени совершенства вызывает потребность вступления на высшую ступень, с которой открывается еще высшая, и так без конца.

Исповедующий закон Христа всегда в положении мытаря. Он всегда чувствует себя несовершенным, не видя позади себя пути, который он прошел, а видя всегда впереди себя тот путь, по которому еще надо идти и который он не прошел еще.

В этом состоит различие учения Христа от всех других религиозных учений, различие, заключающееся не в различии требований, а в различии способа руководства людей. Христос не давал никаких определений жизни, он никогда не устанавливал никаких учреждений, никогда не устанавливал и брака. Но люди, не понимающие особенности учения Христа, привыкшие к внешним учениям и желающие чувствовать себя правыми, как чувствует себя правым фарисей, противно всему духу учения Христа, из буквы его сделали внешнее учение правил, называемое церковным христианским учением, и этим учением подменили истинное Христово учение идеала.

Церковные, называющие себя христианскими, учения по отношению ко всем проявлениям жизни вместо учения идеала Христа поставили внешние определения и правила, противные духу учения. Это сделано по отношению власти, суда, войска, церкви, богослужения, это сделано и по отношению брака: несмотря на то что Христос не только никогда не устанавливал брака, но уж если отыскивать внешние определения, то скорее отрицал его («оставь жену и иди за мной»), церковные учения, называющие себя христианскими, установили брак как христианское учреждение, то есть определили внешние условия, при которых плотская любовь может для христианина будто бы быть безгрешною, вполне законною.

Но так как в истинном христианском учении нет никаких оснований для учреждения брака, то и вышло то, что люди нашего мира от одного берега отстали и к другому не пристали, то есть не верят, в сущности, в церковные определения брака, чувствуя, что это учреждение не имеет оснований в христианском учении, и вместе с тем не видят перед собой закрытого церковным учением идеала Христа, стремления к полному целомудрию и остаются по отношению брака без всякого руководства. От этого-то и происходит то, кажущееся сначала странным, явление, что у евреев, магометан, ламаистов и других, признающих религиозные учения

гораздо низшего уровня, чем христианское, но имеющих точные внешние определения брака, семейное начало и супружеская верность несравненно тверже, чем у так называемых христиан.

У тех есть определенное наложничество, многоженство, ограниченное известными пределами. У нас же существует полная распущенность и наложничество, многоженство и многомужество, не подчиненное никаким определениям, скрывающееся под видом воображаемого единобрачия.

Только потому, что над некоторой частью соединяющихся совершается духовенством за деньги известная церемония, называемая церковным браком, люди нашего мира наивно или лицемерно воображают, что живут в единобрачии.

Христианского брака быть не может и никогда не было, как никогда не было и не может быть ни христианского богослужения (Мф. VI, 5—12; Иоан. IV, 21), ни христианских учителей и отцов (Мф. XXIII, 8—10), ни христианской собственности, ни христианского войска, ни суда, ни государства. Так и понималось это всегда истинными христианами первых и последующих веков.

Идеал христианина есть любовь к богу и ближнему, есть отречение от себя для служения богу и ближнему; плотская же любовь, брак, есть служение себе и потому есть, во всяком случае, препятствие служению богу и людям, а потому с христианской точки зрения – падение, грех.

Вступление в брак не может содействовать служению богу и людям даже в том случае, если бы вступающие в брак имели бы целью продолжение рода человеческого. Таким людям, вместо того чтобы вступать в брак для произведения детских жизней, гораздо проще поддерживать и спасать те миллионы детских жизней, которые гибнут вокруг нас от недостатка не говорю уже духовной, но материальной пищи.

Только в том случае мог бы христианин без сознания падения, греха вступить в брак, если бы он видел и знал, что все существующие жизни детей обеспечены.

Можно не принимать учения Христа, того учения, которым проникнута вся наша жизнь и на котором основана вся наша нравственность, но, принимая это учение, нельзя не признавать того, что оно указывает идеал полного целомудрия.

В Евангелии ведь сказано ясно и без возможности какого-либо перетолкования – во-первых, то, что женатому не должно разводиться с женой, с тем чтобы взять другую, а должно жить с той, с которой раз сошелся (Мф. V, 31–32; XIX, 8); во-вторых, то, что человеку вообще, и, следовательно, как женатому, так и неженатому, грешно смотреть на

женщину как на предмет наслаждения (Мф. V, 28–29), и, в-третьих, то, что неженатому лучше не жениться вовсе, то есть быть вполне целомудренным (Мф. XIX, 10–12).

Для многих и многих мысли эти покажутся странными и даже противоречивыми. И они действительно противоречивы, но не между собой, а мысли эти противоречат всей нашей жизни, и невольно является сомнение: кто прав? – мысли ли эти или жизнь миллионов людей и моя? Это самое чувство испытывал и я в сильнейшей степени, когда приходил к тем убеждениям, которые теперь высказываю: я никак не ожидал, что ход моих мыслей приведет меня к тому, к чему он привел меня. Я ужасался своим выводам, хотел не верить им, но не верить нельзя было. И как ни противоречат эти выводы всему строю нашей жизни, как ни противоречат тому, что я прежде думал и высказывал даже, я должен был признать их.

«Но все это общие соображения, которые, может быть, и справедливы, но относятся к учению Христа и обязательны для тех, которые исповедуют его, но жизнь есть жизнь, и нельзя, указав впереди недостижимый идеал Христа, оставить людей в одном из самых жгучих, общих и производящих наибольшие бедствия вопросов с одним этим идеалом без всякого руководства.

Молодой, страстный человек сначала увлечется идеалом, но не выдержит, сорвется и, не зная и не признавая никаких правил, попадет в полный разврат!»

Так рассуждают обыкновенно.

«Христов идеал недостижим, поэтому не может служить нам руководством в жизни; о нем можно говорить, мечтать, но для жизни он неприложим, и потому надо оставить его. Нам нужен не идеал, а правило, руководство, которое было бы по нашим силам, по среднему уровню нравственных сил нашего общества: церковный честный брак или хотя даже не совсем честный брак, при котором один из брачующихся, как у нас, мужчина, уже сходилась со многими женщинами, или хотя бы брак с возможностью развода, или хотя бы гражданский, или (идя по тому же пути) хотя бы японский на срок, – почему же не дойти и до домов терпимости?»

Говорят, это лучше, чем уличный разврат. В том-то и беда, что, позволив себе принижать идеал по своей слабости, нельзя найти того предела, на котором надо остановиться.

Но ведь это рассуждение с самого начала неверно; неверно прежде всего то, чтобы идеал бесконечного совершенства не мог быть руководством в жизни и чтобы нужно было, глядя на него, или махнуть

рукой, сказав, что он мне не нужен, так как я никогда не достигну его, или принизить идеал до тех ступеней, на которых хочется стоять моей слабости.

Рассуждать так – все равно что мореплавателю сказать себе, что так как я не могу идти по той линии, которую указывает компас, то я выкину компас или перестану смотреть на него, то есть отброшу идеал, или прикреплю стрелку компаса к тому месту, которое будет соответствовать в данную минуту ходу моего судна, то есть принижу идеал к моей слабости. Идеал совершенства, данный Христом, не есть мечта или предмет риторических проповедей, а есть самое необходимое, всем доступное руководство нравственной жизни людей, как компас – необходимое и доступное орудие руководства морехода; только надо верить как в то, так и в другое. В каком бы ни находился человек положении, всегда достаточно учения идеала, данного Христом, для того, чтобы получить самое верное указание тех поступков, которые должно и не должно совершать. Но надо верить этому учению вполне, этому одному учению, перестать верить во все другие, точно так же как надо мореходу верить в компас, перестать приглядываться и руководиться тем, что он видит по сторонам. Надо уметь руководствоваться христианским учением, как уметь руководствоваться компасом, а для этого, главное, надо понимать свое положение, надо уметь не бояться с точностью определять свое отклонение от идеального данного направления. На какой бы ступени ни стоял человек, всегда есть для него возможность приближения к этому идеалу, и никакое положение для него не может быть таким, в котором бы он мог сказать, что он достиг его, и не мог бы стремиться к еще большему приближению. Таково стремление человека к христианскому идеалу вообще и таково же к целомудрию в частности. Если представить себе по отношению полового вопроса самые различные положения людей – от невинного детства до брака, – в которых не соблюдается воздержание, на каждой ступени между этими двумя положениями учение Христа с выставляемым им идеалом будет всегда служить ясным и определенным руководством того, что должно и не должно на каждой из этих ступеней делать человеку.

Что делать чистому юноше, девушке? Соблюдать себя чистыми от соблазнов и, для того чтобы быть в состоянии все свои силы отдать на служение богу и людям, стремиться к большему и большему целомудрию мыслей и желаний.

Что делать юноше и девушке, подпавшим соблазнам, поглощенным мыслями о беспредметной любви или о любви к известному лицу и потерявшим от этого известную долю возможности служить богу и людям?

Все то же: не попускать себя на падение, зная, что такое попускание не освободит от соблазна, а только усилит его, и все так же стремиться к большему и большему целомудрию для возможности более полного служения богу и людям.

Что делать людям, когда они не осилили борьбы и пали? Смотреть на свое падение не как на законное наслаждение, как смотрят теперь, когда оно оправдывается обрядом брака, ни как на случайное удовольствие, которое можно повторять с другими, ни как на несчастье, когда падение совершается с неровней и без обряда, а смотреть на это первое падение как на единственное, как на вступление в неразрывный брак.

Вступление это в брак своим вытекающим из него последствием – рождением детей – определяет для вступивших в брак новую, более ограниченную форму служения богу и людям. До брака человек непосредственно в самых разнообразных формах мог служить богу и людям; вступление же в брак ограничивает его область деятельности и требует от него возвращения и воспитания происходящего от брака потомства, будущих служителей богу и людям.

Что делать мужчине и женщине, живущим в браке и исполняющим то ограниченное служение богу и людям, через возвращение и воспитание детей, которое вытекает из их положения?

Все то же: стремиться вместе к освобождению от соблазна, очищению себя и прекращению греха, заменой отношений, препятствующих и общему и частному служению Богу и людям, заменой плотской любви чистыми отношениями сестры и брата.

И потому неправда то, что мы не можем руководиться идеалом Христа, потому что он так высок, совершенен и недостижим. Мы не можем руководиться им только потому, что мы сами себе лжем и обманываем себя.

Ведь если мы говорим, что нужно иметь правила более осуществимые, чем идеал Христа, а то иначе мы, не достигнув идеала Христа, впадем в разврат, мы говорим не то, что для нас слишком высок идеал Христа, а только то, что мы в него не верим и не хотим определять своих поступков по этому идеалу.

Говоря, что, раз павши, мы впадем в разврат, мы ведь этим говорим только, что мы вперед уже решили, что падение с неровней не есть грех, а есть забава, увлечение, которое необязательно поправить тем, что мы называем браком. Если же бы мы понимали, что падение есть грех, который должен и может быть искуплен только неразрывностью брака и всей той деятельностью, которая вытекает из воспитания детей, рожденных от брака, то падение никак не могло бы быть причиной впадения в разврат.

А то ведь это все равно, как если бы земледелец не считал посевом тот посев, который не удался ему, а, сея на другом и третьем месте, считал бы настоящим посевом тот, который удастся ему. Очевидно, что такой человек испортил бы много земли и семян и никогда бы не научился сеять. Только поставьте идеалом целомудрие, считайте, что всякое падение кого бы то ни было с кем бы то ни было есть единственный, неразрывный на всю жизнь брак, и будет ясно, что руководство, данное Христом, не только достаточно, но единственно возможно.

«Человек слаб, надо дать ему задачу по силам», – говорят люди. Это все равно, что сказать: «Руки мои слабы, и я не могу провести линию, которая была бы прямая, то есть кратчайшая между двумя точками, и потому, чтоб облегчить себя, я, желая проводить прямую, возьму за образец себе кривую или ломаную». Чем слабее моя рука, тем нужнее мне совершенный образец.

Нельзя, познав христианское учение идеала, делать так, как будто мы не знаем его, и заменять его внешними определениями. Христианское учение идеала открыто человечеству именно потому, что оно может руководить его в теперешнем возрасте. Человечество уже выжило период религиозных, внешних определений, и никто уже не верит в них.

Христианское учение идеала есть то единое учение, которое может руководить человечеством. Нельзя, не должно заменять идеал Христа внешними правилами, а надо твердо держать этот идеал перед собой во всей чистоте его и, главное, верить в него.

Плавающему недалеко от берега можно было говорить: «держитесь того возвышения, мыса, башни» и т. п.

Но приходит время, когда пловцы удалились от берега, и руководством им должны и могут служить только недостижимые светила и компас, показывающий направление. А то и другое дано нам.

Дьявол

Повесть

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

Матфей, V, 28, 29, 30.

Евгения Иртенева ожидала блестящая карьера. Все у него было для этого. Прекрасное домашнее воспитание, блестящее окончание курса на юридическом факультете Петербургского университета, связи по недавно умершему отцу с самым высшим обществом и даже начало службы в министерстве под покровительством министра. Было и состояние, даже большое состояние, но сомнительное. Отец жил за границей и в Петербурге, давая по шести тысяч сыновьям – Евгению и старшему, Андрею, служившему в кавалергардах, и сам проживал с матерью очень много. Только летом он приезжал на два месяца в имение, но не занимался хозяйством, предоставляя все заевшемуся управляющему, тоже не занимавшемуся имением, но к которому он имел полное доверие.

После смерти отца, когда братья стали делиться, оказалось, что долгов было так много, что поверенный по делам советовал даже, оставив за собой имение бабки, которое ценили в сто тысяч, отказаться от наследства. Но сосед по имению, помещик, имевший дела с стариком Иртеновым, то есть имевший вексель на него и приезжавший для этого в Петербург, говорил, что, несмотря на долги, дела можно поправить и удержать еще большое состояние. Стоило только продать лес, отдельные куски пустоши и удержать главное золотое дно – Семеновское с четырьмя тысячами десятин чернозема, сахарным заводом и двумястами десятин заливных лугов, если посвятить себя этому делу и, поселившись в деревне, умно и расчетливо хозяйничать.

И вот Евгений, съездив весною (отец умер постом) в имения и осмотрев все, решил выйти в отставку, поселиться с матерью в деревне и заняться хозяйством, с тем чтобы удержать главное имение. С братом, с которым не был особенно дружен, он сделался так: обязался ему платить ежегодно четыре тысячи или единовременно восемьдесят тысяч, за которые брат отказывался от своей доли наследства.

Так он и сделал и, поселившись с матерью в большом доме, горячо и осторожно вместе с тем взялся за хозяйство.

Обыкновенно думают, что самые обычные консерваторы – это старики, а новаторы – это молодые люди. Это не совсем справедливо. Самые обычные консерваторы – это молодые люди. Молодые люди, которым хочется жить, но которые не думают и не имеют времени подумать о том, как надо жить, и которые поэтому избирают себе за

образец ту жизнь, которая была.

Так было и с Евгением. Поселившись теперь в деревне, его мечта и идеал были в том, чтобы воскресить ту форму жизни, которая была не при отце – отец был дурной хозяин, но при деде. И теперь и в доме, и в саду, и в хозяйстве он, разумеется с изменениями, свойственными времени, старался воскресить общий дух жизни деда – все на широкую ногу, довольство всех вокруг и порядок и благоустройство, а для того чтоб устроить эту жизнь, дела было очень много: нужно было и удовлетворять требованиям кредиторов и банков и для того продавать земли и отсрочивать платежи, нужно было и добывать деньги, для того чтобы продолжать вести, где наймом, где работниками, огромное хозяйство в Семеновском с четырьмя тысячами десятин запашки и сахарным заводом; нужно было и в доме и в саду делать так, чтобы не похоже было на запущение и упадок.

Работы было много, но и сил было много у Евгения – сил и физических и духовных. Ему было двадцать шесть лет, он был среднего роста, сильного сложения с развитыми гимнастикой мускулами, сангвиник с ярким румянцем во всю щеку, с яркими зубами и губами и с негустыми, мягкими и вьющимися волосами. Единственный физический изъян его была близорукость, которую он сам развил себе очками, и теперь уже не мог ходить без пенсне, которое уже прокладывало черточки наверху горбинки его носа. Таков он был физически, духовный же облик его был такой, что чем больше кто знал его, тем больше любил. Мать и всегда любила его больше всех, теперь же, после смерти мужа, сосредоточила на нем не только всю свою нежность, но всю свою жизнь. Но не одна мать так любила его. Товарищи его с гимназии и университета всегда особенно не только любили, но уважали его. На всех посторонних он всегда действовал так же. Нельзя было не верить тому, что он говорил, нельзя было предполагать обман, неправду при таком открытом, честном лице и, главное, глазах.

Вообще вся его личность много помогала ему в его делах. Кредитор, который отказал бы другому, верил ему. Приказчик, староста, мужик, который сделал бы гадость, обманул бы другого, забывал обмануть под приятным впечатлением общения с добрым, простым и, главное, открытым человеком.

Был конец мая. Кое-как Евгений наладил дело в городе об освобождении пустоши от залога, чтобы продать ее купцу, и занял деньги у этого же купца на то, чтобы обновить инвентарь, то есть лошадей, быков, подводы. И, главное, на то, чтобы начать необходимую постройку хутора. Дело наладилось. Везли лес, плотники уже работали, и навоз везли на

восьмидесяти подводах, но все до сих пор висело на ниточке.

II

В середине этих забот случилось обстоятельство хотя и не важное, но в то время помучавшее Евгения. Он жил свою молодость, как живут все молодые, здоровые, неженатые люди, то есть имел сношения с разного рода женщинами. Он был не развратник, но и не был, как он сам себе говорил, монахом. А предавался этому только настолько, насколько это было необходимо для физического здоровья и умственной свободы, как он говорил. Началось это с шестнадцати лет. И до сих пор шло благополучно. Благополучно в том смысле, что он не предался разврату, не увлекся ни разу и не был ни разу болен. Была у него в Петербурге сначала швея, потом она испортилась, и он устроился иначе. И эта сторона была так обеспечена, что не смущала его.

Но вот в деревне он жил второй месяц и решительно не знал, как ему быть. Невольное воздержание начинало действовать на него дурно. Неужели ехать в город из-за этого? И куда? Как? Это одно тревожило Евгения Ивановича, а так как он был уверен, что это необходимо и что ему нужно, ему действительно становилось нужно, и он чувствовал, что он не свободен и что он против воли провожает каждую молодую женщину глазами.

Он считал нехорошим у себя в своей деревне сойтись с женщиной или девкой. Он знал по рассказам, что и отец его и дед в этом отношении совершенно отделились от других помещиков того времени и дома не заводили у себя никогда никаких шашен с крепостными, и решил, что этого он не сделает; но потом, все более и более чувствуя себя связанным и с ужасом представляя себе то, что с ним может быть в городишке, и сообразив, что теперь не крепостные, он решил, что можно и здесь. Только бы сделал это так, чтобы никто не знал, и не для разврата, а только для здоровья, так говорил он себе. И когда он решил это, ему стало еще беспокойнее; говоря с старостой, с мужиками, с столяром, он невольно наводил разговор на женщин и, если разговор заходил о женщинах, то задерживал на этом. На женщин же он приглядывался больше и больше.

III

Но решить дело самому с собой было одно, привести же его в исполнение было другое. Самому подойти к женщине невозможно. К какой? где? Надо через кого-нибудь, но к кому обратиться?

Случилось ему раз зайти напиться в лесную караулку. Сторожем был бывший охотник отца. Евгений Иванович разговорился с ним, и сторож стал рассказывать старинные истории про кутежи на охоте. И Евгению Ивановичу пришло в голову, что хорошо бы было здесь, в караулке или в лесу, устроить это. Он только не знал как, и возьмется ли за это старый Данила. «Может быть, он ужаснется от такого предложения, и я осрамлюсь, а может, очень просто согласится». Так он думал, слушая рассказы Данилы. Данила рассказывал, как они стояли в отъезжем поле у дьячихи и как Пряничникову он привел бабу.

«Можно», – подумал Евгений.

– Ваш батюшка, царство небесное, этими глупостями не занимался.

«Нельзя», – подумал Евгений, но, чтобы исследовать, сказал:

– Как же ты такими делами нехорошими занимался?

– А что же тут худого? И она рада, и мой Федор Захарыч довольны-предовольны. Мне рубль. Ведь как же и быть ему-то? Тоже живая кость. Чай вино пьет.

«Да, можно сказать», – подумал Евгений и тотчас же приступил.

– А знаешь, – он почувствовал, как он багрово покраснел, – знаешь, Данила, я измучался. – Данила улыбнулся. – Я все-таки не монах – привык.

Он чувствовал, что глупо все, что он говорит, но радовался, потому что Данила одобрял.

– Что ж, вы бы давно сказали, это можно, – сказал он. – Вы только скажите какую.

– Ах, право, мне все равно. Ну, разумеется, чтоб не безобразная была и здоровая.

– Понял! – откусил Данила. Он подумал. – Ох, хороша штучка есть, – начал он. Опять Евгений покраснел. – Хороша штучка. Изволите видеть, выдали ее по осени, – Данила стал шептать, – а он ничего не может сделать. Ведь это на охотника что стоит.

Евгений сморщился даже от стыда.

– Нет, нет, – заговорил он. – Мне совсем не то нужно. Мне, напротив (что могло быть напротив?), мне, напротив, надо, чтобы только здоровая, да

поменьше хлопот – солдатка или эдак...

– Знаю. Это, значит, Степаниду вам предоставить. Муж в городе, все равно как солдатка. А бабочка хорошая, чистая. Будете довольны. Я и то ей намесь говорю – пойди, а она...

– Ну, так когда же?

– Да хоть завтра. Я вот пойду за табаком и зайду, а в обед приходите сюда али за огород к бане. Никого нет. Да и в обед весь народ спит.

– Ну, хорошо.

Страшное волнение охватило Евгения, когда он поехал домой. «Что такое будет? Что такое крестьянка? Что-нибудь вдруг безобразное, ужасное. Нет, они красивы, – говорил он себе, вспоминая тех, на которых он заглядывался. – Но что я скажу, что я сделаю?»

Целый день он был не свой. На другой день в двенадцать часов он пошел к караулке. Данила стоял в дверях и молча значительно кивнул головой к лесу. Кровь прилила к сердцу Евгения, он почувствовал его и пошел к огороду. Никого. Подошел к бане. Никого. Заглянул туда, вышел и вдруг услышал треск сломленной ветки. Он оглянулся, она стояла в чаще за оврачком. Он бросился туда через овраг. В овраге была крапива, которой он не заметил. Он острекался и, потеряв с носу пенсне, вбежал на противоположный бугор. В белой вышитой занавеске, красно-бурой паневе, красном ярком платке, с босыми ногами, свежая, твердая, красивая, она стояла и робко улыбалась.

– Тут кругом тропочка, обошли бы, – сказала она. – А мы давно. Голомя.

Он подошел к ней и, оглядываясь, коснулся ее.

Через четверть часа они разошлись, он нашел пенсне и зашел к Даниле и в ответ на вопрос его: «Довольны ль, барин?» – дал ему рубль и пошел домой.

Он был доволен. Стыд был только сначала. Но потом прошел. И все было хорошо. Главное, хорошо, что ему теперь легко, спокойно, бодро. Ее он хорошенько даже не рассмотрел. Помнил, что чистая, свежая, недурная и простая, без гримас. «Чья бишь она? – говорил он себе. – Печникова, он сказал? Какая же это Печникова?»^[3]

Ведь их два двора. Должно быть, Михайлы-старика сноха. Да, верно его. У него ведь сын живет в Москве, спрошу у Данилы когда-нибудь».

С этих пор устранилась эта важная прежде неприятность деревенской жизни – невольное воздержание. Свобода мысли Евгения уже не нарушалась, и он мог свободно заниматься своими делами.

А дело, которое взял на себя Евгений, было очень нелегкое: иногда ему

казалось, что он не выдержит и кончится тем, что все-таки придется продать имение, все труды его пропадут, и, главное, что окажется, что не выдержал, не сумел доделать того, за что взялся. Это больше всего тревожило его. Не успевал он заткнуть кое-как одной дыры, как раскрывалась новая, неожиданная.

Во все это время все оказывались новые и новые, неизвестные прежде долги отца. Видно было, что отец в последнее время брал где попало. Во время раздела в мае Евгений думал, что он знает, наконец, все. Но вдруг в середине лета он получил письмо, из которого оказывалось, что был еще долг вдове Есиповой в двенадцать тысяч. Векселя не было, была простая расписка, которую можно было, по словам поверенного, оспаривать. Но Евгению и в голову не могло прийти отказаться от уплаты действительного долга отца только потому, что можно было оспаривать документ. Ему надо было узнать только наверное, действительный ли это был долг.

– Мама! что такое Есипова Калерия Владимировна? – спросил он у матери, когда они, по обыкновению, сошлись за обедом.

– Есипова? Да это воспитанница дедушки. А что? – Евгений рассказал матери про письмо.

– Удивляюсь, как ей не совестно. Твой папа ей сколько передавал.

– Но должны мы ей?

– То есть как тебе сказать? Долгу нет, папа по своей бесконечной доброте...

– Да, но папа считал это долгом.

– Не могу я тебе сказать. Не знаю. Знаю, что тебе и так тяжело.

Евгений видел, что Марья Павловна сама не знала, как сказать, и как бы пыталась его.

– Из этого я вижу, что надо платить, – сказал сын. – Я завтра поеду к ней и поговорю, нельзя ли отсрочить.

– Ах, как мне жалко тебя. Но, знаешь, лучше ты ей скажи, что она должна подождать, – говорила Марья Павловна, очевидно успокоенная и гордая решением сына.

Положение Евгения было особенно трудно оттого еще, что мать, жившая с ним, совсем не понимала его положения. Она всю жизнь привыкла жить так широко, что не могла представить себе даже того положения, в котором был сын, то есть того, что нынче-завтра дела могли устроиться так, что у них ничего не останется и сыну придется все продать и жить и содержать мать одной службой, которая в его положении могла ему дать много-много две тысячи рублей. Она не понимала, что спастись от этого положения можно только урезкой расходов во всем, и потому не

могла понять, зачем Евгений так стеснялся в мелочах, в расходах на садовников, кучеров, на прислугу и стол даже. Кроме того, как большинство вдов, она питала к памяти покойника чувства благоговения, далеко не похожие на те, которые она имела к нему, пока он был жив, и не допускала мысли о том, что то, что делал или завел покойник, могло быть худо и изменено.

Евгений поддерживал с большим напряжением и сад, и оранжерею с двумя садовниками, и конюшню с двумя кучерами. Марья же Павловна наивно думала, что не жалуясь на стол, который готовил старик повар, и на то, что дорожки в парке не все были чищены, и что вместо лакеев был один мальчик, что она делает все, что может мать, жертвующая собой для своего сына. Так и в этом новом долге, в котором Евгений видел для себя почти что добивающий удар всем его предприятиям, Мария Павловна видела только случай, выказавший благородство Евгения. Марья Павловна не беспокоилась очень о материальном положении Евгения еще и потому, что она была уверена, что он сделает блестящую партию, которая поправит все. Партию же он мог сделать самую блестящую. Она знала десяток семей, которые счастливы были отдать за него дочь. И она желала как можно скорее устроить это.

IV

Евгений сам мечтал о женитьбе, но только не так, как мать: мысль о том, чтобы сделать из женитьбы средство поправления своих дел, была отвратительна ему. Жениться он хотел честно, по любви. Он и приглядывался к девушкам, которых встречал и знал, прикидывал себя к ним, но судьба его не решалась. Между тем, чего он никак не ожидал, сношения его с Степанидой продолжались и получили даже характер чего-то установившегося. Евгений так был далек от распутства, так тяжело было ему делать это тайное – он чувствовал – нехорошее дело, что он никак не устраивался и даже после первого свиданья надеялся совсем больше не видеть Степаниды; но оказалось, что через несколько времени на него опять нашло беспокойство, которое приписывал этому. И беспокойство на этот раз уже не было безличное; а ему представлялись именно те самые черные, блестящие глаза, тот же грудной голос, говорящий «голомя», тот же запах чего-то свежего и сильного и та же высокая грудь, поднимающая занавеску, и все это в той же ореховой и кленовой чаще, облитой ярким светом. Как ни совестно было, он опять обратился к Даниле. И опять назначилось свидание в полдень в лесу. В этот раз Евгений больше рассмотрел ее, и все показалось ему в ней привлекательно. Он попробовал поговорить с ней, спросил о муже. Действительно, это был Михайлин сын, он жил в кучерах в Москве.

– Ну что же, как же ты... – Евгений хотел спросить, как она изменяет ему.

– Чего как же? – спросила она. Она, очевидно, была умна и догадлива.

– Ну как же вот ты ко мне ходишь?

– Вона, – весело проговорила она. – Он, я чай, там гуляет. Что ж мне-то?

Очевидно, она сама на себя напускала развязность, ухарство. И это показалось мило Евгению. Но все-таки он не назначил ей сам свиданья. Даже когда она предложила, чтобы сходитьсь помимо Данилы, к которому она как-то недоброжелательно относилась, Евгений не согласился. Он надеялся, что это свидание было последнее. Она ему нравилась. Он думал, что ему необходимо такое общение и что дурного в этом нет ничего; но в глубине души у него был судья более строгий, который не одобрял этого и надеялся, что это в последний раз, если же не надеялся, то, по крайней мере, не хотел участвовать в этом деле и приготавливать себе это в другой

раз.

Так и шло все лето, в продолжение которого он виделся с ней раз десять и всякий раз через Данилу. Было один раз, что ей нельзя было прийти, потому что приехал муж, и Данила предложил другую. Евгений с отвращением отказался. Потом муж уехал, и свиданья продолжались по-старому, сначала через Данилу, а потом уже прямо он назначал время, и она приходила с бабой Прохоровой, так как одной нельзя ходить бабе. Один раз, в самое назначенное время свиданья, к Марье Павловне приехало семейство с той девушкой, которую она сватала Евгению, и Евгений никак не мог вырваться. Как только он мог уйти, он пошел как будто на гумно и в обход тропинкой в лес на место свиданья. Ее не было. Но на обычном месте все, куда могла достать рука, все было переломано: черемуха, орешень, даже молодой кленок в кол толщиною. Это она ждала, волновалась и сердилась и, играючи, оставляла ему память. Он постоял, постоял и пошел к Даниле просить его вызвать ее на завтра. Она пришла и была такая же, как всегда.

Так прошло лето. Свиданья всегда назначались в лесу и один раз только, уж перед осенью, в гумennom сарае на их задворках. Евгению и в голову не приходило, чтобы эти отношения его имели какое-нибудь для него значение. Об ней же он и не думал. Давал ей деньги, и больше ничего. Он не знал и не думал о том, что по всей деревне уж знали про это и завидовали ей, что ее домашние брали у ней деньги и поощряли ее и что ее представление о грехе, под влиянием денег и участия домашних, совсем уничтожилось. Ей казалось, что если люди завидуют, то то, что она делает, хорошо.

«Просто для здоровья надо же, – думал Евгений. – Положим, нехорошо, и, хотя никто не говорит, все или многие знают. Баба, с которой она ходит, знает. А знает, верно, рассказала и другим. Но что же делать? Скверно я поступаю, – думал Евгений, – да что делать, ну да ненадолго».

Главное, что смущало Евгения, то это был муж. Сначала ему почему-то представлялось, что муж ее должен быть плох, и это как бы оправдывало его отчасти. Но он увидал мужа и был поражен. Это был молодчина и щеголь, уж никак не хуже, а наверно лучше его. При первом свидании он сказал ей, что видел мужа и что он полюбовался им, какой он молодчина.

– Другого такого нет в деревне, – с гордостью сказала она.

Это удивило Евгения. Мысль о муже с тех пор еще более мучила его. Случилось ему раз быть у Данилы, и Данила, разговорившись, прямо сказал ему:

– А Михайла наемдни спрашивал меня, правда ли, что барин с сына

женой живет. Я сказал, не знаю. Да и то, говорю, лучше с барином, чем с мужиком.

– Ну, что ж он?

– Да ничего, говорит: погоди ж, дознаюсь, я ей задам.

«Ну да если бы муж вернулся, я бы бросил», – думал Евгений. Но муж жил в городе, и отношения пока продолжались. «Когда надо будет, оборву, и ничего не останется», – думал он.

И ему казалось это несомненным, потому что в продолжение лета много разных вещей очень сильно занимали его: и устройство нового хутора, и уборка, и постройка, и, главное, уплата долга и продажа пустоши. Все это были предметы, которые поглощали его всего, о которых он думал, ложась и вставая. Все это была настоящая жизнь. Сношения же – он даже не называл это связью – с Степанидой было нечто совсем незаметное. Правда, что, когда приступало желание видеть ее, оно приступало с такой силой, что он ни о чем другом не мог думать, но это продолжалось недолго, устраивалось свиданье, и он опять забывал ее на недели, иногда на месяц.

Осенью Евгений часто ездил в город и там сблизился с семейством Анненских. У Анненских была дочь, только что вышедшая институтка. И тут, к великому огорчению Марьи Павловны, случилось то, что Евгений, как она говорила, продешевил себя – влюбился в Лизу Анненскую и сделал ей предложение.

С тех пор сношения с Степанидой прекратились.

Почему Евгений выбрал Лизу Анненскую, нельзя объяснить, как никогда нельзя объяснить, почему мужчина выбирает ту, а не другую женщину. Причин было пропасть и положительных и отрицательных. Причиной было и то, что она не была очень богатая невеста, каких сватала ему мать, и то, что она была наивна и жалка в отношениях к своей матери, и то, что она не была красавица, обращающая на себя внимание, и не была дурна. Главное же было то, что сближение с ней началось в такой период, когда Евгений был зрел к женитьбе. Он влюбился потому, что знал, что женится.

Лиза Анненская сначала только нравилась Евгению, но когда он решил, что она будет его женою, он почувствовал к ней чувство гораздо более сильное, он почувствовал, что он влюблен.

Лиза была высокая, тонкая, длинная. Длинное было в ней все: и лицо, и нос не вперед, но вдоль по лицу, и пальцы, и ступни. Цвет лица у ней был очень нежный, белый, желтоватый, с нежным румянцем, волосы длинные, русые, мягкие и вьющиеся, и прекрасные, ясные, кроткие, доверчивые глаза. Эти глаза особенно поразили Евгения. И когда он думал о Лизе, он видел всегда перед собой эти ясные, кроткие, доверчивые глаза.

Такова она была физически; духовно же он ничего не знал про нее, а только видел эти глаза. И эти глаза, казалось, говорили ему все, что ему нужно было знать. Смысл же этих глаз был такой.

Еще с института, с пятнадцати лет, Лиза постоянно влюблялась во всех привлекательных мужчин и была оживлена и счастлива только тогда, когда была влюблена. Вышедши из института, она точно так же влюблялась во всех молодых мужчин, которых встречала, и, разумеется, влюбилась в Евгения, как только узнала его. Эта-то ее влюбленность и давала ее глазам то особенное выражение, которое так пленило Евгения.

В эту же зиму в одно и то же время она уже была влюблена в двух молодых людей и краснела и волновалась не только когда они входили в комнату, но когда произносили их имя. Но потом, когда ее мать намекнула ей, что Иртенев, кажется, имеет серьезные виды, влюбленье ее в Иртенева усилилось так, что она стала почти равнодушной к двум прежним, но когда Иртенев стал бывать у них, на бале, собрании, танцевал с ней больше, чем с другими, и, очевидно, желал узнать только, любит ли она его, тогда влюбленье ее в Иртенева сделалось чем-то болезненным, она видела его во

сне и наяву в темной комнате, и все другие исчезли для нее. Когда же он сделал предложение и их благословили, когда она поцеловалась с ним и стали жених с невестой, тогда у ней не стало других мыслей, кроме него, других желаний, кроме того, чтобы быть с ним, чтобы любить его и быть им любимой. Она и гордилась им, и умилялась перед ним и перед собой и своей любовью, и вся млела и таяла от любви к нему. Чем больше он узнавал ее, тем больше и он любил ее. Он никак не ожидал встретить такую любовь, и эта любовь усиливала еще его чувство.

VI

Перед весной он приехал в Семеновское посмотреть и распорядиться по хозяйству, а главное по дому, где шло убранство для женитьбы.

Марья Павловна была недовольна выбором сына, но только потому, что партия эта не была так блестяща, как она могла бы быть, и потому, что Варвара Алексеевна, будущая теща, не нравилась ей. Добрая ли она была или злая, она не знала и не решила, но то, что она была не порядочная женщина, не *comme il faut*, не леди, как говорила себе Марья Павловна, это она увидела с первого знакомства, и это огорчало ее. Огорчало за то, что она ценила эту порядочность по привычке, знала, что Евгений очень чуток на это, и предвидела для него много огорчений от этого. Девушка же ей нравилась. Нравилась, главное, потому, что она нравилась Евгению. Надо было любить ее. И Марья Павловна готова была на это, и совершенно искренно.

Евгений застал мать радостной, довольной. Она устраивала все в доме и сама собиралась уехать, как только он привезет молодую жену. Евгений уговаривал ее оставаться. И вопрос оставался нерешенным. Вечером, по обыкновению, после чая Марья Павловна делала пасьян. Евгений сидел, помогая ей. Это было время самых душевных разговоров. Окончив один пасьян и не начиная новый, Марья Павловна взглянула на Евгения и, несколько заминаясь, начала так:

– А я хотела тебе сказать, Женя. Разумеется, я не знаю, но вообще я хотела посоветовать о том, что перед женитьбой надо непременно покончить все свои холостые дела, так чтобы ничего уже не могло беспокоить и тебя, и, помилуй бог, жену. Ты меня понимаешь?

И действительно, Евгений сейчас же понял, что Марья Павловна намекала на его сношения с Степанидой, которые прекратились с самой осени, и, как всегда одинокие женщины, приписывала этим сношениям гораздо большее значение, чем то, которое они имели. Евгений покраснел, и не от стыда столько, сколько от досады, что добрая Марья Павловна суется – правда, любя, – но все-таки суется туда, куда ей не надо и чего она не понимает и не может понимать. Он сказал, что у него ничего нет такого, что бы нужно было скрывать, и что он именно так себя вел всегда, чтобы ничто не могло помешать его женитьбе.

– Ну и прекрасно, дружок. Ты, Геня, не обижайся на меня, – сказала Марья Павловна, конфузясь.

Но Евгений видел, что она не кончила и не сказала то, что хотела. Так и вышло. Немного погодя она стала рассказывать о том, как без него ее просили крестить у... Пчельниковых.

Теперь Евгений вспыхнул уже не от досады и даже не от стыда, а от какого-то странного чувства сознания важности того, что ему сейчас скажут, сознания невольного, совершенно несогласного с его рассуждением. Так и вышло то, чего он ожидал. Марья Павловна, как будто не имея никаких других целей, кроме разговора, рассказала, что нынешний год родятся все мальчики, видно, к войне. И у Васиных, и у Пчельникова молодая бабочка первым – тоже мальчик. Марья Павловна хотела рассказать это незаметно, но ей самой сделалось стыдно, когда она увидала краску на лице сына и его нервные снимание, пощелкивание и надевание пенсне и поспешное закуриванье папиросы. Она замолчала. Он тоже молчал и не мог придумать, чем бы перервать это молчание. Так что оба поняли, что поняли друг друга.

– Да, главное, в деревне надо справедливость, чтоб не было любимцев, как у дяди твоего.

– Маменька, – сказал вдруг Евгений, – я знаю, к чему вы это говорите. Вы напрасно тревожитесь. Для меня моя будущая семейная жизнь такая святыня, которой я ни в каком случае не нарушу. А то, что было в моей холостой жизни, то все кончено совсем. И я никогда не входил ни в какие связи, и никто не имеет на меня никаких прав.

– Ну, я рада, – сказала мать. – Я знаю твои благородные мысли.

Евгений принял эти слова матери как следующую ему дань и замолчал.

На другое утро он поехал в город, думая о невесте, обо всем на свете, но только не о Степаниде. Но как будто нарочно, чтобы напомнить ему, он, подъезжая к церкви, стал встречать народ, шедший и ехавший оттуда. Он встретил Матвея-старика с Семеном, ребят, молодых девок, а вот две бабы, одна постарше и одна нарядная, в ярко-красном платке, и что-то знакомое. Баба идет легко, бодро, и на руке ребенок. Он поравнялся, баба старшая поклонилась по-старинному, остановившись, а молодайка с ребенком только нагнула голову, и из-под платка блеснули знакомые улыбающиеся, веселые глаза.

«Да, это она, но все кончено, и нечего смотреть на нее. И ребенок, может быть, мой, – мелькнуло ему в голове. – Нет, вздор какой. Муж был, она к нему ходила». Он не стал высчитывать даже. Так у него решено было, что это было нужно для здоровья, он платил деньги, и больше ничего; связи какой-нибудь между им и ею нет, не было, не может и не должно быть. Он

не то чтобы заминал голос совести, нет, прямо совесть ничего не говорила ему. И он не вспомнил о ней ни разу после разговора матери и встречи. И ни разу после и не встречал ее.

На Красную горку Евгений обвенчался в городе и тотчас же с молодой женой уехал в деревню. Дом был устроен, как обыкновенно устраивают для молодых. Марья Павловна хотела уехать, но Евгений, а главное – Лиза упростили ее остаться. Только она перешла во флигель.

И так началась для Евгения новая жизнь.

VII

Первый год семейной жизни был трудный год для Евгения. Труден он был тем, что дела, которые он откладывал кое-как во время сватовства, теперь, после женитьбы, все вдруг обрушились на него.

Выпутаться из долгов оказалось невозможным. Дача была продана, самые кричащие долги покрыты, но все еще оставались долги, и денег не было. Именье принесло хороший доход, но нужно было послать брату и издержать на свадьбу, так что денег не было, и завод не мог идти, и надо было его остановить. Одно средство выпутаться состояло в том, чтобы употребить деньги жены. Лиза, поняв положение мужа, сама потребовала этого. Евгений согласился, но только с тем, чтобы сделать купчую на половину имения на имя жены. Так он и сделал. Разумеется, не для жены, которую это оскорбляло, а для тещи.

Эти дела с разными переменами, то успех, то неуспех, было одно, что отравляло жизнь Евгения в этот первый год. Другое было нездоровье жены. В этот же первый год, семь месяцев после женитьбы, осенью, с Лизой случилась беда. Она выехала на шарабане встречать мужа, возвращавшегося из города, смирная лошадь заиграла, она испугалась, выпрыгнула. Прыжок был относительно счастливый, – она могла зацепиться за колесо, – но она была уже беременна, и в ту же ночь у нее начались боли, и она выкинула и долго не могла оправиться после выкидыша. Потеря ожидаемого ребенка, болезнь жены, связанное с этим расстройство жизни и, главное, присутствие тещи, приехавшей тотчас же, как заболела Лиза, – все это сделало для Евгения год этот еще более тяжелым.

Но, несмотря на эти тяжелые обстоятельства, к концу первого года Евгений чувствовал себя очень хорошо. Во-первых, его задушевная мысль восстановить упавшее состояние, возобновить дедовскую жизнь в новых формах, хотя с трудом и медленно, но приводилась в исполнение. Теперь уже речи не могло быть о продаже за долги всего имения. Имение главное, хотя и переписанное на имя жены, было спасено, и если только свекла будет выходна и цены хороши, то к будущему году положение нужды и напряжения может замениться совершенным довольством. Это было одно.

Другое было то, что как ни много он ожидал от своей жены, он никак не ожидал найти в ней то, что он нашел: это было не то, чего он ожидал, но это было гораздо лучше. Умилений, восторгов влюбленных, хотя он и

старался их устраивать, не выходило или выходило очень слабо; но выходило совсем другое, то, что не только веселее, приятнее, но легче стало жить. Он не знал, отчего это происходит, но это было так.

Происходило же это оттого, что ею было решено тотчас же после обручения, что из всех людей в мире есть один Евгений Иртенев выше, умнее, чище, благороднее всех, и потому обязанность всех людей служить и делать приятное этому Иртеневу. Но так как всех нельзя заставить это делать, то надо по мере сил делать это самой. Так она и делала, и потому все ее силы душевные всегда были направлены на то, чтобы узнать, угадать то, что он любит, и потом делать это самое, что бы это ни было и как бы трудно это ни было.

И в ней было то, что составляет главную прелесть общения с любящей женщиной, в ней было благодаря любви к мужу ясновиденье его души. Она чувала – ему казалось, часто лучше его самого – всякое состояние его души, всякий оттенок его чувства и соответственно этого поступала, стало быть никогда не оскорбляла его чувства, а всегда умеряла тяжелые чувства и усиливала радостные. Но не только чувства, мысли его она понимала. Самые чуждые ей предметы по сельскому хозяйству, по заводу, по оценке людей она сразу понимала и не только могла быть ему собеседником, но часто, как он сам говорил ей, полезным, незаменимым советчиком. На вещи, людей, на все в мире она смотрела только его глазами. Она любила свою мать, но, увидав, что Евгению бывало неприятно вмешательство в их жизнь тещи, она сразу стала на сторону мужа и с такой решительностью, что он должен был укрощать ее.

Сверх всего этого, в ней было пропасть вкуса, такта и, главное, тишины. Все, что она делала, она делала незаметно, заметны были только результаты дела, то есть всегда и во всем чистота, порядок и изящество. Лиза тотчас же поняла, в чем состоял идеал жизни ее мужа, и старалась достигнуть и достигала в устройстве и порядке дома того самого, чего он желал. Недоставало детей, но и на это была надежда. Зимой они съездили в Петербург к акушеру, и он уверил их, что она совсем здорова и может иметь детей.

И это желание сбылось. К концу года она опять забеременела.

Одно, что не то что отравляло, но угрожало их счастью, была ее ревность – ревность, которую она сдерживала, не показывала, но от которой она часто страдала. Не только Евгений не мог никого любить, потому что не было на свете женщин, достойных его (о том, что была ли она достойна его, или нет, она никогда не спрашивала себя), но и ни одна женщина поэтому не могла сметь любить его.

VIII

Жили они так: он вставал, как всегда, рано и шел по хозяйству, на завод, где производились работы, иногда в поле. К десяти часам он приходил к кофею. Кофе пили на террасе Марья Павловна, дядюшка, который жил у них, и Лиза. После разговоров, часто очень оживленных, за кофе, расходились до обеда. В два обедали. И после ходили гулять или ездили кататься. Вечером, когда он приходил из конторы, пили поздно чай, и иногда он читал вслух, она работала, или музицировали, или разговаривали, когда бывали гости. Когда он уезжал по делам, он писал и получал от нее письма каждый день. Иногда она сопровождала его, и это бывало особенно весело. В именины его и ее собирались гости, и ему приятно было видеть, как она умела все устроить так, что всем было хорошо. Он видел, да и слышал, что все любят ее, молодой, милой хозяйкой, и еще больше любил ее за это. Все шло прекрасно. Беременность она носила легко, и они оба, хотя и сами робея, начинали загадывать о том, как они будут воспитывать ребенка. Способ воспитания, приемы, все это решал Евгений, и она только желала покорно исполнить его волю. Евгений же начитался медицинских книг и имел намерение воспитывать ребенка по всем правилам науки. Она, разумеется, соглашалась на все и готовилась, сшивала конверты теплые и холодные и устраивала качку. Так наступил второй год их женитьбы и вторая весна.

IX

Это было под Троицын день. Лиза была на пятом месяце и, хотя и береглась, была весела и подвижна. Обе матери, ее и его, жили в доме под предлогом карауления и оберегания ее и только тревожили ее своими пикировками. Евгений занимался особенно горячо хозяйством, новой обработкой в больших размерах свеклы.

Под Троицын день Лиза решила, что надо сделать хорошую очистку дома, которой не делали со святой, и позвала в помощь прислуге двух поденных баб, чтоб вымыть полы, окна, и выбить мебель и ковры, и надеть чехлы. С раннего утра пришли бабы, поставили чугуны воды и принялись за работу. Одна из двух баб была Степанида, которая только что отняла своего мальчика и напросилась через конторщика, к которому она бегала теперь, в поломойки. Ей хотелось хорошенько рассмотреть новую барыню. Степанида жила по-старому одна, без мужа, и шалила, как она шалила прежде с стариком Данилой, поймавшим ее с дровами, потом с барином, теперь с молодым малым – конторщиком. Об барине она вовсе и не думала. «У него теперь жена есть, – думала она. – А лестно посмотреть барыню, ее заведение, хорошо, говорят, убрано».

Евгений, с тех пор как встретил ее с ребенком, не видал ее. На поденную она не ходила, так как была с ребенком, а он редко проходил по деревне. В это утро, накануне Троицына дня, Евгений рано, в пятом часу, встал и уехал на паровое поле, где должны были рассыпать фосфориты, и вышел из дому, пока еще бабы не входили в него, а возились у печи с котлами.

Веселый, довольный и голодный, Евгений возвращался к завтраку. Он слез с лошади у калитки и, отдав ее проходившему садовнику, постегивая хлыстом высокую траву, повторяя, как это часто бывает, произнесенную фразу, шел к дому. Фраза, которую он повторял, была: «Фосфориты оправдают», – что, перед кем – он не знал и не думал.

На лужку колотили ковер. Мебель была вынесена.

«Матушки! какую Лиза затеяла перечистку. Фосфориты оправдают. Вот так хозяйка. Хозяюшка! Да, хозяйюшка, – сказал он сам себе, живо представив себе ее в белом капоте, с сияющим от радости лицом, какое у нее почти всегда было, когда он смотрел на нее. – Да, надо переменить сапоги, а то фосфориты оправдают, то есть пахнет навозом, а хозяйюшка-то с в таком положении. Отчего в таком положении? Да, растет там в ней

маленький Иртенев новый, – подумал он. – Да, фосфориты оправдают». И, улыбаясь своим мыслям, ткнул рукой дверь в свою комнату.

Но не успел он надавить на дверь, как она сама отворилась, и нос с носом он столкнулся с шедшей ему навстречу с ведром, подоткнутой, босоногой и с высоко засученными рукавами бабой. Он посторонился, чтобы пропустить бабу, она тоже посторонилась, поправляя верхом мокрой руки сбившийся платок.

– Иди, иди, я не пойду, коли вы... – начал было Евгений и вдруг, узнав ее, остановился.

Она, улыбаясь глазами, весело взглянула на него. И, обдернув паневу, вышла из двери.

«Что за вздор?.. Что такое?.. Не может быть», – хмурясь и отряхиваясь, как от мухи, говорил себе Евгений, недовольный тем, что он заметил ее. Он был недоволен тем, что заметил ее, а вместе с тем не мог оторвать от ее покачивающегося ловкой, сильной походкой босых ног тела, от ее рук, плеч, красивых складок рубахи и красной паневы, высоко подоткнутой над ее белыми икрами.

«Да что же я смотрю, – сказал он себе, опуская глаза, чтоб не видеть ее. – Да, надо взойти все-таки, взять сапоги другие». И он повернулся назад к себе в комнату; но не успел пройти пяти шагов, как, сам не зная как и по чьему приказу, опять оглянулся, чтобы еще раз увидеть ее. Она заходила за угол и в то же мгновение тоже оглянулась на него.

«Ах, что я делаю, – вскрикнул он в душе. – Она может подумать. Даже наверно она уже подумала».

Он вошел в свою мокрую комнату. Другая баба, старая, худая, была там и мыла еще. Евгений прошел на цыпочках через грязные лужи к стенке, где стояли сапоги, и хотел выходить, когда баба тоже вышла.

«Эта вышла, и придет та, Степанида – одна», – вдруг начал в нем рассуждать кто-то.

«Боже мой! Что я думаю, что я делаю!» Он схватил сапоги и побежал с ними в переднюю, там надел их, обчистился и вышел на террасу, где уж сидели обе мамы за кофе. Лиза, очевидно, ждала его и вошла на террасу из другой двери вместе с ним.

«Боже мой, если бы она, считающая меня таким честным, чистым, невинным, если бы она знала!» – подумал он.

Лиза, как всегда, с сияющим лицом встретила его. Но нынче она что-то особенно показалась ему бледной, желтой и длинной, слабой.

За кофеем, как и часто случалось, шел тот особенный дамский разговор, в котором логической связи не было никакой, но который, очевидно, чем-то связывался, потому что шел непрерывно.

Обе дамы пикировались, и Лиза искусно лавировала между ними.

– Мне так досадно, что не успели вымыть твою комнату до твоего приезда, – сказала она мужу. – А так хочется все перебрать.

– Ну как ты, спала после меня?

– Да, я спала, мне хорошо.

– Как может быть хорошо женщине в ее положении в эту невыносимую жару, когда окна на солнце, – сказала Варвара Алексеевна, ее мать. – И без жалюзи или маркиз. У меня всегда маркизы.

– Да ведь здесь тень с десяти часов, – сказала Марья Павловна.

– От этого и лихорадка. От сырости, – сказала Варвара Алексеевна, не замечая того, что она говорит прямо противное тому, что говорила сейчас. – Мой доктор говорил всегда, что нельзя никогда определить болезнь, не зная характера больной. А уж он знает, потому что это первый доктор, и мы платим ему сто рублей. Покойный муж не признавал докторов, но для меня никогда он ничего не жалел.

– Как же может мужчина жалеть для женщины, когда жизнь ее и ребенка зависит, может быть...

– Да, когда есть средства, то жена может не зависеть от мужа. Хорошая жена покоряется мужу, – сказала Варвара Алексеевна, – но только Лиза слишком еще слаба после своей болезни.

– Да нет, мама, я себя прекрасно чувствую. Что ж кипяченых сливок вам не подали?

– Мне не надо. Я могу и с сырыми.

– Я спрашивала у Варвары Алексеевны. Она отказалась, – сказала Марья Павловна, как будто оправдываясь.

– Да нет, я не хочу нынче. – И, как будто чтоб прекратить неприятный разговор и великодушно уступая, Варвара Алексеевна обратилась к Евгению: – Ну что, рассыпали фосфориты?

Лиза побежала за сливками.

– Да я не хочу, не хочу.

– Лиза! Лиза! тише, – сказала Марья Павловна. – Ей вредны эти быстрые движения.

– Ничего не вредно, если есть спокойствие душевное, – сказала, как будто на что-то намекая, Варвара Алексеевна, хотя и сама знала, что слова ее не могли ни на что намекать.

Лиза вернулась со сливками. Евгений пил свой кофе и угрюмо слушал. Он привык к этим разговорам, но нынче его особенно раздражала бессмысленность его. Ему хотелось обдумать то, что случилось с ним, а этот лепет мешал ему. Напившись кофе, Варвара Алексеевна так и ушла не в духе. Остались одни Лиза, Евгений и Марья Павловна. И разговор шел простой и приятный. Но чуткая любовью Лиза тотчас же заметила, что что-то мучает Евгения, и спросила его, не было ли чего неприятного. Он не приготовился к этому вопросу и немного замялся, отвечая, что ничего. И этот ответ еще больше заставил задуматься Лизу. Что что-то мучало и очень мучало его, ей было так же очевидно, как то, что муха попала в молоко, но он не говорил, что же это такое было.

XI

После завтрака все разошлись, Евгений, по заведенному порядку, пошел к себе в кабинет. Он не стал ни читать, ни писать письма, а сел и стал курить одну папиросу за другою, думая. Его страшно удивило и огорчило это неожиданно проявившееся в нем скверное чувство, от которого он считал себя свободным, с тех пор как женился. Он ни разу с тех пор не испытывал этого чувства ни к ней, к той женщине, которую он знал, ни к какой бы то ни было женщине, кроме как к своей жене. Он в душе много раз радовался этому своему освобождению, и вот вдруг эта случайность, такая, казалось бы, ничтожная, открыла ему то, что он не свободен. Его мучало теперь не то, что он опять подчинился этому чувству, что он желает ее, – этого он и думать не хотел, – а то, что чувство это живо в нем и что надо стоять настороже против него. В том, что он подавит это чувство, в душе его не было и сомнения.

У него было одно неотвеченное письмо и бумага, которую надо было составить. Он сел за письменный стол и взялся за работу. Окончив ее и совсем забыв то, что его встревожило, он вышел, чтобы пройти на конюшню. И опять, как на беду, по несчастной ли случайности или нарочно, только он вышел на крыльцо, из-за угла вышла красная панева и красный платок и, махая руками и перекачиваясь, прошла мимо него. Мало того, что прошла, она пробежала, миновав его, как бы играючи, и догнала товарку.

Опять яркий полдень, крапива, зады Даниловой караулки и в тени кленов ее улыбающееся лицо, кусающее листья, восстали в его воображении.

«Нет, это невозможно так оставить», – сказал он себе и, подождав того, чтобы бабы скрылись из виду, пошел в контору. Был самый обед, и он надеялся застать еще приказчика. Так и случилось. Приказчик только что проснулся. Он стоял в конторе, потягиваясь, зевал, глядя на скотника, что-то ему говорившего.

– Василий Николаевич!

– Что прикажете?

– Мне поговорить с вами.

– Что прикажете?

– Да вот кончите.

– Разве не принесешь? – сказал Василий Николаевич скотнику.

– Тяжело, Василий Николаевич.
– Что это? – спросил Евгений.
– Да отелилась в поле корова. Ну ладно, я сейчас велю запрячь лошадь.
Вели Николаю Лысуху запрячь, хоть в дроги.

Скотник ушел.

– Вот видите ли, – краснея и чувствуя это, начал Евгений. – Вот видите ли, Василий Николаевич. Тут, пока я был холостой, были у меня грехи... Вы, может быть, слышали...

Василий Николаевич улыбался глазами и, очевидно жалея барина, сказал:

– Это насчет Степашки?

– Ну да. Так вот что. Пожалуйста, пожалуйста, не берите вы ее на поденную в дом... Вы понимаете, неприятно очень мне...

– Да это, видно, Ваня-конторщик распорядился.

– Так пожалуйста... Ну так как же, рассыпят остальное? – сказал Евгений, чтобы скрыть свой конфуз.

– Да вот поеду сейчас.

Так и кончилось это. И Евгений успокоился, надеясь, что как он прожил год, не выдав ее, так будет и теперь. «Кроме того, Василий скажет Ивану-конторщику, Иван скажет ей, и она поймет, что я не хочу этого», – говорил себе Евгений и радовался тому, что он взял на себя и сказал Василью, как ни трудно это было ему. «Да все лучше, все лучше, чем это сомнение, этот стыд». Он содрогался при одном воспоминании об этом преступлении мыслью.

XII

Нравственное усилие, которое он сделал, чтобы, преодолев стыд, сказать Василью Николаевичу, успокоило Евгения. Ему казалось, что теперь все кончено. И Лиза тотчас же заметила, что он совсем спокоен и даже радостнее обыкновенного. «Верно, его огорчала эта пикировка между мамашами. В самом деле, тяжело, в особенности ему с его чувствительностью и благородством, слышать всегда эти недружелюбные и дурного тона намеки на что-то», – думала Лиза.

Следующий день был Троицын. Погода была прекрасная, и бабы, по обыкновению, проходя в лес завивать венки, подошли к барскому дому и стали петь и плясать. Марья Павловна и Варвара Алексеевна вышли в нарядных платьях с зонтиками на крыльцо и подошли к хороводу. С ними же вместе вышел в китайском сюртучке обрюзгший блудник и пьяница дядюшка, живший это лето у Евгения.

Как всегда, был один пестрый, яркий цветами кружок молодых баб и девок центром всего, а вокруг него с разных сторон, как оторвавшиеся и вращающиеся за ним планеты и спутники, то девчата, держась рука с рукой, шурша новым ситцем расстегаев, то малые ребята, фыркающие чему-то и бегающие взад и вперед друг за другом, то ребята взрослые, в синих и черных поддевках и картузах и красных рубахах, с непрерывающим плеваньем шелухи семечек, то дворовые или посторонние, издалека поглядывающие на хоровод. Обе барыни подошли к самому кругу и вслед за ними Лиза, в голубом платье и таких же лентах на голове, с широкими рукавами, из которых виднелись ее длинные белые руки с угловатыми локтями.

Евгению не хотелось выходить, но смешно было скрываться. Он вышел тоже с папирсой на крыльцо, раскланялся с ребятами и мужиками и заговорил с одним из них. Бабы между тем орали во всю мочь плясовую и подщелкивали и подхлопывали в ладони и плясали.

– Барыня зовут, – сказал малый, подходя к не слыхавшему зова жены Евгению. Лиза звала его посмотреть на пляску, на одну из плясавших баб, которая ей особенно нравилась. Это была Степаша. Она была в желтом расстегае, и в плисовой безрукавке, и в шелковом платке, широкая, энергичная, румяная, веселая. Должно быть, она хорошо плясала. Он ничего не видал.

– Да, да, – сказал он, снимая и надевая пенсне. – Да, да, – говорил он.

«Стало быть, нельзя мне избавиться от нее», – думал он.

Он не смотрел на нее, потому что боялся ее привлекательности, и именно от этого то, что он мельком видел в ней, казалось ему особенно привлекательным. Кроме того, он видел по блеснувшему ее взгляду, что она видит его и видит то, что он любит ее. Он постоял, сколько нужно было для приличия, и, увидав, что Варвара Алексеевна подозвала ее и что-то нескладно, фальшиво, называя ее милочкой, говорила с ней, повернулся и отошел. Он отошел и вернулся в дом. Он ушел, чтобы не видеть ее, но, войдя на верхний этаж, он, сам не зная как и зачем, подошел к окну и все время, пока бабы были у крыльца, стоял у окна и смотрел, смотрел на нее, упивался ею.

Он сбежал, пока никто не мог его видеть, и пошел тихим шагом на балкон и, на балконе закулив папиросу, как будто гуляя, пошел в сад по тому направлению, по которому она пошла. Он не сделал двух шагов по аллее, как за деревьями мелькнула плисовая безрукавка на желтом расстеге и красный платок. Она шла куда-то с другой бабой. «Куда-то они шли?»

И вдруг страстная похоть обожгла его, как рукой схватила за сердце. Евгений, как будто по чьей-то чуждой ему воле, оглянулся и пошел к ней.

– Евгений Иваныч, Евгений Иваныч! Я к вашей милости, – заговорил сзади голос, и Евгений, увидав старика Самохина, который рыл у него колодец, очнулся и, быстро повернувшись, пошел к Самохину. Разговаривая с ним, он повернулся боком и увидал, что они с бабой прошли вниз, очевидно к колодцу или под предлогом колодца, и потом, побыв там недолго, побежали к хороводу.

XIII

Поговорив с Самохиным, Евгений вернулся в дом убитый, точно совершивший преступление. Во-первых, она поняла его, она думала, что он хочет видеть ее, и она желает этого. Во-вторых, эта другая баба – эта Анна Прохорова, – очевидно, знает про это.

Главное же то, что он чувствовал, что он побежден, что у него нет своей воли, есть другая сила,двигающая им; что нынче он спасся только по счастью, но не нынче, так завтра, так послезавтра он все-таки погибнет.

«Да, погибнет, – он иначе не понимал этого, – изменить своей молодой, любящей жене в деревне с бабой, на виду всех, разве это не была гибель, страшная гибель, после которой нельзя было жить больше? Нет, надо, надо принять меры».

«Боже мой, боже мой! Что же мне делать? Неужели я так и погибну? – говорил он себе. – Разве нельзя принять мер? Да надо же что-нибудь сделать. Не думать об ней, – приказывал он себе. – Не думать!» – и тотчас же он начинал думать, и видел ее перед собой, и видел кленовую тень.

Он вспомнил, что читал про старца, который от соблазна перед женщиной, на которую должен был наложить руку, чтобы лечить ее, положил другую руку на жаровню и сжег пальцы. Он вспомнил это. «Да, я готов сжечь пальцы лучше, чем погибнуть». И он, оглянувшись, что никого нет в комнате, зажег спичку и положил палец в огонь. «Ну, думай о ней теперь», – иронически обратился он к себе. Ему стало больно, он отдернул закопченный палец, бросил спичку и сам засмеялся над собой. «Какой вздор. Не это надо делать. А надо принять меры, чтобы не видать ее, – уехать самому или ее удалить. Да, удалить! Предложить ее мужу денег, чтоб он уехал в город или в другое село. Узнают, будут говорить про это. Ну что же, все лучше, чем эта опасность. Да, надо сделать это», – говорил он себе и все, не спуская глаз, смотрел на нее. «Куда это она пошла?» – вдруг спросил он себя. Она, как ему показалось, видела его у окна и теперь, взглянув на него, взялась рукой с какой-то бабой, пошла к саду, бойко размахивая рукой. Сам не зная зачем, почему, все ради своих мыслей, он пошел в контору.

Василий Николаевич, в нарядном сертуке, напoмаженный, сидел за чаем с женой и гостьей в ковровом платке.

– Как бы мне, Василий Николаевич, поговорить.

– Можно. Пожалуйте. Мы отпили.

– Нет, пойдите со мной лучше.

– Сейчас, только дай картуз возьму. Ты, Таня, самовар-то прикрой, – сказал Василий Николаевич, весело выходя.

Евгению показалось, что он был выпивши, но что же делать; может, это к лучшему, он участливее взойдет в его положение.

– Я, Василий Николаевич, опять о том же, – сказал Евгений, – об этой женщине.

– Так что же. Я приказал, чтоб отнюдь не брать.

– Да нет, я вообще вот что думаю и вот о чем хотел с вами посоветоваться. Нельзя ли их удалить, все семейство удалить?

– Куда ж их удалишь? – недовольно и насмешливо, как показалось Евгению, сказал Василий.

– Да я так думал, что дать им денег или даже земли в Колтовском, только бы не было ее тут.

– Да как же удалишь? Куда он пойдет с своего корня? Да и на что вам? Что она вам, мешает?

– Ах, Василий Николаевич, вы поймите, что жене это ужасно будет узнать.

– Да кто же ей скажет?

– Да как же жить под этим страхом? Да и вообще это тяжело.

– И чего вы беспокоитесь, право? Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто богу не грешен, царю не виноват?

– Все-таки лучше бы удалить. Вы не можете поговорить с мужем?

– Да нечего говорить. Эх, Евгений Иванович, что вы это? И все прошло и забылось. Чего не бывает? А кто же теперь про вас скажет худое? Ведь вы в виду.

– Но вы все-таки скажите.

– Хорошо, я поговорю.

Хотя он и знал вперед, что из этого ничего не выйдет, разговор этот несколько успокоил Евгения. Он, главное, почувствовал, что он от волнения преувеличил опасность.

Разве он шел на свидание с ней? Оно и невозможно. Он просто шел пройтись по саду, а она случайно выбежала туда.

XIV

В этот же самый Троицын день, после обеда, Лиза, гуляя по саду и выходя из него на луг, куда повел ее муж, чтобы показать клевер, переходя маленькую канавку, оступилась и упала. Она упала мягко на бок, но охнула, и в лице ее муж увидал не только испуг, но боль. Он хотел поднять ее, но она отвела его руку.

– Нет, погоди немного, Евгений, – сказала она, слабо улыбаясь и снизу как-то, как ему показалось, с виноватым видом глядя на него. – Просто нога подвернулась.

– Вот я всегда говорю, – заговорила Варвара Алексеевна. – Разве можно в таком положении прыгать через канавы?

– Да нет же, мама, ничего. Я сейчас встану.

Она встала с помощью мужа, но в ту же минуту она побледнела, и на лице ее выразился испуг.

– Да, мне нехорошо, – и она шепнула что-то матери.

– Ах, боже мой, что наделали! Я говорила не ходить, – кричала Варвара Алексеевна. – Погодите, я пришлю людей. Ей не надо ходить. Ее надо снести.

– Ты не боишься, Лиза? Я снесу тебя, – сказал Евгений, обхватив ее левой рукой. – Обойми мне шею. Вот так.

И он, нагнувшись, подхватил ее под ноги правой рукой и поднял. Никогда он не мог забыть после это страдальческое и вместе блаженное выражение, которое было на ее лице.

– Тебе тяжело, милый, – говорила она, улыбаясь. – Мама-то бежит, скажи ей!

И она пригнулась к нему и поцеловала. Ей, очевидно, хотелось, чтобы и мама видела, как он несет ее.

Евгений крикнул Варваре Алексеевне, чтоб она не торопилась, что он донесет. Варвара Алексеевна остановилась и начала кричать еще пуще.

– Ты уронишь ее, непременно уронишь. Хочешь погубить ее. Нет в тебе совести.

– Да я прекрасно несу.

– Не хочу я, не могу я видеть, как ты моришь мою дочь. – И она забежала за угол аллеи.

– Ничего, это пройдет, – говорила Лиза, улыбаясь.

– Да только бы не было последствий, как тот раз.

– Нет, я не об этом. Это ничего, а я о мамá. Ты устал, отдохни.

Но хотя ему и тяжело было, Евгений с гордой радостью донес свою ношу до дому и не передал ее горничной и повару, которых нашла и выслала им навстречу Варвара Алексеевна. Он донес ее до спальни и положил на постель.

– Ну, ты поди, – сказала она и, притянув к себе его руку, поцеловала ее. – Мы с Аннушкой справимся.

Марья Павловна прибежала тоже из флигеля. Лизу раздели и уложили в постель. Евгений сидел в гостиной с книгой в руке, дожидаясь. Варвара Алексеевна прошла мимо него с таким укоризненным, мрачным видом, что ему сделалось страшно.

– Ну что? – спросил он.

– Что? Что же спрашивать? То самое, чего вы хотели, вероятно, заставляя жену прыгать через рвы.

– Варвара Алексеевна! – вскрикнул он. – Это невыносимо. Если вы хотите мучать людей и отравлять им жизнь... – он хотел сказать: то поезжайте куда-нибудь в другое место, но удержался. – Как вам не больно это?

– Теперь поздно.

И она, победоносно встряхнув чепцом, прошла в дверь.

Падение действительно было дурное. Нога подвернулась неловко, и была опасность того, что опять будет выкидыш. Все знали, что делать ничего нельзя, что надо только лежать спокойно, но все-таки решили послать за доктором.

«Многоуважаемый Николай Семенович, – написал Евгений врачу, – вы так всегда добры были к нам, что, надеюсь, не откажете приехать помочь жене. Она в...» и т. д. Написав письмо, он пошел в конюшню распорядиться лошадьми и экипажем. Надо было приготовить одних лошадей, чтобы привезти, других – увезти. Где хозяйство не на большую ногу, все это не сразу можно устроить, а надо обдумать. Наладив все сам и отправив кучера, он вернулся домой в десятом часу. Жена лежала и говорила, что ей прекрасно и ничего не болит; но Варвара Алексеевна сидела за лампой, заслоненной от Лизы нотами, и вязала большое красное одеяло с таким видом, который ясно говорил, что после того, что было, миру быть не может. «А что бы кто ни делал, я, по крайней мере, исполнила свою обязанность».

Евгений видел это, но чтобы сделать вид, что он не замечает, старался иметь веселый и беспечный вид, рассказывал, как он собрал лошадей и как кобыла Кавушка отлично пошла на левой пристяжке.

– Да, разумеется, самое время выезжать лошадей, когда нужна помощь. Вероятно, и доктора также свалят в канаву, – сказала Варвара Алексеевна, из-под пенсне взглядывая на вязанье, подводя его под самую лампу.

– Да ведь надо же было кого-нибудь послать. А я сделал как лучше.

– Да я очень хорошо помню, как меня мчали ваши лошади под поезд.

Это была ее давнишняя выдумка, и теперь Евгений имел неосторожность сказать, что это не совсем так было.

– Недаром я всегда говорю, и князю сколько раз говорила, что тяжелее всего жить с людьми неправдивыми, неискренними; я все перенесу, но только не это.

– Ведь если кому больнее всех, то уж, верно, мне, – сказал Евгений.

– Да это и видно.

– Что?

– Ничего, я петли считаю.

Евгений стоял в это время у постели, и Лиза смотрела на него и одной из влажных рук, лежавших сверх одеяла, поймала его руку и пожала. «Переноси ее для меня. Ведь она не помешает нам любить друг друга», – говорил ее взгляд.

– Не буду. Это так, – прошептал он и поцеловал ее влажную длинную руку и потом милые глаза, которые закрывались, пока он целовал их.

– Неужели опять то же? – сказал он. – Как ты чувствуешь?

– Страшно сказать, чтоб не ошибиться, но чувство у меня такое, что он жив и будет жив, – сказала она, глядя на свой живот.

– Ах, страшно, страшно и думать.

Несмотря на настояние Лизы, чтоб он ушел, Евгений провел ночь с нею, засыпая только одним глазом и готовый служить ей. Но ночь она провела хорошо и, если бы не было послано за доктором, может быть, и встала бы.

К обеду приехал доктор и, разумеется, сказал, что, хотя повторные явления и могут вызывать опасения, но, собственно говоря, положительного указания нет, но так как нет и противопоказания, то можно, с одной стороны, полагать, с другой же стороны, тоже можно полагать. И потому надо лежать, и хотя я и не люблю прописывать, но все-таки это принимать и лежать. Кроме того, доктор прочел еще Варваре Алексеевне лекцию о женской анатомии, причем Варвара Алексеевна значительно кивала головой. Получив гонорар, как и обыкновенно, в самую заднюю часть ладони, доктор уехал, а больная осталась лежать на неделю.

Большую часть времени Евгений проводил у постели жены, служил ей, говорил с ней, читал с ней и, что было труднее всего, без ропота переносил нападки Варвары Алексеевны и даже сумел из этих нападков сделать предмет шутки.

Но он не мог сидеть дома. Во-первых, жена посылала его, говоря, что он заболеет, если будет сидеть все с нею, а во-вторых, хозяйство все шло так, что на каждом шагу требовало его присутствия. Он не мог сидеть дома, а был в поле, в лесу, в саду, на гумне, и везде не мысль только, а живой образ Степаниды преследовал его так, что он редко только забывал про нее. Но это было бы ничего; он, может быть, сумел бы преодолеть это чувство, но хуже всего было то, что он прежде жил, месяцами не видя ее, теперь же беспрестанно видел и встречал ее. Она, очевидно, поняла, что он хочет возобновить сношения с нею, и старалась попадаться ему. Ни им, ни ею не было сказано ничего, и оттого и он и она не шли прямо на свиданье, а старались только сходиться.

Место, где можно было сойтись, это был лес, куда бабы ходили с мешками за травой для коров. И Евгений знал это и потому каждый день проходил мимо этого леса. Каждый день он говорил себе, что он не пойдет, и каждый день кончалось тем, что он направлялся к лесу и, услышав звук голосов, останавливаясь за кустом, с замиранием сердца выглядывал, не она ли это.

Зачем ему нужно было знать, не она ли это? Он не знал. Если бы это была она и одна, он не пошел бы к ней, – так он думал, – он убежал бы; но ему нужно было видеть ее. Один раз он встретил ее: в то время как он входил в лес, она выходила из него с другими двумя бабами и тяжелым мешком, полным травы, на спине. Немного раньше – и он бы, может быть, столкнулся с нею в лесу. Теперь же ей невозможно было на виду других баб вернуться к нему в лес. Но, несмотря на сознаваемую им эту невозможность, он долго, рискуя обратить этим на себя внимание других баб, стоял за кустом орешника. Разумеется, она не вернулась, но он простоял здесь долго. И боже мой, с какой прелестью рисовало ему ее его воображение. И это было не один раз, а пятый, шестой раз. И что дальше, то сильнее. Никогда она так привлекательна не казалась ему. Да и не то что привлекательна; никогда она так вполне не владела им.

Он чувствовал, что терял волю над собой, становился почти

помешанным. Строгость его к себе не ослаблялась ни на волос; напротив, он видел всю мерзость своих желаний, даже поступков, потому что хождение его по лесу было поступок. Он знал, что стоило ему столкнуться с ней где-нибудь близко, в темноте, если бы можно прикоснуться к ней, и он отдастся своему чувству. Он знал, что только стыд перед людьми, перед ней и перед собой держал его. И он знал, что он искал условий, в которых бы не был замечен этот стыд, – темноты или такого прикосновения, при котором стыд этот заглушится животной страстью. И потому он знал, что он мерзкий преступник, и презирал и ненавидел себя всеми силами души. Он ненавидел себя потому, что все еще не сдавался. Каждый день он молился богу о том, чтобы он подкрепил, спас его от гибели, каждый день он решал, что отныне он не сделает ни одного шага, не оглянется на нее, забудет ее. Каждый день он придумывал средства, чтобы избавиться от этого наваждения, и употреблял эти средства.

Но все было напрасно.

Одно из средств было постоянное занятие; другое было усиленная физическая работа и пост; третье было представление себе ясное того стыда, который обрушится на его голову, когда все узнают это – жена, теща, люди. Он все это делал, и ему казалось, что он побеждает, но приходило время, полдень, время прежних свиданий и время, когда он ее встретил за травой, и он шел в лес. Так прошли мучительные пять дней. Он только видал ее издалека, но ни разу не сошелся с нею.

Лиза понемногу поправлялась, ходила и беспокоилась той переменной, которая произошла в ее муже и которой она не понимала.

Варвара Алексеевна уехала на время, из чужих гостей только дядюшка. Марья Павловна, как всегда, была дома.

В таком полусумасшедшем состоянии находился Евгений, когда случились, как это часто бывает после июньских гроз, июньские проливные дожди, продолжавшиеся два дня. Дожди отбили от всех работ. Даже навоз бросили возить от сырости и грязи. Народ сидел по домам. Пастухи мучались с скотиной и, наконец, пригнали ее домой. Коровы и овцы ходили по выгону и разбегались по усадьбам. Бабы, босые и покрытые платками, шлепая по грязи, бросились разыскивать разбежавшихся коров. Ручьи текли везде по дорогам, все листья, вся трава были полны водой, из желобов текли, не умолкая, ручьи в пузырящиеся лужи. Евгений сидел дома с женой, которая была особенно скучна нынче. Она несколько раз допрашивала Евгения о причине его недовольства, он с досадой отвечал, что ничего нет. И она перестала спрашивать, но огорчилась.

Они сидели после завтрака в гостиной. Дядюшка рассказывал сотый раз свои выдумки про своих великосветских знакомых. Лиза вязала кофточку и вздыхала, жалуясь на погоду и на боль в пояснице. Дядюшка посоветовал ей лечь, а сам попросил вина. В доме Евгению было ужасно скучно. Все было слабое, скучающее. Он читал книгу и курил, но ничего не понимал.

– Да, надо пройтись посмотреть терки, вчера привезли, – сказал он. Он встал и пошел.

– Ты возьми зонтик.

– Да нет, у меня кожан. Да и я только до варков.

Он надел сапоги, кожан и пошел к заводу; но не прошел он двадцати шагов, как навстречу ему попала она в высоко над белыми икрами подоткнутой паневе. Она шла, придерживая руками шаль, которой были закутаны ее голова и плечи.

– Что ты? – спросил он, в первую минуту не узнав ее. Когда он узнал, было уже поздно. Она остановилась и, улыбаясь, долго поглядела на него.

– Теленку ищущу. Куда же это вы в ненастье-то? – сказала она, точно каждый день видала его.

– Приходи в шалаш, – вдруг, сам не зная как, сказал он. Точно кто-то другой из него сказал эти слова.

Она закусила платок, кивнула глазами и побежала туда, куда шла, – в сад, к шалашу, а он продолжал свой путь с намерением завернуть за сиреневым кустом и идти туда же.

– Барин, – послышался ему сзади голос. – Барыня зовут, на минутку просят зайти.

Это был Миша, их слуга.

«Боже мой, второй раз ты спасаешь меня», – подумал Евгений и тотчас же вернулся. Жена напоминала ему, что он обещал в обед снести лекарство больной женщине, так вот она просила его взять его.

Пока собирали лекарство, прошло минут пять. Потом, выйдя с лекарством, он не решился идти в шалаш, чтобы его не увидели из дома. Но как только вышел из вида, он тотчас повернул и пошел к шалашу. Он уже видел в воображении своем ее посередине шалаша, весело улыбающуюся; но ее не было, и в шалаше ничего не было, что бы доказывало, что она была. Он уже подумал, что она не приходила и не слыхала и не поняла его слов. Он пробурчал их себе под нос, как бы боясь, чтобы она услышала их. «Или, может быть, и не хотела прийти? И с чего он выдумал, что она так и бросится к нему? У нее есть свой муж; только я один такой мерзавец, что у меня жена, и хорошая, а я бегаю за чужою». Так он думал, сидя в шалаше, протекшем в одном месте и капающем с своей соломы. «А что бы за счастье было, если бы она пришла. Одни здесь в этот дождь. Хоть бы раз опять обнять ее, а потом будь что будет. Ах да, – вспомнил он, – если была, то по следам можно найти». Он взглянул на землю пробитой к шалашу и не заросшей травой тропинки, и свежий след босой ноги, еще покотившейся, был на ней. «Да, она была. Но теперь кончено. Прямо, где ни увижу, пойду к ней. Ночью пойду к ней». Он долго сидел в шалаше и вышел из него измученный и убитый. Он снес лекарство, вернулся домой и лег у себя в комнате, дожидаясь обеда.

XVII

Перед обедом Лиза пришла к нему и, все придумывая, что бы могло быть причиною его неудовольствия, стала говорить ему, что она боится, что ему неприятно, что ее хотят везти в Москву родить и что она решила, что останется здесь. И ни за что не поедет в Москву. Он знал, как она боялась и самих родов, и того, чтобы не родить нехорошего ребенка, и потому не мог не умилиться, видя, как легко она всем жертвовала из любви к нему. Все было так хорошо, радостно, чисто в доме; а в душе его было грязно, мерзко, ужасно. Весь вечер Евгений мучался тем, что он знал, что, несмотря на свое искреннее отвращение к своей слабости, несмотря на твердое намерение перервать, завтра будет то же самое.

– Нет, это невозможно, – говорил он себе, ходя взад и вперед по своей комнате. – Ведь должно же быть какое-нибудь средство против этого. Боже мой! что делать?

Кто-то на иностранный манер постучался в дверь. Это, он знал, был дядюшка.

– Взойдите, – сказал он.

Дядюшка пришел самопроизвольно послом от жены.

– Ты знаешь ли, что в самом деле я замечаю в тебе перемену, – сказал он, – и Лизу, я понимаю, как это мучает. Я понимаю, что тебе тяжело оставлять все начатое и прекрасное дело, но что ты хочешь, que veux-tu? Я бы советовал вам ехать. Покойней будет и тебе и ей. И знаешь ли, мой совет ехать в Крым. Климат, акушер там прекрасный, и в самый виноградный сезон вы попадете.

– Дядюшка, – вдруг заговорил Евгений, – можете вы соблюсти мой секрет, ужасный для меня секрет, постыдный секрет?

– Помилуй, неужели ты сомневаешься во мне?

– Дядюшка! Вы можете мне помочь. Не то что помочь, спасти меня, – сказал Евгений. И мысль о том, что он откроет свою тайну дядюшке, которого он не уважал, мысль о том, что он покажется ему в самом невыгодном свете, унижится перед ним, была ему приятна. Он чувствовал себя мерзким, виноватым, и ему хотелось наказать себя.

– Говори, мой друг, ты знаешь, как я тебя полюбил, – заговорил дядюшка, видимо очень довольный и тем, что есть секрет, и что секрет постыдный, и что секрет этот ему сообщает, и что он может быть полезен.

– Прежде всего я должен сказать, что я мерзавец и негодяй, подлец,

именно подлец.

– Ну, что ты, – надуваясь горлом, начал дядюшка.

– Да как же не мерзавец, когда я, Лизин муж, Лизин! – надо ведь знать ее чистоту, любовь, – когда я, ее муж, хочу изменить ей с бабой?

– То есть отчего же ты хочешь? Ты не изменил ей?

– Да, то есть все равно что изменил, потому что это не от меня зависело. Я готов был. Мне помешали, а то я теперь бы... теперь бы. Я не знаю, что бы я сделал.

– Но позволь, ты объясни мне...

– Ну, да вот. Когда я был холостым, я имел глупость войти в сношения с женщиной здесь, из нашей деревни. То есть, как я встречался с ней в лесу, в поле...

– И хорошенькая? – сказал дядюшка.

Евгений поморщился от этого вопроса, но ему так нужна была помощь внешняя, что он как будто не слышал его и продолжал:

– Ну, я думал, что это так, что я перерву и все кончится. Я и перервал еще до женитьбы и почти год и не видал и не думал о ней, – Евгению самому странно было себя слушать, слушать описание своего состояния, – потом вдруг, уж я не знаю отчего, – право, иногда веришь в привороты, – я увидел ее, и червь залез мне в сердце – гложет меня. Я ругаю себя, понимая весь ужас своего поступка, то есть того, который я всякую минуту могу сделать, и сам иду на это, и если не сделал, то только бог меня спасал. Вчера я шел к ней, когда Лиза позвала меня.

– Как, в дождь?

– Да, я измучался, дядюшка, и решил открыться вам и просить вашей помощи.

– Да, разумеется, в своем имение это нехорошо. Узнают. Я понимаю, что Лиза слаба, надо жалеть ее, но зачем в своем имение?

Опять Евгений постарался не слышать того, что говорил дядюшка, и приступил скорее к сущности дела.

– Да вы спасите меня от себя. Я вас вот о чем прошу. Нынче мне помешали случайно, но завтра, в другой раз мне не помешают. И она знает теперь. Не пускайте меня одного.

– Да, положим, – сказал дядюшка. – Но неужели ты так влюблен?

– Ах, совсем не то. Это не то, это какая-то сила ухватила меня и держит. Я не знаю, что делать. Может быть, я окрепну, тогда...

– Ну вот и выходит по-моему, – сказал дядюшка. – Поедемте-ка в Крым.

– Да, да, поедемте, а пока я буду с вами, буду говорить вам.

XVIII

То, что Евгений доверил дядюшке свою тайну и, главное, те мучения совести и стыда, которые он пережил после того дождливого дня, отрезвили его. Поездка в Ялту была решена через неделю. В эту неделю Евгений ездил в город доставать денег на поездку, распоряжался из дома и конторы по хозяйству, опять стал весел и близок с женой и стал нравственно оживать.

Так, ни разу после того дождливого дня не видав Степаниду, он уехал с женою в Крым. В Крыму они провели прекрасно два месяца. Евгению было столько новых впечатлений, что все прежнее стерлось, ему казалось, совсем из его воспоминаний. В Крыму они встретили прежних знакомых и особенно сблизилась с ними; кроме того, сделали новые знакомства. Жизнь в Крыму для Евгения была постоянным праздником и, кроме того, еще была поучительна и полезна для него. Они сблизилась там с бывшим губернским предводителем их же губернии, с умным, либеральным человеком, который полюбил Евгения и образовывал его и привлек на свою сторону. В конце августа Лиза родила прекрасную, здоровую девочку, и родила неожиданно очень легко.

В сентябре Иртeneвы поехали домой уже сам-четверт, с ребенком и кормилицей, так как Лиза не могла кормить. Совершенно свободный от прежних ужасов, Евгений вернулся к себе совсем новым и счастливым человеком. Пережив все то, что переживают мужья при родах, он еще сильнее полюбил жену. Чувство к ребенку, когда он его брал на руки, было смешное, новое, очень приятное, точно щекотное чувство. Еще новое в его жизни теперь было то, что, кроме занятий хозяйством, в его душе благодаря сближению с Думчиным (бывший предводитель) возник новый интерес земский, отчасти честолубивый, отчасти сознания долга. В октябре должно было быть экстренное собрание, в котором его должны были выбрать. Приехав домой, он раз съездил в город, другой раз к Думчину.

О мучениях соблазна и борьбы он забыл и думать и с трудом мог восстановить их в своем воображении. Это представлялось ему чем-то вроде припадка сумасшествия, которому он подвергся.

До такой степени теперь он чувствовал себя свободным от этого, что он даже не побоялся спросить при первом случае, когда они остались одни, у приказчика. Так как он уже говорил с ним об этом, ему не совестно было спросить.

- Ну что, Пчельников Сидор все не живет дома? – спросил он.
 - Нет, все в городе.
 - А баба его?
 - Да пустая бабенка! Теперь с Зиновеем путается. Совсем заболталась.
- «Ну и прекрасно, – подумал Евгений. – Как удивительно мне все равно и как я изменился».

XIX

Совершилось все, чего желал Евгений. Именье осталось за ним, завод пошел, выход свекловицы был прекрасный, и доход ожидался большой; жена благополучно родила, и теща уехала, и его выбрали единогласно.

Евгений после избрания возвращался домой из города. Его поздравляли, он должен был благодарить. И он обедал и выпил бокалов пять шампанского. Совсем новые планы жизни теперь представились ему. Он ехал домой и думал о них. Было бабье лето. Прекрасная дорога, яркое солнце. Подъезжая к дому, Евгений думал о том, как он вследствие этого избрания займет в народе именно то положение, о котором он всегда мечтал, то есть такое, в котором он в состоянии будет служить ему не одним производством, которое дает работу, но прямым влиянием. Он представлял себе, как об нем через три года будут судить его же и другие крестьяне. «Вот и этот», – думал он, проезжая в это время по деревне и глядя на мужика и бабу, которые шли ему поперек дороги с полным ушатом. Они остановились, пропуская тарантас. Мужик был старик Пчельников, баба была Степанида. Евгений взглянул на нее, узнал ее и с радостью почувствовал, что он остался совершенно спокойным. Она была все так же миловидна, но его это не тронуло нисколько. Он приехал домой. Жена встретила на крыльце. Был чудный вечер.

– Ну что, можно поздравить? – сказал дядюшка.

– Да, выбрали.

– Ну и прекрасно. Спрыснуть надо.

На другое утро Евгений поехал по хозяйству, которое он запустил. На хуторе молотилка новая работала. Рассматривая ее работу, Евгений ходил между баб, стараясь не замечать их, но как он ни старался, он раза два заметил черные глаза и красный платок Степаниды, носившей солому. Раза два он покосился на нее и почувствовал, что опять что-то, но не мог дать себе отчета. Только на другой день, когда он опять поехал на гумно хутора и пробыл там два часа, чего совсем не нужно было, не переставая глазами ласкать знакомый красивый образ молодой женщины, он почувствовал, что он погиб, погиб совсем, безвозвратно. Опять эти мученья, опять весь этот ужас и страх. И нет спасенья.

То, чего он ожидал, то и случилось с ним. На другой день вечером он, сам не зная как, очутился у ее задворков, против ее сеного сарая, где один раз осенью у них было свиданье. Он, как будто гуляя, остановился тут,

закуривая папироску. Баба-соседка увидала его, и он, проходя назад, услышал, как она говорила кому-то:

– Иди, дожидается, сейчас умереть, стоит. Иди, дура!

Он видел, как баба – она – побежала к сараю, но ему нельзя уже было вернуться, потому что его встретил мужик, и он пошел домой.

Когда он пришел в гостиную, все ему показалось дико и неестественно. Утром он встал еще бодрый, с решением бросить, забыть, не позволять себе думать. Но, сам не замечая как, он все утро не только не интересовался делами, но старался освободиться от них. То, что прежде важно было, радовало его, было теперь ничтожно. Он бессознательно старался освободиться от дел. Ему казалось, что нужно освободиться для того, чтобы обсудить, обдумать. И он освободился и остался один. Но как только остался один, так он пошел бродить в сад, в лес. И все места эти были загажены воспоминаниями, воспоминаниями, захватывающими его. И он почувствовал, что он ходит в саду и говорит себе, что обдумывает что-то, а он ничего не обдумывает, а безумно, безосновательно ждет ее, ждет того, что она каким-то чудом поймет, как он желает ее, и возьмет и придет сюда или куда-нибудь туда, где никто не увидит, или ночью, когда не будет луны, и никто, даже она сама, не увидит, в такую ночь она придет, и он коснется ее тела...

«Да, вот и перервал, когда захотел, – говорил он себе. – Да, вот и для здоровья сошелся с чистой, здоровой женщиной! Нет, видно, нельзя так играть с ней. Я думал, что я ее взял, а она взяла меня, взяла и не пустила. Ведь я думал, что я свободен, а я не был свободен. Я обманывал себя, когда женился. Все было вздор, обман. С тех пор как я сошелся с ней, я испытал новое чувство, настоящее чувство мужа. Да, мне надо было жить с ней.

Да, две жизни возможны для меня, одна та, которую я начал с Лизой: служба, хозяйство, ребенок, уважение людей. Если эта жизнь, то надо, чтоб ее, Степаниды, не было. Надо услать ее, как я говорил, или уничтожить ее, чтоб ее не было. А другая жизнь – это тут же. Отнять ее у мужа, дать ему денег, забыть про стыд и позор и жить с ней. Но тогда надо, чтоб Лизы не было и Мими (ребенка). Нет, что же, ребенок не мешает, но чтоб Лизы не было, чтоб она уехала. Чтоб она узнала, прокляла и уехала. Узнала, что я променял ее на бабу, что я обманщик, подлец. Нет, это слишком ужасно! Этого нельзя. Да, но может и так быть, – продолжал он думать, – может так быть. Лиза заболеет да умрет. Умрет, и тогда все будет прекрасно.

Прекрасно! О негодяй! Нет, уж если умирать, то ей. Кабы она умерла, Степанида, как бы хорошо было.

Да, вот как отравляют или убивают жен или любовниц. Взять револьвер и пойти вызвать и, вместо объятий, в грудь. И кончено.

Ведь она черт. Прямо черт. Ведь она против воли моей завладела мною. Убить? да. Только два выхода: убить жену или ее.

Потому что так жить нельзя.^[4] Нельзя. Надо обдумать и предвидеть. Если остаться так, как есть, то что будет?

Будет то, что я опять себе скажу, что я не хочу, что я брошу, но я только скажу, а буду вечером на задворках, и она знает, и она придет. И или люди узнают и скажут жене, или я сам скажу ей, потому что не могу я лгать, не могу я так жить. Не могу. Узнается. Все узнают, и Параша, и кузнец. Ну и что же, разве можно жить так?

Нельзя. Только два выхода: жену убить или ее. Да еще...

Ах да, третий есть: себя, – сказал он тихо вслух, и вдруг мороз пробежал у него по коже. – Да, себя, тогда не нужно их убивать». Ему стало страшно именно потому, что он чувствовал, что только этот выход возможен. «Револьвер есть. Неужели я убью себя? Вот чего не думал никогда. Как это странно будет».

Он вернулся к себе в комнату и тотчас открыл шкаф, где был револьвер. Но не успел он открыть его, как вошла жена.

Он накиннул газету на револьвер.

– Опять то же, – с испугом сказала она, взглянув на него.

– Что то же?

– То же ужасное выражение, которое было прежде, когда ты не хотел мне сказать. Геня, голубчик, скажи мне. Я вижу, ты мучаешься. Скажи мне, тебе легче будет. Что бы ни было, все лучше этих твоих страданий. Ведь я знаю, что ничего дурного.

– Ты знаешь? Пока.

– Скажи, скажи, скажи. Не пущу тебя.

Он улыбнулся жалкой улыбкой.

«Сказать? Нет, это невозможно. Да и нечего говорить».

Может быть, он сказал бы ей, но в это время вошла кормилица, спрашивая, можно ли идти гулять. Лиза вышла одеть ребенка.

– Так ты скажешь. Я сейчас приду.

– Да, может быть...

Она никогда не могла забыть улыбки страдальческой, с которой он сказал это. Она вышла.

Поспешно, крадучись, как разбойник, он схватил револьвер, вынул из чехла. «Он заряжен, да, но давно, и одного заряда недостает. Ну, что будет».

Он приставил к виску, замялся было, но как только вспомнил Степаниду, решение не видеть, борьбу, соблазн, падение, опять борьбу, так вздрогнул от ужаса. «Нет, лучше это». И нажал гашетку.

Когда Лиза вбежала в комнату, – она только что успела спуститься с балкона, – он лежал ничком на полу, черная, теплая кровь хлестала из раны, и труп еще подрагивал.

Было следствие. Никто не мог понять и объяснить причины самоубийства. Дядюшке даже ни разу не пришло в голову, что причина имела что-нибудь общего с тем признанием, которое два месяца тому назад ему делал Евгений.

Варвара Алексеевна уверяла, что она всегда предсказывала это. Это было видно, когда он спорил. Лиза и Марья Павловна обе никак не могли понять, отчего это случилось, и все-таки не верили тому, что говорили доктора, что он был душевнобольной. Они не могли никак согласиться с этим, потому что знали, что он был более здравомыслящ, чем сотни людей, которых они знали.

И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные – это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят.

19 ноября 1889. Ясная Поляна

Вариант конца повести «Дьявол»

...сказал он себе и, подойдя к столу, достал из него револьвер и, осмотрев его – одного заряда не доставало, – положил его в карман штанов.

– Боже мой! что я делаю? – вдруг вскрикнул он, и, сложив руки, он стал молиться. – Господи, помоги мне, избавь меня. Ты знаешь, что я не хочу дурного, но я не могу один. Помоги мне, – говорил он, крестясь на образ.

«Да я могу же владеть собой. Пойду похожу и обдумаю».

Он вышел в переднюю, надел полушубок, калоши и вышел на крыльцо. Не замечая этого, шаги его направились мимо сада по полевой дороге к хутору. На хуторе все еще гудела молотилка и слышались крики погонщиков-мальчиков. Он вошел в ригу. Она была тут. Он тотчас же увидел ее. Она сгребала колос, и, увидав его, она, смеясь глазами, бойкая, веселая, рысью побежала по раскиданному колосу, ловко сдвигая его. Евгений не хотел, но не мог не смотреть на нее. Он опомнился только, когда она перестала быть видима. Приказчик доложил, что теперь домолачивают слежавшиеся и что от этого дольше и выхода меньше. Евгений подошел к барабану, изредка стучавшему при пропуске плохо распластанных снопов, и спросил приказчика, много ли таких слежавшихся снопов.

– Вozов пять будет.

– Так вот что... – начал Евгений и не договорил. Она подошла вплоть к барабану, из-под него выгребая колос, и обожгла его своим смеющимся взглядом.

Взгляд этот говорил о веселой, беззаботной любви между ними, о том, что она знает, что он желает ее, что он приходил к ее сараю, и что она, как всегда, готова жить и веселиться с ним, не думая ни о каких условиях и последствиях. Евгений почувствовал себя в ее власти, но не хотел сдаваться.

Он вспомнил свою молитву и попытался повторить ее. Он стал про себя говорить ее, но тотчас же почувствовал, что это было бесполезно.

Одна мысль теперь поглотила его всего: как незаметно от других назначить ей свидание?

– Если нынче кончим, прикажете начинать новый скирд или уж до завтра? – спросил приказчик.

– Да, да, – отвечал Евгений, невольно направляясь за нею к вороху, к

которому она с другой бабой пригребала колос.

«Да неужели я не могу овладеть собой? – говорил он себе. – Неужели я погиб? Господи! Да нет никакого бога. Есть дьявол. И это она. Он овладел мной. А я не хочу, не хочу. Дьявол, да, дьявол».

Он подошел вплоть к ней, вынул из кармана револьвер и раз, два, три раза выстрелил ей в спину. Она побежала и упала на ворох.

– Батюшки! родимые! что ж это? – кричали бабы.

– Нет, я не нечаянно. Я нарочно убил ее, – закричал Евгений. – Посылайте за становым.

Он пришел домой и, ничего не сказав жене, вошел в свой кабинет и заперся.

– Не ходи ко мне, – кричал он жене через дверь, – узнаешь все.

Через час он позвонил и у пришедшего лакея спросил:

– Поди узнай, жива ли Степанида.

Лакей уж знал все и сказал, что померла с час назад.

– Ну и прекрасно. Теперь оставь меня. Когда приедет становой или следователь, скажи.

Становой и следователь приехали на другое утро, и Евгений, простившись с женой и ребенком, был отвезен в острог.

Его судили. Это были первые времена суда присяжных. И его признали временно душевнобольным и приговорили только к церковному покаянию.

Он пробыл в остроге девять месяцев и в монастыре месяц.

Он начал пить еще в остроге, продолжал в монастыре и вернулся домой расслабленным, неменяемым алкоголиком.

Варвара Алексеевна уверяла, что она всегда предсказывала это. Это было видно, когда он спорил. Лиза и Марья Павловна обе никак не могли понять, отчего это случилось, и все-таки не верили тому, что говорили доктора, что он был душевнобольной, психопат. Они не могли никак согласиться с этим, потому что знали, что он был более здравомыслящий, чем сотни людей, которых они знали.

И действительно, если Евгений Иртнев был душевнобольной тогда, когда он совершил свое преступление, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные – это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят.

Отец Сергей
Повесть

В Петербурге в сороковых годах случилось удивившее всех событие: красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь, с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его; для самого же князя Степана Касатского все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе.

Отец Степана Касатского, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было двенадцать лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники.

Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб: целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его наверно бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома.

Восемнадцати лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель-адъютантство. И Касатский сильно желал этого не только из честолюбия,

но, главное, потому, что еще со времен корпуса страстно, именно страстно, любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, – а он часто ездил к ним, – когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпяченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касатский испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к Николаю Павловичу был сильнее. Хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем собой ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно обращаясь с ними. После последней истории Касатского с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касатскому, но, когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем и потом, уезжая, сказал:

– Знайте, что все мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь.

Он показал на сердце.

Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтоб они верно служили ему и отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касатский, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами.

Когда Касатский вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касатский отдал сестре половину состояния. То, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил.

С внешней стороны Касатский казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самая разнообразная, но, в сущности, все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей. Было ли это ученье, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам, так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским, как русским; так он потом, занявшись шахматами, добился того, что, еще будучи в корпусе, стал

отлично играть.

Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель, и, как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее. Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас же вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремление отличиться и, для того, чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели наполняло жизнь. Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы и очень скоро стал образцовым офицером, хотя и опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, которая и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха поступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой недостаток общего образования, задался мыслью пополнить его и засел за книги, и добился того, чего хотел. Потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе, выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им.

Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде состоит из четырех сортов людей: из 1) людей богатых и придворных; из 2) небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе; 3) из богатых людей, подделывающихся к придворным, и 4) из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касатский не принадлежал к первым. Касатский был охотно принимаем в последние два круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света – и неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой; с ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои и он не свой. И Касатский захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, – и он дожидался этого, – или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сблизиться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касатский не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой, она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе.

Касатский сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкостью, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен и потому не заметил того, что знали почти все в городе, – что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича.

II

За две недели до назначенного дня свадьбы Касатский сидел в Царском Селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела, то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью и осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Касатский принадлежал к тем людям сороковых годов, которых уже нет нынче, к людям, которые, сознательно допуская для себя и внутренне не осуждая нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной, небесной чистоты, и эту самую небесную чистоту признавали в каждой девушке своего круга, и так относились к ним. В таком взгляде было много неверного и вредного в той распушенности, которую позволяли себе мужчины, но по отношению женщин такой взгляд, резко отличающийся от взгляда теперешних молодых людей, видящих в каждой девушке ищущую себе дружку самку, – такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, видя такое обоготворение, старались и быть более или менее богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касатский и так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте, напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недостижимое.

Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю.

– Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это вы, – сказал он, робко улыбаясь, – дали мне это!

Он был в том периоде, когда «ты» еще не сделалось привычно, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты» этому ангелу.

– Я себя узнал благодаря... тебе, узнал, что я лучше, чем я думал.

– Я давно это знаю. Я за то-то и полюбила вас.

Соловей защелкал вблизи, свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка.

Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он

прошелся, помолчал, потом подошел, сел.

– Вы знаете, ты знаешь, ну, все равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно, я хотел установить связи с светом, но потом... Как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это?

Она не отвечала и только тронула рукой его руку. Он понял, что это значило: «Нет, не сержусь».

– Да, ты вот сказала... – он замялся, ему показалось это слишком дерзко, – ты сказала, что полюбила меня, но, прости меня, я верю, но что-то, кроме этого, есть, что тебя тревожит и мешает. Что это?

«Да, теперь или никогда, – подумала она. – Все равно он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно!»

И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая и, если бы не императорство, не променяла бы этого на того.

– Послушайте. Я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила.

Она положила свою руку на его умоляющим жестом.

Он молчал.

– Вы хотите знать кого? Да, его, государя.

– Мы все любим его, я воображаю, вы в институте...

– Нет, после. Это было увлечение, но потом прошло. Но я должна сказать...

– Ну, так что же?

– Нет, я не просто.

Она закрыла лицо руками.

– Как? Вы отдались ему?

Она молчала.

– Любовницей?

Она молчала.

Он вскочил и, бледный как смерть, с трясущимися скулами, стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его.

– Боже мой, что я сделала, Стива!

– Не трогайте, не трогайте меня. О, как больно!

Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать.

– Вы что, князь? Я... – Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо.

– Вы знали это и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не были

женщины, – вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею, и, повернувшись, убежал.

Если бы тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его, но это был обожаемый царь.

На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню.

Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил в него монахом.

Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его.

Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его Варенька, руководило им. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в Мэри (невесте), которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию, а отчаяние куда? – к богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем.

III

В день Покрова Касатский поступил в монастырь.

Игумен монастыря был дворянин, ученый писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика старца Леонида, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился, как своему старцу, Касатский.

Кроме того чувства сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касатский в монастыре, Касатский так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным: трудящимся всегда, воздержным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество, или совершенство, облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемом, не нравились ему, соблазняя его, все это уничтожалось послушанием: не мое дело рассуждать, мое дело нести назначенное послушание, будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе или ведение счетов по гостинице. Всякая возможность сомнений в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братии, но теперь все это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. «Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них». Старец сказал ему, что как нужна материальная пища для поддержания жизни, так нужна духовная пища – молитва церковная – для поддержания духовной жизни. Он верил в это, и действительно, служба церковная, на которую он с трудом поднимался иногда поутру, давала ему несомненное успокоение и радость. Радость давало сознание смирения и несомненности поступков, всех определенных старцем. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, во все большем и большем

смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он все отдал в монастырь и не жалел его, лени у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко далась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касатский радовался, что был свободен от него.

Мучало его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую, покаявшуюся жену.

В хорошие минуты Касатского не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним, он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это, не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминание и – ужасно сказать – раскаяние в своем обращении охватывало его.

Спасенье в этом положении было послушание – работа и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два и потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касатский чувствовал, что он не в своей и не в божьей власти, а в чьей-то чужой. И все, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще за все это время Касатский жил не по своей воле, а по воле старца, и в этом послушании было особенное спокойствие.

Так прожил Касатский в первом монастыре, куда поступил, семь лет. В конце третьего года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался; теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это все более и более притуплялось, и когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело, но осталась привычка.

Вообще на седьмой год своей жизни в монастыре Сергию стало

скучно. Все то, чему надо было учиться, все то, чего надо было достигнуть, – он достиг, и больше делать было нечего.

Но зато состояние усыпления становилось все сильнее. За это время он узнал о смерти своей матери и о выходе замуж Мэри. Оба известия он принял равнодушно. Все внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни.

На четвертом году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности. И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь. Он хотел отказаться, но старец велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь.

Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это.

В прежнем монастыре соблазн женский мало мучал Сергия, здесь же соблазн этот поднялся с страшной силой и дошел до того, что получил даже определенную форму. Была известная своим дурным поведением барыня, которая начала заискивать в Сергии. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. Сергей отказал строго, но ужаснулся определенности своего желания. Он так испугался, что написал о том старцу, но мало того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послушника и, покоряя стыд, признался ему в своей слабости, прося его следить за ним и не пускать его никуда, кроме служб и послушаний.

Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собой Сергей, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. И дурное чувство это разразилось.

Это было уже на второй год пребывания его в новом монастыре. И случилось это вот как. В Покров всенощная шла в большой церкви. Много было приезжего народа. Служил сам игумен. Отец Сергей стоял на обычном своем месте и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время служб, особенно в большой церкви, когда он не служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, не замечать всего того, что делалось: не видеть того, как солдат провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг другу монахов – часто

его даже и известного красавца монаха. Он старался, выдвинув как бы шоры своему вниманию, не видеть ничего, кроме блеска свечей у иконостаса, иконы и служащих; не слышать ничего, кроме петых и произносимых слов молитв, и не испытывать никакого другого чувства, кроме того самозабвения в сознании исполнения должного, которое он испытывал всегда, слушая и повторяя вперед столько раз слышанные молитвы.

Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств, когда ризничий, отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия, – Никодим, которого он невольно упрекал в подделыванье и лести к игумну, – подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Отец Сергий обдернул мантию, надел клобук и пошел осторожно через толпу.

– Lise, regardez à droite, c'est lui,^[5] – послышался ему женский голос.

– Ou, ou? Il n'est pas tellement beau.^[6]

Он знал, что это говорили про него. Он слышал и, как всегда в минуты искушений, твердил слова: «И не введи нас во искушение», – и, опустив голову и глаза, прошел мимо амвона и, обойдя канонархов в стихарях, проходивших в это время мимо иконостаса, вошел в северные двери. Войдя в алтарь, он, по обычаю, крестно поклонился, перегибаясь надвое, перед иконой, потом поднял голову и взглянул на игумна, которого фигуру рядом с другой блестящей чем-то фигурой он видел углом глаза, не обращаясь к ним.

Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом и растирая галун ризы, улыбаясь, говорил что-то с военным в генеральском свитском мундире с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергий своим привычным военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир их полка. Теперь он, очевидно, занимал важное положение, и отец Сергий тотчас же заметил, что игумен знает это и рад этому, и оттого так сияет его красное толстое лицо с лысиной. Это оскорбило и огорчило отца Сергия, и чувство это еще усилилось, когда он услышал от игумна, что вызов его, отца Сергия, ни на что другое не был нужен, как на то, чтобы удовлетворить любопытству генерала увидеть своего прежнего сослуживца, как он выразился.

– Очень рад видеть вас в ангельском образе, – сказал генерал,

протягивая руку, – надеюсь, что вы не забыли старого товарища.

Все лицо игумна, среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард – все это взорвало отца Сергия. Он поклонился еще раз игумну и сказал:

– Ваше преподобие изволили звать меня? – И он остановился, всем выражением лица и позы спрашивая: зачем?

Игумен сказал:

– Да, повидаться с генералом.

– Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов, – сказал он, бледнея и с трясущимися губами. – За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме божием.

– Иди, иди, – вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен.

На другой день отец Сергий просил прощения у игумна и братии за свою гордость, но вместе с тем, после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться один против соблазнов без помощи старца. И каялся в своем грехе гордости. С следующей почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла оттого, что он смирился, отказавшись от духовных почестей не ради бога, а ради своей гордости, что вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь. От этого он и не мог перенести поступка игумна. Я всем пренебрег для бога, а меня показывают, как зверя. «Если бы ты пренебрег славой для бога, ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергий, и молился, и вот что о тебе бог внушил мне: живи по-прежнему и покорись. В это время стало известно, что в скиту помер святой жизни затворник Илларион. Он жил там восемнадцать лет. Игумен тамбинский спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там. А тут твое письмо. Ступай к отцу Паисию в Тамбинский монастырь, я напишу ему, а ты просись занять Илларионову келью. Не то чтобы ты мог заменить Иллариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя бог».

Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и, испросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи монастырю, уехал в Тамбинскую пустынь.

В Тамбинской пустыни настоятель, прекрасный хозяин, из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Иллариона, дав

сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ней был и похоронен Илларион. В задней пещере был похоронен Илларион, в ближней была ниша для спанья, с соломенным матрацем, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка; на эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря.

И отец Сергий стал затворником.

IV

На Масленице шестого года жизни Сергия в затворе из соседнего города, после блинов с вином, собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая – помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками.

Погода была прекрасная, дорога – как пол. Проехали верст десять за городом, остановились, и началось совещание, куда ехать: назад или дальше.

– Да куда ведет эта дорога? – спросила Маковкина, разводная жена, красавица.

– В Тамбино, отсюда двенадцать верст, – сказал адвокат, ухаживающий за Маковкиной.

– Ну, а потом?

– А потом на Л. через монастырь.

– Там, где отец Сергей этот живет?

– Да.

– Касатский? Этот красавец пустынник?

– Да.

– Медам! Господа! Едемте к Касатскому. В Тамбине отдохнем, закусим.

– Но мы не успеем ночевать домой.

– Ничего, ночуем у Касатского.

– Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина.

– Нет, я у Касатского буду ночевать.

– Ну, уж это даже с вашим всемогуществом невозможно.

– Невозможно? Пари.

– Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите.

– А discrétion.^[7]

– А вы тоже!

– Ну да. Едемте.

Ямщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. Ямщики поспорили,

кому ехать передом, и один, молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, – и залились колокольчики, и завизжали полозья.

Сани чуть подрагивали и покачивались, пристяжная ровно и весело скакала с своим круто подвязанным хвостом над наборной шлеей, ровная, масляная дорога быстро убегала назад, ямщик ухарски пошевеливал вожжами, адвокат, офицер, сидя напротив, что-то вразили с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу, сидела неподвижно и думала: «Все одно и то же, и все гадкое: красные, глянцевитые лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и все вертится около самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и могут так продолжать жить до смерти. Я не могу. Мне скучно. Мне нужно что-нибудь такое, что бы все это расстроило, перевернуло. Ну, хоть бы как те, в Саратове, кажется, поехали и замерзли. Ну, что бы наши сделали? Как бы вели себя? Да, наверно, подло. Каждый бы за себя. Да и я тоже подло вела бы себя. Но я, по крайней мере, хороша. Они-то знают это. Ну, а этот монах? Неужели он этого уже не понимает? Неправда. Это одно они понимают. Как осенью с этим кадетом. И какой он дурак был...»

– Иван Николаевич! – сказала она.

– Что прикажете?

– Да ему сколько лет?

– Кому?

– Да Касатскому.

– Кажется, лет за сорок.

– И что же, он принимает всех?

– Всех, но не всегда.

– Закройте мне ноги. Не так. Какой вы неловкий! Ну, еще, еще, вот так.

А ног моих жать не нужно.

Так они доехали до леса, где стояла келья.

Она вышла и велела им уехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она, в своей белой собачьей шубе, пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть.

Отец Сергей жил шестой год в затворе. Ему было сорок девять лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которой он никак не ожидал. Источников борьбы было два: сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомнение, так уничтожалась похоть. Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними порознь.

«Боже мой! Боже мой! – думал он. – За что не даешь ты мне веры. Да, похоть, да, с нею боролись святой Антоний и другие, но вера. Они имели ее, а у меня вот минуты, часы, дни, когда нет ее. Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн? Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радостей мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть. – Сказал он себе и ужаснулся, омерзился на самого себя. – Гадина! Гадина! Хочешь быть святым», – начал он бранить себя. И стал на молитву. Но только что он начал молиться, как ему живо представился он сам, каким он бывал в монастыре: в клобуке, в мантии, в величественном виде. И он покачал головой: «Нет, это не то. Это обман. Но других я обману, а не себя и не бога. Не величественный я человек, а жалкий, смешной». И он откинул полы рясы и посмотрел на свои жалкие ноги в подштанниках. И улыбнулся.

Потом он опустил по́лы и стал читать молитвы, креститься и кланяться. «Неужели одр сей мне гроб будет?» – читал он. И как бы дьявол какой шепнул ему: «Одр одинокий и то гроб. Ложь». И он увидал в воображении плечи вдовы, с которой он жил. Он отряхнулся и продолжал читать. Прочтя правила, он взял Евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он часто твердил и знал наизусть: «Верую, господи, помоги моему неверию». Он убрал назад все выступающие сомнения. Как устанавливают предмет неустойчивого равновесия, он установил опять свою веру на колеблющейся ножке и осторожно отступил от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись опять, и он успокоился. Он повторил свою детскую молитву: «Господи, возьми, возьми меня», – и ему не только легко, но радостно-умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою подстилочку на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. И он заснул. В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчики. Он не знал, наяву ли это было или во сне. Но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он

поднялся, не веря себе. Но стук повторился. Да, это был стук близкий, в его двери, и женский голос.

«Боже мой! Да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид женщины... Да, это голос женщины. И голос нежный, робкий и милый! Тьфу! – он плюнул. – Нет, мне кажется», – сказал он и отошел к углу, перед которым стоял аналойчик, и опустился на колена тем привычным правильным движением, в котором, в движении в самом, он находил утешение и удовольствие. Он опустился, волосы повисли ему на лицо, и прижал оголявшийся уже лоб к сырой, холодной полосухе. (В полу дуло.)

...читал он псалом, который, ему говорил старичок отец Пимен, помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать читать дальше, но не читал, а невольно напрягал слух, чтобы слышать. Ему хотелось слышать. Было совсем тихо. Те же капли с крыши падали в кадуюшку, поставленную под угол. На дворе была мга, туман, съедавший снег. Было тихо, тихо. И вдруг зашуршало у окна, и явственно голос – тот же нежный робкий голос, такой голос, который мог принадлежать только привлекательной женщине, проговорил:

– Пустите. Ради Христа...

Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. «Да воскреснет бог и расточатся врази...»

– Да я не дьявол... – И слышно было, что улыбались уста, говорившие это. – Я не дьявол, я просто грешная женщина, заблудилась – не в переносном, а в прямом смысле (она засмеялась), измерзла и прошу приюта...

Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. Туман, мга, дерево, а вот направо. Она. Да, она, женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с милым, милым, добрым испуганным лицом, тут, в двух вершках от его лица, пригнувшись к нему. Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели когда друг друга: они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они (особенно он) почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было.

– Кто вы? Зачем вы? – сказал он.

– Да отоприте же, – с капризным самовластьем сказала она. – Я измерзла. Говорю вам, заблудилась.

– Да ведь я монах, отшельник.

– Ну, так и отоприте. А то хотите, чтоб я замерзла под окном, пока вы будете молиться.

– Да как вы...

– Не съем же я вас. Ради бога, пустите. Я озябла, наконец.

Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим почти голосом.

Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом венке. «Господи, помоги мне, господи, помоги мне», – проговорил он, крестясь и кланяясь в пояс, и подошел к двери, отворил ее в сенцы. В сенях ощупал крючок и стал откидывать его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила к двери. «Ай!» – вдруг вскрикнула она. Он понял, что она ногой попала в лужу, натекащую у порога. Руки его дрожали, и он никак не мог поднять натянутый дверью крючок.

– Да что же вы, пустите же. Я вся измокла. Я замерзла. Вы об спасении души думаете, а я замерзла.

Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав толчок, сунул дверь внаружу так, что толкнул ее.

– Ах, извините! – сказал он, вдруг совершенно перенесясь в давнишнее, привычное обращение с дамами.

Она улыбнулась, услышав это «извините». «Ну, он не так еще страшен», – подумала она.

– Ничего, ничего. Вы простите меня, – сказала она, проходя мимо его. – Я бы никогда не решилась. Но такой особенный случай.

– Пожалуйста, – проговорил он, пропуская ее мимо. Сильный запах, давно не слышанный им, тонких духов поразил его. Она прошла через сени в горницу. Он захлопнул наружную дверь, не накидывая крючка, прошел сени и вошел в горницу.

«Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешного, господи, помилуй мя грешного», – не переставая молился он не только внутренно, но и невольно наружно шевеля губами.

– Пожалуйста, – сказал он.

Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол, и разглядывала его. Глаза ее смеялись.

– Простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но видите, в каком я положении. Произошло это оттого, что мы из города поехали кататься, и я побилась об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города, но тут сбилась с дороги и вот, если бы не набрела на вашу келью... – начала она лгать. Но лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и

замолчала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой красавец, каким она воображала его, но он был прекрасен в ее глазах. Вьющиеся с проседью волосы головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее.

Он видел, что она лжет.

– Да, так, – сказал он, взглянув на нее и опять опуская глаза. – Я пройду сюда, а вы располагайтесь.

И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в каморочку за перегородкой, и она слышала, как он что-то стал двигать там. «Вероятно, запирается чем-нибудь от меня», – подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, и вязаный платок, бывший под ней. Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, чтоб он пустил ее. Но у двери она, точно, попала в лужу, и левая нога была мокра до икры, и ботинок и ботик полон воды. Она села на его койку – доску, только покрытую ковриком, – и стала разуваться. Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршина в три горенка, длиной аршина четыре, была чиста, как стеклышко. В горенке была только койка, на которой она сидела, над ней полочка с книгами. В углу аналойчик. У двери гвозди, шуба и ряса. Над аналойчиком образ Христа в терновом венке и лампадка. Пахло странно: маслом, потом и землей. Все нравилось ей. Даже этот запах.

Мокрые ноги, особенно одна, беспокоили ее, и она поспешно стала разуваться, не переставая улыбаться, радуясь не столько тому, что она достигла своей цели, сколько тому, что она видела, что смутила его – этого прелестного, поразительного, странного, привлекательного мужчину. «Ну, не ответил, ну что же за беда», – сказала она себе.

– Отец Сергей! Отец Сергей! Так ведь вас звать?

– Что вам надо? – отвечал тихий голос.

– Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да и теперь я не знаю. Я вся мокрая, ноги как лед.

– Простите меня, – отвечал тихий голос, – я ничем не могу служить.

– Я бы ни за что не потревожила вас. Я только до рассвета.

Он не отвечал. И она слышала, что он шепчет что-то, – очевидно, молится.

– Вы не взойдете сюда? – спросила она улыбаясь. – А то мне надо раздеться, чтобы высушиться.

Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать молитвы.

«Да, это человек», – думала она, с трудом стаскивая шлюпающий

ботик. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но, зная, что он слышит ее смех и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче, и смех этот, веселый, натуральный, добрый, действительно подействовал на него, и именно так, как она этого хотела.

«Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза. И это простое, благородное и – как он ни бормочи молитвы – и страстное лицо! – думала она. – Нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и узнал. В глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал», – говорила она, сняв наконец ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей совестно стало, и она проговорила:

– Не входите.

Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание и еще звуки движения. «Верно, он кланяется в землю, – думала она. – Но не отклоняется он, – проговорила она. – Он обо мне думает. Так же, как я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах», – говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она сидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой. «Да, эта пустыня, эта тишина. И никто никогда не узнал бы...»

Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник.

Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. Было два часа. «Наши должны подъехать около трех». Оставалось не больше часа.

«Что ж, я так просижу тут одна. Что за вздор! Не хочу я. Сейчас позову его».

– Отец Сергей! Отец Сергей! Сергей Дмитрич. Князь Касатский!

За дверью было тихо.

– Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас. Если бы мне не нужно было. Я больна. Я не знаю, что со мною, – заговорила она страдающим голосом. – Ох, ох! – застонала она, падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что все болит у нее и что ее трясет дрожь, лихорадка.

– Послушайте, помогите мне. Я не знаю, что со мной. Ох! Ох! – Она расстегнула платье, открыла грудь и закинула обнаженные по локоть руки. – Ох! Ох!

Все это время он стоял в своем чулане и молился. Прочтя все вечерние молитвы, он теперь стоял неподвижно, устремив глаза на кончик носа, и творил умную молитву, духом повторяя: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя».

Но он все слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье, как она ступала босыми ногами по полу; он слышал, как она терла себе рукой ноги. Он чувствовал, что он слаб и что всякую минуту может погибнуть, и потому не переставая молился. Он испытывал нечто подобное тому, что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти не оглядываясь. Так и Сергей слышал, чуял, что опасность, гибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его. В то же мгновение она сказала:

– Послушайте, это бесчеловечно. Я могу умереть.

«Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню. Но жаровни нет». Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть, и довольно долго ему казалось, что он не чувствует, но вдруг – он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. «Нет, я не могу этого».

– Ради бога! Ох, подите ко мне! Я умираю, ох!

«Так что же, я погибну? Так нет же».

– Сейчас я приду к вам, – проговорил он и, отворив свою дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и топор, прислоненный к стене.

– Сейчас, – сказал он и, взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и ударил по нему ниже второго сустава. Палец отскочил легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на край чурбана и потом на пол.

Он услышал этот звук прежде, чем почувствовал боль. Но не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы и, прижав его к бедру, вошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил:

– Что вам?

Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и, накинув на себя, закуталась в нее.

– Да, мне было больно... я простудилась... я... Отец Сергей... я...

Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим радостным светом, и сказал:

– Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит... Молись, чтобы Бог простил нас.

Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услышала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь.

– Что вы сделали с рукой? – Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидела на полу окровавленный палец. Бледнее его она вернулась и хотела сказать ему; но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь.

– Простите меня, – сказала она. – Чем выкуплю я грех свой?

– Уйди.

– Дайте я перевяжу вам рану.

– Уйди отсюда.

Торопливо и молча оделась она. И готовая, в шубе, сидела, ожидая. С надворья слышались бубенцы.

– Отец Сергей. Простите меня.

– Уйди. Бог простит.

– Отец Сергей. Я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня.

– Уйди.

– Простите и благословите меня.

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа, – слышалось из-за перегородки. – Уйди.

Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел ей навстречу.

– Ну, проиграл, нечего делать. Куда ж вы сядете?

– Все равно.

Она села и до дома не сказала ни одного слова.

Через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре под руководством затворника Арсения, который изредка писал ей письма.

VI

В затворе прожил отец Сергей еще семь лет. Сначала отец Сергей принимал многое из того, что ему приносили: и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал свою жизнь, отказываясь от всего излишнего, и, наконец, дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба один раз в неделю. Все то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему.

Все время свое отец Сергей проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых все становилось больше и больше. Выходил отец Сергей только в церковь раза три в год, и за водой, и за дровами, когда была в том нужда.

После пяти лет такой жизни случилось то ставшее скоро везде известным событие с Маковкиной, ее ночное посещение, совершившаяся в ней после этого перемена и ее поступление в монастырь. С тех пор слава отца Сергия стала увеличиваться. Посетителей стало приходить все больше и больше, и около его кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. Слава про отца Сергия, как всегда, преувеличивая его подвиги, шла все дальше и дальше. Стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их.

Первое исцеление было на восьмой год его жизни в затворе. Это было исцеление четырнадцатилетнего мальчика, которого привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он наложил на него руки. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он мог исцелять болящих. Он считал бы такую мысль великим грехом гордости; но мать, приведшая мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила: за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну, просила ради Христа. На утверждение отца Сергия, что только бог исцеляет, говорила, что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец Сергей отказался и ушел в свою келью. Но на другой день (это было осенью, и уже ночи были холодные) он, выйдя из кельи за водой, увидал опять ту же мать с своим сыном, четырнадцатилетним бледным, исхудавшим мальчиком, и услышал те же мольбы. Отец Сергей вспомнил притчу о неправедном судье и, прежде не имевши сомнений в том, что он должен отказать, почувствовал сомнение, а почувствовав сомнение, стал на молитву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он должен исполнить

требование женщины, что вера ее может спасти ее сына; сам же он, отец Сергей, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, избранное Богом.

И, выйдя к матери, отец Сергей исполнил ее желание, положил руку на голову мальчика и стал молиться.

Мать уехала с сыном, и через месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергия, как его называли теперь. С тех пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные. И, не отказав одним, он не мог отказывать и другим, и накладывал руку и молился, и исцелялись многие, и слава отца Сергия распространялась дальше и дальше.

Так прошло девять лет в монастыре и тринадцать в уединении. Отец Сергей имел вид старца: борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые.

VII

Отец Сергей уже несколько недель жил с одной неотступною мыслью: хорошо ли он делал, подчиняясь тому положению, в которое он не столько сам стал, сколько поставили его архимандрит и игумен. Началось это после выздоровевшего четырнадцатилетнего мальчика, с тех пор с каждым месяцем, неделей, днем Сергей чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу.

Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю и что потому монастырские власти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем возможности трудиться. Ему припасали все, что ему могло быть нужно, и требовали от него только того, чтобы он не лишал своего благословения тех посетителей, которые приходили к нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал. Устроили приемную для мужчин и место, огороженное перилами так, что его не сбивали с ног бросавшиеся к нему посетительницы, – место, где он мог благословлять проходящих. Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон Христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, он не мог не соглашаться с этим, но, по мере того как он отдавался этой жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило во внешнее, как иссякал в нем источник воды живой, как то, что он делал, он делал все больше и больше для людей, а не для Бога.

Говорил ли он наставления людям, просто благословлял ли, молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении их жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он помог либо исцелением, как ему говорили, либо поучением, он не мог не радоваться этому, не мог не заботиться о последствиях своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского света истины, горящего в нем. «Насколько то, что я делаю, для Бога и насколько для людей?» – вот вопрос, который постоянно мучал его и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для Бога деятельностью для людей. Он чувствовал это потому, что как прежде ему тяжело было, когда его отрывали от его уединения, так ему тяжело

было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине души он радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его.

Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже все обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика солдата, как он ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как и где лучше подают и пускают, и вот так и хотел сделать отец Сергей. Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо: оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу, и одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства.

С каждым днем все больше и больше приходило к нему людей и все меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что он стал подобен месту, где прежде был ключ. «Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. То была истинная жизнь, когда „она“ (он всегда с восторгом вспоминал эту ночь и ее. Теперь мать Агнию) соблазняла его. Она вкусила той чистой воды. Но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли все, осталась одна грязь». Так думал он в редкие, светлые минуты; но самое обыкновенное состояние его было: усталость и умиление перед собой за эту усталость.

Была весна, канун праздника преполовления. Отец Сергей служил всенощную в своей пещерной церкви. Народу было столько, сколько могло поместиться, человек двадцать. Это все были господа и купцы – богатые. Отец Сергей пускал всех, но эту выборку делали монахи, приставленный к нему, и дежурный, присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа народа, человек в восемьдесят странников, в особенности баб, толпилась снаружи, ожидая выхода отца Сергия и его благословения. Отец Сергей служил и, когда он вышел, славя... к гробу своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за дьякона, не подхватили его.

– Что с вами? Батюшка! Отец Сергей! Голубчик! Господи! – заговорили голоса женщин. – Как платок стали.

Но отец Сергей тотчас же оправился и, хотя и очень бледный, отстранил от себя купца и дьякона и продолжал петь. Отец Серапион, дьякон, и причетники, и барыня Софья Ивановна, жившая всегда при затворе и ухаживавшая за отцом Сергием, стали просить его прекратить службу.

– Ничего, ничего, – улыбаясь чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергей, – не прерывайте службу.

«Да, так святые делают», – подумал он.

– Святой! Ангел божий! – послышался ему тотчас же сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который поддержал его. Он не послушался уговоров и продолжал служить. Опять теснясь, все прошли коридорчиками назад к маленькой церкви, и там, хотя немного и сократив ее, отец Сергей дослужил всенощную.

Тотчас после службы отец Сергей благословил бывших тут и вышел на лавочку под вяз у входа в пещеры. Он хотел отдохнуть, подышать свежим воздухом, чувствовал, что ему это необходимо, но только что он вышел, как толпа народа бросилась к нему, прося благословенья и спрашивая советов и помощи. Тут были странницы, всегда ходящие от святого места к святому месту, от старца к старцу и всегда умиляющиеся перед всякой святыней и всяким старцем. Отец Сергей знал этот обычный, самый нерелигиозный, холодный, условный тип; тут были странники, большей частью из отставных солдат, отбившиеся от оседлой жизни, бедствующие и большей частью запивающие старики, шляющиеся из монастыря в монастырь, только чтобы кормиться; тут были и серые крестьяне и крестьянки с своими эгоистическими требованиями исцеления или разрешения сомнений о самых практических делах: о выдаче дочери, о найме лавочки, о покупке земли или о снятии с себя греха заспанного или прижитого ребенка. Все это было давно знакомо и неинтересно отцу Сергию. Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его благословение, его слово было нужно и дорого, и потому он и тяготился этой толпой, и она вместе с тем была приятна ему. Отец Серапион стал было отгонять их, говоря, что отец Сергей устал, но он, вспомнив при том слова Евангелия: «Не мешайте им (детям) приходить ко мне» и умилившись на себя при этом воспоминании, сказал, чтобы их пустили.

Он встал, подошел к перильцам, около которых они толпились, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голосом, слабостью звука которого он сам умилялся. Но, несмотря на желание, принять их всех он не

мог: опять у него потемнело в глазах, он пошатнулся и схватился за перила. Опять он почувствовал прилив к голове и сначала побледнел, а потом вдруг вспыхнул.

– Да, видно, до завтра. Я не могу нынче, – сказал он и, благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять подхватил его и довел за руку и посадил.

– Отец! – слышалось в толпе. – Отец! Батюшка! Не покинь ты нас. Пропали мы без тебя!

Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязами, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. Правда, он говорил тихо, так что отец Сергей не мог слышать его, но говорил решительно и сердито:

– Убирайтесь, убирайтесь. Благословил, ну, чего же вам еще? Марш. А то, право, шею намну. Ну, ну! Ты, тетка, черные онучи, ступай, ступай. Ты куда лезешь? Сказано, шабаш. Что завтра Бог даст, а нынче весь отошел.

– Батюшка, только из глазка на личико его взглянуть, – говорила старушка.

– Я те взгляну, куда лезешь?

Отец Сергей заметил, что купец что-то строго действует, и слабым голосом сказал келейнику, чтоб он не гнал народ. Отец Сергей знал, что он все-таки прогонит, и очень желал остаться один и отдохнуть, но послал келейника сказать, чтобы произвести впечатление.

– Хорошо, хорошо. Я не гоню, я усовещаю, – отвечал купец, – ведь они рады доконать человека. У них жалости ведь нет, они только себя помнят. Нельзя, сказано. Иди. Завтра.

И купец прогнал всех.

Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и любил гонять народ, помыкать им, и главное потому, что отец Сергей ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единственная дочь, больная, не шедшая замуж, и он за тысячу четыреста верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергей излечил ее. Он лечил эту дочь за два года ее болезни уж в разных местах. Сначала в губернском университетском городе в клинике – не помогли; потом возил ее к мужику в Самарскую губернию – немножко полегчало; потом возил к московскому доктору, заплатил много денег – ничего не помог. Теперь ему сказали, что отец Сергей излечивает, и вот он привез ее. Так что, когда купец разогнал весь народ, он подошел к отцу Сергию и, став без всяких приготовлений на колени, громким голосом сказал:

– Отец святой, благослови дочь мою болящую, исцелить от боли недуга. Дерзаю прибегнуть к святым стопам твоим. – И он сложил

горсточкой руку на руку. Все это он сделал и сказал так, как будто он делал нечто ясно и твердо определенное законом и обычаем, как будто именно так, а не каким-либо иным способом надо и должно просить об исцелении дочери. Он сделал это с такой уверенностью, что даже и отцу Сергию показалось, что все это именно так и должно говорить и делать. Но он все-таки велел ему встать и рассказать, в чем дело. Купец рассказал, что дочь его, девица двадцати двух лет, заболела два года тому назад, после скоропостижной смерти матери, ахнула, как он говорит, и с тех пор повредилась. И вот он привез ее за тысячу четыреста верст, и она ждет в гостинице, когда отец Сергей прикажет привести ее. Днем она не ходит, боится света, а может выходить только после заката солнца.

– Что же, она очень слаба? – сказал отец Сергей.

– Нет, слабости она особой не имеет и корпусна, а только нерастениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал отец Сергей привести ее, я бы духом слетал. Отец святой, оживите сердце родителя, восстановите род его – молитвами своими спасите болящую дочь его.

И купец опять с размаха упал на колени и, склонившись боком головой над двумя руками горсточкой, замер. Отец Сергей опять велел ему встать и, подумав о том, как тяжела его деятельность и как, несмотря на то, он покорно несет ее, тяжело вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал:

– Хорошо, приведите ее вечером. Я помолюсь о ней, но теперь я устал. – И он закрыл глаза. – Я пришлю тогда.

Купец, на цыпочках ступая по песку, отчего сапоги только громче скрипели, удалился, и отец Сергей остался один.

Вся жизнь отца Сергия была полна службами и посетителями, но нынче был особенно трудный день. Утром был приезжий важный сановник, долго беседовавший с ним; после него была барыня с сыном. Сын этот был молодой профессор, неверующий, которого мать, горячо верующая и преданная отцу Сергию, привезла сюда и упростила отца Сергия поговорить с ним. Разговор был очень тяжелый. Молодой человек, очевидно, не желал вступать в спор с монахом, соглашался с ним во всем, как с человеком слабым, но отец Сергей видел, что молодой человек не верит и что, несмотря на то, ему хорошо, легко и спокойно. Отец Сергей с неудовольствием вспоминал теперь этот разговор.

– Покушать, батюшка, – сказал келейник.

– Да, что-нибудь принесите.

Келейник ушел в келейку, построенную в десяти шагах от входа в пещеры, а отец Сергей остался один.

Давно уже прошло то время, когда отец Сергей жил один и сам все

делал для себя и питался одной просвирой и хлебом. Уже давно ему доказали, что он не имеет права пренебрегать своим здоровьем, и его питали постными, но здоровыми кушаньями. Он употреблял их мало, но гораздо больше, чем прежде, и часто ел с особенным удовольствием, а не так, как прежде, с отвращением и сознанием греха. Так это было и теперь. Он поел кашку, выпил чашку чая и съел половину белого хлеба.

Келейник ушел, и он остался один на лавочке под вязом.

Был чудный майский вечер, лист только что разлопушился на березах, осинах, вязах, черемухах и дубах. Черемуховые кусты за вязом были в полном цвету и еще не осыпались. Соловьи, один совсем близко и другие два или три внизу в кустах у реки, щелкали и заливались. С реки слышалось далеко пенье возвращавшихся, верно с работы, рабочих; солнце зашло за лес и брызгало разбившимися лучами сквозь зелень. Вся сторона эта была светло-зеленая, другая, с вязом, была темная. Жуки летали и хлопались и падали.

После ужина отец Сергей стал творить умственную молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас», – а потом стал читать псалом, и вдруг, среди псалма, откуда ни возмись, воробей слетел с куста на землю и, чиликая и попрыгивая, подскочил к нему, испугался чего-то и улетел. Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больной дочерью: она интересовала его. Она интересовала его тем, что это было развлечение, новое лицо, тем, что и отец ее и она считали его угодником, таким, чья молитва исполнялась. Он отрекался от этого, но он в глубине души сам считал себя таким.

Он часто удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану Касатскому, довелось быть таким необыкновенным угодником и прямо чудотворцем, но то, что он был такой, не было никакого сомнения: он не мог не верить тем чудесам, которые он сам видел, начиная с расслабленного мальчика и до последней старушки, получившей зрение по его молитве.

Как ни странно это было, это было так. Так купцова дочь интересовала его тем, что она была новое лицо, что она имела веру в него, и тем еще, что предстояло опять на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу. «За тысячу верст приезжают, в газетах пишут, государь знает, в Европе, в неверующей Европе знают», – думал он. И вдруг ему стало совестно своего тщеславия, и он стал опять молиться Богу. «Господи, царю небесный, утешителю, душе истины, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, блаже, души наша. Очисти от скверны славы людской,

обуревающей меня», – повторил он и вспомнил, сколько раз он молился об этом и как тщетны были до сих пор в этом отношении его молитвы: молитва его делала чудеса для других, но для себя он не мог выпросить у бога освобождения от этой ничтожной страсти.

Он вспомнил молитвы свои в первое время затвора, когда он молился о даровании ему чистоты, смирения и любви, и о том, как ему казалось тогда, что Бог услышал его молитвы, он был чист и отрубил себе палец, и он поднял сморщенный сборками отрезок пальца и поцеловал его; ему казалось, что он и был смиренен тогда, когда он постоянно гадок был себе своей греховностью, и ему казалось, что он имел тогда и любовь, когда вспоминал, с каким умилением он встретил тогда старика, зашедшего к нему, пьяного солдата, требовавшего денег, и ее. Но теперь? И он спросил себя: любит ли он кого, любит ли Софью Ивановну, отца Серапиона, испытал ли он чувство любви ко всем этим лицам, бывшим у него нынче, к этому ученому юноше, с которым он так поучительно беседовал, заботясь только о том, чтобы показать ему свой ум и неотсталость от образования. Ему приятна, нужна любовь от них, но к ним любви он не чувствовал. Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты.

Ему было приятно узнать, что купцовой дочери двадцать два года, и хотелось знать, красива ли она. И, спрашивая о ее слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть или нет.

«Неужели я так пал? – подумал он. – Господи, помоги мне, восстанови меня, Господь и Бог мой». И он сложил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его. «Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома... Замок на двери, и я мог бы видеть его. Замок этот – соловьи, жуки, природа. Юноша прав, может быть». И он стал громко молиться и долго молился, до тех пор пока мысли эти не исчезли и он почувствовал себя опять спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышедшему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью придет теперь.

Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и тотчас же ушел.

Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно кроткая девушка, с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими формами. Отец Сергей остался на лавочке у входа. Когда проходила девушка и остановилась подле него и он благословил ее, он сам ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело. Она прошла, а он чувствовал себя ужаленным. По лицу ее он увидал, что она чувственна и слабоумна. Он встал и вошел в келью. Она сидела на табурете, дожидаясь его.

Когда он вошел, она встала.
– Я к папаше хочу, – сказала она.
– Не бойся, – сказал он. – Что у тебя болит?
– Все у меня болит, – сказала она, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой.
– Ты будешь здорова, – сказал он. – Молись.
– Что молиться, я молилась, ничего не помогает. – И она все улыбалась. – Вот вы помолитесь да руки на меня наложите. Я во сне вас видела.
– Как видела?
– Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь. – Она взяла его руку и прижала ее к своей груди. – Вот сюда.
Он отдал ей свою правую руку.
– Как тебя звать? – спросил он, дрожа всем телом и чувствуя, что он побежден, что похоть ушла уже из-под руководства.
– Марья. А что?
Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвила его за пояс и прижимала к себе.
– Что ты? – сказал он. – Марья. Ты дьявол.
– Ну, авось ничего.
И она, обнимая его, села с ним на кровать.

На рассвете он вышел на крыльцо.
«Неужели все это было? Отец придет. Она расскажет. Она дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор, которым я рубил палец». – Он схватил топор и пошел в келью.

Келейник встретил его.
– Дров прикажете нарубить? Пожалуйте топор.
Он отдал топор. Вошел в келью. Она лежала и спала. С ужасом взглянул он на нее. Прошел в келью, снял мужицкое платье, оделся, взял ножницы, обстриг волосы и вышел по тропинке под гору к реке, у которой он не был четыре года.

Вдоль реки шла дорога; он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву.

Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Все было серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный ветер. «Да, надо кончить. Нет бога. Как покончить? Броситься? Умею плавать, не утонешь. Повеситься? Да, вот кушак, на суку». Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся. Хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния,

помолиться. Но молиться некому было. Бога не было. Он лежал, облокотившись на руку. И вдруг он почувствовал такую потребность сна, что не мог держать больше голову рукой, а вытянул руку, положил на нее голову и тотчас же заснул. Но сон этот продолжался только мгновение; он тотчас же просыпается и начинает не то видеть во сне, не то вспоминать.

И вот видит он себя почти ребенком, в доме матери в деревне. И к ним подъезжает коляска, и из коляски выходят: дядя Николай Сергеевич, с огромной, лопатой, черной бородой, и с ним худенькая девочка Пашенька, с большими кроткими глазами и жалким, робким лицом. И вот им, в их компанию мальчиков, приводят эту Пашеньку. И надо с ней играть, а скучно. Она глупая. Кончается тем, что ее поднимают на смех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и показывает на сухом. И все хохочут и делают ее дурой. И она видит это и краснеет пятнами и становится жалкой, такой жалкой, что совестно и что никогда забыть нельзя этой ее кривой, доброй, покорной улыбки. И вспоминает Сергей, когда он видел ее после этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в монахи. Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим все ее состояние и бившим ее. У нее было двое детей: сын и дочь. Сын умер маленьким.

Сергий вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он видел ее в монастыре вдовой. Она была такая же – не сказать глупая, но безвкусная, ничтожная и жалкая. Она приезжала с дочерью и ее женихом. И они были уже бедны. Потом он слышал, что она живет где-то в уездном городе и что она очень бедна. «И зачем я думаю о ней? – спрашивал он себя. Но не мог перестать думать о ней. – Где она? Что с ней? Так ли она все несчастна, как была тогда, когда показывала, как плавают, по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо».

И опять ему страшно стало, и опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке.

Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он увидал ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение».

Он проснулся и, решив, что это было виденье от бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она живет, – это было за триста верст, – и пошел туда.

VIII

Пашенька уж давно была не Пашенька, а старая, высох-шая, сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикьева. Жила она в том уездном городе, в котором зять имел последнее место, и там кормила семью: и дочь, и самого больного, неврастеника зятя, и пятерых внучат. А кормила она тем, что давала уроки музыки купцовым дочкам, по пятьдесят за час. В день было иногда четыре, иногда пять часов, так что в месяц зарабатывалось около шестидесяти рублей. Тем и жили покамест, ожидая места. С просьбами о месте Прасковья Михайловна послала письма ко всем своим родным и знакомым, в том числе и к Сергию. Но письмо это не застало его.

Была суббота, и Прасковья Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще крепостной повар у ее папаша. Прасковья Михайловна хотела завтра к празднику угостить внучат.

Маша, дочь ее, нянчилась с меньшим, старшие, мальчик и девочка, были в школе. Сам зять не спал ночь и теперь заснул. Прасковья Михайловна долго не спала вчера, стараясь смягчить гнев дочери на мужа.

Она видела, что зять – слабое существо, не мог говорить и жить иначе, и видела, что упреки ему от жены не помогут, и она все силы употребляла, чтобы смягчить их, чтоб не было упреков, не было зла. Она не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми. Ей так ясно было, что от этого ничто не может стать лучше, а все будет хуже. Да этого даже она не думала, она просто страдала от вида злобы, как от дурного запаха, резкого шума, ударов по телу.

Она только что самодовольно учила Лукерью, как замешивать опару, когда Миша, шестилетний внук, в фартучке, на кривых ножках, в штопаных чулочках, прибежал в кухню с испуганным лицом.

– Бабушка, старик страшный тебя ищет.

Лукерья выглянула:

– И то, странник какой-то, барыня.

Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один о другой и руки об фартук и пошла было в дом за кошельком подать пять копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, и решила подать хлеба и вернулась к шкапу, но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела, и, приказав Лукерье отрезать ломоть, сама пошла вверх того за гривенником. «Вот тебе наказание, – сказала она себе, – вдвое подай».

Она подала, извиняясь, и то и другое страннику, и когда подавала, не только уж не гордилась своей щедростью, а, напротив, устыдилась, что подает так мало. Такой значительный вид был у странника.

Несмотря на то что он триста верст прошел Христовым именем, и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же, несмотря на то что он смиренно кланялся, у Сергия был все тот же значительный вид, который так привлекал к нему. Но Прасковья Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не видав его почти тридцать лет.

– Не взыщите, батюшка. Может, поесть хотите?

Он взял хлеб и деньги. И Прасковья Михайловна удивилась, что он не уходит, а смотрит на нее.

– Пашенька. Я к тебе пришел. Прими меня.

И черные прекрасные глаза пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами. И под сидящими усами жалостно дрогнули губы.

Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника.

– Да не может быть! Степа! Сергей! Отец Сергей.

– Да, он самый, – тихо проговорил Сергей. – Только не Сергей, не отец Сергей, а великий грешник Степан Касатский, погибший, великий грешник. Прими, помоги мне.

– Да не может быть, да как же вы это так смирились? Да пойдемте же.

Она протянула руку; но он не взял ее и пошел за нею. Но куда вести? Квартирка была маленькая. Сначала была отведена комнатка крошечная, почти чуланчик, для нее, но потом и этот чуланчик она отдала дочери. И теперь там сидела Маша, укачивая грудного.

– Сядьте сюда, сейчас, – сказала она Сергию, указывая на лавку в кухне.

Сергий тотчас же сел и снял, очевидно уж привычным жестом, сначала с одного, потом с другого плеча сумку.

– Боже мой, боже мой, как смирился, батюшка! Какая слава, и вдруг так...

Сергий не отвечал и только кротко улыбнулся, укладывая подле себя сумку.

– Маша, это знаешь кто?

И Прасковья Михайловна шепотом рассказала дочери, кто был Сергей, и они вместе вынесли и постель и люльку из чулана, опростав его для Сергия.

Прасковья Михайловна провела Сергея в каморку.
– Вот тут отдохните. Не взыщите. А мне идти надо.
– Куда?
– Уроки у меня тут, совестно и говорить – музыке учу.
– Музыке – это хорошо. Только одно, Прасковья Михайловна, я ведь к вам за делом пришел. Когда я могу поговорить с вами?
– За счастье почту. Вечером можно?
– Можно, только еще просьба: не говорите обо мне, кто я. Я только вам открылся. Никто не знает, куда я ушел. Так надо.
– Ах, а я сказала дочери.
– Ну, попросите ее не говорить.
Сергей снял сапоги, лег и тотчас же заснул после бессонной ночи и сорока верст ходу.

Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергей сидел в своей каморке и ждал ее. Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые принесла ему туда Лукерья.

– Что же ты раньше пришла обещанного? – сказал Сергей. – Теперь можно поговорить?

– И за что мне такое счастье, что такой посетитель? Я уж пропустила урок. После... Я мечтала все съездить к вам, писала вам, и вдруг такое счастье.

– Пашенька! пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед Богом. Пашенька! я не святой человек, даже не простой, рядовой человек: я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник, хуже, не знаю, всех ли, но хуже самых худых людей.

Пашенька смотрела сначала выпучив глаза; она верила. Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его руку и, жалостно улыбаясь, сказала:

– Стива, может быть, ты преувеличиваешь?
– Нет, Пашенька. Я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик.
– Боже мой! Что ж это? – проговорила Прасковья Михайловна.
– Но надо жить. И я, который думал, что все знаю, который учил других, как жить, – я ничего не знаю, и я тебя прошу научить.
– Что ты, Стива. Ты смеешься. За что вы всегда смеетесь надо мной?
– Ну, хорошо, я смеюсь; только скажи мне, как ты живешь и как прожила жизнь?
– Я? Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь, и теперь бог

наказывает меня, и поделом, и живу так дурно, так дурно...

– Как же ты вышла замуж? как жила с мужем?

– Все было дурно. Вышла – влюбилась самым гадким манером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела, вышла. И замужем, вместо того чтобы помогать мужу, я мучила его ревностью, которую не могла в себе победить.

– Он пил, я слышал.

– Да, но я-то не умела успокоить его. Упрекала его. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться, а я теперь вспоминаю, как я не давала ему. И у нас были ужасные сцены.

И она смотрела прекрасными, страдающими при воспоминании глазами на Касатского.

Касатский вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил Пашеньку. И Касатский видел теперь, глядя на ее худую, высохшую шею с выдающимися жилами за ушами и пучком редких полуседых, полурусых волос, как будто видел, как это происходило.

– Потом я осталась одна с двумя детьми и без всяких средств.

– Да ведь у вас было имение.

– Это еще при Васе мы продали и все... прожили. Надо было жить, а я ничего не умела – как все мы, барышни. Но я особенно плоха, беспомощна была. Так проживали последнее, я учила детей – сама немножко подучилась. А тут Митя заболел уже в четвертом классе, и бог взял его. Манечка полюбила Ваню – зятя. И что ж, он хороший, но только несчастный. Он больной.

– Мамаша, – перебила ее речь дочь. – Возьмите Мишу, не могу я разорваться.

Прасковья Михайловна вздрогнула, встала и, быстро ступая в своих стоптанных башмаках, вышла в дверь и тотчас же вернулась с двухлетним мальчиком на руках, который валился назад и схватился ручонками за ее косынку.

– Да, так на чем я остановилась? Ну вот, было у него место тут хорошее – и начальник такой милый, но Ваня не мог и вышел в отставку.

– Чем же он болен?

– Неврастенией, это ужасная болезнь. Мы советовались, но надо бы ехать, но средств нет. Но я все надеюсь, что так пройдет. Особенных болей у него нет, но...

– Лукерья! – послышался его голос, сердитый и слабый. – Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно. Мамаша!..

– Сейчас, – опять перебила себя Прасковья Михайловна. – Он не

обедал еще. Он не может с нами.

Она вышла, что-то устроила там и вернулась, обтирая загорелые худые руки.

– Так вот и живу. И всё жалуемся, и всё недовольны, а, слава богу, внуки все славные, здоровые, и жить еще можно. Да что про меня говорить.

– Ну, чем же вы живете?

– А немножко я вырабатываю. Вот я скучала музыкой, а теперь как она мне пригодилась.

Она держала маленькую руку на комодце, у которого сидела, и, как упражнения, перебирала худыми пальцами.

– Что же вам платят за уроки?

– Платят и рубль, и пятьдесят копеек, есть и тридцать копеек. Они все такие добрые ко мне.

– И что же, успехи делают? – чуть улыбаясь глазами, спросил Касатский.

Прасковья Михайловна не поверила сразу серьезности вопроса и вопросительно взглянула ему в глаза.

– Делают и успехи. Одна славная девочка есть, мясника дочь. Добрая, хорошая девочка. Вот если бы я была порядочная женщина, то, разумеется, по папашиним связям, я бы могла найти место зятю. А то я ничего не умела и вот довела их всех до этого.

– Да, да, – говорил Касатский, наклоняя голову. – Ну, а как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете? – спросил он.

– Ах, не говорите. Уж так дурно, так запустила. С детьми говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю. Детей посылаю.

– А отчего же не бываете сами?

– Да правду сказать, – она покраснела, – да оборванной идти совестно перед дочерью, внучатами, а новенького нет. Да просто ленюсь.

– Ну, а дома молитесь?

– Молюсь, да что за молитва, так, машинально. Знаю, что не так надо, да нет настоящего чувства, только и есть, что знаешь всю свою гадость...

– Да, да, так, так, – как бы одобряя, подговаривал Касатский.

– Сейчас, сейчас, – ответила она на зов зятя и, поправив на голове косичку, вышла из комнаты.

На этот раз она долго не возвращалась. Когда она вернулась, Касатский сидел в том же положении, опершись локтями на колена и опустив голову. Но сумка его была надета на спину.

Когда она вошла с жестяной, без колпака, лампочкой, он поднял на нее свои прекрасные, усталые глаза и глубоко, глубоко вздохнул.

– Я им не сказала, кто вы, – начала она робко, – а только сказала, что странник из благородных и что я знала. Пойдемте в столовую, чаю.

– Нет...

– Ну, я сюда принесу.

– Нет, ничего не надо. Спаси тебя бог, Пашенька. Я пойду. Если жалеешь, не говори никому, что видела меня. Богом живым заклинаю тебя: не говори никому. Спасибо тебе. Я бы поклонился тебе в ноги, да знаю, что это смутит тебя. Спасибо, прости Христа ради.

– Благословите.

– Бог благословит. Прости Христа ради.

И он хотел идти, но она непустила его и принесла ему хлеба, баранок и масла. Он взял все и вышел.

Было темно, и не отошел он двух домов, как она потеряла его из вида и узнала, что он идет, только по тому, что Протопопова собака залаяла на него.

«Так вот что значил мой сон. Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом бога, она живет для бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дорожке облагодетельствованных мною людей. Но ведь была доля искреннего желания служить богу?» – спрашивал он себя, и ответ был: «Да, но все это было загажено, заросло славой людской. Да, нет бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его».

И он пошел, как шел до Пашеньки, от деревни до деревни, сходясь и расходясь с странниками и странницами и прося Христа ради хлеба и ночлега. Изредка его бранила злая хозяйка, ругал выпивший мужик, но большей частью его кормили, поили, давали даже на дорогу. Его господское обличье располагало некоторых в его пользу. Некоторые, напротив, как бы радовались на то, что вот господин дошел также до нищеты. Но кротость его побеждала всех.

Он часто, находя в доме Евангелие, читал его, и люди всегда, везде все умилялись и удивлялись, как новое и вместе с тем давно знакомое слушали его.

Если удавалось ему послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел благодарности, потому что уходил. И понемногу бог стал проявляться в нем.

Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с барыней на шарабане, запряженном рысаком, и мужчина и дама верховые остановили

их. Муж барыни ехал с дочерью верхами, а в шарабане ехала барыня с, очевидно, путешественником-французом.

Они остановили их, чтобы показать ему les pèlerins,^[8] которые, по свойственному русскому народу суеверию, вместо того чтобы работать, ходят из места в место.

Они говорили по-французски, думая, что не понимают их.

– Demandez leur, – сказал француз, – s'ils sont bien sûrs de ce que leur pèlerinage est agréable à dieu.^[9]

Их спросили. Старушки отвечали:

– Как бог примет. Ногами-то были, сердцем будем ли?

Спросили солдата. Он сказал, что один, деться некуда. Спросили Касатского, кто он?

– Раб божий.

– Qu'est ce qu'il dit? Il ne répond pas.

– Il dit qu'il est un serviteur de dieu.

– Cela dit être un fils de prêtre. Il a de la race. Avez-vous de la petite monnaie?^[10]

У французца нашлась мелочь. И он всем роздал по двадцать копеек.

– Mais dites leur que ce n'est pas pour des cierges que je leur donne, mais pour qu'ils se régalent de thé; чай, чай, – улыбаясь, – pour vous, mon vieux,^[11] – сказал он, трепля рукой в перчатке Касатского по плечу.

– Спаси Христос, – ответил Касатский, не надевая шапки и кланяясь своей лысой головой.

И Касатскому особенно радостна была эта встреча, потому что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое – взял смиренно двадцать копеек и отдал их товарищу, слепому нищему. Чем меньше имело значение мнение людей, тем сильнее чувствовался бог.

Восемь месяцев проходил так Касатский, на девятом месяце его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал с странниками, и как беспаспортного взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он, он отвечал, что билета у него нет, а что он раб божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь.

В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными.

Хозяин и работник

Это было в семидесятых годах, на другой день после зимнего Никола. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу второй гильдии Василию Андреичу Брехунову, нельзя было отлучиться: надо было быть в церкви, – он был церковный староста, – и дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рощу десять тысяч только потому, что Василий Андреич давал за нее семь. Семь же тысяч составляли только одну треть настоящей стоимости рощи. Василий Андреич, может быть, выторговал бы и еще, так как лес находился в его округе и между ним и деревенскими уездными купцами уж давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого, но Василий Андреич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкинскую рощу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои семьсот рублей, добавил к ним находящиеся у него церковных две тысячи триста, так чтобы составилось три тысячи рублей, и, старательно пересчитав их и уложив их в бумажник, собрался ехать.

Работник Никита, один в этот день не пьяный из работников Василия Андреича, побежал запрягать. Никита не был пьян в этот день потому, что он был пьяница, и теперь, с заговен, во время которых он пропил с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй месяц; не пил и теперь, несмотря на соблазн везде распиваемого вина в первые два дня праздника.

Никита был пятидесятилетний мужик из ближней деревни, нехозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях. Везде его ценили за его трудолюбие, ловкость и силу в работе, главное – за добрый, приятный характер; но нигде он не уживался, потому что раза два в год, а то и чаще, запивал, и тогда, кроме того что пропивал все с себя, становился еще буен и придиричив. Василий Андреич тоже несколько раз прогонял его, но потом опять брал, дорожа его честностью, любовью к животным и главное дешевизной. Василий Андреич платил Никите не восемьдесят рублей, сколько стоил такой работник, а рублей

сорок, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки.

Жена Никиты, Марфа, когда-то бывшая красивой, бойкая баба, хозяйничала дома с подростком малым и двумя девками и не звала Никиту жить домой, во-первых, потому, что уже лет двадцать жила с бондарем, мужиком из чужой деревни, который стоял у них в доме; а во-вторых, потому, что, хотя она и помыкала мужем как хотела, когда он был трезв, она боялась его, как огня, когда он напивался. Один раз, напившись пьян дома, Никита, вероятно, чтобы выместить жене за все свое трезвое смирение, взломал ее сундук, достал самые драгоценные ее наряды и, взяв топор, на обручке изрубил в мелкую крошку все ее сарафаны и платья. Зажитое Никитой жалование все отдавалось его жене, и Никита не противоречил этому. Так и теперь, за два дня до праздника, Марфа приезжала к Василию Андреичу и забрала у него белой муки, чаю, сахару и осьмуху вина, всего рубля на три, да еще взяла пять рублей деньгами и благодарила за это, как за особую милость, тогда как по самой дешевой цене за Василием Андреичем было рублей двадцать.

– Мы разве с тобой уговоры какие делали? – говорил Василий Андреич Никите. – Нужно – бери, заживешь. У меня не как у людей: подожди, да расчеты, да штрафы. Мы – по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю. Тебе нужда, – я вызволю.

И, говоря все это, Василий Андреич был искренно уверен, что он благодетельствует Никиту: так убедительно он умел говорить и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их.

– Да я понимаю, Василий Андреич; кажется, служу, стараюсь, как отцу родному, я очень хорошо понимаю, – отвечал Никита, очень хорошо понимая, что Василий Андреич обманывает его, но вместе с тем чувствуя, что нечего и пытаться разъяснять с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают.

Теперь, получив приказание хозяина запрягать, Никита, как всегда, весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхая баранчиками удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которую велел запрягать Василий Андреич.

– Что, соскучился, соскучился, дурачок? – говорил Никита, отвечая на слабое приветственное ржанье, с которым встретил его среднего роста ладный, несколько вислозадый, караковый, мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке. – Но, но! поспеешь, дай прежде напою, – говорил он с

лошадью совершенно так, как говорят с понимающими слова существами, и, обмахнув полой жирную, с желобком посредине, разъединенную и засыпанную пылью спину, надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и челку и, скинув обротъ, повел поить.

Осторожно выбравшись из высоко занавоженного хлева, Мухортый заиграл и взбрыкнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего с ним к колодцу Никиту.

– Балуй, балуй, шельмец! – приговаривал Никита, знавший ту осторожность, с которой Мухортый вскидывал задней ногой только так, чтобы коснуться его засаленного полушубка, но не ударить, и особенно любивший эту замашку.

Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись; потом вдруг громко фыркнула.

– Не хочешь – не надо, так и знать будем; уж больше не проси, – сказал Никита, совершенно серьезно и обстоятельно разъясняя свое поведение Мухортому; и опять побежал к сараю, подергивая за повод взбрыкивающую и на весь двор потрескивающую веселую молодую лошадь.

Работников никого не было, был только один чужой, пришедший на праздник кухаркин муж.

– Поди спроси, душа милая, – сказал Никита ему, – какие сани велить запрягать: пошевни али махонькие?

Кухаркин муж пошел в железом крытый, на высоком фундаменте дом и скоро вернулся с известием, что велено впрягать махонькие. Никита в это время уже надел хомут, подвязал седелку, обитую гвоздиками, и, в одной руке неся легкую крашеную дугу, а другой ведя лошадь, подходил к двум стоявшим под сараем саням.

– В махонькие так в махонькие, – сказал он и ввел в оглобли все время притворявшуюся, что она хочет кусать его, умную лошадь и с помощью кухаркина мужа стал запрягать.

Когда все было почти готово и оставалось только заводить, Никита послал кухаркина мужа в сарай за соломой и в амбар за веретем.

– Вот и ладно. Но, но, не топырься! – говорил Никита, уминая в санях принесенную кухаркиным мужем свежемолоченную овсяную солому. – А теперь вот давай дерюжку так постелем, а сверху веретъе. Вот так-то, вот так-то и хорошо будет сидеть, – говорил он, делая то, что говорил, подтыкая веретъе свех соломы со всех сторон вокруг сиденья.

– Вот спасибо, душа милая, – сказал Никита кухаркину мужу, – вдвоем

все спорее. – И, разобрав ременные с кольцом на соединенном конце вожжи, Никита присел на облучок и тронул просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора к воротам.

– Дядя Микит, дядюшка, а дядюшка! – закричал сзади его тоненьким голоском торопливо выбежавший из сеней на двор семилетний мальчик в черном полушубочке, новых белых валенках и теплой шапке. – Меня посади, – просил он, на ходу застегивая свой полушубочек.

– Ну, ну, беги, голубок, – сказал Никита и, остановив, посадил просиявшего от радости хозяйского бледного, худенького мальчика и выехал на улицу.

Был час третий. Было морозно – градусов десять, пасмурно и ветрено. Половина неба была закрыта низкой темной тучей. Но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее: с крыши соседнего сарая мело снег и на углу у бани крутило. Едва только Никита выехал в ворота и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреич, с папироской во рту, в крытом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками, утоптанное снегом высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папироски, он бросил ее под ноги и наступил на нее и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного, бритого, кроме усов, лица углы воротника тулупа мехом внутрь, так, чтобы мех не потел от дыханья.

– Вишь ты, прокурат какой, поспел уж! – сказал он, увидав сынишку в санях. Василий Андреич был возбужден выпитым с гостями вином и потому еще более, чем обыкновенно, доволен всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал. Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие; он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него.

Закутанная по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреича, провожая его, стояла за ним в сенях.

– Право, Никиту бы взял, – говорила она, робко выступая из-за двери.

Василий Андреич ничего не отвечал и на слова ее, которые были ему, очевидно, неприятны, сердито нахмурился и плюнул.

– С деньгами поедешь, – продолжала тем же жалобным голосом жена. – Да и погода не поднялась бы. Право, ей-богу.

– Что ж я, иль дороги не знаю, что мне беспрерывно провожатого нужно? – проговорил Василий Андреич с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и

покупателями, с особенною отчетливостью выговаривая каждый слог.

– Ну, право, взял бы, богом тебя прошу! – повторяла жена, перекутывая платок на другую сторону.

– Вот как банный лист пристала... Ну, куда я его возьму?

– Что ж, Василий Андреич, я готов, – весело сказал Никита. – Только лошадям корма бы без меня дали, – прибавил он, обращаясь к хозяйке.

– Я посмотрю, Никитушка, Семену велю, – сказала хозяйка.

– Так что ж, ехать, что ли, Василий Андреич? – сказал Никита, ожидая.

– Да уж видно уважить старуху. Только коли ехать, поди одень дипломат какой потеплее, – выговорил Василий Андреич, опять улыбаясь и подмигивая глазом на прорванный под мышками и в спине и в подоле бахромой разорванный, засаленный и свалявшийся, всего выдавший полушубок Никиты.

– Эй, душа милая, выдь, поддержи лошадь! – крикнул Никита во двор кухаркину мужу.

– Я сам, я сам! – запищал мальчик, вынимая зазябшие красные ручонки из карманов и хватаясь ими за холодные ременные вожжи.

– Только не больно охорашивай дипломат-то свой, поживей! – крикнул Василий Андреич, зубоскаля на Никиту.

– Одним пыхом, батюшка Василий Андреич, – проговорил Никита и, быстро мелькая носками внутрь своими старыми, подшитыми войлочными подметками, валенками, побежал во двор и в рабочую избу.

– Ну-ка, Аринушка, халат давай мой с печи – с хозяином ехать! – проговорил Никита, вбегая в избу и снимая кушак с гвоздя.

Работница, выпавшаяся после обеда и теперь ставившая самовар для мужа, весело встретила Никиту и, зараженная его поспешностью, так же, как он, быстро зашевелилась и достала с печи сушившийся там плохонький, проношенный суконный кафтан и начала поспешно отряхивать и разминать его.

– То-то тебе с хозяином просторно гулять будет, – сказал Никита кухарке, всегда из добродушной учтивости что-нибудь да говоривший человеку, когда оставался с ним с глазу на глаз.

И, пообеда вокруг себя узенький свалявшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушубку что было силы.

– Вот так-то, – сказал он после этого, обращаясь уже не к кухарке, а к кушаку, засовывая его концы за пояс. – Так не выскочишь! – и, приподняв и опустив плечи, чтобы была развязность в руках, он надел сверху халат, тоже напружил спину, чтобы рукам вольно было, подбил под мышками и достал с полки рукавицы. – Ну, вот и ладно.

– Ты бы, Степаныч, ноги-то перебул, – сказала кухарка, – а то сапоги худые.

Никита остановился, как бы вспомнив.

– Надо бы... Ну, да сойдет и так, недалече!

И он побежал на двор.

– Не холодно тебе будет, Никитушка? – сказала хозяйка, когда он подошел к саням.

– Чего холодно, тепло вовсе, – отвечал Никита, оправляя солому в головашках саней, чтобы закрыть ею ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнут под солому.

Василий Андреич уже сидел в санях, наполняя своей одетою в двух шубах спиною почти весь гнутый задок саней, и тотчас же, взяв вожжи, тронул лошадь. Никита на ходу примостился спереди с левой стороны и высунул одну ногу.

II

Добрый жеребец с легким скрипом полозьев сдвинул санки и бойкой ходю тронулся по накатанной в поселке морозной дороге.

– Ты куда прицепился? Дай сюда кнут, Микита! – крикнул Василий Андреич, очевидно радуясь на наследника, который примостился было сзади на полозьях. – Я тебя! Беги к мамаше, сукин сын.

Мальчик соскочил. Мухортый прибавил иноходи и, заёкав, перешел на рысь.

Кресты, в которых стоял дом Василия Андреича, состояли из шести домов. Как только они выехали за последнюю кузнецову избу, они тотчас же заметили, что ветер гораздо сильнее, чем они думали. Дороги уже почти не видно было. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу можно было отличать только по тому, что она была выше остального места. По всему полю курило, и не видно было той черты, где земля сходится с небом. Телятинский лес, всегда хорошо видимый, только изредка смутно чернел через снежную пыль. Ветер дул с левой стороны, заворачивая упорно в одну сторону гриву на крутой, наеденной шее Мухортого, и сворачивал набок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу.

– Бегу ей настоящего нет, снежно, – сказал Василий Андреич, гордясь своей хорошей лошадейю. – Я раз в Пашутино ездил на нем же, так он в полчаса доставил.

– Чаго? – спросил, не расслышав из-за воротника, Никита.

– В Пашутино, говорю, в полчаса доехал, – прокричал Василий Андреич.

– Что и говорить, лошадь добрая! – сказал Никита.

Они помолчали. Но Василию Андреичу хотелось говорить.

– Что ж, хозяйке-то, я чай, наказывал бондаря не поить? – заговорил тем же громким голосом Василий Андреич, столь уверенный в том, что Никите должно быть лестно поговорить с таким значительным и умным человеком, как он, и столь довольный своей шуткой, что ему и в голову не приходило, что разговор этот может быть неприятен Никите.

Никита опять не расслышал относимый ветром звук слов хозяина.

Василий Андреич повторил своим громким, отчетливым голосом свою шутку о бондаре.

– Бог с ними, Василий Андреич, я не вникаю в эти дела. Мне чтобы малого она не обижала, а то бог с ней.

– Это так, – сказал Василий Андреич. – Ну, а что ж, лошадь-то будешь покупать к весне? – начал он новый предмет разговора.

– Да не миновать, – отвечал Никита, отворотив воротник кафтана и перегнувшись к хозяину.

Теперь уж разговор был интересен Никите, и он желал все слышать.

– Малый возрос, надо самому пахать, а то все наймали, – сказал он.

– Что ж, берите бескостречного, дорого не положу! – прокричал Василий Андреич, чувствуя себя возбужденным и вследствие этого нападая на любимое, поглощавшее все его умственные силы, занятие – барышничество.

– А то рубликов пятнадцать дадите, я на конной куплю, – сказал Никита, знавший, что красная цена бескостречному, которого хочет ему сбыть Василий Андреич, рублей семь, а что Василий Андреич, отдав ему эту лошадь, будет считать ее рублей в двадцать пять, и тогда за полгода не увидишь от него денег.

– Лошадь хорошая. Я тебе желаю, как самому себе. По совести. Брехунов никакого человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то, чтобы как другие. По чести, – прокричал он своим тем голосом, которым он заговаривал зубы своим продавцам и покупателям. – Лошадь настоящая!

– Как есть, – сказал Никита, вздохнув, и, убедившись, что слушать больше нечего, пустил рукой воротник, который тотчас же закрыл ему ухо и лицо.

С полчасца они ехали молча. Ветер продувал Никите бок и руку, где шуба была прорвана.

Он пожимался и дышал в воротник, закрывавший ему рот, и ему всему было нехолодно.

– Что, как думаешь, на Карамышево поедем али прямо? – спросил Василий Андреич.

На Карамышево езда была по более бойкой дороге, установленной хорошими вешками в два ряда, но – дальше. Прямо было ближе, но дорога была мало езжена и вешек не было или были плохенькие, занесенные.

Никита подумал немного.

– На Карамышево хоть и подальше, да ездовитее, – проговорил он.

– Да ведь прямо только лошину проехать не сбиться, а там лесом хорошо, – сказал Василий Андреич, которому хотелось ехать прямо.

– Воля ваша, – сказал Никита и опять пустил воротник.

Василий Андреич так и сделал и, отъехав с полверсты, у высокой,

мотавшейся от ветра дубовой ветки, с сухими, кой-где державшимися на ней листьями, свернул влево.

Ветер с поворота стал им почти встречный. И сверху пошел снежок. Василий Андреич правил, надувал щеки и пускал дух себе снизу в усы. Никита дремал.

Они молча проехали так минут десять. Вдруг Василий Андреич заговорил что-то.

– Чаго? – спросил Никита, открывая глаза.

Василий Андреич не отвечал, а изгибался, оглядываясь назад и вперед перед лошадью. Лошадь, закурчавившаяся от пота в пахах и на шее, шла шагом.

– Чаго ты, говорю? – повторил Никита.

– Чаго, чаго, – передразнил его Василий Андреич сердито. – Вешек не видать! Должно, сбились!

– Так стой же, я дорогу погляжу, – сказал Никита и, легко соскочив с саней и достав кнут из-под соломы, пошел влево и с той стороны, с которой сидел.

Снег в этом году был неглубокий, так что везде была дорога, но все-таки кое-где он был по колено и засыпался Никите в сапог. Никита ходил, щупал ногами и кнутом, но дороги нигде не было.

– Ну что? – сказал Василий Андреич, когда Никита подошел опять к саням.

– С этой стороны нету дороги. Надо в ту сторону пойти походить.

– Вон что-то впереди чернеет, ты туда дойди погляди, – сказал Василий Андреич.

Никита пошел и туда, подошел к тому, что чернелось, – это чернелась земля, насыпавшаяся с оголенных озимей сверх снега и окрасившая снег черным. Походив и справа, Никита вернулся к саням, обил с себя снег, вытряхнул его из сапога и сел в сани.

– Вправо ехать надо, – сказал он решительно. – Ветер мне в левый бок был, а теперь прямо в морду. Пошел вправо! – решительно сказал он.

Василий Андреич послушал его и взял вправо. Но дороги все не было. Они проехали так несколько времени. Ветер не уменьшался, и пошел снежок.

– А мы, Василий Андреич, видно, вовсе сбились, – вдруг сказал как будто с удовольствием Никита. – Это что? – сказал он, указывая на черную картофельную ботву, торчавшую из-под снега.

Василий Андреич остановил уже вспотевшую и тяжело водившую крутыми боками лошадь.

– А что? – спросил он.

– А то, что мы на Захаровском поле. Вон куда заехали!

– Вре? – откликнулся Василий Андреич.

– Не вру я, Василий Андреич, а правду говорю, – сказал Никита, – и по саням слышно – по картофелищу едем, а вон и кучи, – ботву свозили. Захаровское заводское поле.

– Вишь ты, куда сбились! – сказал Василий Андреич. – Как же быть-то?

– А надо прямо брать, вот и все, куда-нибудь да выедем, – сказал Никита. – Не в Захаровку, так на барский хутор выедем.

Василий Андреич послушался и пустил лошадь, как велел Никита. Они ехали так довольно долго. Иногда они выезжали за оголенные зеленя, и сани гремели по колчам мерзлой земли, иногда выезжали на жнивье, то на озимое, то на яровое, по которым из-под снега виднелись мотавшиеся от ветра полыни и соломины; иногда выезжали в глубокий, везде одинаково белый ровный снег, сверх которого уже ничего не было видно.

Снег шел сверху и иногда поднимался снизу. Лошадь, очевидно, утомилась, вся закурчавилась и заиндевила от пота и шла шагом. Вдруг она оборвалась и села в водомоину или в канаву. Василий Андреич хотел остановить, но Никита закричал на него.

– Чего держать! Заехали – выезжать надо. Но, миленький! но! но, родной! – закричал он веселым голосом на лошадь, выскакивая из саней и сам увязая в канаве.

Лошадь рванулась и тотчас же выбралась на мерзлую насыпь. Очевидно, это была копаная канава.

– Где ж это мы? – сказал Василий Андреич.

– А вот узнаем! – отвечал Никита. – Трогай знай. Куда-нибудь выедем.

– А ведь это, должно, Горячкинский лес? – сказал Василий Андреич, указывая на что-то черное, показавшееся из-за снега, впереди их.

– Вот подъедем, увидим, какой такой лес, – сказал Никита.

Никита видел, что со стороны черневшегося чего-то неслись сухие продолговатые листья лозины, и потому знал, что это не лес, а жильё, но не хотел говорить.

И действительно, не проехали они еще и десяти саженьей после канавы, как перед ними зачернелись, очевидно, деревья и послышался какой-то новый унылый звук. Никита угадал верно: это был не лес, а ряд высоких лозин с кое-где трепавшимися еще на них листьями. Лозины, очевидно, были обсажены по канаве гумна. Подъехав к уныло гудевшим на ветру лозинам, лошадь вдруг поднялась передними ногами выше саней,

выбралась и задними на возвышение, повернула влево и перестала утопать в снегу по колени. Это была дорога.

– Вот и приехали, – сказал Никита, – а незнамо куда.

Лошадь, не сбиваясь, пошла по занесенной дороге, и не проехали они по ней сорока саженьей, как зачернелась прямая полоса плетня риги под толсто засыпанной снегом крышей, с которой не переставая сыпался снег. Миновав ригу, дорога повернула по ветру, и они въехали в сугроб. Но впереди виднелся проулок между двумя домами, так что, очевидно, сугроб надуло на дороге и надо было переехать его. И действительно, переехав сугроб, они въехали в улицу. У крайнего двора на веревке отчаянно трепалось от ветра развешанное замерзшее белье: рубахи, одна красная, одна белая, портки, онучи и юбка. Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами.

– Вишь, баба ленивая, а либо умирает, белье к празднику не собрала, – сказал Никита, глядя на мотавшиеся рубахи.

III

В начале улицы еще было ветрено, и дорога была заметена, но в середине деревни стало тихо, тепло и весело. У одного двора лаяла собака, у другого баба, закрывшись с головой поддевкой, прибежала откуда-то и зашла в дверь избы, остановившись на пороге, чтобы поглядеть на проезжающих. Из середины деревни слышались песни девок.

В деревне, казалось, и ветра и снега и мороза было меньше.

– А ведь это Гришкино, – сказал Василий Андреич.

– Оно и есть, – отвечал Никита.

И действительно, это было Гришкино. Выходило так, что они сбились влево и проехали верст восемь не совсем в том направлении, которое им нужно было, но все-таки подвинулись к месту своего назначения. До Горячкина от Гришкина было верст пять.

В середине деревни они наткнулись на высокого человека, шедшего посередине улицы.

– Кто едет? – крикнул этот человек, останавливая лошадь, и тотчас же, узнав Василия Андреича, схватился за оглоблю и, перебирая по ней руками, дошел до саней и сел на облучок.

Это был знакомый Василию Андреичу мужик Исай, известный в округе за первого конокрада.

– А, Василий Андреич! Куда ж это вас бог несет? – сказал Исай, обдавая Никиту запахом выпитой водки.

– Да мы в Горячкино было.

– Вона куда заехали! Вам бы на Малахово надо.

– Мало что надо. Да не потрафили, – сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

– Лошадка-то добрая, – сказал Исай, оглядывая лошадь и затягивая ей привычным движением под самую репицу ослабший узел завязанного густого хвоста.

– Что же, ночевать, что ли?

– Не, брат, обязательно ехать надо.

– Нужно, видно. А это чей? А! Никита Степаныч!

– А то кто же? – отвечал Никита. – А вот как бы, душа милая, нам тут не сбиться опять.

– Где же тут сбиться! Поворачивай назад, по улице прямо, а там, как выедешь, все прямо. Влево не бери. Выедешь на большак, а тогда – вправо.

– Поворот-то с большака где? По летнему или по зимнему? – спросил Никита.

– По зимнему. Сейчас, как выедешь, кустики, насупротив кустиков еще вешка большая дубовая, кудрявая стоит, – тут и есть.

Василий Андреич повернул лошадь назад и поехал слободой.

– А то ночевали бы! – прокричал им сзади Исай.

Но Василий Андреич не отвечал ему и потрогивал лошадь; пять верст ровной дороги, из которых две были лесом, казалось, легко проехать, тем более что ветер как будто затих и снег переставал.

Проехав опять улицей по накатанной и черневшей кое-где свежим навозом дороге и миновав двор с бельем, у которого белая рубаха уже сорвалась и висела на одном мерзлом рукаве, они опять выехали к страшно гудевшим лозинам и опять очутились в открытом поле. Метель не только не стихала, но, казалось, еще усилилась. Дорога вся была заметена, и можно было знать, что не сбился, только по вешкам. Но и вешки впереди трудно было рассматривать, потому что ветер был встречный.

Василий Андреич щурился, нагибал голову и разглядывал вешки, но больше пускал лошадь, надеясь на нее. И лошадь действительно не сбивалась, а шла, поворачивая то вправо, то влево по извилинам дороги, которую она чуяла под ногами. Так что, несмотря на то что снег сверху усилился и усилился ветер, вешки продолжали быть видны то справа, то слева.

Так проехали они минут десять, как вдруг прямо перед лошадьёю показалось что-то черное, двигавшееся в косой сетке гонимого ветром снега. Это были попутчики. Мухортый совсем догнал их и стучал ногами об кресла впереди едущих саней.

– Объезжай... а-а-й... передом! – кричали из саней.

Василий Андреич стал объезжать. В санях сидело три мужика и баба. Очевидно, это ехали гости с праздника. Один мужик хлестал засыпанный снегом зад лошаденки хвостотиной. Двое, махая руками, кричали что-то в передке. Укутанная баба, вся засыпанная снегом, не шевелясь сидела, нахохлившись, в задке саней.

– Чьи будете? – закричал Василий Андреич.

– А-а-а... ские! – только слышно было.

– Чьи, говорю?

– А-а-а... ские! – из всех сил закричал один из мужиков, но все-таки нельзя было расслышать, какие.

– Вали! Не сдавай! – кричал другой, не переставая молотить хвостотиной по лошаденке.

- От праздника, видно?
- Пошел! пошел! Вали, Семка! Объезжай! Вали!

Сани стукнулись друг о друга отводами, чуть не зацепились, расцепились, и мужицкие сани стали отставать.

Косматая, вся засыпанная снегом, брюхастая лошаденка, тяжело дыша под низкой дугой, очевидно из последних сил тщетно стараясь убежать от ударявшей ее хворостины, ковыляла своими коротенькими ногами по глубокому снегу, подкидывая их под себя. Морда, очевидно молодая, с подтянутой, как у рыбы, нижней губой, с расширенными ноздрями и прижатыми от страха ушами, подержалась несколько секунд подле плеча Никиты, потом стала отставать.

– Вино-то что делает, – сказал Никита. – На отделку замучали лошаденку. Азиаты как есть!

Несколько минут слышны были сопенье ноздрей замученной лошаденки и пьяные крики мужиков, потом затихло сопенье, потом замолкли и крики. И кругом опять ничего не стало слышно, кроме свистящего около ушей ветра и изредка слабого скрипа полозьев по сдутым местам дороги.

Встреча эта развеселила и ободрила Василия Андреича, и он смелее, не разбирая вешек, погнал лошадь, надеясь на нее. Никите делать было нечего, и, как всегда, когда он находился в таком положении, он дремал, наверстывая много недоспанного времени. Вдруг лошадь остановилась, и Никита чуть не упал, клюнув вперед носом.

– А ведь мы опять неладно едем, – сказал Василий Андреич.

– А что?

– Да вешек не видать. Должно, опять сбились с дороги.

– А сбились с дороги, поискать надо, – коротко сказал Никита, встал и опять, легко шагая своими внутрь вывернутыми ступнями, пошел ходить по снегу.

Он долго ходил, скрываясь из вида, опять показываясь и опять скрываясь, и наконец вернулся.

– Нет тут дороги, может, впереди где, – сказал он, садясь на сани.

Начинало уже заметно смеркаться. Метель не усиливалась, но и не слабела.

– Хоть бы тех мужиков услышать, – сказал Василий Андреич.

– Да вишь не догнали, должно, далеко сбились. А може, и они сбились, – сказал Никита.

– Куда же ехать-то? – сказал Василий Андреич.

– А пустить лошадь надо, – сказал Никита. – Он приведет. Давай

вожжи.

Василий Андреич отдал вожжи тем более охотно, что руки его в теплых перчатках начинали зябнуть.

Никита взял вожжи и только держал их, стараясь не шевелить ими, радуясь на ум своего любимца. Действительно, умная лошадь, повертывая то в одну, то в другую сторону то одно, то другое ухо, стала понемногу поворачивать.

– Только не говорить, – приговаривал Никита. – Вишь, что делаеть! Иди, иди, знай! Так, так.

Ветер стал дуть взад, стало теплее.

– И умен же, – продолжал радоваться на лошадь Никита. – Киргизенок тот силен, а глуп. А этот, гляди, что ушами делаеть. Никакого телеграфа не надо, за версту чуеть.

И не прошло еще получаса, как впереди действительно зачернело что-то: лес ли, деревня, и с правой стороны показались опять вешки. Очевидно, они опять выехали на дорогу.

– А ведь это опять Гришкино, – вдруг проговорил Никита.

Действительно, теперь слева у них была та самая рига, с которой несло снег, и дальше та же веревка с замерзшим бельем, рубахами и портками, которые все так же отчаянно трепались от ветра.

Опять они въехали в улицу, опять стало тихо, тепло, весело, опять стала видна навозная дорога, опять послышались голоса, песни, опять залаяла собака. Уже настолько смерклось, что в некоторых окнах засветились огни.

Посередине улицы Василий Андреич повернул лошадь к большому, в две кирпичные связи, дому и остановил ее у крыльца.

Никита подошел к занесенному освещенному окну, в свете которого блестели перепархивающие снежинки, и постучал кнутовищем.

– Кто там? – откликнулся голос на призыв Никиты.

– С Крестов, Брехуновы, милый человек, – отвечал Никита. – Выдь-ка на час.

От окна отошли, и через минуты две – слышно было – отлипла дверь в сенях, потом стукнула щеколда в наружной двери и, придерживая дверь от ветра, высунулся высокий старый с белой бородой мужик в накинута полушубке сверх белой праздничной рубахи и за ним малый в красной рубахе и кожаных сапогах.

– Ты, что ли, Андреич? – сказал старик.

– Да вот заплутали, брат, – сказал Василий Андреич, – хотели в Горячкино, да вот к вам попали. Отъехали, опять заплутали.

– Вишь как сбились, – сказал старик. – Петрушка, поди отвори ворота! – обратился он к малому в красной рубахе.

– Это можно, – отвечал малый веселым голосом и побежал в сени.

– Да мы, брат, не ночевать, – сказал Василий Андреич.

– Куда ехать – ночное время, ночуй.

– И рад бы ночевать, да ехать надо. Дела, брат, нельзя.

– Ну, погрейся по крайности, прямо к самовару, – сказал старик.

– Погреться – это можно, – сказал Василий Андреич, – темнее не будет, а месяц взойдет – посветлеет. Зайдем, что ль, погреемся, Микит.

– Ну, что ж, и погреться можно, – сказал Никита, сильно перезябший и очень желавший отогреть в тепле свои зазябшие члены.

Василий Андреич пошел со стариком в избу, а Никита въехал в отворенные Петрушкой ворота и, по указанию его, вдвинул лошадь под навес сарая. Сарай был поднавоженный, и высокая дуга зацепила за перемет. Уже усевшиеся на перемете куры с петухом что-то недовольно заквахтали и поцапались лапками по перемету. Встревоженные овцы, топая копытами по мерзлому навозу, шарахнулись в сторону. Собака, отчаянно взвизгивая, с испугом и злостью по-щенячьи заливалась-лаяла на чужого.

Никита поговорил со всеми: извинился перед курами, успокоил их, что больше не потревожит, упрекнул овец за то, что они пугаются, сами не зная чего, и не переставая усовещевал собачонку в то время, как привязывал лошадь.

– Вот так-то и ладно будеть, – сказал он, хлопывая с себя снег. – Вишь заливается! – прибавил он на собаку. – Да будеть тебе! Ну, буде, глупая, буде. Только себя беспокоишь, – говорил он. – Не воры, свои...

– А это, как сказано, три домашних советника, – сказал малый, закидывая сильной рукой под навес оставшиеся наружи санки.

– Это как же советники? – сказал Никита.

– А так в Пульсоне напечатывано: вор подкрадывается к дому, собака лает, – не зевай, значит, смотри. Петух поет, – значит, вставай. Кошка умывается, – значит, дорогой гость, приготовься угостить его, – проговорил малый, улыбаясь.

Петруха был грамотный и знал почти наизусть имевшуюся у него единственную книгу Паульсона и любил, особенно когда он был немного выпивши, как нынче, приводить из нее казавшиеся ему подходящими к случаю изречения.

– Это точно, – сказал Никита.

– Прозяб, я чай, дядюшка? – прибавил Петруха.

– Да есть-таки, – сказал Никита. И они пошли через двор и сени в избу.

IV

Двор, в который заехал Василий Андреич, был один из самых богатых в деревне. Семья держала пять наделов и принанимала еще землю на стороне. Лошадей во дворе было шесть, три коровы, два подтелка, штук двадцать овец. Всех семейных во дворе было двадцать две души, четыре сына женатых, шестеро внуков, из которых один Петруха был женатый, два правнука, трое сирот и четыре снохи с ребятами. Это был один из редких домов, оставшихся еще неделимыми; но и в нем уже шла глухая внутренняя, как всегда начавшаяся между баб, работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести к разделу. Два сына жили в Москве в водовозах, один был в солдатах. Дома теперь были старик, старуха, второй сын хозяин и старший сын, приехавший из Москвы на праздник, и все бабы и дети; кроме домашних, был еще гость-сосед и кум.

Над столом в избе висела с верхним щитком лампа, ярко освещавшая под собой чайную посуду, бутылку с водкой, закуску и кирпичные стены, в красном углу увешанные иконами и по обе стороны их картинами. На первом месте сидел за столом в одном черном полушубке Василий Андреич, обсасывая свои замерзшие усы и оглядывая кругом народ и избу своими выпуклыми и ястребиными глазами. Кроме Василия Андреича, за столом сидел лысый, белобородый старик-хозяин в белой домотканой рубахе; рядом с ним в тонкой ситцевой рубахе, с здоровенной спиной и плечами – сын, приехавший из Москвы на праздник, и еще другой сын, широкоплечий, старший брат, хозяйничавший в доме, и худощавый рыжий мужик – сосед.

Мужики, выпив и закусив, только что собирались пить чай, и самовар уж гудел, стоя на полу у печки. На полатах и на печке виднелись ребята. На нарах сидела баба над люлькой. Старушка-хозяйка, с покрытым во всех направлениях мелкими морщинками, морщившими даже ее губы, лицом, ухаживала за Василием Андреичем.

В то время как Никита входил в избу, она, налив в толстого стекла стаканчик водки, подносила его гостю.

– Не обессудь, Василий Андреич, нельзя, проздравить надо, – говорила она. – Выкушай, касатик.

Вид и запах водки, особенно теперь, когда он перезяб и уморился, сильно смутили Никиту. Он нахмурился и, отряхнув шапку и кафтан от снега, стал против образов и, как бы не видя никого, три раза

перекрестился и поклонился образам, потом, обернувшись к хозяину-старика, поклонился сперва ему, потом всем бывшим за столом, потом бабам, стоявшим около печки, и, проговоря: «С праздником», стал раздеваться, не глядя на стол.

– Ну и заиндевел же ты, дядя, – сказал старший брат, глядя на запущенное снегом лицо, глаза и бороду Никиты.

Никита снял кафтан, еще отряхнул его, повесил к печи и подошел к столу. Ему тоже предложили водки. Была минута мучительной борьбы: он чуть не взял стаканчик и не опрокинул в рот душистую светлую влагу, но он взглянул на Василия Андреича, вспомнил зарок, вспомнил пропитые сапоги, вспомнил бондаря, вспомнил малого, которому он обещал к весне купить лошадь, вздохнул и отказался.

– Не пью, благодарим покорно, – сказал он, нахмурившись, и присел ко второму окну на лавку.

– Что ж так? – сказал старший брат.

– Не пью, да и не пью, – сказал Никита, не поднимая глаз, косясь на свои жиденькие усы и бороду и оттаивая с них сосульки.

– Ему не годится, – сказал Василий Андреич, закусывая баранкой выпитый стаканчик.

– Ну так чайку, – сказала ласковая старушка. – Я чай, иззяб, сердечный. Что вы, бабы, с самоваром копаетесь?

– Готов, – отвечала молодайка и, обмахнув занавеской ухотивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол.

Между тем Василий Андреич рассказывал, как они сбились, как два раза возвращались в ту же деревню, как плутали, как встретили пьяных. Хозяева дивились, объясняли, где и почему они сбились и кто были пьяные, которых они встретили, и учили, как надо ехать.

– Тут до Молчановки малый ребенок доедет, только потрафить на повороте с большака, – куст тут видать. А вы не доехали! – говорил сосед.

– А то ночевали бы. Бабы постеляют, – уговаривала старушка.

– Утречком поехали бы, разлюбезное дело, – подтверждал старик.

– Нельзя, брат. Дела! – сказал Василий Андреич. – Час упустишь, годом не наверстаешь, – добавил он, вспоминая о роце и о купцах, которые могли перебить у него эту покупку. – Доедем ведь? – обратился он к Никите.

Никита долго не отвечал, все как будто озабоченный оттаиванием бороды и усов.

– Не сбиться бы опять, – сказал он мрачно.

Никита был мрачен потому, что ему страстно хотелось водки, и одно,

что могло затушить это желание, был чай, а чая еще ему не предлагали.

– Да ведь только до поворота бы доехать, а там уж не собьемся: лесом до самого места, – сказал Василий Андреич.

– Дело ваше, Василий Андреич; ехать так ехать, – сказал Никита, принимая подаваемый ему стакан чая.

– Напьемся чайку, да и марш.

Никита ничего не сказал, но только покачал головой и, осторожно вылив чай на блюдечко, стал греть о пар свои, с всегда напухшими от работы пальцами, руки. Потом, откусив крошечный кусочек сахара, он поклонился хозяевам и проговорил:

– Будьте здоровы, – и потянул в себя согревающую жидкость.

– Кабы проводил кто до поворота, – сказал Василий Андреич.

– Что ж, это можно, – сказал старший сын. – Петруха запряжет, да и проводит до поворота.

– Так запрягай, брат. А уж я поблагодарю.

– И, чего ты, касатик! – сказала ласковая старушка. – Мы рады душой.

– Петруха, иди запряги кобылу, – сказал старший брат.

– Это можно, – сказал Петруха улыбаясь и тотчас же, сорвав с гвоздя шапку, побежал запрягать.

Пока закладывали лошадь, разговор перешел на то, на чем он остановился в то время, как Василий Андреич подъехал к окну. Старик жаловался соседу-старосте на третьего сына, не приславшего ему ничего к празднику, а жене приславшего французский платок.

– Отбивается народ молодой от рук, – говорил старик.

– Как отбивается-то, – сказал кум-сосед, – сладу нет. Больно умны стали. Вон Демочкин – так отцу руку сломал. Все от большого ума, видно.

Никита вслушивался, всматривался в лица и, очевидно, желал тоже принять участие в разговоре, но был весь поглощен чаем и только одобрительно кивал головой. Он выпивал стакан за стаканом, и ему становилось все теплее и теплее, и приятнее и приятнее. Разговор продолжался долго все об одном и том же – о вреде разделов, и разговор, очевидно, был не отвлеченный, а дело шло о разделе в этом доме, – разделе, которого требовал второй сын, тут же сидевший и угрюмо молчавший. Очевидно, это было болезненное место, и вопрос этот занимал всех домашних, но они из приличия при чужих не разбирали своего частного дела. Но наконец старик не выдержал и со слезами в голосе заговорил о том, что делиться он не даст, пока жив, что дом у него слава богу, а разделить – все по миру пойдут.

– Вот как Матвеевы, – сказал сосед. – Был дом настоящий, а разделили

– ни у кого ничего нет.

– Так-то и ты хочешь, – обратился старик к сыну.

Сын ничего не отвечал, и наступило неловкое молчание. Молчание это перервал Петруха, уже заложивший лошадь и вернувшийся на несколько минут перед этим в избу и все время улыбавшийся.

– Так-то у Пульсона есть басня, – сказал он, – дал родитель сыновьям веник сломать. Сразу не сломали, а по пруту легко. Так и это, – сказал он, улыбаясь во весь рот. – Готово! – прибавил он.

– А готово, так поедем, – сказал Василий Андреич. – А насчет дележу ты, дедушка, не сдавайся. Ты наживал – ты и хозяин. Мировому подай. Он порядок укажет.

– Так фордыбачить, так фордыбачить, – плаксивым голосом говорил все свое старик, – что нет с ним ладов. Как осатанел ровно.

Никита между тем, допив пятый стакан чаю, все-таки не перевернул его, а положил боком, надеясь, что ему нальют еще шестой. Но воды в самоваре уже не было, и хозяйка не налила ему еще, да и Василий Андреич стал одеваться. Нечего было делать. Никита тоже встал, положил назад в сахарницу свой обкусанный со всех сторон кусочек сахара, отер полою мокрое от пота лицо и пошел надевать халат.

Одевшись, он тяжело вздохнул и, поблагодарив хозяев и простившись с ними, вышел из теплой, светлой горницы в темные, холодные, гудевшие от рвавшегося в них ветра и занесенные снегом через щели дрожавших дверей сени и оттуда на темный двор.

Петруха в шубе стоял с своей лошадью посередине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил: «Буря с мглою небо скроить, вихри снежные крутить, аж как зверь она завоить, аж заплачить как дите».

Никита одобрительно покачивал головой и разбирал вожжи.

Старик, провожая Василия Андреича, вынес фонарь в сени и хотел посветить ему, но фонарь тотчас же задуло. И на дворе даже заметно было, что метель разыгралась еще сильнее.

«Ну уж погода, – подумал Василий Андреич, – пожалуй, и не доедешь; да нельзя, дела! Да и собрался уж, и лошадь хозяйская запряжена. Доедем, бог даст!»

Хозяин-старик тоже думал, что не следовало ехать; но он уже уговаривал остаться, его не послушали. Больше просить нечего. «Может, я от старости так робею, а они доедут, – думал он. – Да и по крайности спать ляжем вовремя. Без хлопот».

Петруха же и не думал об опасности: он так знал дорогу и всю местность, а кроме того, стишок о том, как «вихри снежные крутить»,

бодрил его тем, что совершенно выражал то, что происходило на дворе. Никите же вовсе не хотелось ехать, но он уже давно привык не иметь своей воли и служить другим. Так что никто не удержал отъезжающих.

Василий Андреич подошел к саням, с трудом разбирая в темноте, где они, влез в них и взял вожжи.

– Пошел передом! – крикнул он.

Петруха, стоя на коленках в розвальнях, пустил свою лошадь. Мухортый, уже давно ржавший, чуя впереди себя кобылу, рванулся за нею, и они выехали на улицу. Опять поехали слободой и той же дорогой, мимо того же двора с развешанным замерзшим бельем, которого теперь уже не видно было; мимо того же сарая, который уже был занесен почти до крыши и с которого сыпался бесконечный снег; мимо тех же мрачно шумящих, свистящих и гнущихся лозин и опять въехали в то снежное, сверху и снизу бушевавшее море. Ветер был так силен, что когда он был в бок и седоки парусили против него, то он накренивал набок санки и сбивал лошадь в сторону. Петруха ехал развалистой рысцой своей доброй кобылы впереди и бодро покрикивал. Мухортый рвался за нею.

Проехав так минут десять, Петруха обернулся и что-то прокричал. Ни Василий Андреич, ни Никита не слышали от ветра. Но догадались, что они приехали к повороту. Действительно, Петруха поворотил направо, и ветер, бывший в бок, опять стал навстречу, и справа сквозь снег завиднелось что-то черное. Это был кустик на повороте.

– Ну, с богом!

– Спасибо, Петруха!

– «Буря небо мглою скроить», – прокричал Петруха и скрылся.

– Вишь, стихотворец какой, – проговорил Василий Андреич и тронул вожжами.

– Да, молодец хороший, мужик настоящий, – сказал Никита.

Поехали дальше.

Никита, укутавшись и вжав голову в плечи, так что небольшая борода его облегла ему шею, сидел молча, стараясь не потерять набранное в избе за чаем тепло. Перед собой он видел прямые линии оглобель, беспрестанно обманывавшие его и казавшиеся ему накатанной дорогой, колеблющийся зад лошади с заворачиваемым в одну сторону подвязанным узлом хвостом и дальше, впереди, высокую дугу и качающуюся голову и шею лошади с развевающейся гривой. Изредка ему попадались в глаза вешки, так что он знал, что ехали пока по дороге, и ему делать было нечего.

Василий Андреич правил, предоставляя лошади самой держаться

дороги. Но Мухортый, несмотря на то что вздохнул в деревне, бежал неохотно и как будто сворачивал с дороги, так что Василий Андреич несколько раз направлял его.

«Вот справа одна вешка, вот другая, вот и третья, – считал Василий Андреич, – а вот впереди и лес», – подумал он, вглядываясь во что-то чернеющее впереди его. Но то, что показалось ему лесом, был только куст. Куст проехали, проехали еще сажень двадцать, четвертой вешки не было и леса не было. «Должен сейчас быть лес», – думал Василий Андреич и, возбужденный вином и чаем, не останавливаясь, потрогивал вожжами, и покорное, доброе животное слушалось и то иноходью, то небольшой рысцой бежало туда, куда его посылали, хотя и знало, что его посылают совсем не туда, куда надо. Прошло минут десять, леса все не было.

– А ведь мы опять сбились! – сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

Никита молча вылез из саней и, придерживая свой халат, то липнувший к нему по ветру, то отворачивающийся и слезающий с него, пошел лазить по снегу; пошел в одну сторону, пошел в другую. Раза три он скрывался совсем из вида. Наконец он вернулся и взял вожжи из рук Василия Андреича.

– Вправо ехать надо, – сказал он строго и решительно, поворачивая лошадь.

– Ну, вправо, так вправо пошел, – сказал Василий Андреич, отдавая вожжи и засовывая озябшие руки в рукава.

Никита не отвечал.

– Ну, дружок, потрудись, – крикнул он на лошадь, но лошадь, несмотря на потряхиванье вожжей, шла только шагом.

Снег был кое-где по колено, и сани подергивались рывом с каждым движением лошади.

Никита достал кнут, висевший на передке, и стегнул. Добрая, непривычная к кнуту лошадь рванулась, пошла рысью, но тотчас же опять перешла на иноходь и шаг. Так проехали минут пять. Было так темно и так курило сверху и снизу, что дуги иногда не было видно. Сани, казалось, иногда стояли на месте, и поле бежало назад. Вдруг лошадь круто остановилась, очевидно чуя что-то неладное перед собой. Никита опять легко выскочил, бросая вожжи, и пошел вперед лошади, чтобы посмотреть, чего она остановилась; но только что он хотел ступить шаг перед лошадью, как ноги его поскользнулись и он покатился под какую-то кучу.

– Тпру, тпру, тпру, – говорил он себе, падая и стараясь остановиться, но не мог удержаться и остановился только, врезавшись ногами в

нанесенный внизу оврага толстый слой снега.

Нависший с края кручи сугроб, растревоженный падением Никиты, насыпался на него и засыпал ему снегу за шиворот.

– Эка ты как! – укоризненно проговорил Никита, обращаясь к сугробу и к оврагу и вытряхивая снег из-за воротника.

– Микит, а Микит! – кричал Василий Андреич сверху.

Но Никита не откликался.

Ему некогда было: он отряхался, потом отыскивал кнут, который выронил, когда скатился под кручу. Найдя кнут, он полез было прямо назад, где скатился; но влезть не было возможности: он скатывался назад, так что должен был низом пойти искать выхода кверху. Сажени на три от того места, где он скатился, он с трудом вылез на четвереньках на гору и пошел по краю оврага к тому месту, где должна была быть лошадь. Лошади и саней он не видал; но так как он шел на ветер, он, прежде чем увидал их, услышал крики Василия Андреича и ржание Мухортого, звавших его.

– Иду, иду. Чего гогочешь? – проговорил он.

Только совсем уже дойдя до саней, он увидал лошадь и стоявшего возле них Василия Андреича, казавшегося огромным.

– Куда, к дьяволу, запропастился? Назад ехать надо. Хоть в Гришкино вернемся, – сердито стал выговаривать Никите хозяин.

– И рад бы вернуться, Василий Андреич, да куда ехать-то? Тут овражище такой, что попади туда, и не выберешься. Я туда засветил так, что насили выдрался.

– Что ж, не стоять же тут? Куда-нибудь надо же ехать, – сказал Василий Андреич.

Никита ничего не отвечал. Он сел на сани задом к ветру, разулся и вытряхнул снег, набившийся ему в сапоги, и, достав соломки, старательно заткнул ею изнутри дыру в левом сапоге.

Василий Андреич молчал, как бы предоставив теперь уже все Никите. Переобувшись, Никита убрал ноги в сани, надел опять рукавицы, взял вожжи и повернул лошадь вдоль оврага. Но не проехали они и ста шагов, как лошадь опять уперлась. Перед ней опять был овраг.

Никита опять вылез и опять пошел лазить по снегу. Довольно долго он ходил. Наконец появился с противоположной стороны, с которой он пошел.

– Андреич, живы? – крикнул он.

– Здесь, – откликнулся Василий Андреич. – Ну, что?

– Да не разберешь никак. Темно. Овраги какие-то. Надо опять на ветер ехать.

Опять поехали, опять ходил Никита, лазая по снегу. Опять садился,

опять лазил и наконец, запыхавшись, остановился у саней.

– Ну, что? – спросил Василий Андреич.

– Да что, вымотался я весь. Да и лошадь становится.

– Так что же делать?

– Да вот, постой.

Никита опять ушел и скоро вернулся.

– Держи за мной, – сказал он, заходя перед лошадью.

Василий Андреич уже не приказывал ничего, а покорно делал то, что говорил ему Никита.

– Сюда за мной! – закричал Никита, отходя быстро вправо и хватая за вожжу Мухортого и направляя его куда-то книзу, в сугроб.

Лошадь сначала уперлась, но потом рванулась, надеясь проскочить сугроб, но не осилила и села в него по хомут.

– Вылезай! – закричал Никита на Василия Андреича, продолжавшего сидеть в санях, и, подхватив под одну оглоблю, стал надвигать сани на лошадь. – Трудненько, брат, – обратился он к Мухортому, – да что ж делать, понатужься! но, но, немного! – крикнул он.

Лошадь рванулась раз, другой, но все-таки не выбралась и опять села, как будто что-то обдумывала.

– Что ж, брат, так неладно, – усовещевал Никита Мухортого. – Ну, еще!

Опять Никита потащил за оглоблю с своей стороны; Василий Андреич делал то же с другой. Лошадь пошевелила головой, потом вдруг рванулась.

– Ну! но! не потонешь, небось, – кричал Никита.

Прыжок, другой, третий, и наконец лошадь выбралась из сугроба и остановилась, тяжело дыша и отряхиваясь. Никита хотел вести дальше, но Василий Андреич так запыхался в своих двух шубах, что не мог идти и повалился в сани.

– Дай вздохнуть, – сказал он, распуская платок, которым он повязал в деревне воротник шубы.

– Тут ничего, ты лежи, – сказал Никита, – я проведу, – и с Васильем Андреичем в санях провел лошадь под уздцы вниз шагов десять и потом немного вверх и остановился.

Место, на котором остановился Никита, было не в ложине, где бы снег, сметаемый с бугров и оставаясь, мог совсем засыпать их, но оно все-таки отчасти было защищено краем оврага от ветра. Были минуты, когда ветер как будто немного стихал, но это продолжалось недолго, и как будто для того, чтобы наверстать этот отдых, буря налетала после этого с удесyтеренной силой и еще злее рвала и крутила. Такой порыв ветра ударил

в ту минуту, как Василий Андреич, отдышавшись, вылез из саней и подошел к Никите, чтобы поговорить о том, что делать. Оба невольно пригнулись и подождали говорить, пока пройдет ярость порыва. Мухортый тоже недовольно прижимал уши и тряс головой. Как только немного прошел порыв ветра, Никита, сняв рукавицы и заткнув их за кушак, подышав в руки, стал отвязывать с дуги поводок.

– Ты что ж это делаешь? – спросил Василий Андреич.

– Отпрягаю, что ж еще делать? Мочи моей нет, – как бы извиняясь, отвечал Никита.

– А разве не выедем куда?

– Не выедем, только лошадь замучаем. Ведь он, сердечный, не в себе стал, – сказал Никита, указывая на покорно стоящую, на все готовую и тяжело носившую крутыми и мокрыми боками лошадь. – Ночевать надо, – повторил он, точно как будто собирался ночевать на постоялом дворе, и стал развязывать супонь.

Клещи расскочились.

– А не замерзнем мы? – спросил Василий Андреич.

– Что ж? И замерзнешь – не откажешься, – сказал Никита.

VI

Василию Андреичу в своих двух шубах было совсем тепло, особенно после того, как он повозился в сугробе; но мороз пробежал у него по спине, когда он понял, что действительно надо ночевать здесь. Чтобы успокоиться, он сел в сани и стал доставать папиросы и спички.

Никита между тем распрягал лошадь. Он развязал подбрюшник, чресседельник, развожжал, снял гуж, вывернул дугу и, не переставая разговаривать с лошастью, ободрял ее.

– Ну, выходи, выходи, – говорил он, выводя ее из оглобель. – Да вот привяжем тебя тут. Соломки подложу да размздаю, – говорил он, делая то, что говорил. – Закусишь, тебе все веселее будет.

Но Мухортый, очевидно, не успокоивался речами Никиты и был тревожен; он переступал с ноги на ногу, жался к саням, становясь задом к ветру, и терся головой о рукав Никиты.

Как будто только для того, чтобы не отказать Никите в его угощении соломой, которую Никита подсунул ему под храп, Мухортый раз порывисто схватил пук соломы из саней, но тотчас же решил, что теперь дело не до соломы, бросил ее, и ветер мгновенно растрепал солому, унес ее и засыпал снегом.

– Теперь приметку сделаем, – сказал Никита, повернув сани лицом к ветру, и, связав оглобли чресседельником, он поднял их вверх и притянул к передку. – Вот, как занесет нас, добрые люди по оглоблям увидят, откопают, – сказал Никита, похлопывая рукавицами и надевая их. – Так-то старики учили.

Василий Андреич между тем, распустив шубу и закрываясь полами ее, тер одну серную спичку за другой о стальную коробку, но руки у него дрожали, и загоравшиеся спички одна за другою, то еще не разгоревшись, то в самую ту минуту, как он подносил ее к папиросе, задувались ветром. Наконец одна спичка вся загорелась и осветила на мгновение мех его шубы, его руку с золотым перстнем на загнутом внутрь указательном пальце и засыпанную снегом, выбившуюся из-под веретя овсяную солому, и папироса загорелась. Раза два он жадно потянул, проглотил, выпустил сквозь усы дым, хотел еще затянуться, но табак с огнем сорвало и унесло туда же, куда и солому.

Но и эти несколько глотков табачного дыма развеселили Василия Андреича.

– Ночевать так ночевать! – сказал он решительно.

– погоди же ты, я еще флаг сделаю, – сказал он, поднимая платок, который он, сняв с воротника, бросил было в сани, и, сняв перчатки, стал в передке саней и, вытягиваясь, чтобы достать до чресседельника, тугим узлом привязал к нему платок подле оглобли.

Платок тотчас же отчаянно затрепался, то прилипая к оглобле, то вдруг отдуваясь, натягиваясь и щелкая.

– Вишь, как ловко! – сказал Василий Андреич, любуясь на свою работу, опускаясь в сани. – Теплее бы вместе, да вдвоем не усядемся, – сказал он.

– Я место найду, – отвечал Никита, – только лошадь укрыть надо, а то взопрел сердечный. Пусти-ка, – прибавил он и, подойдя к саням, потянул из-под Василия Андреича веретье.

И, достав веретье, он сложил его вдвое и, скинув прежде шлею и сняв седелку, покрыл им Мухортого.

– Все теплее тебе будет, дурачок, – говорил он, надевая опять на лошадь сверх веретья седелку и шлею. – А не нужна вам дерюжка будет? Да соломки мне дайте, – сказал Никита, окончив это дело и опять подойдя к саням.

И, забрав и то и другое из-под Василия Андреича, Никита зашел за спинку саней, выкопал себе там, в снегу, ямку, положил в нее соломы и, нахлобучив шапку и закутавшись кафтаном, а сверху покрывшись дерюжкой, сел на постланную солому, прислонясь к лубочному задку саней, защищавшему его от ветра и снега.

Василий Андреич неодобрительно покачал головой на то, что делал Никита, как он вообще не одобрял необразованность и глупость мужицкую, и стал устраиваться на ночь.

Он разровнял оставшуюся солому по санкам, положил погуще себе под бок и, засунув руки в рукава, приладился головой в угол саней, к передку, защищавшему его от ветра.

Спать ему не хотелось. Он лежал и думал: думал все о том же одном, что составляло единственную цель, смысл, радость и гордость его жизни, – о том, сколько он нажил и может еще нажить денег; сколько другие, ему известные, люди нажили и имеют денег, и как эти другие наживали и наживают деньги, и как он, так же как и они, может нажить еще очень много денег. Покупка Горячкинского леса составляла для него дело огромной важности. Он надеялся на этом лесе поживиться сразу, может быть, десятком тысяч. И он стал в мыслях расценивать виденную им осенью рощу, в которой он на двух десятинах пересчитал все деревья.

«Дуб на полозья пойдет. Срубы сами собой. Да дров сажен тридцать все станет на десятине, – говорил он себе. – С десятины на худой конец по двести с четвертной останется. Пятьдесят шесть десятин, пятьдесят шесть сотен, да пятьдесят шесть сотен, да пятьдесят шесть десятков, да еще пятьдесят шесть десятков, да пятьдесят шесть пятков». Он видел, что выходило за двенадцать тысяч, но без счетов не мог смекнуть ровно сколько. «Десяти тысяч все-таки не дам, а тысяч восемь, да чтоб за вычетом полян. Землемера помажу – сотню, а то полторы; он мне десятин пять полян намеряет. И за восемь отдаст. Сейчас три тысячи в зубы. Небось размякнет, – думал он, ощупывая предплечьем руки бумажник в кармане. – И как сбились с поворота, бог ее знает. Должен бы тут быть лес и сторожка. Собак бы слышно. Так не лают, проклятые, когда их нужно». Он отстранил воротник от уха и стал прислушиваться; слышен был все тот же свист ветра, в оглоблях трепанье и щелканье платка и стеганье по лубку саней падающего снега. Он закрылся опять.

«Кабы знать, ночевать бы остаться. Ну, да все одно, доедем и завтра. Только день лишний. В такую погоду и те не поедут». И он вспомнил, что к девятому надо получить за валухов с мясника деньги. «Хотел сам приехать; не застанет меня – жена не сумеет деньги взять. Очень уж необразована. Обхождения настоящего не знает», – продолжал он думать, вспоминая, как она не умела обойтись со становым, бывшим вчера на празднике у него в гостях. «Известно – женщина! Где она что видала? При родителях какой наш дом был? Так себе, деревенский мужик богатый: рушка да постоянный двор – и все имущество в том. А я что в пятнадцать лет сделал? Лавка, два кабака, мельница, ссыпка, два имения в аренде, дом с амбаром под железной крышей, – вспоминал он с гордостью. – Не то что при родителе! Нынче кто в округе гремит? Брехунов».

«А почему так? Потому – дело помню, стараюсь, не так, как другие – лежни али глупостями занимаются. А я ночи не сплю. Метель не метель – еду. Ну и дело делается. Они думают, так, шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись да голову поломай. Вот так-то заночуй в поле да ночи не спи. Как подушка от думы в головах ворочается», – размышлял он с гордостью. «Думают, что в люди выходят по счастью. Вон, Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст. Только бы дал бог здоровья».

И мысль о том, что и он может быть таким же миллионщиком, как Миронов, который взялся с ничего, так взволновала Василия Андреича, что он почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь. Но говорить не с кем было... Кабы доехать до Горячкина, он бы поговорил с помещиком, вставил бы очки ему.

«Ишь ты, дует как! Занесет так, что и не выберемся утром!» – подумал он, прислушиваясь к порыву ветра, который дул в передок, нагибая его, и сек его лубок снегом. Он приподнялся и оглянулся: в белой колеблющейся темноте видна была только чернеющая голова Мухортого и его спина, покрытая развевающимся веретьем, и густой завязанный хвост; кругом же со всех сторон, спереди, сзади была везде одна и та же однообразная, белая колеблющаяся тьма, иногда как будто чуть-чуть просветляющаяся, иногда еще больше сгущающаяся.

«И напрасно послушался я Никиту, – думал он. – Ехать бы надо, все бы выехали куда-нибудь. Хоть назад бы доехали в Гришкино, ночевали бы у Тараса. А то вот сиди ночь целую. Да что, бишь, хорошего было? Да, что за труды бог дает, а не лодырям, лежебокам или дуракам. Да и покурить надо!» Он сел, достал папиросочницу, лег брюхом вниз, закрывая полой от ветра огонь, но ветер находил ход и тушил спички одну за другой. Наконец он ухитрился зажечь одну и закурил. То, что он добился своего, очень обрадовало его. Хотя папироску выкурил больше ветер, чем он, он все-таки затянулся раза три, и ему опять стало веселей. Он опять привалился к задку, укутался и опять начал вспоминать, мечтать и совершенно неожиданно вдруг потерял сознание и задремал.

Но вдруг точно что-то толкнуло и разбудило его. Мухортый ли это дернул из-под него солому, или это внутри его что-то всколыхнуло его, только он проснулся, и сердце у него стало стучать так быстро и так сильно, что ему показалось, что сани трясутся под ним. Он открыл глаза. Вокруг него было все то же, но только казалось светлее. «Светаает, – подумал он, – должно и до утра недолго». Но тотчас же он вспомнил, что светлее стало только оттого, что месяц взошел. Он приподнялся, оглядел сначала лошадь. Мухортый стоял все задом к ветру и весь трясся. Засыпанное снегом веретье заворотилось одной стороной, шлея съехала набок, и засыпанная снегом голова с развевающимися челкой и гривой были теперь виднее. Василий Андреич перегнулся к задку и заглянул за него. Никита сидел все в том же положении, в каком он сел. Дерюжка, которою он прикрывался, и ноги его были густо засыпаны снегом. «Не замерз бы мужик: плоха одежонка на нем. Еще ответишь за него. То-то народ бестолковый. Истинно необразованность», – подумал Василий Андреич и хотел было снять с лошади веретье и накрыть Никиту, но холодно было вставать и ворочаться, и лошадь, боялся, как бы не застыла. «И на что я его взял! Все ее глупость одна!» – подумал Василий Андреич, вспоминая немилую жену, и опять перевалился на свое прежнее место к передку саней. «Так-то дядюшка раз всю ночь в снегу просидел, –

вспомнил он, – и ничего. Ну, а Севастьяна-то откопали, – тут же представился ему другой случай, – так тот помер, закоченел весь, как туша мороженная».

«Остался бы в Гришкином ночевать, ничего бы не было». И, старательно запахнувшись, так чтобы тепло меха нигде не пропадало даром, а везде – и в шее, и в коленях, и в ступнях – грело его, он закрыл глаза, стараясь опять заснуть. Но сколько он ни старался теперь, он не мог уже забыться, а, напротив, чувствовал себя совершенно бодрым и оживленным. Опять он начал считать барыши, долги за людьми, опять стал хвастаться сам перед собой и радоваться на себя и на свое положение, но все теперь постоянно прерывалось подкрадывающимся страхом и досадной мыслью о том, зачем он не остался ночевать в Гришкином. «То ли дело: лежал бы на лавке, тепло». Он несколько раз переворачивался, укладывался, стараясь найти более ловкое и защищенное от ветра положение, но все ему казалось неловко; он опять приподнимался, переменил положение, укутывал ноги, закрывал глаза и затихал. Но или скрюченные ноги в крепких валеных сапогах начинали ныть, или продувало где-нибудь, и он, полежав недолго, опять с досадой на себя вспоминал о том, как бы он теперь мог спокойно лежать в теплой избе в Гришкином, и опять поднимался, ворочался, кутался и опять укладывался.

Раз Василию Андреичу почудилось, что он слышит дальний крик петухов. Он обрадовался, отворотил шубу и стал напряженно слушать, но, сколько он ни напрягал слух, ничего не слышно было, кроме звука ветра, свистевшего в оглоблях и трепавшего платок, и снега, стегавшего об лубок саней.

Никита как сел с вечера, так и сидел все время, не шевелясь и даже не отвечая на обращения Василия Андреича, который раза два окликал его. «Ему и горюшка мало, спит должно», – с досадой думал Василий Андреич, заглядывая через задок саней на густо засыпанного снегом Никиту.

Василий Андреич вставал и ложился раз двадцать. Ему казалось, что конца не будет этой ночи. «Теперь уже, должно быть, близко к утру, – подумал он раз, поднимаясь и оглядываясь. – Дай, посмотрю на часы. Озябнешь раскрываться. Ну, да коли узнаю, что к утру дело, все веселее будет. Запрягать станем». Василий Андреич в глубине души знал, что не может быть еще утро, но он все сильнее и сильнее начинал робеть и хотел в одно и то же время и проверить и обмануть себя. Он осторожно распустил крючки полушубка и, засунув руку за пазуху, долго копался, пока достал до жилетки. Насилу-насилу вытащил он свои серебряные с эмалевыми цветками часы и стал смотреть. Без огня ничего не видно было. Он опять

лег ничком на локти и на коленки, так же, как когда закуривал, достал спички, стал зажигать. Теперь он аккуратнее взялся за дело и, ощупав пальцами спичку с самым большим количеством фосфора, он с первого раза зажег ее. Подсунув циферблат под свет, он взглянул и глазам своим не верил... Было всего десять минут первого. Еще вся ночь была впереди.

«Ох, длинна ночь!» – подумал Василий Андреич, чувствуя, как мороз пробежал ему по спине, и, застегнувшись опять и укрывшись, он прижался к углу саней, собираясь терпеливо ждать. Вдруг из-за однообразного шума ветра он явственно услышал какой-то новый, живой звук. Звук равномерно усиливался и, дойдя до совершенной явственности, так же равномерно стал ослабевать. Не было никакого сомнения, что это был волк. И волк этот был так недалеко, что по ветру ясно было слышно, как он, ворочая челюстями, изменял звуки своего голоса. Василий Андреич откинул воротник и внимательно слушал. Мухортый так же напряженно слушал, поводя ушами, и, когда волк кончил свое колено, переставил ноги и предостерегающе фыркнул. После этого Василий Андреич уже никак не мог не только заснуть, но и успокоиться. Сколько он ни старался думать о своих расчетах, делах и о своей славе и своем достоинстве и богатстве, страх все больше и больше завладевал им, и над всеми мыслями преобладала и ко всем мыслям примешивалась мысль о том, зачем он не остался ночевать в Гришкине.

«Бог с ним, с лесом, без него дел, слава богу. Эх, ночевать бы! – говорил он себе. – Говорят, пьяные-то замерзают, – подумал он. – А я выпил». И, прислушиваясь к своему ощущению, он чувствовал, что начинал дрожать, сам не зная, от чего он дрожит – от холода или от страха. Он пробовал закрыться и лежать, как прежде, но уже не мог этого сделать. Он не мог оставаться на месте, ему хотелось встать, предпринять что-нибудь, с тем чтобы заглушить поднимающийся в нем страх, против которого он чувствовал себя бессильным. Он опять достал папироски и спички, но спичек уже оставалось только три, и все худшие. Все три ошмурыгались, не загоревшись.

«А, черт тебя дерит, проклятая, провались ты!» – обругал он, сам не зная кого, и швырнул смятую папироску. Хотел швырнуть и спичечницу, но остановил движение руки и сунул ее в карман. На него нашло такое беспокойство, что он не мог больше оставаться на месте. Он вылез из саней и, став задом к ветру, начал туго и низко вновь перепоясываться.

«Что лежать-то, смерти дожидаться! Сесть верхом да и марш, – вдруг пришло ему в голову. – Верхом лошадь не станет. Ему, – подумал он на Никиту, – все равно умирать. Какая его жизнь! Ему и жизни не жалко, а мне, слава богу, есть чем пожить...»

И он, отвязав лошадь, перекинул ей поводья на шею и хотел вскочить на нее, но шубы и сапоги были так тяжелы, что он сорвался. Тогда он встал на сани и хотел с саней сесть. Но сани покачнулись под его тяжестью, и он опять оборвался. Наконец в третий раз он подвинул лошадь к саням и, осторожно став на край их, добился-таки того, что лег брюхом поперек спины лошади. Полежав так, он посунулся вперед раз, два и, наконец, перекинул ногу через спину лошади и уселся, упираясь ступнями ног на долевой ремень шлеи. Толчок пошатнувшихся саней разбудил Никиту, и он приподнялся, и Василию Андреичу показалось, что он говорит что-то.

– Слушай вас, дураков. Что ж, пропадать так, ни за что? – крикнул Василий Андреич и, подправляя под колена развешивающиеся полы шубы, повернул лошадь и погнал ее прочь от саней по тому направлению, в котором он предполагал, что должен быть лес и сторожка.

VII

Никита, с тех пор как сел, покрывшись дерюжкой, за задком саней, сидел неподвижно. Он, как и все люди, живущие с природой и знающие нужду, был терпелив и мог спокойно ждать часы, дни даже, не испытывая ни беспокойства, ни раздражения. Он слышал, как хозяин звал его, но не откликался, потому что не хотел шевелиться и откликаться. Хотя ему еще было тепло от выпитого чая и оттого, что он много двигался, лазая по сугробам, он знал, что тепла этого хватит ненадолго, а что согреться движением он уже будет не в силах, потому что чувствовал себя так же усталым, как чувствует себя лошадь, когда она становится, не может, несмотря ни на какой кнут, идти дальше, и хозяин видит, что надо кормить, чтобы она вновь могла работать. Одна нога его в прорванном сапоге остыла, и он уже не чуял на ней большого пальца. И кроме того, всему телу его становилось все холоднее и холоднее. Мысль о том, что он может и даже по всем вероятностям должен умереть в эту ночь, пришла ему, но мысль эта показалась ему ни особенно неприятной, ни особенно страшной. Не особенно неприятна показалась ему эта мысль потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а, напротив, была непрерывающей службой, от которой он начинал уставать. Не особенно же страшна была эта мысль потому, что, кроме тех хозяев, как Василий Андреич, которым он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь; и знал, что и умирая он останется в власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит. «Жаль бросать обжитое, привычное? Ну, да что ж делать, и к новому привыкать надо».

«Грехи? – подумал он и вспомнил свое пьянство, пропитые деньги, обиды жене, ругательства, нехождение в церковь, несоблюдение постов и все то, за что выговаривал ему поп на исповеди. – Известно, грехи. Да что ж, разве я сам их на себя напустил? Таким, видно, меня бог сделал. Ну и грехи. Куда ж денешься?»

Так он подумал сначала о том, что может случиться с ним в эту ночь, и потом уже не возвращался к этим мыслям и отдался тем воспоминаниям, которые сами собой приходили ему в голову. То он вспоминал приезд Марфы и пьянство рабочих и свои отказы от вина, то теперешнюю поездку в Тарасову избу и разговоры о дележах, то о своем малом и о Мухортом, который угреется теперь под попоной, то о хозяине, который скрипит

теперь санями, ворочаясь в них. «Тоже, я чай, сердечный, сам не рад, что поехал, – думал он. – От такого житья помирать не хочется. Не то что наш брат». И все эти воспоминания стали переплетаться, мешаться в его голове, и он заснул.

Когда же Василий Андреич, сядясь на лошадь, покачнул сани и задок, на который Никита упирался спиной, совсем отдернулся и его полозом ударило в спину, он проснулся и волей-неволей принужден был изменить свое положение. С трудом выпрямляя ноги и осыпая с них снег, он поднялся, и тотчас же мучительный холод пронизал все его тело. Поняв, в чем дело, он хотел, чтобы Василий Андреич оставил ему ненужное теперь для лошади веретье, чтобы укрыться им, и закричал ему об этом.

Но Василий Андреич не остановился и скрылся в снежной пыли.

Оставшись один, Никита задумался на минуту, что ему делать. Идти искать жилья он чувствовал себя не в силах. Сесть на старое место уже нельзя было, – оно все было засыпано снегом. И в санях, он чувствовал, что не согреется, потому что ему нечем было покрыться, его же кафтан и шуба теперь совсем не грели его. Ему было так холодно, как будто он был в одной рубахе. Ему стало жутко. «Батюшка, отец небесный!» – проговорил он, и сознание того, что он не один, а кто-то слышит его и не оставит, успокоило его. Он глубоко вздохнул и, не снимая с головы дерюжки, влез в сани и лег в них на место хозяина.

Но и в санях он никак не мог согреться. Сначала он дрожал всем телом, потом дрожь прошла, и он понемногу стал терять сознание. Умирал он или засыпал, – он не знал, но чувствовал себя одинаково готовым на то и на другое.

VIII

Между тем Василий Андреич и ногами и концами повода гнал лошадь туда, где он почему-то предположил лес и сторожку. Снег слепил ему глаза, а ветер, казалось, хотел остановить его, но он, нагнувшись вперед и беспрестанно запахивая шубу и подвертывая ее между собой и мешавшей ему сидеть холодной седелкой, не переставая гнал лошадь. Лошадь хотя с трудом, но покорно шла иноходью туда, куда он посылал ее.

Минут пять он ехал, как ему казалось, все прямо, ничего не видя, кроме головы лошади и белой пустыни, и ничего не слыша, кроме свиста ветра около ушей лошади и воротника своей шубы.

Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилося в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, и было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его все в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была быть сторожка. Но лошадь все воротила вправо, и потому он все время сворачивал ее влево.

Опять впереди его зачернелось что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже наврное деревня. Но это была опять межа, поросшая чернобыльником. Опять так же отчаянно трепался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреича. Но мало того, что это был такой же бурьян, – подле него шел конный, заносимый ветром след. Василий Андреич остановился, нагнулся, пригляделся: это был лошадиный слегка занесенный след и не мог быть ничей иной, как его собственный. Он, очевидно, кружился и на небольшом пространстве. «Пропадут я так!» – подумал он; но, чтобы не поддаваться страху, он еще усиленнее стал погонять лошадь, вглядываясь в белую снежную мглу, в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезающие, как только он вглядывался в них. Раз ему показалось, что он слышит лай собак или вой волков, но звуки эти были так слабы и неопределенны, что он не знал, слышит ли он что или это только чудится ему, и он, остановившись,

стал напряженно прислушиваться.

Вдруг какой-то страшный, оглушающий крик раздался около его ушей, и все задрожало и затрепетало под ним. Василий Андреич схватился за шею лошади, но и шея лошади вся тряслась, и страшный крик стал еще ужаснее. Несколько секунд Василий Андреич не мог опомниться и понять, что случилось. А случилось только то, что Мухортый, ободряя ли себя или призывая кого на помощь, заржал своим громким, залиvistым голосом. «Тьфу ты пропасть! напугал как, проклятый!» – сказал себе Василий Андреич. Но и поняв истинную причину страха, он не мог уже разогнать его.

«Надо одуматься, остепениться», – говорил он себе и вместе с тем не мог удержаться и все гнал лошадь, не замечая того, что он ехал теперь уже по ветру, а не против него. Тело его, особенно в шагу, где оно было открыто и касалось седелки, зябло и болело, руки и ноги его дрожали, и дыхание было прерывисто. Он видит, что пропадает среди этой ужасной снежной пустыни, и не видит никакого средства спасения.

Вдруг лошадь куда-то ухнула под ним и, завязши в сугробе, стала биться и падать на бок. Василий Андреич соскочил с нее, при соскакивании сдернув набок шлею, на которую опиралась его нога, и сдернув седелку, за которую держался, соскакивая. Как только Василий Андреич соскочил с нее, лошадь справилась, рванулась вперед, сделала прыжок, другой и, опять заржавши и таща за собой волочившееся веретье и шлею, скрылась из вида, оставив Василия Андреича одного в сугробе. Василий Андреич бросился за нею, но снег был так глубок и шубы на нем так тяжелы, что, увязая каждой ногой выше колена, он, сделав не более двадцати шагов, запыхался и остановился. «Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки, железом крытый дом и амбар, наследник, – подумал он, – как же это все останется? Что ж это такое? Не может быть!» – мелькнуло у него в голове. И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было. Он подумал: «Не во сне ли все это?» – и хотел проснуться, но просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему лицо и засыпал его и охлаждал его правую руку, с которой он потерял перчатку, и это была действительная пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот чернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти.

«Царица небесная, святителю отче Миколае, воздержания учителю», – вспомнил он вчерашние молебны и образ с черным ликом в золотой ризе и свечи, которые он продавал к этому образу и которые тотчас приносили ему

назад и которые он, чуть обгоревшие, прятал в ящик. И он стал просить этого самого Николая-чудотворца, чтобы он спас его, обещая ему молебны и свечи. Но тут же он ясно, несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священник, молебны – все это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи. «Надо не унывать, – подумал он, – надо идти по следам лошади, а то и те занесет, – пришло ему в голову. – Она выведет, а то и поймаю. Только не торопиться, а то зарьяешь и хуже пропадешь». Но, несмотря на намерение идти тихо, он бросился вперед и бежал, беспрестанно падая, поднимаясь и опять падая. След лошади уже становился чуть заметен в тех местах, где снег был неглубок. «Пропал я, – подумал Василий Андреич, – потеряю и след, и лошади не догоню». Но в ту же минуту, взглянув вперед, он увидел что-то черное. Это был Мухортый, и не только один Мухортый, но и сани и оглобли с платком. Мухортый, со сбитой набок шлеей и веретнем, стоял теперь не на прежнем месте, а ближе к оглоблям и мотал головой, которую заступленный повод притягивал ему книзу. Оказалось, что завяз Василий Андреич в той самой лощине, в которой они завязли еще с Никитой, что лошадь вела его назад к саням и что соскочил он с нее не больше пятидесяти шагов от того места, где были сани.

Довалившись до саней, Василий Андреич схватился за них и долго стоял так неподвижно, стараясь успокоиться и отдышаться. На прежнем месте Никиты не было, но в санях лежало что-то, занесенное уже снегом. И Василий Андреич догадался, что это был Никита. Страх Василия Андреича теперь совершенно прошел, и если он боялся чего, то только того ужасного состояния страха, который он испытал на лошади, и в особенности тогда, когда один остался в сугробе. Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться. И потому первое, что он сделал, было то, что он, став задом к ветру, распустил шубу. Потом, как только он немного отдышался, он вытряхнул снег из сапог, из левой перчатки, правая была безнадежно потеряна и, должно быть, уж где-нибудь на две четверти под снегом; потом он вновь туго и низко, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с возов привозимый мужиками хлеб, затянулся кушаком и приготовился к деятельности. Первое дело, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. Василий Андреич и сделал это и, освободив повод, привязал Мухортого опять к железной скобе у передка к старому месту и стал заходить сзади лошади, чтобы оправить на ней шлею, седелку и веретье, но в это время он увидал, что в санях зашевелилось что-то и из-под снега, которым она была засыпана, поднялась голова Никиты. Очевидно, с большим усилием, замерзавший уже, Никита приподнялся и сел, как-то странно, точно отгоняя мух, махая перед носом рукой. Он махал рукой и говорил что-то, как показалось Василию Андреичу, призывая его. Василий Андреич оставил веретье, не поправив его, и подошел к саням.

– Чего ты? – спросил он. – Чего говоришь?

– Поми-ми-мираю я, вот что, – с трудом, прерывистым голосом выговорил Никита. – Зажитое малому отдай. Али бабе, – все равно.

– А что ж, аль зазяб? – спросил Василий Андреич.

– Чую, смерть моя... прости, Христа ради... – сказал Никита плачущим голосом, все продолжая, точно обмахивая мух, махать перед лицом руками.

Василий Андреич с полминуты постоял молча и неподвижно, потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучил рукава шубы и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и из саней. Выгребши снег,

Василий Андреич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом. Заправив руками полы шубы между лубком саней и Никитой и коленками ног прихватив ее подол, Василий Андреич лежал так ничком, упершись головой в лубок передка, и теперь уже не слышал ни движений лошади, ни свиста бури, а только прислушивался к дыханию Никиты. Никита сначала долго лежал неподвижно, потом громко вздохнул и пошевелился.

– А вот то-то, а ты говоришь – помираешь. Лежи, грейся, мы вот так... – начал было Василий Андреич.

Но дальше он, к своему великому удивлению, не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза и нижняя челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу. «Настращался я, видно; ослаб вовсе», – подумал он на себя. Но слабость эта его не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, не испытанную еще никогда радость.

«Мы вот как», – говорил он себе, испытывая какое-то особенное торжественное умиление. Довольно долго он лежал так молча, вытирая глаза о мех шубы и подбирая под колена все заворачиваемую ветром правую полу шубы.

Но ему так страстно захотелось сказать кому-нибудь про свое радостное состояние.

– Микита, – сказал он.

– Хорошо, тепло, – откликнулось ему снизу.

– Так-то, брат, пропал было я. И ты бы замерз, и я бы...

Но тут опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и он не мог дальше говорить.

«Ну, ничего, – подумал он. – Я сам про себя знаю, что знаю».

И он замолк. Так он лежал долго.

Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы; только руки, которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Особенно зябла правая рука без перчатки. Но он не думал ни о своих ногах, ни о руках, а думал только о том, как бы отогреть лежащего под собой мужика.

Несколько раз он взглядывал на лошадь и видел, что спина ее раскрыта и веретые с шлеей лежат на снегу, что надо бы встать и покрыть лошадь, но он не мог решиться ни на минуту оставить Никиту и нарушить то радостное состояние, в котором он находился. Страха он теперь не испытывал никакого.

«Небось не вывернется», – говорил он сам себе про то, что он отогреет мужика, с тем же хвастовством, с которым он говорил про свои покупки и продажи.

Так пролежал Василий Андреич час, и другой, и третий, но он не видал, как проходило время. Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель и лошади под дугой, трясущихся перед глазами, и вспоминалось о Никите, лежащем под ним; потом стали примешиваться воспоминания о празднике, жене, становой, свечном ящике и опять о Никите, лежащем под этим ящиком; потом стали представляться мужики, продающие и покупающие, и белые стены, и дома, крытые железом, под которыми лежал Никита; потом все это смешалось, одно вошло в другое, и как цвета радуги, соединяющиеся в один белый свет, все разные впечатления сошлись в одном ничто, и он заснул. Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились сновидения. Представилось ему, что стоит он будто у свечного ящика и Тихонова баба требует у него пятикопеечную свечу к празднику, и он хочет взять свечу и дать ей, но руки не поднимаются, а зажаты в карманах. Хочет он обойти ящик, но ноги не движутся, а калоши, новые, чищенные, приросли к каменному полу и их не поднимешь и из них не вынешь. И вдруг свечной ящик становится не свечным ящиком, а постелью, и Василий Андреич видит себя лежащим на брюхе на свечном ящике, то есть на своей постели в своем доме. И лежит он на постели и не может встать, а встать ему надо, потому что сейчас зайдет за ним Иван Матвеич, становой, и с Иван Матвеичем надо идти либо торговать рощу, либо поправить шлею на Мухортом. И спрашивает он у жены: «Что же, Миколавна, не заходил?» – «Нет, говорит, не заходил». И слышит он, что подъезжает кто-то к крыльцу. Должно, он. Нет, мимо. «Миколавна, а Миколавна, что ж, все нету?» – «Нету». И он лежит на постели и все не может встать, и все ждет, и ожидание это и жутко, и радостно. И вдруг радость совершается: приходит тот, кого он ждал, и это уж не Иван Матвеич, становой, а кто-то другой, но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и этот тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним. «Иду!» – кричит он радостно, и крик этот будит его. И он просыпается, но просыпается совсем уж не тем, каким он заснул. Он хочет встать – и не может, хочет двинуть рукой – не может, ногой – тоже не может. Хочет повернуть головой – и того не может. И он удивляется, но несколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и несколько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним, что он угрелся и жив, и ему кажется, что он – Никита, а Никита – он, и что жизнь

его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыхание и даже слабый храп Никиты. «Жив Никита, значит, жив и я», – с торжеством говорит он себе.

И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. «Что ж, ведь он не знал, в чем дело, – думает он про Василья Брехунова. – Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. *Теперь знаю*». И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. «Иду, иду!» – радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что он свободен и ничто уже больше не держит его.

И больше уже ничего не видел, и не слышал, и не чувствовал в этом мире Василий Андреич.

Кругом все так же курило. Те же вихри снега крутились, засыпали шубу мертвого Василия Андреича и всего трясущегося Мухортого, и чуть видные уже сани и в глубине их лежавшего под мертвым уже хозяином угревшегося Никиту.

Перед утром проснулся Никита. Разбудил его опять начавший пробирать его спину холод. Приснилось ему, что он едет с мельницы с возом хозяйской муки и, переезжая ручей, взял мимо моста и завязил воз. И видит он, что он подлез под воз и поднимает его, расправляя спину. Но удивительное дело! Воз не двигается и прилип ему к спине, и он не может ни поднять воза, ни уйти из-под него. Всю поясницу раздавило. Да и холодный же! Видно, вылезать надо. «Да будет, – говорит он кому-то тому, кто давит ему возом спину. – Вынимай мешки!» Но воз все холоднее и холоднее давит его, и вдруг стучает что-то особенное, и он просыпается совсем и вспоминает все. Холодный воз – это мертвый замерзший хозяин, лежащий на нем. А стукнул – это Мухортый, ударивший два раза копытом о сани.

– Андреич, а Андреич! – осторожно, уже предчувствуя истину, окликает Никита хозяина, напруживая спину.

Но Андреич не отзывается, и брюхо его и ноги – крепкие и холодные и тяжелые, как гири.

«Кончился, должно. Царство небесное!» – думает Никита.

Он поворачивает голову, прокапывает пред собою снег рукой и открывает глаза. Светло; так же свистит ветер в оглоблях, и так же сыплется снег, с тою только разницею, что уже не стегает о лубок саней, а беззвучно засыпает сани и лошадь все выше и выше, и ни движенья, ни дыхания лошади не слышно больше. «Замерз, должно, и он», – думает Никита про Мухортого. И действительно, те удары копыт о сани, которые разбудили Никиту, были предсмертные усилия удержаться на ногах уже совсем застывшего Мухортого.

«Господи, батюшка, видно, и меня зовешь, – говорит себе Никита. – Твоя святая воля. А жутко. Ну, да двух смертей не бывать, а одной не миновать. Только поскорее бы...» И он опять прячет руку, закрывая глаза, и забывается, вполне уверенный, что теперь он уже наверное и совсем умирает.

Уже в обед на другой день мужики откопали лопатами Василия Андреича и Никиту в тридцати саженьях от дороги и в полверсте от деревни.

Снег нанесло выше саней, но оглобли и платок на них были еще видны. Мухортый по брюхо в снегу с сбившимися со спины шлеей и

веретьем стоял весь белый, прижав мертвую голову к заостенелому кадыку; ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндевели и тоже обмерзли точно слезами. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кости да кожа. Василий Андреич застыл, как мороженная туша, и как были у него расставлены ноги, так, раскорячившись, его и отвалили с Никиты. Ястребиные выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый рот его под подстриженными усами был набит снегом. Никита же был жив, хотя и весь обмороженный. Когда Никиту разбудили, он был уверен, что теперь он уже умер и что то, что с ним теперь делается, происходит уже не на этом, а на том свете. Но когда он услышал кричащих мужиков, откапывавших его и сваливших с него заоченевшего Василия Андреича, он сначала удивился, что на том свете так же кричат мужики и такое же тело; но когда понял, что он еще здесь, на этом свете, он скорее огорчился этим, чем обрадовался, особенно когда почувствовал, что у него пальцы на обеих ногах отморожены.

Пролежал Никита в больнице два месяца. Три пальца ему отняли, а остальные зажили, так что он мог работать, и еще двадцать лет продолжал жить – сначала в работниках, а потом, под старость, в караульщиках. Помер он только в нынешнем году дома, как желал, под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках. Перед смертью он просил прощенья у своей старухи и простил ее за бондаря; простился и с малым, и с внучатами и умер, истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и сноху от обузы лишнего хлеба и сам уже по-настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом становилась ему все понятнее и заманчивее. Лучше или хуже ему там, где он после этой настоящей смерти проснулся, разочаровался ли он, или нашел там то самое, что ожидал? – мы все скоро узнаем.

1894–1895

Алеша Горшок

Алешка был меньшой брат. Прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока дьяконице, а он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, а ребята стали дразнить его «Горшком». Алешка Горшок – так и пошло ему прозвище.

Алешка был малый худощавый, лопоухий (уши торчали, как крылья), и нос был большой. Ребята дразнили: «У Алешки нос, как кобель на бугре». В деревне была школа, но грамота не далась Алеше, да и некогда было учиться. Старший брат жил у купца в городе, и Алешка сызмальства стал помогать отцу. Ему было шесть лет, уж он с девчонкой-сестрой овец и корову стерег на выгоне, а еще подрос, стал лошадей стеречь и в денном и в ночном. С двенадцати лет уж он пахал и возил. Силы не было, а ухватка была. Всегда он был весел. Ребята смеялись над ним; он молчал либо смеялся. Если отец ругал, он молчал и слушал. И как только переставали его ругать, он улыбался и брался за то дело, которое было перед ним.

Алеше было девятнадцать лет, когда брата его взяли в солдаты. И отец поставил Алешу на место брата к купцу в дворники. Алеше дали сапоги братнины старые, шапку отцовскую и поддевку и повезли в город. Алеша не мог нарадоваться на свою одежду, но купец остался недоволен видом Алеши.

– Я думал, и точно человека заместо Семена поставишь, – сказал купец, оглянув Алешу. – А ты мне какого сопляка привел. На что он годится?

– Он все может – и запрячь, и съездить куда, и работать лютой; он только на вид как плетень. А то он жилист.

– Ну уж, видно, погляжу.

– А пуще всего – безответный. Работать завистливый.

– Что с тобой делать. Оставь.

И Алеша стал жить у купца.

Семья у купца была небольшая: хозяйка, старуха мать, старший сын женатый, простого воспитания, с отцом в деле был, и другой сын – ученый, кончил в гимназии и был в университете, да оттуда выгнали, и он жил дома, да еще дочь – девушка гимназистка.

Сначала Алешка не понравился – очень уж он был мужиковат, и одет плохо, и обхожденья не было, всем говорил «ты», но скоро привыкли к нему. Служил он еще лучше брата. Точно был безответный, на все дела его

посылали, и все он делал охотно и скоро, без останова переходя от одного дела к другому. И как дома, так и у купца на Алешу наваливались все работы. Чем больше он делал, тем больше все на него наваливали дела. Хозяйка, и хозяйская мать, и хозяйская дочь, и хозяйский сын, и приказчик, и кухарка, все то туда, то сюда посылали его, то то, то это заставляли делать. Только и слышно было «Сбегай, брат», или: «Алеша, ты это устрой. – Ты что ж это, Алешка, забыл, что ль? – Смотри, не забудь, Алеша». И Алеша бегал, устраивал, и смотрел, и не забывал, и все успевал, и все улыбался.

Сапоги братнины он скоро разбил, и хозяин разобрал его за то, что он ходил с махрами на сапогах и голыми пальцами, и велел купить ему новые сапоги на базаре. Сапоги были новые, и Алеша радовался на них, но ноги у него были все старые, и они к вечеру ныли у него от беготни, и он сердился на них. Алеша боялся, как бы отец, когда приедет за него получить деньги, не обиделся бы за то, что купец за сапоги вычтет из жалованья.

Вставал Алеша зимой до света, колол дров, потом выметал двор, задавал корм корове, лошади, поил их. Потом топил печи, чистил сапоги, одежду хозяевам, ставил самовары, чистил их, потом либо приказчик звал его вытаскивать товар, либо кухарка приказывала ему месить тесто, чистить кастрюли. Потом посылали его в город, то с запиской, то за хозяйской дочерью в гимназию, то за деревянным маслом для старушки. «Где ты пропадаешь, проклятый», – говорил ему то тот, то другой. «Что вам самим ходить – Алеша сбегаёт. Алешка! А Алешка!» И Алеша бегал.

Завтракал он на ходу, а обедать редко поспевал со всеми. Кухарка ругала его за то, что он не со всеми ходит, но все-таки жалела его и оставляла ему горячего и к обеду и к ужину. Особенно много работы бывало к праздникам и во время праздников. И Алеша радовался праздникам особенно потому, что на праздники ему давали на чай хоть и мало, собиралось копеек шестьдесят, но все-таки это были его деньги. Он мог истратить их, как хотел. Жалованья же своего он и в глаза не видал. Отец приезжал, брал у купца и только выговаривал Алешке, что он сапоги скоро растрепал.

Когда он собрал два рубля этих денег «начайных», то купил, по совету кухарки, красную вязаную куртку, и когда надел, то не мог уж свести губ от удовольствия.

Говорил Алеша мало, и когда говорил, то всегда отрывисто и коротко. И когда ему что приказывали сделать или спрашивали, может ли он сделать то и то, то он всегда без малейшего колебания говорил: «Это все можно», – и сейчас же бросался делать и делал.

Молитв он никаких не знал; как его мать учила, он забыл, а все-таки молился и утром и вечером – молился руками, крестясь.

Так прожил Алеша полтора года, и тут, во второй половине второго года, случилось с ним самое необыкновенное в его жизни событие. Событие это состояло в том, что он, к удивлению своему, узнал, что, кроме тех отношений между людьми, которые происходят от нужды друг в друге, есть еще отношения совсем особенные: не то чтобы нужно было человеку вычистить сапоги, или снести покупку, или запрячь лошадь, а то, что человек так, ни зачем нужен другому человеку, нужно ему послужить, его приласкать, и что он, Алеша, тот самый человек. Узнал он через кухарку Устинью. Устюша была сирота, молодая, такая же работающая, как и Алеша. Она стала жалеть Алешу, и Алеша в первый раз почувствовал, что он, сам он, не его услуги, а он сам нужен другому человеку. Когда мать жалела его, он не замечал этого, ему казалось, что это так и должно быть, что это все равно, как он сам себя жалеет. Но тут вдруг он увидал, что Устинья совсем чужая, а жалеет его, оставляет ему в горшке каши с маслом и, когда он ест, подпершись подбородком на засученную руку, смотрит на него. И он взглянет на нее, и она засмеется, и он засмеется.

Это было так ново и странно, что сначала испугало Алешу. Он почувствовал, что это помешает ему служить, как он служил. Но все-таки он был рад и, когда смотрел свои штаны, заштопанные Устиньей, покачивал головой и улыбался. Часто за работой или на ходу он вспоминал Устинью и говорил: «Ай да Устинья!» Устинья помогала ему, где могла, и он помогал ей. Она рассказала ему свою судьбу, как она осиротела, как ее тетка взяла, как отдали в город, как купеческий сын ее на глупость подговаривал и как она его осадила. Она любила говорить, а ему приятно было ее слушать. Он слышал, что в городах часто бывает: какие мужики в работниках – женятся на кухарках. И один раз она спросила его, скоро ли его женят. Он сказал, что не знает и что ему неохота в деревне брать.

– Что ж, кого приглядел? – сказала она.

– Да я бы тебя взял. Пойдешь, что ли?

– Вишь, горшок, горшок, а как изловчился сказать, – сказала она, ударив его ручником по спине. – Отчего же не пойти?

На Масленице старик приехал в город за деньгами. Купцова жена узнала, что Алексей задумал жениться на Устинье, и ей не понравилось это. «Забеременеет, с ребенком куда она годится». Она сказала мужу.

Хозяин отдал деньги Алексею отцу.

– Что ж, хорошо живет мой-то? – сказал мужик. – Я говорил – безответный.

– Безответный-то безответный, да глупости задумал. Жениться вздумал на кухарке. А я женатых держать не стану. Нам это не подходит.

– Дурак, дурак, а что вздумал, – сказал отец. – Ты не думай. Я прикажу ему, чтоб он это бросил.

Придя в кухню, отец сел, дожидаясь сына, за стол. Алеша бегал по делам и, запыхавшись, вернулся.

– Я думал, ты путный. А ты что задумал? – сказал отец.

– Да я ничего.

– Как ничего. Жениться захотел. Я женю, когда время подойдет, и женю на ком надо, а не на шлюхе городской.

Отец много говорил. Алеша стоял и вздыхал. Когда отец кончил, Алеша улыбнулся.

– Что ж, это и оставить можно.

– То-то.

Когда отец ушел и он остался один с Устиньей, он сказал ей (она стояла за дверью и слушала, когда отец говорил с сыном):

– Дело наше не того, не вышло. Слышала? Рассерчал, не велит.

Она заплакала молча в фартук.

Алеша щелкнул языком.

– Как не послушаешь-то. Видно, бросать надо.

Вечером, когда купчиха позвала его закрыть ставни, она сказала ему:

– Что ж, послушал отца, бросил глупости свои?

– Видно, что бросил, – сказала Алеша, засмеялся и тут же заплакал.

С тех пор Алеша не говорил больше с Устиньей об женитьбе и жил по-старому.

Потом приказчик послал его счищать снег с крыши. Он полез на крышу, счистил весь, стал отдирать примерзлый снег у желобов, ноги покатились, и он упал с лопатой. На беду упал он не в снег, а на крытый железом выход. Устинья подбежала к нему и хозяйская дочь.

– Ушибся, Алеша?

– Вот еще, ушибся. Ничево.

Он хотел встать, но не мог и стал улыбаться. Его снесли в дворницкую. Пришел фельдшер. Осмотрел его и спросил, где больно.

– Больно везде, да это ничево. Только что хозяин обидится. Надо батюшке послать слух.

Пролежал Алеша двое суток, на третьи послали за попом.

– Что же, али помирать будешь? – спросила Устинья.

– А то что ж? Разве все и жить будем? Когда-нибудь надо, – быстро, как всегда, проговорил Алеша. – Спасибо, Устюша, что жалела меня. Вот

оно и лучше, что не велели жениться, а то бы ни к чему было. Теперь все по-хорошему.

Молился он с попом только руками и сердцем. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коли слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо будет.

Говорил он мало. Только просил пить и все чему-то удивлялся.

Удивился чему-то, потянулся и помер.

Корней Васильев

Корнею Васильеву было пятьдесят четыре года, когда он в последний раз приезжал в деревню. В густых курчавых волосах у него не было еще ни одного седого волоса, и только в черной бороде у скул пробивалась седина. Лицо у него было гладкое, румяное, загривок широкий и крепкий, и все сильное тело обложилось жиром от сытой городской жизни.

Он двадцать лет тому назад отбыл военную службу и вернулся со службы с деньгами. Сначала он завел лавку, потом оставил лавку и стал торговать скотиной. Ездил в Черкасы за «товаром» (скотиной) и пригонял в Москву.

В селе Гаях, в его каменном, крытом железом, доме жила старуха мать, жена с двумя детьми (девочка и мальчик), еще сирота племянник, немой пятнадцатилетний малый, и работник. Корней был два раза женат. Первая жена его была слабая, больная женщина и умерла без детей, и он, уже немолодым вдовцом, женился второй раз на здоровой, красивой девушке, дочери бедной вдовы из соседней деревни. Дети были от второй жены.

Корней так выгодно продал последний «товар» в Москве, что у него собралось около трех тысяч денег. Узнав от земляка, что недалеко от его села выгодно продается у разорившегося помещика роща, он вздумал заняться еще и лесом. Он знал это дело и еще до службы жил помощником приказчика у купца в роще.

На железнодорожной станции, с которой сворачивали в Гаи, Корней встретил земляка, гаевского кривого Кузьму.

Кузьма к каждому поезду выезжал из Гаев за седоками на своей парочке плохоньких косматых лошадей. Кузьма был беден и оттого не любил всех богатых, а особенно богача Корнея, которого он знал Корнюшкой.

Корней, в полушубке и тулупе, с чемоданчиком в руке, вышел на крыльцо станции и, выпятив брюхо, остановился, отдуваясь и оглядываясь. Было утро. Погода была тихая, пасмурная, с легким морозцем.

– Что ж, не нашел седоков, дядя Кузьма? – сказал он. – Свезешь, что ли?

– Что ж, давай рублевку. Свезу.

– Ну и семь гривен довольно.

– Брюхо наел, а тридцать копеек у бедного человека оттянуть хочешь.

– Ну, ладно, давай, что ль, – сказал Корней. И, уложив в маленькие

санки чемодан и узел, он широко уселся на заднем месте.

Кузьма остался на козлах.

– Ладно. Трогай.

Выехали из ухабов у станции на гладкую дорожку.

– Ну, а что, как у вас, не у нас, а у вас на деревне? – спросил Корней.

– Да хорошего мало.

– А что так? Моя старуха жива?

– Старуха-то жива. Надысь в церкви была. Старуха твоя жива. Жива и молодая хозяйка твоя. Что ей делается. Работника нового взяла.

И Кузьма засмеялся как-то чудно, как показалось Корнею.

– Какого работника? А Петра что?

– Петра заболел. Взяла Евстигнея Белого из Каменки, – сказал Кузьма, – из своей деревни, значит.

– Вот как? – сказал Корней.

Еще когда Корней сватал Марфу, в народе что-то бабы болтали про Евстигнея.

– Так-то, Корней Васильич, – сказал Кузьма. – Очень уж бабы нынче волю забрали.

– Что и говорить! – промолвил Корней. – А стара твоя сивая стала, – прибавил он, желая прекратить разговор.

– Я и сам не молод. По хозяину, – проговорил Кузьма в ответ на слова Корнея, постегивая косматого, кривоногого мерина.

На полдороге был постоялый двор. Корней велел остановить и вошел в дом. Кузьма приворотил лошадь к пустому корыту и оправлял шлею, не глядя на Корнея и ожидая, что он позовет его.

– Заходи, что ль, дядя Кузьма, – сказал Корней, выходя на крыльцо, – выпьешь стаканчик.

– Ну что ж, – отвечал Кузьма, делая вид, что не торопится.

Корней потребовал бутылку водки и поднес Кузьме. Кузьма, не евши с утра, тотчас же захмелел. И как только захмелел, стал шепотом, пригибаясь к Корнею, рассказывать ему, что говорили в деревне. А говорили, что Марфа, его жена, взяла в работники своего прежнего любовника и живет с ним.

– Мне что ж. Мне тебя жалко, – говорил пьяный Кузьма. – Только нехорошо, народ смеется. Видно, греха не боится. Ну, да погоди же ты, говорю. Дай срок, сам приедет. Так-то, брат, Корней Васильич.

Корней молча слушал то, что говорил Кузьма, и густые брови все ниже и ниже спускались над блестящими черными, как уголь, глазами.

– Что ж, поить будешь? – сказал он только, когда бутылка была

выпита. – А нет, так и едем.

Он расплатился с хозяином и вышел на улицу.

Домой он приехал сумерками. Первый встретил его тот самый Евстигней Белый, про которого он не мог не думать всю дорогу. Корней поздоровался с ним. Увидав худощавое белобрысое лицо заторопившегося Евстигнея, Корней только недоуменно покачал головой. «Наврал, старый пес, – подумал он на слова Кузьмы. – А кто их знает. Да уж я дознаюсь».

Кузьма стоял у лошади и подмигивал своим одним глазом на Евстигнея.

– У нас, значит, живешь? – спросил Корней.

– Что ж, надо где-нибудь работать, – отвечал Евстигней.

– Топлена горница-то?

– А то как же? Матвеевна тама, – отвечал Евстигней.

Корней поднялся на крыльцо. Марфа, услышав голоса, вышла в сени и, увидав мужа, вспыхнула и торопливо и особенно ласково поздоровалась с ним.

– А мы с матушкой уж и ждать перестали, – сказала она и вслед за Корнеем вошла в горницу.

– Ну что, как живете без меня?

– Живем все по-старому, – сказала она и, подхватив на руки двухлетнюю дочку, которая тянула ее за юбку и просила молока, большими решительными шагами вошла в сени.

Корнеева мать с такими же черными глазами, как у Корнея, с трудом волоча ноги в валенках, вошла в горницу.

– Спасибо, проведать приехал, – сказала она, покачивая трясущейся головой.

Корней рассказал матери, по какому делу заехал, и, вспомнив про Кузьму, пошел вынести ему деньги. Только он отворил дверь в сени, как прямо перед собой он увидал у двери на двор Марфу и Евстигнея. Они близко стояли друг от друга, и она говорила что-то. Увидав Корнея, Евстигней шмыгнул во двор, а Марфа подошла к самовару, поправляя гудевшую над ним трубу.

Корней молча прошел мимо ее согнутой спины и, взяв узел, позвал Кузьму пить чай в большую избу. Перед чаем Корней роздал московские гостинцы домашним: матери шерстяной платок, Федьке книжку с картинками, немому племяннику жилетку и жене ситец на платье.

За чаем Корней сидел насупившись и молчал. Только изредка неохотно улыбался, глядя на немого, который забавлял всех своей радостью. Он не мог нарадоваться на жилетку. Он укладывал и развертывал ее, надевал ее и

целовал свою руку, глядя на Корнея, и улыбался.

После чая и ужина Корней тотчас же ушел в горницу, где спал с Марфой и маленькой дочкой. Марфа оставалась в большой избе убирать посуду. Корней сидел один у стола, облокотившись на руку, и ждал. Злоба на жену все больше и больше ворочалась в нем. Он достал со стены счеты, вынул из кармана записную книжку и, чтобы развлечь мысли, стал считать. Он считал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к голосам в большой избе.

Несколько раз он слышал, как отворялась дверь в избу и кто-то выходил в сени, но это все была не она. Наконец послышались ее шаги, дернулась дверь, отлипла, и она, румяная, красивая, в красном платке, вошла с девочкой на руках.

– Небось с дороги-то уморился, – сказала она, улыбаясь, как будто не замечая его угрюмого вида.

Корней глянул на нее и стал опять считать, хотя считать уже нечего было.

– Уж не рано, – сказала она и, спустив с рук девочку, прошла за перегородку.

Он слышал, что она убирала постель и укладывала спать дочку.

«Люди смеются, – вспомнил он слова Кузьмы. – Погоди же ты...» – подумал он, с трудом переводя дыхание, и медленным движением встал, положил обгрызок карандаша в жилетный карман, повесил счеты на гвоздь, снял пиджак и подошел к двери перегородки. Она стояла лицом к иконам и молилась. Он остановился, ожидая. Она долго крестилась, кланялась и шепотом говорила молитвы. Ему казалось, что она давно перечитала все молитвы и нарочно по несколько раз повторяет их. Но вот она положила земной поклон, выпрямилась, прошептала в себя какие-то молитвенные слова и повернулась к нему лицом.

– А Агашка-то уж спит, – сказала она, указывая на девочку, и, улыбаясь, села на заскрипевшую кровать.

– Евстигней давно здесь? – сказал Корней, входя в дверь.

Она спокойным движением перекинула одну толстую косу через плечо на грудь и начала быстрыми пальцами расплетать ее. Она прямо смотрела на него, и глаза ее смеялись.

– Евстигней-то? А кто его знает, – недели две али три.

– Ты живешь с ним? – проговорил Корней.

Она выпустила из рук косу, но тотчас же поймала опять свои жесткие густые волосы и опять стала плести.

– Чего не выдумают. Живу с Евстигнеем? – сказала она, особенно

звучно произнося слово «Евстигней». – Выдумают же! Тебе кто сказал?

– Говори: правда, нет ли? – сказал Корней и сжал в кулаки засунутые в карманы могучие руки.

– Будет болтать пустое. Снять сапоги-то?

– Я тебя спрашиваю, – повторил он.

– Ишь добро какое. На Евстигнея польстилась, – сказала она. – И кто только наврал тебе?

– Что ты с ним в сенях говорила?

– Что говорила. Говорила, на бочку обруч набить надо. Да ты что ко мне пристал?

– Я тебе велю: говори правду. Убью, сволочь поганая.

Он схватил ее за косу.

Она выдернула у него из руки косу, лицо ее скосилось от боли.

– Только на то тебя и взять, что драться. Что я от тебя хорошего видела? От такого житья не знаю, что сделаешь.

– Что сделаешь? – проговорил он, надвигаясь на нее.

– За что полкосы выдрал? Во, так шмотами и лезут. Что пристал. И правда, что...

Она не договорила. Он схватил ее за руку, сдернул с кровати и стал бить по голове, по бокам, по груди. Чем больше он бил, тем больше разгоралась в нем злоба. Она кричала, защищалась, хотела уйти, но он не пускал ее. Девочка проснулась и бросилась к матери.

– Мамка, – ревела она.

Корней ухватил девочку за руку, оторвал от матери и, как котенка, бросил в угол. Девочка визгнула, и несколько секунд ее не слышно было.

– Разбойник! Ребенка убил, – кричала Марфа и хотела подняться к дочери.

Но он опять схватил ее и так ударил в грудь, что она упала навзничь и тоже перестала кричать. Только девочка кричала отчаянно, не переводя духа.

Старуха, без платка, с растрепанными седыми волосами, с трясущейся головой, шатаясь, вошла в каморку и, не глядя ни на Корнея, ни на Марфу, подошла к внучке, заливавшейся отчаянными слезами, и подняла ее.

Корней стоял, тяжело дыша и оглядываясь, как будто спросонья, не понимая, где он и кто тут с ним.

Марфа подняла голову и, стоная, вытирала окровавленное лицо рубахой.

– Злодей постылый! – проговорила она. – И живу с Евстигнеем, и жила. На, убей до смерти. И Агашка не твоя дочь; с ним прижила, – быстро

выговорила она и закрыла локтем лицо, ожидая удара.

Но Корней как будто ничего не понимал и только сопел и оглядывался.

– Ты глянь, что с девчонкой сделал: руку вышиб, – сказала старуха, показывая ему вывернутую висящую ручку не переставая заливавшейся криками девочки. Корней повернулся и молча вышел в сени и на крыльцо.

На дворе было все так же морозно и пасмурно. Снежинки иная падали ему на горевшие щеки и лоб. Он сел на приступки и ел горстями снег, собирая его на перилах. Из-за дверей слышно было, как стонала Марфа и жалостно плакала девочка; потом отворилась дверь в сени, и он слышал, как мать с девочкой вышла из горницы и прошла через сени в большую избу. Он встал и вошел в горницу. Завернутая лампа горела малым светом на столе. Из-за перегородки слышались усилившиеся, как только он вошел, стоны Марфы. Он молча оделся, достал из-под лавки чемодан, уложил в него свои вещи и завязал его веревкой.

– За что убил меня? За что? Что я тебе сделала? – заговорила Марфа жалостным голосом. Корней, не отвечая, поднял чемодан и понес к двери. – Каторжник. Разбойник! погоди ж ты. Али на тебя суда нет? – совсем другим голосом злобно проговорила она.

Корней, не отвечая, толкнул дверь ногой и так сильно захлопнул ее, что задрожали стены.

Войдя в большую избу, Корней разбудил немого и велел ему запрягать лошадь. Немой, не сразу проснувшись, удивленно-вопросительно поглядывал на дядю и обеими руками расчесывал голову. Поняв наконец, что от него требовали, он вскочил, надел валенки, рваный полушубок, взял фонарь и пошел на двор.

Уже было совсем светло, когда Корней выехал с немым в маленьких пошевнях за ворота и поехал назад по той же дороге, по которой с вечера приехал с Кузьмою.

Он приехал на станцию за пять минут до отхода поезда. Немой видел, как он брал билет, как взял чемодан и как сел в вагон, кивнув ему головой, и как вагон укатился из вида.

У Марфы, кроме побоев на лице, были сломаны два ребра и разбита голова. Но сильная, здоровая молодая женщина справилась через полгода, так что не осталось никаких следов побоев. Девочка же навек осталась полукалейкой. У нее были переломлены две кости руки, и рука осталась кривая.

Про Корнея же с тех пор, как он ушел, никто ничего не знал. Не знали, жив ли он, или умер.

II

Прошло семнадцать лет. Была глухая осень. Солнце ходило низко, и в четвертом часу вечера уж смеркалось. Андреевское стадо возвращалось в деревню. Пастух, отслужив срок, до заговенья ушел, и гоняли скотину очередные бабы и ребята.

Стадо только что вышло с овсяного жнивья на грязную, испещренную раздвоенно-копытными следами черноземную, взрытую колеями большую грунтовую дорогу и с неперестающим мычанием и блеянием подвигалось к деревне. По дороге впереди стада шел в потемневшем от дождя, заплатанном зипуне, в большой шапке, с кожаным мешком за сутуловатой спиной высокий старик с седой бородой и курчавыми седыми волосами; только одни густые брови были у него черные. Он шел, тяжело двигая по грязи мокрыми и разбившимися грубыми хохлацкими сапогами и через шаг равномерно подпираясь дубовой клюкой. Когда стадо догнало его, он, опершись на клюку, остановился. Гнавшая стадо молодайка, покрывшись с головой дерюжкой, в подтыканной юбке и мужских сапогах, перебегала быстрыми ногами то на ту, то на другую сторону дороги, подгоняя отстающих овец и свиней. Поравнявшись с стариком, она остановилась, оглядывая его.

– Здорово, дедушка, – сказала она звучным, нежным, молодым голосом.

– Здорово, умница, – проговорил старик.

– Что ж, ночевать, что ль?

– Да видно так. Уморился, – хрипло проговорил старик.

– А ты, дед, к десятскому не ходи, – ласково проговорила молодайка. – Иди прямо к нам, – третья изба с краю. Станных людей свекровь так пущает.

– Третья изба. Зиновеева, значит? – сказал старик, как-то значительно поводя черными бровями.

– А ты разве знаешь?

– Бывал.

– Ты чего, Федюшка, слюни распустил, – хромая-то совсем отстала, – крикнула молодайка, указывая на ковылявшую позади стада трехногую овцу, и, взмахнув правой рукой хворостиной и как-то странно, снизу, кривой левой рукой перехватив дерюжку на голове, побежала назад за отставшей хромой мокрой черной овцой.

Старик был Корней. А молодайка была та самая Агашка, которой он выломал руку семнадцать лет тому назад. Она была выдана в Андреевку, в богатую семью, за четыре версты от Гаев.

III

Корней Васильев из сильного, богатого, гордого человека стал тем, что он был теперь: старым побирušкой, у которого ничего не было, кроме изношенной одежды на теле, солдатского билета и двух рубах в сумке. Вся эта перемена сделалась так понемногу, что он не мог бы сказать, когда это началось и когда сделалось. Одно, что он знал, в чем был твердо уверен, это то, что виною его несчастья была его злодейка жена. Ему странно и больно было вспоминать то, что он был прежде. И когда он вспоминал про это, он с ненавистью вспоминал про ту, кого он считал причиной всего того дурного, что он испытал в эти семнадцать лет.

В ту ночь, когда он избил жену, он поехал к помещику, где продавалась роцца. Роцци не довелось купить. Она была уже куплена, и он вернулся в Москву и там запил. Он и прежде пивал, но теперь пьянствовал без просыпу две недели, и когда опомнился, уехал на низ за скотиной. Покупка была неудачная, и он понес убыток. Он поехал в другой раз. И вторая покупка не задалась. И через год у него из трех тысяч осталось двадцать пять рублей и пришлось наниматься к хозяевам. Он и прежде пил, а теперь стал выпивать чаще и чаще.

Сначала он прожил год приказчиком у скотопромышленника, но дорогой запил, и купец расчел его. Потом он нашел по знакомству место торговца вином, но и тут прожил недолго. Запутался в расчетах, и ему отказали. Домой ехать и стыдно было, и злоба брала. «Проживут и без меня. Может, и мальчишка-то не мой», – думал он.

Все шло хуже и хуже. Без вина он не мог жить. Стал наниматься уже не в приказчики, а в погонщики к скотине, потом и в эту должность не стали брать.

Чем хуже ему становилось, тем больше он обвинял ее, и тем больше разгоралась его злоба на нее.

В последний раз Корней нанялся в погонщики к скотине к незнакомому хозяину. Скотина заболела. Корней не был виноват, но хозяин рассердился и рассчитал и приказчика и его. Наниматься некуда было, и Корней решил идти странствовать. Состроил себе сапоги хорошие, сумку, взял чаю, сахару, денег восемь рублей и пошел в Киев. В Киеве ему не понравилось, и он пошел на Кавказ, в Новый Афон. Не доходя Нового Афона, его захватила лихорадка. Он вдруг ослабел. Денег оставалось рубль семьдесят копеек, знакомых никого не было, и он решил идти домой к

сыну. «Может, она и померла теперь, злодейка моя, – думал он. – А жива, так хоть перед смертью выскажу ей все; чтоб знала она, мерзавка, что со мной сделала», – думал он и пошел к дому.

Лихорадка трепала его через день. Он слабел все больше и больше, так что не мог уходить больше десяти, пятнадцати верст в день. Не доходя двухсот верст до дому, деньги все вышли, и он шел уж Христовым именем и ночевал по отводу десятского. «Радуйся, до чего довела меня!» – думал он про жену, и, по старой привычке, старые и слабые руки сжимались в кулаки. Но и бить некого было, да и силы в кулаках уже не было.

Две недели шел он эти двести верст и, совсем больной и слабый, добрал до того места, в четырех верстах от дома, где встретился, не узнав ее и не быв узнан, с той Агашкой, которая считалась, но не была его дочерью и которой он выломал руку.

IV

Он сделал, как сказала ему Агафья. Дойдя до Зиновеева двора, он попросился ночевать. Его пустили.

Войдя в избу, он, как и всегда делал, перекрестился на иконы и поздоровался с хозяевами.

– Застыл, дед! Иди, иди на печь, – сказала сморщенная веселая старушка хозяйка, убиравшаяся у стола.

Муж Агафьи, моложавый мужик, сидел на лавке у стола и заправлял лампу.

– И мокрый же ты, дед! – сказал он. – Да что станешь делать. Сушись! Корней разделся, разулся, повесил против печки онучи и влез на печь.

В избу вошла и Агафья с кувшином. Она уже успела пригнать стадо и убратся с скотиной.

– А не бывал старик странный? – спросила она. – Я велела к нам заходить.

– А вон он, – сказал хозяин, указывая на печь, где, потирая мохнатые костлявые ноги, сидел Корней.

К чаю хозяева кликнули и Корнея. Он слез и сел на краю лавки. Ему подали чашку и кусок сахара.

Разговор шел про погоду, про уборку. Не дается в руки хлеб. У помещиков проросли копны в поле. Только начнут возить – опять дождь. Мужички свезли. А у господ так дуром преет. А мыша в снопах – страсть.

Корней рассказал, что он видел по дороге целое поле полно копен. Молодайка налила ему пятую чашку жидкого, чуть желтого чаю и подала.

– Ничего. Пей, дедушка, на здоровье, – сказала она на его отказ.

– Что ж это рука у тебя неисправная? – спросил он у нее, осторожно принимая от нее полную чашку и пошевеливая бровями.

– С мальства еще сломали, – сказала говорливая свекровь. – Это ее отец нашу Агашку убить хотел.

– С чего ж это? – спросил Корней. И, глядя на лицо молодайки, ему вспомнился вдруг Евстигней Белый с его голубыми глазами, и рука, державшая чашку, так задрожала, что он разлил половину чая, пока донес ее до стола.

– А такой был в Гаях у нас человек, отец ей, Корней Васильевым звали. Богатей был. Так возгордился на жену. Ее избил и ее вот испортил.

Корней молчал, взглядывая из-под не переставая шевелившихся

черных бровей то на хозяина, то на Агашу.

– За что же? – спросил он, откусывая сахар.

– Кто их знает. Про нашу сестру всякое сболтнут, а ты отвечай, – говорила старуха. – Из-за работника что-то у них вышло. Работник малый хороший был из нашей деревни. Он и помер у них в доме.

– Помер? – переспросил Корней и откашлялся.

– Давно помер... У них мы и взяли молодайку. Жили хорошо. Первые на селе были. Пока жив был хозяин.

– А он что же? – спросил Корней.

– Тоже помер, должно. С того раза пропал. Лет пятнадцать будет.

– Больше, никак, мне мамушка сказывала, меня она только кормить бросила.

– Что ж, ты на него не обижаешься на то, что он руку... – начал было Корней и вдруг захлюпал.

– Разве он чужой – отец ведь. Что ж, еще пей с холоду-то. Налить, что ль?

Корней не отвечал и, всхлипывая, плакал.

– Чего ж ты?

– Ничего, так, спаси Христос.

И Корней дрожащими руками ухватился за столбик и за полати и полез большими худыми ногами на печь.

– Вишь ты, – сказала старушка сыну, подмигивая на старика.

На другой день Корней поднялся раньше всех. Он слез с печи, размял высохшие подвертки; с трудом обул заскорузлые сапоги и надел мешок.

– Что ж, дед, позавтракал бы? – сказала старуха.

– Спаси Бог. Пойду.

– Так вот возьми хоть лепешек вчерашних. Я тебе в мешок положу.

Корней поблагодарил и простился.

– Заходи, когда назад пойдешь, живы будем...

На дворе был тяжелый осенний туман, закрывающий все. Но Корней хорошо знал дорогу, знал всякий спуск и подъем, и всякий куст, и все ветлы по дороге, и леса направо и налево, хотя за семнадцать лет одни срубили и из старых стали молодыми, а другие из молодых стали старыми.

Деревня Гаи была все та же, только построились с краю новые дома, каких не было прежде. И из деревянных домов стали кирпичные. Его каменный дом был такой же, только постарел. Крыша была давно не крашена, и на угле выбитые были кирпичи, и крыльцо покривилось.

В то время как он подходил к своему прежнему дому, из скрипучих ворот вышла матка с жеребенком, старый мерин чалый и третьяк. Старый чалый был весь в ту матку, которую Корней за год до своего ухода привел с ярмонки.

«Должно, это тот самый, что у нее тогда в брюхе был. Та же вислозадина и та же широкая грудь и косматые ноги», – подумал он.

Лошадей гнал поить черноглазый мальчишка в новых лапотках. «Должно, внук, Федькин сын, значит, в него черноглазый», – подумал Корней.

Мальчик посмотрел на незнакомого старика и побежал за заигравшим по грязи стригуном. За мальчиком бежала собака, такая же черная, как прежний Волчок.

«Неужели Волчок?» – подумал он. И вспомнил, что тому было бы двадцать лет.

Он подошел к крыльцу и с трудом взошел на те ступеньки, на которых он тогда сидел, глотая снег с перил, и отворил дверь в сени.

– Чего лезешь не спросясь, – окликнул его женский голос из избы. Он узнал ее голос. И вот она сама, сухая, жилистая, морщинистая старуха, высунулась из двери. Корней ждал той молодой красивой Марфы, которая оскорбила его. Он ненавидел ее и хотел укорить, и вдруг вместо нее перед

ним была какая-то старуха. – Милостыни – так под окном проси, – пронзительным, скрипучим голосом проговорила она.

– Я не милостыни, – сказал Корней.

– Так чего же ты? Чего еще?

Она вдруг остановилась. И он по лицу ее увидал, что она узнала его.

– Мало ли вас шляется. Ступай, ступай. С Богом.

Корней привалился спиной к стене и, упираясь на клюку, пристально смотрел на нее и с удивлением чувствовал, что у него не было в душе той злобы на нее, которую он столько лет носил в себе, но какая-то умиленная слабость вдруг овладела им.

– Марфа! Помирать будем.

– Ступай, ступай с Богом, – быстро и злобно говорила она.

– Больше ничего не скажешь?

– Нечего мне говорить, – сказала она. – Ступай с Богом. Ступай, ступай. Много вас, чертей, дармоедов, шляется.

Она быстрыми шагами вернулась в избу и захлопнула дверь.

– Чего ж ругать-то, – слышался мужской голос, и в дверь вошел с топором за поясом черноватый мужик, такой же, как был Корней сорок лет тому назад, только поменьше и похудее, но с такими же черными блестящими глазами.

Это был тот самый Федька, которому он семнадцать лет тому назад подарил книжку с картинками. Это он упрекнул мать за то, что она не пожалела нищего. С ним вместе вошел, и тоже с топором за поясом, немой племянник. Теперь это был взрослый, с редкой бородкой, морщинистый, жилистый человек, с длинной шеей, решительным и внимательно пронизывающим взглядом. Оба мужика только позавтракали и шли в лес.

– Сейчас, дедка, – сказал Федор и указал немому сначала на старика, а потом на горницу и показал рукою, как режут хлеб.

Федор вышел на улицу, а немой вернулся в избу. Корней все стоял, опустив голову, прислонившись к стене и опираясь на клюку. Он чувствовал большую слабость и с трудом удерживал рыдания. Немой вышел из избы с большим пахучим ломтем свежего черного хлеба и, перекрестившись, подал Корнею. Когда Корней, приняв хлеб, тоже перекрестился, немой обратился к двери в избу, провел двумя руками по лицу и начал делать вид, что плюет. Он выражал этим неодобрение тетке. Вдруг он замер и, разинув рот, уставился на Корнея, как будто узнавая. Корней не мог больше удерживать слезы и, вытирая глаза, нос и седую бороду полою кафтана, отвернулся от него и вышел на крыльцо. Он испытывал какое-то особенное, умиленное, восторженное чувство

смирения, унижения перед людьми, перед нею, перед сыном, перед всеми людьми, и чувство это и радостно и больно раздирало его душу.

Марфа смотрела из окна и спокойно вздохнула только тогда, когда увидала, что старик скрылся за углом дома.

Когда Марфа уверилась, что старик ушел, она села за стан и стала ткать. Она ударила раз десяток бердом, но руки не шли, она остановилась и стала думать и вспоминать, каким она сейчас видела Корнея, – она знала, что это был он – тот самый, который убивал ее и прежде любил ее, и ей было страшно за то, что она сейчас сделала. Не то она сделала, что надо было. А как же надо было обойтись с ним? Ведь он не сказал, что он Корней и что он домой пришел.

И она опять взялась за челнок и продолжала ткать до самого вечера.

VI

Корней с трудом добрел к вечеру до Андреевки и опять попросился ночевать к Зиновеевым. Его приняли.

– Что ж, дед, не пошел дальше?

– Не пошел. Ослаб. Видно, назад пойду. Ночевать пустите?

– Место не пролежишь. Иди сушишь.

Всю ночь Корнея трепала лихорадка. Перед утром он забылся, а когда проснулся, домашние все разошлись по своим делам, и в избе оставалась одна Агафья.

Он лежал на хорах на сухом кафтане, который подостлала ему старуха. Агафья вынимала хлебы из печи.

– Умница, – позвал он ее слабым голосом, – подойди ко мне.

– Сейчас, дед, – отвечала она, высаживая хлебы. – Напиться, что ль? Кваску?

Он не отвечал.

Высавив последний хлеб, она подошла к нему с ковшиком кваса. Он не повернулся к ней и не стал пить, а как лежал кверху лицом, так и стал говорить, не поворачиваясь.

– Гаща, – сказал он тихим голосом, – время мое доспело. Я помирать хочу. Так вот ты прости меня Христа ради.

– Бог простит. Что ж, ты мне худого не делал...

Он помолчал.

– А еще вот что: сходи ты, умница, к матери, скажи ей... странник, мол, скажи... вчерашний странник, скажи...

Он стал всхлипывать.

– А ты разве был у наших?

– Был. Скажи, странник вчерашний... странник, скажи... – опять он остановился от рыданий и, наконец собравшись с силами, договорил: – попрощаться к ней приходил, – сказал он и стал шарить у себя около груди.

– Скажу, дед, скажу. А ты чего ищешь? – сказала Агафья.

Старик, не отвечая, сморщившись от усилия, достал своей худой волосатой рукой бумагу из-за пазухи и подал ей.

– А это вот отдай, кто спросит. Билет мой солдатский. Слава богу, развязались все грехи, – и лицо его сложилось в торжественное выражение. Брови поднялись, глаза уставились в потолок, и он затих.

– Свечку, – проговорил он, не шевеля губами.

Агафья поняла. Достала от икон обгоревшую восковую свечку, зажгла и подала ему. Он прихватил ее большим пальцем.

Агафья отошла убрать в сундучок его билет, и когда подошла к нему, свеча валилась у него из руки, и остановившиеся глаза уже не видели, и грудь не дышала. Агафья перекрестилась, задула свечу, достала полотенце чистое и закрыла его лицо.

Во всю ночь эту Марфа не могла заснуть и все думала о Корнее. Наутро она надела зипун, накрылась платком и пошла узнавать, где вчерашний старик. Очень скоро она узнала, что старик в Андреевке. Марфа взяла из плетня палку и пошла в Андреевку. Чем дальше она шла, тем все страшнее и страшнее ей становилось. «Попрощаемся с ним, возьмем домой, грех развяжем. Пускай хоть помрет дома при сыне», – думала она.

Когда Марфа стала подходить к дочернему двору, она увидела большую толпу народа у избы. Одни стояли в сенях, другие под окнами. Все уж знали, что тот самый знаменитый богач Корней Васильев, который двадцать лет тому назад гремел по округе, бедным странником помер в доме дочери. Изба тоже была полна народа. Бабы перешептывались, вздыхали и охали.

Когда Марфа вошла в избу и народ расступился, пропуская ее, она под святыми увидела обмытое, убранное, прикрытое полотном мертвое тело, над которым грамотный Филипп Кононыч, подражая дьячкам, читал нараспев славянские слова псалтыря.

Ни простить, ни просить прощенья уже нельзя было. А по строгому, прекрасному, старому лицу Корнея нельзя было понять, прощает ли он, или еще гневается.

За что?

В 1830 году весною к пану Ячевскому в его родовое имение Рожанку приехал единственный сын его умершего друга молодой Иосиф Мигурский. Ячевский был шестидесятипятилетний широколобый, широкоплечий, широкогрудый старик с длинными белыми усами на кирпично-красном лице, патриот времен второго раздела Польши. Он юношей вместе с Мигурским-отцом служил под знаменами Костюшки и всеми силами своей патриотической души ненавидел апокалипсическую, как он называл ее, блудницу Екатерину II и изменника, мерзкого ее любовника Понятовского, и так же верил в восстановление Речи Посполитой, как верил ночью, что к утру опять взойдет солнце. В 12-м году он командовал полком в войсках Наполеона, которого он обожал. Погибель Наполеона огорчила его, но он не отчаивался в восстановлении хотя и искалеченного, но все-таки царства Польского. Открытие сейма в Варшаве Александром I оживило его надежды, но Священный Союз, реакция во всей Европе, самодурство Константина отдаляло осуществление заветного желания. С 25-го года Ячевский поселился в деревне и безвыездно жил в своей Рожанке, занимая время хозяйством, охотой и чтением газет и писем, посредством которых он все-таки горячо следил за политическими событиями в своем отечестве. Он был женат вторым браком на бедной красивой шляхтенке, и брак этот был несчастлив. Он не любил и не уважал этой своей второй жены, тяготился ею, дурно, грубо обращался с нею, как будто вымещая на ней свою ошибку второго брака. Детей от второй жены не было. От первой же жены было две дочери: старшая, Ванда, величавая красавица, знавшая цену своей красоте и скучавшая в деревне, и меньшая, Альбина, любимица отца, живая, костлявая девочка, с вьющимися белокурыми волосами и широко, как у отца, расставленными большими блестящими голубыми глазами.

Альбине было пятнадцать лет, когда приехал Иосиф Мигурский. Мигурский и прежде, студентом, бывал у Ячевских в Вильно, где они жили по зимам, и ухаживал за Вандой, теперь же в первый раз уже вполне взрослым, свободным человеком приехал к ним в деревню. Приезд молодого Мигурского был приятен всем жителям Рожанки. Старику Иозё Мигурский был приятен тем, что напоминал ему друга, его отца, в то время, как они оба были молоды, и еще тем, что с жаром и самыми розовыми надеждами рассказывал о революционном брожении не только в

Польше, но и за границей, откуда он только что приехал. Пани Ячевской Мигурский был приятен тем, что при гостях старик Ячевский сдерживался и не бранил ее за все, как обыкновенно. Ванде он был приятен потому, что она была уверена, что Мигурский приехал для нее и намеревается ей сделать предложение; она готовилась дать ему согласие, но намеревалась, как она сама с собой говорила: *lui tenir la dragée haute*.^[12] Альбина была рада тому, что все были рады. Не одна Ванда была уверена в том, что Мигурский приехал с намерением сделать ей предложение. Это думали все в доме – от старика Ячевского до няни Лудвики, хотя никто и не говорил этого.

И это была правда. Мигурский приехал с этим намерением, но, пробыв неделю, он, чем-то смущенный и расстроенный, уехал, не сделав предложения. Все были удивлены этим неожиданным отъездом, и никто, кроме Альбины, не понимал его причины. Альбина знала, что причиной этого странного отъезда была она. Во все время пребывания его в Рожанке она замечала, что Мигурский был особенно возбужден и весел только с нею. Он обращался с ней, как с ребенком, шутил с ней, дразнил ее, но она женским чутьем чуяла, что в этом обращении его с нею было не отношение взрослого к ребенку, а мужчины к женщине. Она видела это в том любующемся взгляде и ласковой улыбке, с которыми он встречал ее, когда она входила в комнату, и провожал, когда она выходила. Она не отдавала себе ясного отчета о том, что такое это было, но это его отношение к ней веселило ее, и она невольно старалась делать то, что нравилось ему. Нравилось же ему все, что она бы ни делала. И потому она в его присутствии с особенным возбуждением делала все, что делала. Ему нравилось, как она наперегонки бегала с прекрасным хортим (борзая собака), прыгавшим на нее и лизавшим ее в раскрасневшееся сияющее лицо; нравилось, как она при малейшем поводе заливалась заразительно звонким смехом; нравилось, как она, продолжая весело смеяться глазами, принимала серьезный вид при скучной проповеди ксендза; нравилось, как с необыкновенной верностью и комизмом представляла то старую няню, то пьяного соседа, то его самого, Мигурского, мгновенно переходя от изображения одного к изображению другого. Нравилась, главное, ее восторженная жизнерадостность, точно как будто она только что сейчас узнала вполне всю прелесть жизни и спешила воспользоваться ею. Ему нравилась эта особенная ее жизнерадостность, а жизнерадостность эта возбуждалась и усиливалась именно тем, что она знала, что эта жизнерадостность восхищает его. И потому одна Альбина знала, отчего Мигурский, приехавший, чтобы сделать предложение Ванде, уехал, не

сделав его. Хотя она никому не решилась бы сказать этого, не говорила этого ясно и сама себе, она в глубине души знала, что он хотел полюбить сестру и полюбил ее, Альбину. Альбина очень удивлялась этому, считая себя вполне ничтожной в сравнении с умной, образованной красавицей Вандой, но не могла не знать, что это так, и не могла не радоваться этому, потому что сама всеми силами своей души полюбила Мигурского, полюбила так, как любят только в первый раз и только один раз в жизни.

II

В конце лета газеты принесли известие о парижской революции. Вслед за этим стали приходить известия о готовящихся беспорядках в Варшаве. Ячевский с страхом и надеждой ожидал с каждой почтой известия об убийстве Константина и начале революции. Наконец в ноябре получили в Рожанке сначала весть о нападении на бельведер, о бегстве Константина Павловича, потом о том, что сейм объявил династию Романовых лишенной польского престола, что Хлопицкий объявлен диктатором и польский народ опять свободен. Восстание не дошло еще до Рожанки, но все обитатели ее следили за ходом его, ожидали его у себя и готовились к нему. Старик Ячевский переписывался с старым знакомым, одним из главарей восстания, принимал таинственных евреев-факторов, не по хозяйственным, а по революционным делам, и готовился присоединиться к восстанию, когда настанет время. Пани Ячевская не только как всегда, но еще более, чем всегда, заботилась о материальных удобствах мужа и, как всегда, этим самым все больше и больше раздражала его. Ванда отослала свои брильянты подруге в Варшаву, с тем чтобы вырученные деньги отдать в революционный комитет. Альбина интересовалась только тем, что делает Мигурский. Через отца она знала, что он поступил в отряд Дверницкого, и старалась узнать все то, что касалось этого отряда. Мигурский писал два раза: один раз извещал о том, что он поступил в войско, другой раз, в половине февраля, писал восторженное письмо о победе поляков при Сточке, где взяли шесть русских орудий и пленных. «Zwyciestwo Polakow i kleska Moskali! Wiwat!»^[13] – заканчивал он письмо. Альбина была в восторге. Она рассматривала карту, рассчитывала, где и когда должны быть окончательно побеждены москальи, и бледнела, и дрожала, когда отец медленно распечатывал привезенные с почты пакеты. Один раз мачеха, зайдя в ее комнату, застала ее перед зеркалом в панталонах и конфедератке. Альбина готовилась в мужском платье бежать из дома, чтобы присоединиться к польскому войску. Мачеха сказала отцу. Отец призвал дочь к себе и, скрывая свое сочувствие ей, даже восхищение перед ней, сделал ей строгий выговор, требуя, чтобы она выбросила из головы глупые мысли об участии в войне. «У женщины есть другое дело: любить и утешать тех, которые жертвуют собой за отчизну», – сказал он ей. Теперь она нужна ему, составляя его радость и утешение, а придет время, она так же нужна будет мужу. Он знал, чем подействовать на нее. Он намекнул ей

на то, что он одинок и несчастен, и поцеловал ее. Она прижалась к нему лицом, скрывая слезы, которые все-таки намочили рукав его халата, и обещала ему ничего не предпринимать без его согласия.

III

Только люди, испытавшие то, что испытали поляки после раздела Польши и подчинения одной части ее власти ненавистных немцев, другой – власти еще более ненавистных москалей, могут понять тот восторг, который испытывали поляки в 30-м и 31-м году, когда после прежних несчастных попыток освобождения новая надежда освобождения казалась осуществимою. Но надежда эта продолжалась недолго. Силы были слишком несоразмерны, и революция опять была задавлена. Опять бессмысленно повинующиеся десятки тысяч русских людей были пригнаны в Польшу и под начальством то Дибича, то Паскевича и высшего распорядителя – Николая I, сами не зная, зачем они делают это, пропитав землю кровью своей и своих братьев поляков, задавили их и отдали опять во власть слабых и ничтожных людей, не желающих ни свободы, ни подавления поляков, а только одного: удовлетворения своего корыстолюбия и ребяческого тщеславия.

Варшава была взята, отдельные отряды разбиты. Сотни, тысячи людей были расстреляны, забиты палками, сосланы. В числе сосланных был и молодой Мигурский. Имение его было конфисковано, а сам он определен солдатом в линейный батальон в Уральск.

Ячевские жили зиму 1832 года в Вильне для здоровья старика, после 31-го года страдавшего болезнью сердца. Здесь пришло к ним письмо от Мигурского из крепости. Он писал, что, как ни тяжело для него было то, что он перенес и что предстоит ему, он рад тому, что ему пришлось пострадать за отчизну, что он не отчаивается в том святом деле, за которое он отдал часть своей жизни и готов отдать остаток ее, и что если бы завтра явилась новая возможность, он поступил бы так же. Читая письмо вслух, старик зарыдал на этом месте и долго не мог продолжать. В остальной части письма, которую вслух прочла Ванда, Мигурский писал, что какие бы ни были его планы и мечты в тот последний его приезд, который останется вечно самой светлой точкой во всей его жизни, он теперь и не может и не хочет говорить про них.

Ванда и Альбина поняли каждая по-своему значение этих слов, но никому не объяснили того, как они поняли их. В конце письма Мигурский посылал приветствия всем и, между прочим, с тем же игривым тоном, с которым он обращался с Альбиной во время своего приезда, обращался к ней и в письме, спрашивая ее, так же ли она быстро бежит, перегоняя

хортых, и так ли хорошо передразнивает всех. Он желал здоровья старику, успеха в хозяйственных делах матери, достойного мужа Ванде и продолжения той же жизнерадостности Альбине.

IV

Здоровье старика Ячевского шло все хуже и хуже, и в 1833 году вся семья переехала за границу. Ванда встретила в Бадене богатого польского эмигранта и вышла за него замуж. Болезнь старика быстро ухудшалась, и в начале 1833 года он умер за границей на руках Альбины. Желу он не допуская ходить за собой и до последней минуты не мог простить ей той ошибки, которую он сделал, женившись на ней. Пани Ячевская вернулась с Альбиной в деревню. Главный интерес жизни Альбины был Мигурский. В ее глазах это был величайший герой и мученик, служению которому она решила посвятить свою жизнь. Еще до отъезда за границу она начала переписываться с ним, сначала по поручению отца, потом от себя. После смерти отца она, вернувшись в Россию, продолжала переписываться с ним и, когда ей минуло восемнадцать лет, объявила мачехе, что она решила ехать в Уральск к Мигурскому, с тем чтобы выйти там за него замуж. Мачеха стала упрекать Мигурского за то, что он эгоистически хочет облегчить свое тяжелое положение тем, чтобы, увлекши богатую девушку, заставить ее разделить его несчастье. Альбина рассердилась и объявила мачехе, что только она одна может приписывать такие подлые мысли человеку, пожертвовавшему всем для своего народа, что Мигурский, напротив, отказывался от той помощи, которую она предлагала ему, и что она бесповоротно решила ехать к нему и выйти за него замуж, если он только захочет дать ей это счастье. Альбина была совершеннолетняя, и деньги у нее были, – те триста тысяч злотых, которые покойник дядя оставил двум племянницам. Так что ничего не могло задержать ее.

В ноябре 1833 года Альбина простилась с домашними, как на смерть, со слезами провожавшими ее в дальний, неведомый край варварской Московии, села с старой преданной няней Лудвикой, которую она брала с собой, в отцовский, вновь исправленный для дальней дороги возок и пустилась в дальнюю дорогу.

Мигурский жил не в казармах, а на своей отдельной квартире. Николай Павлович требовал, чтобы разжалованные поляки не только несли всю тяжесть суровой солдатской жизни, но и терпели все те унижения, которым подвергались в это время рядовые солдаты; но большинство тех простых людей, которые должны были исполнять эти его распоряжения, понимали всю тяжесть положения этих разжалованных и, несмотря на опасность неисполнения его воли, где могли, не исполняли ее. Полуграмотный, выслужившийся из солдат командир того батальона, в который был зачислен Мигурский, понимал положение бывшего богатого, образованного молодого человека, лишившегося всего, жалел его и уважал и делал ему всякого рода послабления. И Мигурский не мог не оценить добродушия подполковника с белыми бакенбардами на одутловатом солдатском лице и, чтобы отплатить ему, согласился учить его сыновей, готовящихся в корпус, математике и французскому языку.

Жизнь Мигурского в Уральске, тянувшаяся уже седьмой месяц, была не только однообразная, унылая и скучная, но и тяжелая. Знакомств, кроме батальонного командира, с которым он старался держаться как можно дальше, у него был только один сосланный поляк, малообразованный и проницательный, неприятный человек, занимавшийся здесь торговлей рыбой. Главная же тяжесть жизни Мигурского состояла в том, что ему трудно было привыкать к нужде. Средств у него после конфискации его имения не было никаких, и он перебивался продажей золотых вещей, которые у него остались.

Единственная и большая радость его жизни после его ссылки была переписка с Альбиной, поэтическое, милое представление о которой со времени посещения его Рожанки осталось у него в душе и становилось теперь в изгнании все прекраснее и прекраснее. В одном из первых писем своих она, между прочим, спрашивала его, что значат слова его давнишнего письма: «какие бы ни были мои желания и мечты». Он отвечал ей, что теперь он может признаться ей, что мечты его были о том, чтобы назвать ее своей женой. Она ответила ему, что любит его. Он ответил, что лучше бы она не писала этого, потому что ему ужасно думать о том, что могло бы быть и теперь невозможно. Она ответила, что это не только возможно, но что это непременно будет. Он отвечал ей, что не может принять ее жертвы, что в теперешнем положении его это невозможно. Вскоре после этого

своего письма он получил повестку на две тысячи злотых. По штемпелю конверта и почерку он узнал, что это было прислано от Альбины, и вспомнил, что в одном из первых писем он в шуточном тоне описывал ей то удовольствие, которое он испытывает теперь, уроками зарабатывая все, что ему нужно, – денег на чай, табак и даже книги. Переложив деньги в другой конверт, он отослал их назад с письмом, в котором он просил ее не портить их святых отношений деньгами. У него всего было довольно, писал он, и он вполне счастлив, зная, что имеет такого друга, как она. На этом остановилась их переписка.

В ноябре Мигурский сидел у подполковника, давая урок мальчикам, когда послышался звук приближающегося почтового колокольца и заскрипели по морозному снегу полозья саней и остановились у подъезда. Дети вскочили, чтобы узнать, кто приехал. Мигурский остался в комнате, глядя на дверь и ожидая возвращения детей, но в дверь вошла сама подполковница.

– А к вам, пан, какие-то барыни приехали, вас спрашивают, – сказала она. – Должно, с вашей стороны, похоже – полячки.

Если бы Мигурского спросили: считает ли он возможным приезд к нему Альбины, он бы сказал, что это немыслимо; в глубине же души он ждал ее. Кровь прилила ему к сердцу, и он, задыхаясь, выбежал в переднюю. В передней развязывала платок на голове толстая рябая женщина. Другая женщина входила в дверь квартиры полковника. Услыхав за собой шаги, она оглянулась. Из-под капора сияли жизнерадостные, широко расставленные, блестящие голубые глаза с заиндевшими ресницами Альбины. Он остолебенел и не знал, как встретить ее, как здороваться. «Юзё!» – вскрикнула она, назвав его так, как называл его отец и как сама с собой она называла его, обхватила руками его шею, прильнула к его лицу своим зардевшимся холодным лицом и засмеялась и заплакала.

Узнав, кто такая Альбина и зачем она приехала, добрая полковница приняла ее и поместила до свадьбы у себя.

VI

Добродушный подполковник выхлопотал разрешение высшего начальства. Из Оренбурга выписали ксендза и обвенчали Мигурских. Жена батальонного командира была посажённой матерью, один из учеников нес образ, а Бржозовский, сосланный поляк, был шафером.

Альбина, как ни странно это может казаться, страстно любила своего мужа, но совсем не знала его. Она теперь только знакомилась с ним. Само собой разумеется, что она нашла в живом человеке с плотью и кровью много такого обыденного и не поэтического, чего не было в том образе, который она носила и растила в своем воображении; но зато, именно потому, что это был человек с плотью и кровью, она нашла в нем много такого простого, хорошего, чего не было в том отвлеченном образе. Она слышала от знакомых и друзей про его храбрость на войне и знала про его мужество при потере состояния и свободы и представляла себе его героем, всегда живущим возвышенной героической жизнью; в действительности же, с своей необыкновенной физической силой и храбростью, он оказался кротким, смирным ягненком, самым простым человеком, с добродушными шутками, с той самой детской улыбкой чувственного рта, окруженного белокурой бородкой и усами, которая прельстила ее еще в Рожанке, и с неугасимой трубкой, которая была ей особенно тяжела во время беременности.

Мигурский тоже только теперь узнал Альбину, и в Альбине в первый раз узнал женщину. По тем женщинам, которых он знал до женитьбы, он не мог знать женщин. И то, что он узнал в Альбине, как в женщине вообще, удивило его и скорее могло бы разочаровать его в женщине вообще, если бы он не чувствовал к Альбине как к Альбине особенно нежного и благодарного чувства. К Альбине как к женщине вообще он чувствовал ласковое, несколько ироническое снисхождение, к Альбине же как к Альбине не только нежную любовь, но и восхищение, и сознание неоплатного долга за ее жертву, давшую ему незаслуженное счастье.

Мигурские были счастливы тем, что, направив всю силу своей любви друг на друга, они испытывали среди чужих людей чувство двух заблудившихся зимой, замерзающих и отогревающих друг друга. Радостной жизни Мигурских содействовало и участие в их жизни рабски, самоотверженно преданной своей панюсе, добродушно-ворчливой, комической, влюбляющейся во всех мужчин няни Лудвики. Мигурские

были счастливы и детьми. Через год родился мальчик. Через полтора года – девочка. Мальчик был повторением матери: те же глаза и та же резвость и грация. Девочка была здоровый красивый зверок.

Несчастливы же Мигурские были удалением от родины и, главное, тяжестью своего непривычно униженного положения. Особенно страдала за это унижение Альбина. Он, ее Юзё, герой, идеал человека, должен был вытягиваться перед всяким офицером, делать ружейные приемы, ходить в караул и безропотно повиноваться.

Кроме того, известия из Польши получались самые печальные. Почти все близкие родные, друзья были или сосланы, или, лишившись всего, бежали за границу. Для самих же Мигурских не предвиделось какого-либо конца этому положению. Все попытки ходатайствовать о прощении или хотя бы об улучшении положения, о производстве в офицеры, не достигали цели. Николай Павлович делал смотры, парады, учения, ходил по маскарадам, заигрывал с масками, скакал без надобности по России из Чугуева в Новороссийск, Петербург и Москву, пугая народ и загоня лошадей, и когда какой-нибудь смельчак решался просить смягчения участи ссыльных декабристов или поляков, страдавших из-за той самой любви к отечеству, которая им же восхвалялась, он, выпячивая грудь, останавливал на чем попало свои оловянные глаза и говорил: «Пускай служат. Рано». Как будто он знал, когда будет не рано, а когда будет время. И все приближенные: генералы, камергеры и их жены, кормившиеся около него, умилялись перед необычайной прозорливостью и мудростью этого великого человека.

В общем, все-таки в жизни Мигурских было больше счастья, чем несчастья.

Так прожили они пять лет. Но вдруг обрушилось на них неожиданное, страшное горе. Заболела сначала девочка, через два дня заболел мальчик: горел три дня и, без помощи врачей (никого нельзя было найти), на четвертый день умер. Через два дня после него умерла и девочка.

Альбина не утопилась в Урале только потому, что не могла без ужаса представить себе положения мужа при известии об ее самоубийстве. Но жить ей было трудно. Всегда прежде деятельная и заботливая, она теперь, предоставив все свои заботы Лудвике, сидела часами без дела, молча глядя на то, что попадалось под глаза, а то вдруг вскакивала и убегала в свою каморку и там, не отвечая на утешения мужа и Лудвики, тихо плакала, только качая головой, прося их уйти и оставить ее одну. Летом она уходила на могилу детей и там сидела, раздирая себе сердце воспоминаниями о том, что было и что могло бы быть. Особенно мучила ее мысль о том, что дети

могли бы остаться живы, если бы они жили в городе, где могла бы быть подана медицинская помощь. «За что? За что? – думала она. – И Юзё и я – мы ничего ни от кого не хотим, кроме того, чтоб ему жить так, как он родился и жили его деды и прадеды, а мне только – чтобы жить с ним, любить его, любить моих крошек, воспитывать их. И вдруг его мучают, ссылают, а у меня отнимают то, что мне дороже света. Зачем? За что?» – задавала она этот вопрос людям и Богу. И не могла представить себе возможности какого-нибудь ответа.

А без этого ответа не было жизни. И жизнь ее остановилась. Бедная жизнь в изгнании, которую она прежде умела украшать своим женским вкусом и изяществом, стала теперь невыносима не только ей, но и Мигурскому, страдавшему за нее и не знавшему, чем помочь ей.

VII

В это самое тяжелое для Мигурских время прибыл в Уральск поляк Росоловский, замешанный в грандиозном плане возмущения и побега, устроенного в то время в Сибири сосланным ксендзом Сироцинским.

Росоловский, так же как и Мигурский, так же как и тысячи людей, наказанных ссылкой в Сибирь за то, что они хотели быть тем, чем родились, – поляками, был замешан в этом деле, наказан за это розгами и отдан в солдаты в тот же батальон, где был Мигурский. Росоловский, бывший учитель математики, был длинный, сутуловатый, худой человек с впалыми щеками и нахмуренным лбом.

В первый же вечер своего пребывания Росоловский, сидя за чаем у Мигурских, стал, естественно, рассказывать своим медленным, спокойным басом про то дело, за которое он так жестоко пострадал. Дело состояло в том, что Сироцинский организовал по всей Сибири тайное общество, цель которого состояла в том, чтобы с помощью поляков, зачисленных в казачьи и линейные полки, взбунтовать солдат и каторжных, поднять поселенцев, захватить в Омске артиллерию и всех освободить.

– Да разве это было возможно? – спросил Мигурский.

– Очень возможно, все было готово, – сказал Росоловский, мрачно хмурясь, и медленно, спокойно рассказал весь план освобождения и все принятые меры для успеха дела и, в случае неуспеха, для спасения заговорщиков. Успех был верный, если бы не изменили два злодея. Сироцинский, по словам Росоловского, был человек гениальный и великой душевной силы. Он и умер героем и мучеником. И Росоловский ровным, спокойным басом стал рассказывать подробности казни, на которой он, по приказанию начальства, должен был присутствовать вместе со всеми судившимися по этому делу.

– Два батальона солдат стояли в два ряда, длинной улицей, у каждого солдата в руке была гибкая палка такой высочайше утвержденной толщины, чтобы три только могли входить в дуло ружья. Первым повели доктора Шакальского. Два солдата вели его, а те, которые были с палками, били его по оголенной спине, когда он равнялся с ними. Я видел это только тогда, когда он подходил к тому месту, где я стоял. То я слышал только дробь барабана, но потом, когда становился слышен свист палок и звук ударов по телу, я знал, что он подходит. И я видел, как его тянули за ружья солдаты, и он шел, вздрагивая и поворачивая голову то в ту, то в другую

сторону. И раз, когда его проводили мимо нас, я слышал, как русский врач говорил солдатам: «Не бейте больно, пожалейте». Но они все били; когда его провели мимо меня второй раз, он уже не шел сам, а его тащили. Страшно было смотреть на его спину. Я зажмурился. Он упал, и его унесли. Потом повели второго. Потом третьего, потом четвертого. Все падали, всех уносили – одних замертво, других еле живыми, и мы все должны были стоять и смотреть. Продолжалось это шесть часов – от раннего утра и до двух часов пополудни. Последнего повели самого Сироцинского. Я давно не видал его и не узнал бы, так он постарел. Все в морщинах бритое лицо его было бледно-зеленоватое. Тело обнаженное было худое, желтое, ребра торчали над втянутым животом. Он шел так же, как и все, при каждом ударе вздрагивая и вздергивая голову, но не стонал и громко читал молитву: *Miserere mei Deus secundam magnam misericordiam tuam.*^[14]

– Я сам слышал, – быстро прохрипел Росоловский и, закрыв рот, засопел носом.

Лудвика, сидевшая у окна, рыдала, закрыв лицо платком.

– И охота вам расписывать! Звери – звери и есть! – вскрикнул Мигурский и, бросив трубку, вскочил со стула и быстрыми шагами ушел в темную спальню. Альбина сидела как окаменевшая, уставив глаза в темный угол.

VIII

На другой день Мигурский, придя домой с ученья, был удивлен видом жены, которая, как в старину, легкими шагами, с сияющим лицом встретила его и повела в спальню.

– Ну, Юзё, слушай.

– Слушаю. Что?

– Я всю ночь думала о том, что рассказал Росоловский. И я решилась: я не могу жить так, не могу жить тут. Не могу! Я умру, но не останусь здесь.

– Да что же делать?

– Бежать.

– Бежать? Как?

– Я все обдумала. Слушай.

И она рассказала ему тот план, который она придумала сегодня ночью. План был такой: он, Мигурский, уйдет из дома вечером и оставит на берегу Урала свою шинель и на шинели письмо, в котором напишет, что лишает себя жизни. Поймут, что он утопился. Будут искать тело, будут посылать бумаги. А он спрячется. Она так спрячет его, что никто не найдет. Можно будет прожить так хоть месяц. А когда все уляжется, они убегут.

Затея ее в первую минуту показалась Мигурскому неисполнимой, но к концу дня, когда она с такой страстью и уверенностью убеждала его, он стал соглашаться с нею. Кроме того, он был склонен согласиться еще и потому, что наказание за неудавшийся побег, такое же наказание, как то, про которое рассказывал Росоловский, падало на него, Мигурского, успех же освобождал ее, а он видел, как после смерти детей тяжела ей была жизнь здесь.

Росоловский и Лудвика были посвящены в замысел, и после долгих совещаний, изменений, поправок план побега был выработан. Сначала хотели сделать так, чтобы Мигурский, после того как он будет признан утонувшим, бежал бы один, пешком. Альбина же выедет в экипаже и в условленном месте встретит его. Такой был первый план. Но потом, когда Росоловский рассказал про все неудавшиеся попытки побегов последних пяти лет в Сибири (за все время убежал и спасся только один счастливец), Альбина предложила другой план, тот, чтобы Юзё, спрятанный в экипаже, ехал с нею и Лудвикой до Саратова. В Саратове же ему, переодетому, идти вниз по берегу Волги и в условленном месте сесть в лодку, которую она

наймет в Саратове и в которой поплывет вместе с Альбиной и Лудвикой вниз по Волге до Астрахани и через Каспийское море в Персию. План был этот одобрен всеми и главным устройтелем Росоловским, но представлялась трудность устройства такого помещения в экипаже, которое не обратило бы на себя внимания начальства, а между тем могло бы вместить в себя человека. Когда же Альбина после поездки на могилу детей сказала Росоловскому, как ей больно оставлять прах детей на чужой стороне, он, подумав, сказал:

– Просите начальство о разрешении взять с собой гробы детей, вам разрешат.

– Нет, я не хочу, не хочу этого! – сказала Альбина.

– Просите. В этом всё. Мы не возьмем гробов, а для них сделаем большой ящик и в ящик положим Юзефа.

В первую минуту Альбина отвергла это предложение, так ей неприятно было связывать обман с воспоминанием о детях, но когда Мигурский весело одобрил этот проект, она согласилась.

Так что окончательный план выработался такой: Мигурский сделает все то, что должно убедить начальство, что он утопился. Когда смерть его будет признана, Альбина подаст прошение о том, чтобы ей после смерти мужа разрешено было вернуться на родину и взять с собой и прах детей. Когда же ей дадут и это разрешение, будет сделано подобие того, что могилы раскопаны и гробы взяты, но гробы оставят на месте, а вместо детских гробов в приготовленном для этого ящике поместится Мигурский. Ящик поставят в тарантас и так доедут до Саратова. От Саратова они сядут на лодку. В лодке Юзё выйдет из ящика, и они поплывут до Каспийского моря. А там Персия или Турция и – свобода.

Прежде всего Мигурские купили тарантас под предлогом отправления Лудвики на родину. Потом началось устройство в тарантасе такого ящика, в котором, не задохнувшись, можно бы было, хотя и скорчившись, лежать и из которого можно бы было скоро и незаметно выходить и опять влезать. Втроем, Альбина, Росоловский и сам Мигурский, придумывали и прилаживали ящик. В особенности важна была помощь Росоловского, который был хороший столяр. Ящик был сделан так, что, утвержденный на дрожины позади кузова, он плотно приходился к кузову, и стенка, приходившаяся к кузову, отваливалась так, что человек, вынув стенку, мог лежать частью в ящике, частью на дне тарантаса. Кроме того, в ящике были провернуты дыры для воздуха, и сверху и с боков ящик должен был быть покрыт рогожей и увязан веревками. Входить и выходить из него можно было через тарантас, в котором было сделано сиденье.

Когда тарантас и ящик были готовы, еще до исчезновения мужа, Альбина, чтобы приготовить начальство, пошла к полковнику и заявила, что муж ее впал в меланхолию и покушался на самоубийство и она боится за него и просит на время отпустить его. Способность ее к драматическому искусству пригодилась ей. Выражаемые ею беспокойство и страх за мужа были так естественны, что полковник был тронут и обещал сделать все, что может. После этого Мигурский сочинил письмо, которое должно было быть найдено за обшлагом его шинели на берегу Урала, и в условленный день, вечером, он пошел к Уралу, дождался темноты, положил на берегу одежду, шинель с письмом и тайно вернулся домой. На чердаке, запиравшемся замком, было приготовлено для него место. Ночью Альбина послала Лудвику к полковнику заявить о муже, что он, выйдя из дома двадцать часов назад, не возвращался. Утром ей принесли письмо мужа, и она с выражением сильного отчаяния, в слезах, отнесла его полковнику.

Через неделю Альбина подала прошение об отъезде на родину. Горе, выражаемое Мигурской, поражало всех, видевших ее. Все жалели несчастную мать и жену. Когда отъезд ее был разрешен, она подала другое прошение – о позволении откопать трупы детей и взять их с собою. Начальство подивилось на эту сентиментальность, но разрешило и это.

На другой день после получения и этого разрешения вечером Росоловский с Альбиной и Лудвикой в наемной телеге с ящиком, в который должны были быть вложены гробы детей, приехали на кладбище, к могиле

детей. Альбина, опустившись на колени у могил детей, помолилась и скоро встала и, нахмурившись, обращаясь к Росоловскому, сказала:

– Делайте то, что надо, а я не могу, – и отошла в сторону.

Росоловский с Лудвикой сдвинули надгробный камень и вскопали лопатой верхние части могилы так, что могила имела вид раскопанный. Когда все было сделано, они кликнули Альбину и с ящиком, наполненным землей, вернулись домой.

Наступил назначенный день отъезда. Росоловский радовался успеху доведенного почти до конца предприятия, Лудвика напекла на дорогу печений и пирожков и, приговаривая свою любимую поговорку: «Jak matie kocham», говорила, что у ней сердце разрывается от страха и радости. Мигурский радовался и своему освобождению с чердака, на котором он просидел больше месяца, и больше всего – оживлению и жизнерадостности Альбины. Она как будто забыла все прежнее горе и все опасности и, как в девичье время, прибегая к нему на чердак, сияла восторженной радостью.

В три часа утра пришел казак провожать, и привел казак-ямщик тройку лошадей. Альбина с Лудвикой и собачкой сели в тарантас на подушки, покрытые ковром. Казак и ямщик сели на козлы. Мигурский, одетый в крестьянское платье, лежал в кузове тарантаса.

Выехали из города, и добрая тройка понесла тарантас по гладкой, как камень, убитой дороге между бесконечной, непаханой, поросшей прошлогодним серебристым ковылем степью.

Сердце замирало в груди Альбины от надежды и восторга. Желая поделиться своими чувствами, она изредка, чуть улыбаясь, указывала Лудвике головой то на широкую спину казака, сидевшего на козлах, то на дно тарантаса. Лудвика с значительным видом неподвижно смотрела перед собой и только чуть-чуть морщила губы. День был ясный. Со всех сторон расстилалась безграничная пустынная степь, блестящая серебристым ковылем на косых лучах утреннего солнца. Только то с той, то с другой стороны жесткой дороги, по которой, как по асфальту, гулко звучали некованные быстрые ноги башкирских коней, виднелись бугорки насыпанной земли сусликов; на задугах сидел сторожевой зверок и, предупреждая об опасности, пронзительно свистел и скрывался в нору. Редко встречались проезжие: обоз казаков с пшеницей или конные башкиры, с которыми казак бойко перекидывался татарскими словами. На всех станциях лошади были свежие, сытые, и полтинники на водку, которые давала Альбина, делали то, что ямщики гнали, как они говорили, по-фельдъегерски – вскачь всю дорогу.

На первой же станции, в то время как прежний ямщик увел, а новый не приводил еще лошадей и казак вошел во двор, Альбина, перегнувшись, спросила мужа, как он себя чувствует, не нужно ли ему чего.

– Превосходно, покойно. Ничего не нужно. Легко пролежу хоть двое суток.

К вечеру приехали в большое село Дергачи. Для того чтобы муж мог расправить члены и освежиться, Альбина остановилась не на почтовом, а на постоялом дворе и тотчас же, дав деньги казаку, послала его купить ей яиц и молока. Тарантас стоял под навесом, на дворе было темно, и, поставив Лудвику караулить казака, Альбина выпустила мужа, накормила его, и до возвращения казака он опять влез в свое потаенное место. Послали опять за лошадьми и поехали дальше. Альбина чувствовала все больший и больший подъем духа и не могла удержать своего восторга и веселости. Говорить ей было больше не с кем, как с Лудвикой, казаком и Трезоркой, и она забавлялась ими.

Лудвика, несмотря на свою некрасивость, при всяком отношении с мужчиной тотчас же подозревавшая в этом мужчине любовные на нее виды, подозревала теперь это самое по отношению к здоровенному добродушному казаку-уральцу с необыкновенно ясными и добрыми

голубыми глазами, который провожал их и который был особенно приятен обеим женщинам своей простотою и добродушной ласковостью. Кроме Трезорки, на которого Альбина грозилась, не позволяя ему нюхать под сиденьем, она теперь забавлялась Лудвикой и ее комическим кокетством с не подозревающим приписываемые ему намерения, добродушно улыбающимся на все, что ему говорили, казаком. Альбина, возбужденная и опасностью, и начинающим осуществляться успехом дела, и чудной погодой, и степным воздухом, испытывала давно не испытанное ею чувство детского восторга и веселья. Мигурский слышал ее веселый говор и тоже, несмотря на скрываемую им физическую тяжесть своего положения (особенно жарко ему было, и жажда его мучила), забывая о себе, радовался на ее радость.

К вечеру второго дня стало виднеться что-то в тумане. Это был Саратов и Волга. Казак своими степными глазами видел и Волгу, и мачты и указывал их Лудвике. Лудвика говорила, что видела тоже. Но Альбина ничего не могла разобрать. И только нарочно громко, чтобы слышал муж, говорила:

– Саратов, Волга, – как будто разговаривая с Трезором, рассказывала мужу Альбина все то, что она видела.

Не въезжая в Саратов, Альбина остановилась на левой стороне Волги, в слободе Покровской, против самого города. Здесь она надеялась в продолжение ночи успеть переговорить с мужем и даже вывести его из ящика. Но казак во всю короткую весеннюю ночь не отходил от тарантаса и сидел подле него в стоявшей под навесом пустой телеге. Лудвика, по распоряжению Альбины, сидела в тарантасе и, будучи вполне уверена, что казак ради нее не отходит от тарантаса, мигала, смеялась и закрывала свое рябое лицо платком. Но Альбина не видела уж в этом ничего веселого и все больше и больше тревожилась, не понимая, для чего казак так неотлучно держался около тарантаса.

Несколько раз в короткую майскую ночь с зарей, сливающейся с зарей, Альбина выходила из горницы постоялого двора мимо вонючей галереи на заднее крыльцо. Казак все еще не спал и, спустив ноги, сидел на стоявшей подле тарантаса пустой телеге. Только перед рассветом, когда петухи уже проснулись и перекликались со двора на двор, Альбина, сойдя вниз, нашла время переговорить с мужем. Казак храпел, развалившись в телеге. Она осторожно подошла к тарантасу и толкнула ящик.

– Юзё! – Ответа не было. – Юзё, Юзё! – с испугом, громче проговорила она.

– Что ты, милая, что? – сонным голосом проговорил Мигурский из ящика.

– Что ты не отвечал?

– Спал, – проговорил он, и она по звуку голоса узнала, что он улыбался. – Что же, выходить? – спросил он.

– Нельзя, казак тут, – и, сказав это, она взглянула на казака, спящего в телеге.

И удивительное дело, казак храпел, но глаза его, добрые голубые глаза, были открыты. Он смотрел на нее и, только встретившись с ней взглядом, закрыл глаза.

«Показалось это мне или точно он не спал? – спросила себя Альбина. – Верно, показалось», – подумала она и опять обратилась к мужу.

– Потерпи еще немного, – сказала она. – Поесть хочешь?

– Нет. Курить хочу.

Альбина опять взглянула на казака. Он спал. «Да, это показалось мне», – подумала она.

– Я теперь поеду к губернатору.

– Ну, час добрый...

И Альбина, достав из чемодана платье, пошла в горницу одеваться.

Переодевшись в свое лучшее вдовье платье, Альбина переехала Волгу. На набережной она взяла извозчика и поехала к губернатору. Губернатор принял ее. Хорошенькая, мило улыбающаяся вдова-полька, прекрасно говорящая по-французски, очень понравилась молодящемуся старику губернатору. Он все разрешил ей и просил ее приехать еще завтра к нему, чтобы получить от него приказ к городничему в Царицын. Радуюсь и успеху своего ходатайства, и тому действию ее привлекательности, которое она видела в манере губернатора, Альбина, счастливая и полная надежд, возвращалась под гору по немощной улице на долгушке к пристани. Солнце взошло уже выше леса и косыми лучами играло на рябящей воде огромного разлива. Справа и слева по горе виднелись, как белые облака, облитые пахучим цветом яблони. Лес мачт виднелся у берега, и паруса белели по играющему на солнце, рябящему от ветерка разливу. На пристани, разговорившись с извозчиком, Альбина спросила, можно ли нанять лодку до Астрахани, и десятки шумливых, веселых лодочников предложили ей свои услуги и лодки. Она сговорилась с одним из лодочников, больше других понравившимся ей, и пошла смотреть его лодку-косовушку, стоявшую в тесноте других лодок у пристани. На лодке была устанавливающаяся небольшая мачта с парусом, так что можно было идти ветром. В случае безветрия были весла и два здоровые, веселые бурлака-ребцы, сидевшие на солнце в лодке. Веселый, добродушный лоцман советовал не оставлять тарантас, а, сняв с него колеса, поставить на лодку. «Как раз уставится, и вам покойней сидеть будет. Даст бог погоду, дней в пяток до Астрахани добежим». Альбина сторговалась с лодочником и велела ему прийти в Покровскую слободу, на Логинов постоялый двор, чтобы посмотреть тарантас и получить задаток. Все удалось лучше, чем она ожидала. В самом восторженно-счастливом состоянии Альбина переехала Волгу и, разочтясь с извозчиком, направилась к постоялому двору.

XII

Казак Данило Лифанов был из Стрелецкого Умета на Общем Сырту. Ему было тридцать четыре года, и он отслуживал последний месяц своего срока казацкой службы. У него в семье был старик, девяностолетний дед, помнящий еще Пугачева, два брата, сноха старшего брата, за старую веру сосланного в каторгу в Сибирь, жена, две дочери и два сына. Отец его был убит на войне с французами. Он был старшим в доме. У них во дворе было шестнадцать коней, два цабана быков и было распахано и засеяно пшеницей своей вольной земли пятнадцать сотейников. Он, Данило, служил в Оренбурге, в Казани и теперь кончал срок. Он твердо держался старой веры, не курил, не пил и не ел из одной посуды с мирскими и также строго держался присяги. Во всех своих делах он был медлительно-твердо обстоятелен и на то, что ему поручено было делать от начальства, употреблял все свое внимание и не забывал ни на минуту, пока не исполнил всего, как он понимал, своего назначения. Теперь ему велено было проводить до Саратова двух полячек с гробами так, чтобы над ними дорогой ничего худого не сделали, чтобы они ехали смирно, никаких шалостей не делали, и в Саратове честь честью сдать их начальству. Так он и доставил их до Саратова и с собачонкой, и со всеми с гробами ихними. Бабы были смирные, ласковые, хотя и полячки, а ничего худого не делали. Но тут, в Покровской слободе, ввечеру, он, проходя мимо тарантаса, увидал, что собачонка вспрыгнула в тарантас и там стала визжать и хвостом махать, и из-под сиденья тарантаса ему показался чей-то голос. Одна из полячек, старая, увидав собачку в тарантасе, испугалась чего-то, схватила собачонку и унесла.

«Что-то тут есть», – подумал казак и стал примечать. Когда молодая полячка вышла ночью к тарантасу, он притворился, что спит, и явственно услышал мужской голос из ящика. Рано утром он пошел в полицию и заявил о том, что полячки, какие ему поручены, не добром едут, а вместо мертвых везут какого-то живого человека в ящике.

Когда Альбина в своем восторженно-веселом настроении, уверенная в том, что теперь все кончено и они через несколько дней будут свободны, подошла к постоялому двору, она с удивлением увидала у ворот щегольскую пару с пристяжкой на отлете и двух казаков. В воротах толпился народ, заглядывая во двор.

Она была так полна надежды и энергии, что ей и в голову не пришла

мысль о том, что эта пара и толпившийся народ имеют отношение к ней. Она вошла во двор и, в одно и то же время взглянув под тот навес, где стоял ее тарантас, увидала, что народ толпится именно около ее тарантаса, и в то же мгновение услышала отчаянный лай Трезорки. Случилось то самое ужасное, что только могло случиться. Перед тарантасом, блестя своим чистым мундиром, с сияющими на солнце пуговицами и полупогонами и лаковыми сапогами, стоял осанистый, с черными бакенбардами человек и говорил что-то громко, хриплым повелительным голосом. Перед ним, между двумя солдатами, в крестьянском наряде, с сеном в спутанных волосах, стоял ее Юзё и, как бы недоумевая о том, что вокруг него делалось, поднимал и опускал свои могучие плечи. Трезорка, не зная того, что он был причиной всего несчастья, оцетинившись, бесполезно озлобленно лаял на полицмейстера. Увидав Альбину, Мигурский вздрогнул, хотел подойти к ней, но солдаты удержали его.

– Ничего, Альбина, ничего! – проговорил Мигурский, улыбаясь своей кроткой улыбкой.

– А вот и барынька сама! – проговорил полицмейстер. – Пожалуйста сюда. Гробы ваших младенцев? А? – сказал он, подмигивая на Мигурского.

Альбина не отвечала и только, схватившись за грудь, раскрыв рот, с ужасом смотрела на мужа.

Как это бывает в предсмертные и вообще решительные в жизни минуты, она в одно мгновение перечувствовала и передумала бездну чувств и мыслей и вместе с тем не понимала еще, не верила своему несчастью. Первое чувство было знакомое ей давно – чувство оскорбленной гордости при виде ее героя-мужа, униженного перед теми грубыми, дикими людьми, которые держали его теперь в своей власти. «Как смеют они держать его, этого лучшего из всех людей, в своей власти?» Другое чувство, одновременно с этим охватившее ее, было сознание совершившегося несчастья. Сознание же несчастья вызвало в ней воспоминание о главном несчастье ее жизни, о смерти детей. И сейчас же возник вопрос: за что? за что отняты дети? Вопрос же: за что отняты дети? вызвал вопрос: за что теперь гибнет, мучается любимый, лучший из людей, ее муж? И тут же она вспомнила о том, какое ждет его позорное наказание, и то, что она, она одна виновата в этом.

– Кто он вам? Муж он вам? – повторил полицмейстер.

– За что, за что? – вскрикнула она и, закатившись истерическим хохотом, упала на снятый теперь с козел и стоявший у тарантаса ящик. Вся трясущаяся от рыданий, с залитым слезами лицом Лудвика подошла к ней.

– Паненка, милая паненка! Як бога кохам, ничего не будет, ничего, –

говорила она, бессмысленно водя по ней руками.

На Мигурского надели наручники и повели со двора. Увидав это, Альбина побежала за ним.

– Прости, прости меня, – говорила она. – Все я! Я одна виновата.

– Там разберут, кто виноват. И до вас дело дойдет, – сказал полицмейстер и рукою отстранил ее.

Мигурского повели к переправе, и Альбина, сама не зная, зачем она делала это, шла за ним и не слушала уговаривающую ее Лудвику.

Казак Данило Лифанов во все это время стоял у колес тарантаса и мрачно взглядывал то на полицмейстера, то на Альбину, то себе на ноги.

Когда Мигурского увели, оставшийся один Трезорка, махая хвостиком, стал ласкаться к нему. Он привык к нему во время дороги. Казак вдруг отклонился от тарантаса, сорвал с себя шапку, швырнул ее изо всех сил наземь, откинул ногой от себя Трезорку и пошел в харчевню. В харчевне он потребовал водки и пил день и ночь, пропил все, что было у него и на нем, и только на другую ночь, проснувшись в канаве, перестал думать о мучившем его вопросе: хорошо ли он сделал, донесся начальству о полячкином муже в ящике?

Мигурского судили и приговорили за побег к прогнанию сквозь тысячу палок. Его родные и Ванда, имевшая связи в Петербурге, выхлопотали ему смягчение наказания, и его сослали на вечное поселение в Сибирь. Альбина поехала за ним.

Николай же Павлович радовался тому, что задавил гидру революции не только в Польше, но и во всей Европе, и гордился тем, что он не нарушил заветов русского самодержавия и для блага русского народа удержал Польшу во власти России. И люди в звездах и золоченых мундирах так восхваляли его за это, что он искренно верил, что он великий человек и что жизнь его была великим благом для человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все его силы.

Божеское и человеческое

Это было в 70-х годах в России, в самый разгар борьбы революционеров с правительством.

Генерал-губернатор Южного края, здоровый немец с опущенными книзу усами, холодным взглядом и безвыразительным лицом, в военном сюртуке, с белым крестом на шее, сидел вечером в кабинете за столом с четырьмя свечами в зеленых абажурах и пересматривал и подписывал бумаги, оставленные ему правителем дел. «Генерал-адъютант такой-то», – выводил он с длинным росчерком и откладывал.

В числе бумаг был и приговор к смертной казни через повешение кандидата Новороссийского университета Анатолия Светлогуба за участие в заговоре, имеющем целью низвержение существующего правительства. Генерал, особенно нахмурившись, подписал и эту. Белыми, сморщенными от старости и мыла, выхоленными пальцами он аккуратно сровнял края листов и отложил в сторону. Следующая бумага касалась назначения сумм на перевозку провианта. Он внимательно читал эту бумагу, думая о том, верно или неверно высчитаны суммы, как вдруг ему вспомнился его разговор с своим помощником о деле Светлогуба. Генерал полагал, что найденный у Светлогуба динамит еще не доказывает его преступного намерения. Помощник же его настаивал на том, что, кроме динамита, было много улик, доказывающих то, что Светлогуб был главой шайки. И, вспомнив это, генерал задумался, и под его сюртуком с ватой на груди и крепкими, как картон, лацканами неровно забилося сердце. И он стал так тяжело дышать, что большой белый крест, предмет его радости и гордости, зашевелился на его груди. Можно еще воротить правителя дел и если не отменить, то отложить приговор.

«Воротить? Не воротить?»

Сердце еще неровнее забилося. Он позвонил. Скорым неслышным шагом вошел курьер.

– Иван Матвеевич уехал?

– Никак нет-с, ваше высокопревосходительство, в канцелярию изволили пройти.

Сердце генерала то останавливалось, то давало быстрые толчки. Он вспомнил предупреждение слушавшего на днях его сердце врача.

«Главное, – сказал врач, – как только почувствуете, что есть сердце, кончайте занятия, развлекайтесь. Хуже всего – волнения. Ни в коем случае

не допускайте себя до этого».

– Прикажете позвать?

– Нет, не надо, – сказал генерал. «Да, – сказал он сам себе, – нерешительность хуже всего волнует. Подписано – и кончено. Ein jeder macht sich sein Bett und muss d'rauf schlafen,^[15] – сказал он сам себе любимую пословицу. – Да и это меня не касается. Я исполнитель высшей воли и должен стоять выше таких соображений», – прибавил он, сдвигая брови, чтобы вызвать в себе жестокость, которой не было в его сердце.

И тут же ему вспомнилось его последнее свидание с государем, как государь, сделав строгое лицо и устремив на него свой стеклянный взгляд, сказал: «Надеюсь на тебя: как ты не жалел себя на войне, ты так же решительно будешь поступать в борьбе с красными – не дашь ни обмануть, ни испугать себя. Прощай!» И государь, обняв его, подставил ему свое плечо для поцелуя. Генерал вспомнил это и то, как он ответил государю: «Одно мое желание – отдать жизнь на служение своему государю и отечеству».

И, вспомнив чувство подобострастного умиления, которое он испытал перед сознанием своей самоотверженной преданности своему государю, он отогнал от себя смутившую его на мгновение мысль, подписал остальные бумаги и еще раз позвонил.

– Чай подан? – спросил он.

– Сейчас подадут, ваше высокопревосходительство.

– Хорошо, ступай.

Генерал глубоко вздохнул и, потирая рукой место, где было сердце, тяжелой походкой вышел в большую пустую залу и по свеженатертому паркету залы в гостиную, из которой слышались голоса.

У жены генерала были гости: губернатор с женой, старая княжна, большая патриотка, и гвардейский офицер, жених последней, незамужней дочери генерала.

Жена генерала, сухая, с холодным лицом и тонкими губами, сидя за низким столиком, на котором стоял чайный прибор с серебряным чайником на конфорке, фальшиво-грустным тоном рассказывала толстой молодящейся даме, жене губернатора, о своем беспокойстве за здоровье мужа.

– Всякий день новые и новые донесения открывают заговоры и всякие ужасные вещи... И это все ложится на Базиля, он должен все решать.

– Ах, не говорите! – сказала княжна. – Je deviens féroce quand je pense à cette maudite engeance.^[16]

– Да, да, ужасно! Верите ли, он работает двенадцать часов в сутки, и с его слабым сердцем. Я прямо боюсь...

Она не договорила, увидав входящего мужа.

– Да, вы непременно послушайте его. Барбини – удивительный тенор, – сказала она, приятно улыбаясь губернаторше, о вновь приехавшем певце так естественно, как будто они только об этом и говорили.

Дочь генерала, миловидная полная девушка, сидела с женихом в дальнем углу гостиной, за китайскими ширмочками. Она встала и вместе с женихом подошла к отцу.

– Каково, мы и не видались нынче! – сказал генерал, целуя дочь и пожимая руку ее жениху.

Поздоровавшись с гостями, генерал подсел к столику и разговорился с губернатором о последних новостях.

– Нет, нет, о делах не разговаривать, запрещено! – перебила речь губернатора жена генерала. – А вот, кстати, и Копьев; он нам что-нибудь веселое расскажет. Здравствуйте, Копьев.

И Копьев, известный весельчак и остряк, действительно рассказал последний анекдот, который рассмешил всех.

II

– Да нет, этого не может быть, не может, не может! Пустите меня! – кричала, взвизгивая, мать Светлогуба, вырываясь из рук учителя гимназии – товарища сына, и доктора, которые старались удержать ее.

Мать Светлогуба была не старая, миловидная женщина, с седеющими локонами и звездой морщинками от глаз. Учитель, товарищ Светлогуба, узнав о том, что смертный приговор подписан, хотел осторожно подготовить ее к страшному известию, но только что он начал говорить про ее сына, она по тону его голоса, по робости взгляда угадала, что случилось то, чего она боялась.

Это происходило в небольшом номере лучшей гостиницы города.

– Да что вы меня держите, пустите меня! – кричала она, вырываясь от доктора, старого друга их семьи, который одной рукой держал ее за худой локоть, другой ставил на овальный стол перед диваном склянку капель. Она рада была, что ее держат, потому что чувствовала, что ей надо что-то предпринять, – а что – она не знала и боялась себя.

– Успокойтесь. Вот, выпейте валерьяновых капель, – говорил доктор, подавая в рюмке мутную жидкость.

Она вдруг затихла и почти сложилась вдвое, склонив голову на впалую грудь, и, закрыв глаза, опустилась на диван.

И ей вспомнилось, как сын ее три месяца тому назад прощался с ней с таинственным и грустным лицом. Потом вспомнила она восьмилетнего мальчика в бархатной курточке, с голыми ножками и длинными выющимися колечками белокурых волос.

«И его, его, этого самого мальчика... сделают с ним это!»

Она вскочила, оттолкнула стол и вырвалась из рук доктора. Дойдя до двери, она опять упала на кресло.

– А они говорят – Бог есть! Какой он Бог, если он позволяет это! Черт его возьми, этого Бога! – кричала она, то рыдая, то закатываясь истерическим хохотом. – Повесят, повесят того, кто бросил все, всю карьеру, все состояние отдал другим, народу, все отдал, – говорила она, всегда прежде упрекавшая сына за это, теперь же выставлявшая перед собой заслугу его самоотречения. – И его, его, с ним сделают это! А вы говорите, что есть Бог! – вскрикнула она.

– Да я ничего не говорю, я только прошу вас выпить капли.

– Ничего не хочу. Ха-ха-ха! – хохотала и рыдала она, упиваясь своим

отчаянием.

К ночи она так измучилась, что не могла уже ни говорить, ни плакать, а только смотрела перед собой остановившимся, сумасшедшим взглядом. Доктор вспрыснул ей морфий, и она заснула.

Сон был без сновидений, но пробуждение было еще ужаснее. Ужаснее всего было то, что люди могли быть так жестоки, не только эти ужасные генералы с бритыми щеками и жандармы, но все, все: коридорная девушка, с спокойным лицом приходившая убирать комнату, и соседи в номере, которые весело встречались и о чем-то смеялись, как будто ничего не было.

III

Светлогуб второй месяц сидел в одиночном заключении и за это время пережил многое.

С детства Светлогуб бессознательно чувствовал неправду своего исключительного положения богатого человека, и, хотя старался заглушить в себе это сознание, ему часто, когда он встречался с нуждой народа, а иногда просто, когда самому было особенно хорошо и радостно, становилось совестно за тех людей – крестьян, стариков, женщин, детей, которые рождались, росли и умирали, не только не зная всех тех радостей, которыми он пользовался, не ценя их, но и не выходя из напряженного труда и нужды. Когда он кончил университет, чтобы освободиться от этого сознания своей неправоты, завел школу у себя в деревне, образцовую школу, лавку потребительного товарищества и приют для бездомных стариков и старух. Но, странное дело, ему, занимаясь этими делами, еще гораздо более было совестно перед народом, чем когда он ужинал с товарищами или заводил дорогую верховую лошадь. Он чувствовал, что все это было не то, и хуже, чем не то: тут было что-то дурное, нравственно нечистое.

В одном из таких состояний разочарования в своей деревенской деятельности он приехал в Киев и встретился с одним из наиболее близких товарищей по университету. Товарищ этот три года после этой встречи был расстрелян во рву киевской крепости.

Товарищ этот, горячий, увлекающийся и с огромными дарованиями человек, привлек его к участию в обществе, цель которого состояла в просвещении народа, вызове в нем сознания его прав и образования в нем объединенных кружков, стремящихся к освобождению себя от власти землевладельцев и правительства. Беседы с этим человеком и его друзьями как бы привели в ясное сознание все то, что до тех пор смутно чувствовалось Светлогубом. Он понял теперь, что ему надо было делать. Не прерывая сношений с новыми товарищами, он уехал в деревню и начал там совсем новую деятельность. Он сам стал школьным учителем, устроил классы для взрослых, читал им книги и брошюры, объяснял крестьянам их положение; кроме того, он издавал нелегальные народные книги и брошюры и отдавал все, что мог, не отнимая у матери, на устройство таких же центров по другим деревням.

С первых же шагов этой новой деятельности Светлогуб встретил два

неожиданных препятствия: одно в том, что большинство людей народа не только было равнодушно к его проповедям, но почти презрительно смотрело на него. (Понимали его и сочувствовали ему только исключительные личности и часто люди сомнительной нравственности.) Другое препятствие было со стороны правительства. Школа была запрещена ему, и у него и у близких ему людей были сделаны обыски и отобраны книги и бумаги.

Светлогуб мало обратил внимания на первое препятствие – равнодушие народа, так как был слишком возмущен вторым препятствием: притеснениями правительства, бессмысленными и оскорбительными. То же испытывали и его товарищи в своей деятельности и в других местах, и чувство раздражения против правительства, взаимно разжигаемое, дошло до того, что большая часть этого кружка решила силою бороться с правительством.

Главою этого кружка был некто Меженецкий – человек, как его считали все, непоколебимой силы воли, непобедимой логичности и весь преданный делу революции.

Светлогуб подчинился влиянию этого человека и с той же энергией, с которой он прежде работал в народе, отдался террористической деятельности.

Деятельность эта была опасна, но эта-то опасность более всего и привлекала Светлогуба.

Он говорил себе: «Победа или мученичество, а если и мученичество, то мученичество это та же победа, но только в будущем». И огонь, загоревшийся в нем, не только не потухал в продолжение семи лет его революционной деятельности, а все более и более разгорался, поддерживаемый любовью и уважением тех людей, среди которых он вращался.

Тому, что он отдал почти все свое состояние – состояние, перешедшее ему от отца, – на это дело, он не приписывал никакой важности, не приписывал и тем трудам и той нужде, которые он переносил часто в этой деятельности. Одно только огорчало его: это то горе, которое он доставлял этой деятельностью своей матери и той девушке, ее воспитаннице, которая жила с его матерью и любила его.

В последнее время мало любимый им и неприятный товарищ, террорист, преследуемый полицией, просил его спрятать у себя динамит. Светлогуб без колебания согласился именно потому, что не любил этого товарища, и на следующий день в квартире Светлогуба сделан был обыск и найден динамит. На все вопросы о том, как, откуда он приобрел динамит,

Светлогуб отказался отвечать.

И вот то мученичество, которое он ожидал, началось для него. В последнее время, когда столько друзей его было казнено, заключено, сослано, когда пострадало столько женщин, Светлогуб почти желал мученичества. И в первые минуты ареста и допросов он чувствовал особенное возбуждение, почти радость.

Он испытывал это чувство, когда его раздевали, обыскивали и когда ввели в тюрьму и заперли за ним железную дверь. Но когда прошел день, другой, третий, прошла неделя, другая, третья в грязной, сырой, наполненной насекомыми камере и в одиночестве и невольной праздности, прерываемой только перестукиваниями с товарищами заключенными, передававшими все недобрые и нерадостные вести, да изредка допросами холодных, враждебных людей, старавшихся выпытывать от него обвинения товарищей, нравственные силы его вместе с физическими постоянно ослабевали, и он только тосковал и желал, как он говорил себе, какого-нибудь конца этого мучительного положения. Тоска его увеличилась еще тем, что он усомнился в своих силах. На второй месяц своего заточения он стал заставлять себя на мысли сказать всю правду, только бы быть освобожденным. Он ужасался на свою слабость, но не находил уже в себе прежних сил и ненавидел, презирал себя и тосковал еще больше.

Самое же ужасное было то, что ему в заточении так жалко стало тех молодых сил и радостей, которыми он так легко жертвовал, пока был на воле, и которые ему теперь казались так обаятельны, что он раскаивался в том, что считал хорошим, раскаивался иногда во всей своей деятельности. Ему приходили мысли о том, как счастливо, хорошо он мог бы жить на свободе – в деревне, на воле, за границей, среди любимых и любящих друзей. Жениться на ней, а может быть, и на другой, и жить с ней простой, радостной, светлой жизнью.

IV

В один из мучительно однообразных дней заключения второго месяца смотритель при обычном обходе передал Светлогубу маленькую книжку с золоченым крестом на коричневом переплете, сказав, что тюрьму посетила губернаторша и оставила Евангелия, которые разрешено передать заключенным. Светлогуб поблагодарил и слегка улыбнулся, кладя книжку на привинченный к стене столик.

Когда смотритель ушел, Светлогуб переговорился стуками с соседями о том, что был смотритель и ничего не сказал нового, а только принес Евангелие, и сосед ответил, что и ему тоже.

После обеда Светлогуб раскрыл склеившуюся от сырости листами книжонку и стал читать. Светлогуб никогда еще, как книгу, не читал Евангелия. Все, что он знал о ней, было то, что в гимназии проходил законоучитель и что нараспев читали в церкви попы и дьяконы.

«Глава первая. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, Иссак родил Иакова, Иаков родил Иуду... – читал он. – Зоровавель родил Авиуда», – продолжал он читать. Все это было то самое, чего он ожидал: какая-то запутанная, ни на что не нужная бессмыслица. Если бы это было не в тюрьме, он не мог бы дочесть одной страницы, а тут он продолжал читать для процесса чтения. «Как гоголевский Петрушка», – подумал он про себя. Он прочел первую главу о рождении дево́й и о пророчестве, состоящем в том, что нарекут рожденному имя Эммануил, означающее «с нами Бог». «И в чем же тут пророчество?» – подумал он и продолжал читать. Он прочел и вторую главу – о ходячей звезде, и третью – об Иоанне, питающемся стрекозами, и четвертую – о каком-то дьяволе, предлагавшем Христу гимнастическое упражнение с крыши. Так все это казалось ему неинтересно, что, несмотря на скуку тюрьмы, он уже хотел закрыть книгу и начать обычное свое вечернее занятие – ловлю блох в снятой рубашке, как вдруг вспомнил, что на экзамене пятого класса гимназии он забыл одну из заповедей блаженства и розоволицый, кудрявый батюшка вдруг рассердился и поставил ему двойку. Он не мог вспомнить, какая была эта заповедь, и прочел блаженства. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное», – прочел он. «Это, пожалуй, и к нам относится», – подумал он. «Блаженны вы, когда будут поносить и гнать вас. Радуйтесь и веселитесь: так гнали и пророков, бывших прежде вас». «Вы – соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже

ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на поприще людям».

«Это совсем уж к нам относится», – подумал он и продолжал читать дальше. Прочтя всю пятую главу, он задумался: «Не сердитесь, не прелюбодействуйте, терпите зло, любите врагов».

«Да, если бы все так жили, – думал он, – и не нужно бы и революции». Читая дальше, он все больше и больше вникал в смысл тех мест книги, которые были вполне понятны. И чем дальше он читал, тем все больше и больше приходил к мысли, что в этой книге сказано что-то особенно важное. И важное, и простое, и трогательное, такое, чего он никогда не слышал прежде, но что как будто было давно знакомо ему.

«Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет свою душу ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе».

– Да, да, это самое! – вдруг вскрикнул он со слезами на глазах. – Это самое я и хотел делать. Да, хотел этого самого: именно, отдать душу свою; не сберечь, а отдать. В этом радость, в этом жизнь. «Многое я делал для людей, для славы людской, – думал он, – не славы толпы, а славы доброго мнения тех, кого я уважал и любил: Наташи, Дмитрия Шеломова, – и тогда были сомнения, было тревожно. Хорошо мне было только тогда, когда я делал только потому, что этого требовала душа, когда хотел отдать себя, всего отдать...»

С этого дня Светлогуб большую часть времени стал проводить за чтением и обдумыванием того, что было сказано в этой книге. Чтение это вызвало в нем не только умиленное состояние, которое выносило его из тех условий, в которых он находился, но и такую работу мысли, которой он прежде никогда не сознавал в себе. Он думал о том, почему люди, все люди не живут так, как сказано в этой книге. «Ведь жить так хорошо не одному, а всем. Только живи так – и не будет горя, нужды, будет одно блаженство. Только бы кончилось это, только бы быть мне опять на свободе, – думал он иногда, – выпустят же они меня когда-нибудь или сошлют в каторгу. Все равно, везде можно жить так. И буду жить так. Это можно и надо жить так, не жить так – безумие».

В один из тех дней, когда он находился в таком радостном, возбужденном состоянии, в камеру к нему вошел в необычное время смотритель и спросил, хорошо ли ему и не желает ли он чего. Светлогуб удивился, не понимая, что означает эта перемена, и попросил папирос, ожидая отказа. Но смотритель сказал, что он сейчас пришлет; и действительно, сторож принес ему пачку папирос и спички.

«Должно быть, кто-нибудь походатайствовал за меня», – подумал Светлогуб и, закулив папиросу, стал ходить взад и вперед по камере, обдумывая значение этой перемены.

На другой день его повели в суд. В помещении суда, где он уже бывал несколько раз, его не стали допрашивать. Но один из судей, не глядя на него, встал с своего кресла, встали и другие, и, держа в руках бумагу, стал читать громким, ненатурально невыразительным голосом.

Светлогуб слушал и смотрел на лица судей. Все они не смотрели на него и с значительными, унылыми лицами слушали.

В бумаге было сказано, что Анатолий Светлогуб за доказанное участие в революционной деятельности, имеющей целью ниспровержение, в более близком или далеком будущем, существующего правительства, приговаривается к лишению всех прав и к смертной казни через повешение.

Светлогуб слышал и понимал значение слов, произносимых офицером. Он заметил нелепость слов: в более близком или далеком будущем и лишения прав человека, приговоренного к смерти, но совершенно не понимал того значения, которое имело для него то, что было прочитано.

Только долго после того, как ему сказали, что он может идти и он вышел с жандармом на улицу, он начал понимать то, что ему было объявлено.

«Тут что-то не то, не то... Тут какая-то бессмыслица. Этого не может быть», – говорил он себе, сидя в карете, которая везла его назад в тюрьму.

Он чувствовал в себе такую силу жизни, что не мог представить себе смерти: не мог соединить сознания своего «я» с смертью, с отсутствием «я».

Вернувшись назад в свою тюрьму, Светлогуб сел на койку и, закрыв глаза, старался живо представить себе то, что его ожидает, и никак не мог этого сделать. Он никак не мог представить себе того, чтобы его не было,

не мог представить себе и того, чтобы люди могли желать убить его.

«Меня, молодого, доброго, счастливого, любимого столькими людьми, – думал он, – он вспомнил о любви к себе матери, Наташи, друзей, – меня убьют, повесят! Кто, зачем сделает это? И потом, что же будет, когда меня не будет? Не может быть», – говорил он себе.

Пришел смотритель. Светлогуб не слышал его входа.

– Кто это? Что вы? – проговорил Светлогуб, не узнавая смотрителя. – Ах да, это вы! Когда же это будет? – спросил он.

– Не могу знать, – сказал смотритель и, постояв молча несколько секунд, вдруг вкрадчивым, нежным голосом проговорил: – Тут наш батюшка желал бы... напут... желал бы видеть вас...

– Мне не надо, не надо, ничего не надо! Уйдите! – вскрикнул Светлогуб.

– Не нужно ли вам написать кому-нибудь? Это можно, – сказал смотритель.

– Да, да, пришлите. Я напишу.

Смотритель ушел.

«Стало быть, утром, – думал Светлогуб. – Они всегда так делают. Завтра утром меня не будет... Нет, этого не может быть, это сон».

Но пришел сторож, настоящий, знакомый сторож, и принес два пера, чернильницу, пачку почтовой бумаги и синеватых конвертов и поставил табуретку к столу. Все это было настоящее и не сон.

«Надо не думать, не думать. Да, да, писать. Напишу маме», – подумал Светлогуб, сел на табуретку и тотчас же начал писать.

«Милая, родная! – написал он и заплакал. – Прости меня, прости за все горе, которое я причинил тебе. Заблуждался я или нет, но я не мог иначе. Об одном прошу, прости меня». – «Да это я уже написал, – подумал он. – Ну, да все равно, теперь некогда переписывать». – «Не тужи обо мне, – писал он дальше. – Немного раньше, немного позже... разве не все равно? Я не боюсь и не раскаиваюсь в том, что делал. Я не мог иначе. Только ты прости меня. И не сердись на них – ни на тех, с которыми я работал, ни на тех, которые казнят меня. Ни те, ни другие не могли иначе: прости им, они не знают, что творят. Я не смею о себе повторять эти слова, но они у меня в душе и поднимают и успокаивают меня. Прости, целую твои милые сморщенные, старые руки! – Две слезы одна за другой капнули на бумагу и расплылись на ней. – Я плачу, но не от горя или страха, а от умиления перед самой торжественной минутой моей жизни и оттого, что люблю тебя. Друзей моих не упрекай, а люби. Особенно Прохорова, именно за то, что он был причиной моей смерти. Это так радостно любить того, кто не то что

виноват, но которого можно упрекать, ненавидеть. Поллюбить такого человека – врага – такое счастье! Наташе скажи, что ее любовь была моим утешением и радостью. Я не понимал этого ясно, но в глубине души признавал. Мне было легче жить, зная, что она есть и любит меня. Ну, сказал все. Прощай!»

Он перечел письмо и, в конце его прочтя имя Прохорова, вдруг вспомнил, что письмо могут прочесть, наверное прочтут, и это погубит Прохорова.

– Боже мой, что я наделал! – вдруг вскрикнул он и, разорвав письмо на длинные полосы, стал старательно сжигать их на лампе.

Он сел писать с отчаянием, а теперь чувствовал себя спокойным, почти радостным.

Он взял другой лист и тотчас же стал писать. Мысли одна за другой толпились в его голове.

«Милая, голубушка мама! – писал он, и опять глаза его затуманились слезами, и ему надо было вытирать их рукавом халата, чтобы видеть то, что он пишет. – Как я не знал себя, не знал всю силу той любви к тебе и благодарности, которая всегда жила в моем сердце! Теперь я знаю и чувствую, и когда вспоминаю наши размолвки, мои недобрые слова, сказанные тебе, мне больно и стыдно и почти непонятно. Прости же меня и вспоминай только то хорошее, если что было такого во мне.

Смерти я не боюсь. По правде сказать, не понимаю ее, не верю в нее. Ведь если есть смерть, уничтожение, то разве не все равно умереть тридцатью годами или минутами раньше или позже? Если же нет смерти, то уж совсем все равно, раньше или позже».

«Но что я философствую, – подумал он, – надо сказать то, что было в том письме, – что-то хорошее в конце. – Да». – «Друзей моих не упрекай, а люби, и особенно того, кто был причиной невольной моей смерти. Наташу поцелуй за меня и скажи ей, что я любил ее всегда».

Он сложил письмо, запечатал и сел на кровать, положив руки на колена и глотая слезы.

Он все не верил, что должен умереть. Несколько раз он, опять задавая себе вопрос, не спит ли он, тщетно старался проснуться. И эта мысль навела его на другую: о том, что и вся жизнь в этом мире не есть ли сон, пробуждение от которого будет смерть. А если это так, то сознание жизни в этом мире не есть ли только пробуждение от сна предшествующей жизни, подробности которой и я не помню? Так что жизнь здесь не начало, а только новая форма жизни. Умру и перейду в новую форму. Мысль эта понравилась ему; но когда он хотел опереться на нее, он почувствовал, что

эта мысль, да и всякая мысль, какая бы ни была, не может дать бесстрашие перед смертью. Наконец он устал думать. Мозг больше не работал. Он закрыл глаза и долго сидел так, не думая.

«Как же? Что же будет? – опять вспомнил он. – Ничего? Нет, не ничего. А что же?»

И ему вдруг совершенно ясно стало, что на эти вопросы для живого человека нет и не может быть ответа.

«Так зачем же я спрашиваю себя об этом? Зачем? Да, зачем? Не надо спрашивать, надо жить так, как я жил сейчас, когда писал это письмо. Ведь мы все приговорены давно, всегда, и живем. Живем хорошо, радостно, когда... любим. Да, когда любим. Вот я писал письмо, любил, и мне было хорошо. Так и надо жить. И можно жить везде и всегда, и на воле, и в тюрьме, и нынче, и завтра, и до самого конца».

Ему хотелось сейчас же ласково, любовно поговорить с кем-нибудь. Он постучал в дверь, и когда часовой заглянул к нему, он спросил его, который час и скоро ли он будет сменяться, но часовой ничего не ответил ему. Тогда он попросил позвать смотрителя. Смотритель пришел, спрашивая, что ему нужно.

– Вот, я написал письмо матери, отдайте, пожалуйста, – сказал он, и слезы выступили ему на глаза при воспоминании о матери.

Смотритель взял письмо и, обещая передать его, хотел уходить, но Светлогуб остановил его.

– Послушайте, вы добрый. Зачем вы служите в этой тяжелой должности? – сказал он, ласково трогая его за рукав.

Смотритель неестественно жалостно улыбнулся и, опустив глаза, сказал:

– Надо же жить.

– А вы оставьте эту должность. Ведь всегда можно устроиться. Вы такой добрый. Может быть, я бы мог...

Смотритель вдруг всхлипнул, быстро повернулся и вышел, хлопнув дверью.

Волнение смотрителя еще больше умилило Светлогуба, и, удерживая радостные слезы, он стал ходить от стены до стены, не испытывая теперь уже никакого страха, а только умиленное состояние, поднимавшее его выше мира.

Тот самый вопрос, что будет с ним после смерти, на который он так старался и не мог ответить, казался разрешенным для него и не каким-либо положительным, рассудочным ответом, а сознанием той истинной жизни, которая была в нем.

И он вспомнил слова Евангелия: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». «Вот и я упадаю в землю. Да, истинно, истинно», – думал он.

«Заснуть бы, – вдруг подумал он, – чтобы не ослабеть потом». Он лег на койку, закрыл глаза и тотчас же заснул.

Он проснулся в шесть часов утра, весь под впечатлением светлого, веселого сновидения. Он видел во сне, что он с какой-то маленькой белокурой девочкой лазает по развесистым деревьям, осыпанным спелыми черными черешнями, и собирает в большой медный таз. Черешни не попадают в таз и сыплются на землю, и какие-то странные животные, вроде кошек, ловят черешни и подбрасывают кверху и опять ловят. И, глядя на это, девочка заливается, хохочет так заразительно, что и Светлогуб тоже весело смеется во сне, сам не зная чему. Вдруг медный таз выскальзывает из рук девочки, Светлогуб хочет поймать его, но не успевает, и таз с медным грохотом, толкаясь о сучья, падает на землю. И он просыпается, улыбаясь и слушая продолжающийся грохот таза. Грохот этот есть звук отворяемых железных запоров в коридоре. Слышны шаги по коридору и бряканье ружей. Он вдруг вспоминает все. «Ах, если бы заснуть опять!» – думает Светлогуб, но заснуть уже нельзя. Шаги подошли к его двери. Он слышит, как ключ ищет замка и как, отворяясь, скрипит дверь.

Вошли жандармский офицер, смотритель и конвой.

«Смерть? Ну, так что же? Уйду. Да, это хорошо. Все хорошо», – думает Светлогуб, чувствуя, как возвращается к нему то умиленно-торжественное состояние, в котором он был вчера.

VI

В той же тюрьме, где содержался Светлогуб, содержался и старик раскольник, беспоповец, усомнившийся в своих руководителях и искавший истинную веру. Он отрицал не только никонианскую церковь, но и правительство со времени Петра, которого считал антихристом, царскую власть называл «табачной державой» и смело высказывал то, что думал, обличая попов и чиновников, за что и был судим и содержим в остроге и пересылаем из одной тюрьмы в другую. То, что он не на воле, а в тюрьме, что над ним ругались смотрители, что на него надевали кандалы, что над ним издевались сотоварищи узники, что все они, так же как и начальство, отреклись от Бога и ругались друг над другом и оскверняли всячески в себе образ Божий, – все это не занимало его, все это он видел везде в мире, когда был на воле. Все это, он знал, происходило оттого, что люди потеряли истинную веру и все разбрелись, как слепые щенята от матери. А между тем он знал, что истинная вера есть. Знал он это потому, что чувствовал эту веру в своем сердце. И он искал эту веру везде. Больше всего он надеялся найти ее в откровении Иоанна.

«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се грядущее скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». И он постоянно читал эту таинственную книгу и всякую минуту ждал «грядущего», который не только воздаст каждому по делам его, но и откроет всю божескую истину людям.

В утро казни Светлогуба он услышал барабаны и, влезши на окно, увидал через решетку, как подвезли колесницу и как вышел из тюрьмы юноша с светлыми очами и вьющимися кудрями и, улыбаясь, взошел на колесницу. В небольшой белой руке юноши была книга. Юноша прижимал к сердцу книгу, – раскольник узнал, что это было Евангелие, – и, кивая в окна заключенным, улыбаясь, переглянулся с ним. Лошади тронулись, и колесница с сидевшим в ней светлым, как ангел, юношей, окруженная стражниками, громяхая по камням, выехала за ворота.

Раскольник слез с окна, сел на свою койку и задумался. «Этот познал истину, – думал он. – Антихристовы слуги затем и задавят его веревкой, чтоб не открыл никому».

VII

Было пасмурное осеннее утро. Солнца не видно было. С моря дул влажный теплый ветер.

Свежий воздух, вид домов, города, лошадей, людей, смотревших на него, – все это развлекало Светлогуба. Сидя на скамейке колесницы, спиною к кучеру, он невольно вглядывался в лица конвоирующих его солдат и встречавшихся жителей.

Был ранний час утра, улицы, по которым его везли, были почти пусты, и встречались только рабочие. Обрызганные известкой каменщики в фартуках, поспешно шедшие ему навстречу, остановились и вернулись назад, равняясь с колесницей. Один из них что-то сказал, махнул рукой, и все они повернулись и пошли назад к своему делу; извозчики-ломовики, везущие гремящие полосы железа, своротив своих крупных лошадей, чтобы дать дорогу колеснице, остановились и с недоумевающим любопытством смотрели на него. Один из них снял шапку и перекрестился. Кухарка в белом фартуке и чепчике, с корзинкой в руке, вышла из ворот, но, увидав колесницу, быстро вернулась во двор и выбежала оттуда с другой женщиной, и обе, не переводя дыхания, широко раскрытыми глазами проводили колесницу до тех пор, пока могли видеть ее. Какой-то растерзанно одетый, небритый седоватый человек что-то, очевидно, неодобрительное, с энергическими жестами внушал дворнику, указывая на Светлогуба. Два мальчика рысью догнали колесницу и с повернутыми головами, не глядя перед собой, шагали рядом с ней по тротуару. Один, постарше, шел быстрыми шагами; другой, маленький, без шапки, держась за старшего и испуганно глядя на колесницу, короткими ножонками с трудом, спотыкаясь, поспевал за старшим. Встретившись с ним глазами, Светлогуб кивнул ему головой. Этот жест страшного человека, везомого на колеснице, так смутил мальчика, что он, выпучивши глаза и раскрыв рот, собрался плакать. Тогда Светлогуб, поцеловав свою руку, ласково улыбнулся ему. И мальчик вдруг неожиданно ответил милой, доброй улыбкой.

Во все время переезда сознание того, что ожидает его, не нарушало спокойно-торжественного настроения Светлогуба.

Только когда колесница подъехала к виселице и его свели с нее и он увидал столбы с перекладиной и слегка качавшейся на ней от ветра веревкой, он почувствовал как будто физический удар в сердце. Ему вдруг

стало тошно. Но это продолжалось недолго. Вокруг помоста он увидел черные ряды солдат с ружьями. Впереди солдат ходили офицеры. И как только его стали сводить с колесницы, раздался неожиданный, заставивший его вздрогнуть треск барабанной дроби. Позади рядов солдат Светлогуб увидел коляски господ и дам, очевидно приехавших смотреть на зрелище. Вид всего этого в первую минуту удивил Светлогуба, но тотчас же он вспомнил себя, какой он был до тюрьмы, и ему стало жалко того, что люди эти не знают, что он знал теперь. «Но они узнают. Я умру, но истина не умрет. Они будут знать. И как все – уж не я, а все они могли бы быть и будут счастливыми».

Его ввели на помост, и вслед за ним вошел офицер. Барабаны замолкли, и офицер прочел ненатуральным голосом, особенно слабо звучащим среди широкого поля и после треска барабанов, тот глупый смертный приговор, который ему читали на суде: о лишении прав того, кого убивают, и о близком и далеком будущем. «Зачем, зачем они делают все это? – думал Светлогуб. – Как жалко, что они еще не знают и что я уже не могу передать им всего, но они узнают. Все узнают».

К Светлогубу подошел худощавый, с длинными редкими волосами священник в лиловой рясе, с одним небольшим золоченым крестом на груди и с другим большим серебряным крестом, который он держал в слабой, белой, жилистой, худой руке, выступавшей из черно-бархатного обшлага.

– Милосердный Господь, – начал он, перекладывая крест из левой руки в правую и поднося его к Светлогубу.

Светлогуб вздрогнул и отстранился. Он чуть было не сказал недоброго слова священнику, участвующему в совершаемом над ним деле и говорящему о милосердии, но, вспомнив слова Евангелия: «Не знают, что творят», сделал усилие и робко проговорил:

– Извините, мне не надо этого. Пожалуйста, простите меня, но мне, право, не надо! Благодарю вас.

Он протянул священнику руку. Священник переложил опять крест в левую руку и, пожав руку Светлогуба, стараясь не смотреть ему в лицо, спустился с помоста. Барабаны опять затрещали, заглушая все другие звуки. Вслед за священником, колебля доски помоста, быстрыми шагами подошел к Светлогубу среднего возраста человек с покатыми плечами и мускулистыми руками, в пиджаке сверх русской рубахи. Человек этот, быстро оглянув Светлогуба, совсем близко подошел к нему и, обдав его неприятным запахом вина и пота, схватил его цепкими пальцами за руки выше кисти и, сжав их так, что стало больно, загнул их ему за спину и туго

завязал. Завязав руки, палач на минуту остановился, как бы соображая и взглядывая то на Светлогуба, то на какие-то вещи, которые он принес с собой и положил на помосте, то на висевшую на перекладине веревку. Сообразив то, что ему нужно было, он подошел к веревке, что-то сделал с ней, подвинул Светлогуба вперед ближе к веревке и обрыву помоста.

Как при объявлении смертного приговора Светлогуб не мог понять всего значения того, что объявлялось ему, так и теперь он не мог обнять всего значения предстоящей минуты и с удивлением смотрел на палача, поспешно, ловко и озабоченно исполняющего свое ужасное дело. Лицо палача было самое обыкновенное лицо русского рабочего человека, не злое, но сосредоточенное, какое бывает у людей, старающихся как можно точнее исполнить нужное и сложное дело.

– Еще сюда вот подвинься... или подвиньтесь... – проговорил хриплым голосом палач, толкая его к виселице. Светлогуб подвинулся.

«Господи, помоги, помилуй меня!» – проговорил он.

Светлогуб не верил в Бога и даже часто смеялся над людьми, верящими в Бога. Он и теперь не верил в Бога, не верил потому, что не мог не только словами выразить, но мыслью обнять его. Но то, что он разумел теперь под тем, к кому обращался, – он знал это, – было нечто самое реальное из всего того, что он знал. Знал и то, что обращение это было нужно и важно. Знал это потому, что обращение это тотчас успокоило, укрепило его.

Он подвинулся к виселице и, невольно окинув взглядом ряды солдат и пестрых зрителей, еще раз подумал: «Зачем, зачем они делают это?» И ему стало жалко и их и себя, и слезы выступили ему на глаза.

– И не жалко тебе меня? – сказал он, уловив взгляд бойких серых глаз палача.

Палач на минуту остановился. Лицо его вдруг сделалось злое.

– Ну вас! Разговаривать! – пробормотал он и быстро нагнулся к полу, где лежала его поддевка и какое-то полотно, и, ловким движением обеих рук сзади обняв Светлогуба, накиннул ему на голову холстинный мешок и поспешно обдернул его до половины спины и груди.

«В руки твои предаю дух мой», – вспомнил Светлогуб слова Евангелия.

Дух его не противился смерти, но сильное, молодое тело не принимало ее, не покорялось и хотело бороться.

Он хотел крикнуть, рвануться, но в то же мгновение почувствовал толчок, потерю точки опоры, животный ужас задыхания, шум в голове и исчезновение всего.

Тело Светлогуба, качаясь, повисло на веревке. Два раза поднялись и опустились плечи.

Подождав минуты две, палач, мрачно хмурясь, положил руки на плечи труп и сильным движением потянул его. Все движения трупа прекратились, кроме медленного покачивания висевшей в мешке куклы с неестественно выпяченной вперед головой и вытянутыми в арестантских чулках ногами.

Сходя с помоста, палач объявил начальнику, что труп можно снять с петли и похоронить.

Через час труп был снят с виселицы и отвезен на неосвященное кладбище.

Палач исполнил то, что хотел и что взялся исполнить. Но исполнение это было нелегко. Слова Светлогуба: «И не жалко тебе меня?» – не выходили у него из головы. Он был убийца, каторжник, и звание палача давало ему относительную свободу и роскошь жизни, но с этого дня он отказался впредь исполнять взятую на себя обязанность и в ту же неделю пропил не только все деньги, полученные за казнь, но и всю свою относительно богатую одежду, и дошел до того, что был посажен в карцер, а из карцера переведен в больницу.

VIII

Один из главарей революционеров террористической партии, Игнатий Меженецкий, тот самый, который увлек Светлогуба в террористическую деятельность, пересылался из губернии, где его взяли, в Петербург. В той же тюрьме сидел и старик раскольник, видевший казнь Светлогуба. Его пересылали в Сибирь. Он все так же думал о том, как и где бы ему узнать, в чем истинная вера, и иногда вспоминал про того светлого юношу, который, идя на смерть, радостно улыбался.

Узнав, что в одной с ним тюрьме сидит товарищ этого юноши, человек одной с ним веры, раскольник обрадовался и упросил вахтера, чтобы он свел его к другу Светлогуба.

Меженецкий, несмотря на все строгости тюремной дисциплины, не переставал сноситься с людьми своей партии и ждал каждый день известия о том подкопе, который им же был выдуман и придуман для взрыва на воздух царского поезда. Теперь, вспоминая некоторые упущенные им подробности, он придумывал средства передать их своим единомышленникам. Когда вахтер пришел в его камеру и осторожно, тихо сказал ему, что один арестант хочет видеться с ним, он обрадовался, надеясь, что это свидание даст ему возможность сообщения с своей партией.

– Кто он? – спросил он.

– Из крестьян.

– Что ж ему нужно?

– Об вере говорить хочет.

Меженецкий улыбнулся.

– Ну, что же, пошлите его, – сказал он. «Они, раскольники, тоже ненавидят правительство. Может быть, и пригодится», – подумал он.

Вахтер ушел и через несколько минут, отворив дверь, впустил в камеру сухого, невысокого старика, с густыми волосами и редкой седеющей козлиной бородкой, с добрыми, усталыми голубыми глазами.

– Что вам надо? – спросил Меженецкий.

Старик вскинул на него глазами и, поспешно опустив их, подал небольшую, энергическую, сухую руку.

– Что вам надо? – повторил Меженецкий.

– Слово до тебя есть.

– Какое слово?

– Об вере.

– О какой вере?

– Сказывают, ты одной веры с тем вьюношем, что в Одесте антихристовы слуги задавили веревкой.

– Каким юношей?

– А в Одесте по осени задавили.

– Верно, Светлогуб?

– Он самый. Друг он тебе? – старик при каждом вопросе пытливо взглядывал своими добрыми глазами в лицо Меженецкого и тотчас опять опускал их.

– Да, близкий был мне человек.

– И веры одной?

– Должно быть, одной, – улыбаясь, сказал Меженецкий.

– Об этом самом и слово мое к тебе.

– Что же, собственно, вам нужно?

– Веру вашу познать.

– Веру нашу... Ну, садитесь, – сказал Меженецкий, пожимая плечами. – Вера наша вот в чем. Верим мы в то, что есть люди, которые забрали силу и мучают и обманывают народ, и что надо не жалеть себя, бороться с этими людьми, чтобы избавить от них народ, который они эксплуатируют, – по привычке сказал Меженецкий, – мучают, – поправился он. – И вот их-то надо уничтожить. Они убивают, и их надо убивать до тех пор, пока они не опомнятся.

Старик раскольник вздыхал, не поднимая глаз.

– Вера наша в том, чтобы не жалеть себя, свергнуть деспотическое правительство и установить свободное, выборное, народное.

Старик тяжело вздохнул, встал, расправил полы халата, опустился на колени и лег к ногам Меженецкого, стукнувшись лбом о грязные доски пола.

– Зачем вы кланяетесь?

– Не оманывай ты меня, открой, в чем вера ваша, – сказал старик, не вставая и не поднимая головы.

– Я сказал, в чем наша вера. Да вы встаньте, а то я и говорить не буду.

Старик поднялся.

– В том и вера того юноши была? – сказал он, стоя перед Меженецким и изредка взглядывая ему в лицо своими добрыми глазами и тотчас же опять опуская их.

– В том самом и была, за то его и повесили. А меня вот за ту же веру теперь в Петропавловку везут.

Старик поклонился в пояс и молча вышел из камеры.

«Нет, не в том вера того юноши, – думал он. – Тот юнош знал истинную веру, а этот либо хвастался, что он одной с ним веры, либо не хочет открыть... Что же, буду добиваться. И здесь, и в Сибири. Везде Бог, везде люди. На дороге стал, о дороге спрашивай», – думал старик и опять взял Новый Завет, который сам собой раскрывался на Откровении, и, надев очки, сел у окна и стал читать его.

IX

Прошло еще семь лет. Меженецкий отбыл одиночное заключение в Петропавловской крепости и пересылался на каторгу.

Он много перенес за эти семь лет, но направление его мыслей не изменилось, и энергия не ослабела. При допросах, перед заключением в крепость, он удивлял следователей и судей своей твердостью и презрительным отношением к тем людям, во власти которых он находился. В глубине души он страдал оттого, что был пойман и не мог докончить начатого дела, но не показывал этого: как только он приходил в соприкосновение с людьми, в нем поднималась энергия злобы. На вопросы, которые ему делали, он молчал и только тогда говорил, когда был случай уязвить допрашивающих – жандармского офицера или прокурора.

Когда ему сказали обычную фразу: «Вы можете облегчить свое положение искренним признанием», он презрительно улыбнулся и, помолчав, сказал:

– Если вы думаете выгодой или страхом заставить меня выдать товарищей, то судите по себе. Неужели вы думаете, что, делая то дело, за которое вы меня судите, я не готовился к самому худшему? Так вы ничем ни удивить, ни испугать меня не можете. Делать со мной можете, что хотите, а говорить я не буду.

И ему приятно было видеть, как они смущенно переглянулись между собой.

Когда его в Петропавловской крепости поместили в маленькую, с темным стеклом в высоком окне, сырую камеру, он понял, что это не на месяцы, а на годы, – и на него нашел ужас. Ужасна была эта благоустроенная мертвая тишина и сознание того, что он не один, а что тут, за этими непроницаемыми стенами, сидят такие же узники, приговоренные на десять, двадцать лет, убивающиеся, и вешаемые, и сходящие с ума, и медленно умирающие чахоткой. Тут и женщины, и мужчины, и друзья, может быть... «Пройдут годы, и ты так же сойдешь с ума, повесишься или умрешь, и не узнают про тебя», – думал он.

И в душе его поднималась злоба на всех людей и в особенности на тех, которые были причиной его заключения. Злоба эта требовала присутствия предметов злобы, требовала движения, шума. А тут мертвая тишина, мягкие шаги молчаливых, не отвечающих на вопросы людей, звуки отпираемых, запираемых дверей, в обычные часы пища, посещение

молчаливых людей и сквозь тусклые стекла свет от поднимающегося солнца, темнота и та же тишина, те же мягкие шаги, и одни и те же звуки. Так нынче, завтра... И злоба, не находя себе выхода, разъедала его сердце.

Пробовал он стучать, но ему не отвечали, и стук его вызывал только опять те же мягкие шаги и ровный голос человека, угрожавшего карцером.

Единственное время отдыха и облегчения было время сна. Но зато ужасно было пробуждение. Во сне он всегда видел себя на свободе и большей частью увлекающимся такими делами, которые он считал несогласными с революционной деятельностью. То он играл на какой-то странной скрипке, то ухаживал за девицами, то катался в лодке, то ходил на охоту, то за какое-то странное научное открытие был провозглашен доктором иностранного университета и говорил благодарственную речь за обедом. Сны эти были так яркие, а действительность так скучна и однообразна, что воспоминания мало отличались от действительности.

Тяжело было в сновидениях только то, что большей частью он просыпался в тот момент, когда вот-вот должно было совершиться то, к чему он стремился, чего желал. Вдруг толчок сердца – и вся радостная обстановка исчезала; оставалось мучительное, неудовлетворенное желание, опять эта с разводами сырости серая стена, освещенная лампочкой, и под телом жесткая койка с примятым на один бок сенником.

Сон был лучшим временем. Но чем дольше продолжалось заключение, тем меньше он спал. Как величайшего счастья он ждал сна, желая его, и чем больше желал, тем больше разгуливался. И стоило ему задать себе вопрос: «Засыпаю ли я?» – и проходила вся сонливость.

Беганье, прыганье по своей клетке не помогало. От усиленного движения только делалась слабость и еще большее возбуждение нервов, делалась головная боль в темени, и стоило только закрыть глаза, чтобы на темном с блестками фоне стали выступать рожи лохматые, плешивые, большеротые, криворотые, одна страшнее другой. Рожи гримасничали самыми ужасными гримасами. Потом рожи стали являться уже при открытых глазах, и не только рожи, но целые фигуры, стали говорить и плясать. Становилось страшно, он вскакивал, бился головой о стену и кричал. Форточка в двери отворялась.

– Кричать не полагается, – говорил спокойный, ровный голос.

– Позовите смотрителя! – кричал Меженецкий. Ему ничего не отвечали, и форточка закрывалась. И такое отчаяние охватывало Меженецкого, что он одного желал – смерти.

Один раз в таком состоянии он решил лишить себя жизни. В камере был душник, на котором можно было утвердить веревку с петлею и, став на

койку, повеситься. Но не было веревки. Он стал разрывать простыню на узкие полосы, но полос этих оказалось мало. Тогда он решил заморить себя голодом и не ел два дня, но на третий день ослабел, и припадок галлюцинаций повторился с ним с особенной силой. Когда принесли ему пищу, он лежал на полу без чувств, с открытыми глазами.

Пришел доктор, положил его на койку, дал ему бром и морфину, и он заснул.

Когда на другой день он проснулся, доктор стоял над ним и покачивал головой. И вдруг Меженецкого охватило знакомое ему прежде бодрящее чувство злобы, которого он давно уже не испытывал.

– Как вам не стыдно, – сказал он доктору в то время, как тот, наклонив голову, считал его пульс, – служить здесь! Зачем вы меня лечите, чтобы опять мучить? Ведь это все равно как присутствовать при сечении и разрешать повторить операцию.

– Потрудитесь на спинку лечь, – сказал невозмутимо доктор, не глядя на него и доставая инструмент для оскультации из бокового кармана.

– Те залечивали раны, чтобы догнать остальные пять тысяч палок. К черту, к дьяволу! – вдруг закричал он, скидывая ноги с койки. – Убирайтесь, издохну без вас!

– Нехорошо, молодой человек, на грубости есть у нас свои ответы.

– К черту, к черту!

И Меженецкий был так страшен, что доктор поспешил уйти.

Произошло ли это от приемов лекарств, или он пережил кризис, или поднявшаяся злоба на доктора вылечила его, но с этой поры он взял себя в руки и начал совсем другую жизнь.

«Вечно держать меня здесь они не могут и не станут, – думал он. – Освободят же когда-нибудь. Может быть, – что всего вероятнее, – изменится режим (наши продолжают работать), и потому надо беречь жизнь, чтобы выйти сильным, здоровым и быть в состоянии продолжать работу».

Он долго обдумывал наилучший для этой цели образ жизни и придумал так: ложился он в девять часов и заставлял себя лежать – спать или не спать, все равно – до пяти часов утра. В пять часов он вставал, убирался, умывался, делал гимнастику и потом, как он себе говорил, шел по делам. И в воображении он шел по Петербургу, с Невского на Надеждинскую, стараясь представлять себе все то, что могло встретиться ему на этом переходе: вывески, дома, городовые, встречающиеся экипажи и пешеходы. В Надеждинской он входил в дом своего знакомого и сотрудника, и там они, вместе с пришедшими товарищами, обсуживали предстоящее предприятие. Шли прения, споры. Меженецкий говорил и за себя и за других. Иногда он говорил вслух, так что часовой в окошечко делал ему замечания, но Меженецкий не обращал на него никакого внимания и продолжал свой воображаемый петербургский день. Пробыв часа два у приятеля, он возвращался домой и обедал, сначала в воображении, а потом в действительности, тем обедом, который ему приносили, и ел всегда умеренно. Потом он, в воображении, сидел дома и занимался то историей, математикой и иногда, по воскресеньям, литературой. Занятие историей состояло в том, что он, избрав какую-нибудь эпоху и народ, вспоминал факты и хронологию. Занятие математикой состояло в том, что он делал наизусть выкладки и геометрические задачи. (Он особенно любил это занятие.) По воскресеньям он вспоминал Пушкина, Гоголя, Шекспира и сам сочинял.

Перед сном он еще делал маленькую экскурсию, в воображении ведя с товарищами, мужчинами и женщинами, шуточные, веселые, иногда серьезные разговоры, иногда бывшие прежде, иногда вновь выдумываемые. И так шло дело до ночи. Перед сном он для упражнения делал в действительности две тысячи шагов в своей клетке и ложился на свою

койку и большей частью засыпал.

На другой день было то же. Иногда он ехал на юг и подговаривал народ, начинал бунт и вместе с народом прогонял помещиков, раздавал землю крестьянам. Все это, однако, он воображал себе не вдруг, а постепенно, со всеми подробностями. В воображении его революционная партия везде торжествовала, правительственная власть слабела и была вынуждена созвать собор. Царская фамилия и все угнетатели народа исчезали, и устанавливалась республика, и он, Меженецкий, избирался президентом. Иногда он слишком скоро доходил до этого, и тогда начинал опять сначала и достигал цели другим способом.

Так он жил год, два, три, иногда отступая от этого строгого порядка жизни, но большей частью возвращаясь к нему. Управляя своим воображением, он освободился от произвольных галлюцинаций. Только изредка на него находили припадки бессонницы и видения, рожи, и тогда он глядел на отдушник и соображал, как он укрепит веревку, как сделает петлю и повесится. Но припадки эти продолжались недолго. Он преодолевал их.

Так прожил он почти семь лет. Когда срок его заключения кончился и его повезли на каторгу, он был вполне свеж, здоров и в полном обладании своих душевных сил.

Везли его, как особенно важного преступника, одного, не давая ему сообщаться с другими. И только в красноярской тюрьме ему в первый раз удалось войти в общение с другими политическими преступниками, тоже сосланными на каторгу; их было шесть человек – две женщины и четверо мужчин. Это были все молодые люди нового склада, незнакомого Меженецкому. Это были революционеры следующего за ним поколения, его наследники, и потому они особенно интересовали его. Меженецкий ожидал встретить в них людей, идущих по его стопам и потому долженствующих высоко оценить все то, что было сделано их предшественниками, особенно им, Меженецким. Он готовился ласково и снисходительно обойтись с ними. Но, к неприятному удивлению его, эта молодежь не только не считала его своим предшественником и учителем, но обращалась с ним как бы снисходительно, обходя и извиняя его устарелые взгляды. По мнению их, этих новых революционеров, все то, что делал Меженецкий и его друзья, все попытки возмущения крестьян и, главное, террор и все убийства: губернатора Кропоткина, Мезенцова и самого Александра II – все это был ряд ошибок. Все это привело только к реакции, торжествовавшей при Александре III и вернувшей общество назад, почти к крепостному праву. Путь освобождения народа, по мнению новых, был совсем иной.

В продолжение двух дней и почти двух ночей не переставали споры между Меженецким и его новыми знакомыми. Особенно один, руководитель всех, Роман, как его все звали только по имени, мучительно огорчал Меженецкого непоколебимой уверенностью в своей правоте и снисходительным, даже насмешливым отрицанием всей прошедшей деятельности Меженецкого и его товарищей.

Народ, по понятию Романа, грубая толпа, «быдло», и с народом, стоящим на той степени развития, на которой он стоит теперь, ничего сделать нельзя. Все попытки поднять русское сельское население – это все равно что пытаться зажечь камень или лед. Нужно воспитать народ, нужно приучить его к солидарности, и это может сделать только большая промышленность и выросшая на ней социалистическая организация народа. Земля не только не нужна народу, но она-то и делает его консерватором и рабом. Не только у нас, но и в Европе. И он на память приводил мнения авторитетов и статистические цифры. Народ надо

освободить от земли. И чем скорее это сделается, тем лучше. Чем больше их идут на фабрики, и чем больше забирают в руки землю капиталисты, и чем больше угнетают их, тем лучше. Уничтожится деспотизм, а главное капитализм, может только солидарностью людей народа, а солидарность эта может быть достигнута только союзами, корпорациями рабочих, то есть только тогда, когда народные массы перестанут быть земельными собственниками и станут пролетариями.

Меженецкий спорил и горячился. Особенно раздражала его одна из женщин, недурная волосатая брюнетка с очень блестящими глазами, которая, сидя на окне и как будто не принимая прямого участия в разговоре, изредка вставляла словечки, подтверждавшие доводы Романа, или только презрительно посмеивалась на слова Меженецкого.

– Разве можно переделать весь земледельческий народ в фабричный? – говорил Меженецкий.

– Отчего же нельзя? – возражал Роман. – Это общий экономический закон.

– Почему мы знаем, что закон это всеобщий? – говорил Меженецкий.

– Прочтите Каутского, – презрительно улыбаясь, вставила брюнетка.

– Если и допустить, – говорил Меженецкий, – (я не допускаю этого) что народ переделается в пролетариев, то почему вы думаете, что он сложится в ту, вперед предназначенную ему вами форму?

– Потому что это научно обосновано, – вставляла брюнетка, поворачиваясь от окна.

Когда же речь зашла о форме деятельности, которая нужна для достижения цели, разногласие стало еще больше. Роман и его друзья стояли на том, что нужно подготавливать армию рабочих, содействовать переходу крестьян в фабричных и пропагандировать социализм среди рабочих. И не только не бороться открыто с правительством, а пользоваться им для достижения своих целей. Меженецкий же говорил, что надо прямо бороться с правительством, терроризировать его, что правительство и сильнее, и хитрее вас. «Не вы обманете правительство, а оно вас. Мы и пропагандировали народ, и боролись с правительством».

– И как много сделали! – иронически проговорила брюнетка.

– Да, я думаю, что прямая борьба с правительством – неправильная трата сил, – сказал Роман.

– Первое марта трата сил! – закричал Меженецкий. – Мы жертвовали собой, жизнями, а вы спокойно сидите по домам, наслаждаясь жизнью, и только проповедуете.

– Не очень-то наслаждаемся жизнью, – спокойно сказал Роман,

оглядываясь на своих товарищей, и победоносно расхохотался своим незаразительным, но громким, отчетливым, самоуверенным смехом.

Брюнетка, покачивая головой, презрительно улыбалась.

– Не очень-то наслаждаемся жизнью, – сказал Роман. – А если и сидим здесь, то обязаны этим реакции, а реакция – произведение именно первого марта.

Меженецкий замолчал. Он чувствовал, что задыхается от злобы, и вышел в коридор.

XII

Стараясь успокоиться, Меженецкий стал ходить взад и вперед по коридору. Двери камер до вечерней переклички были открыты. Высокий белокурый арестант, с лицом, добродушие которого не нарушалось до половины выбритой головой, подошел к Меженецкому.

– Арестантик тут, в нашей камере, увидел ваше степенство, – позови, говорит, его ко мне.

– Какой арестант?

– «Табачная держава», так ему прозвище. Старичок он, из раскольников. Позови, говорит, ко мне того человека. Про ваше степенство, значит.

– Где же он?

– Во тут, в нашей камере. Покличь, говорит, того барина.

Меженецкий вошел с арестантом в небольшую камеру с нарами, на которых сидели и лежали арестанты.

На голых досках, под серым халатом, на краю нар, лежал тот самый старик раскольник, который семь лет тому назад приходил к Меженецкому расспрашивать о Светлогубе. Лицо старика, бледное, все ссохлось и сморщилось, волосы все были такие же густые, редкая борода была совсем седая и торчала кверху. Глаза голубые, добрые и внимательные. Он лежал навзничь и, очевидно, был в жару: на мослаках щек был болезненный румянец.

Меженецкий подошел к нему.

– Что вам? – спросил он.

Старик с трудом поднялся на локоть и подал трясущуюся сухую небольшую руку. Он, собираясь говорить, как бы раскачиваясь, стал тяжело дышать и, с трудом переводя дыханье, тихо заговорил:

– Не открыл ты мне тогда, – бог с тобой, а я всем открываю.

– Что же открываете?

– Про агнца... про агнца открываю... тот юнош с агнцем был. А сказано: агнец победит я, всех победит... И кто с ним, те избранныи и вернии.

– Я не понимаю, – сказал Меженецкий.

– А ты понимай в духе. Цари область примут со зверем. А агнец победит я.

– Какие цари? – сказал Меженецкий.

– И цари семь суть: пять их пало и один остался, другой еще не прииде, не пришел, значит. И егда приидет, мало ему есть... значит, конец ему придет... понял?

Меженецкий покачивал головой, думая, что старик бредит и слова его бессмысленны. Так же думали и арестанты, товарищи по камере. Тот бритый арестант, который звал Меженецкого, подошел к нему и, слегка толкнув его локтем и обратив на себя внимание, подмигнул на старика.

– Все болтает, все болтает, табачная держава наша, – сказал он. – А что, и сам не знает.

Так думали, глядя на старика, и Меженецкий, и его сотоварищи по камере. Старик же хорошо знал, что говорил, и то, что он говорил, имело для него ясный и глубокий смысл. Смысл был тот, что злу недолго остается царствовать, что агнец добром и смирением побеждает всех, что агнец утрет всякую слезу, и не будет ни плача, ни болезни, ни смерти. И он чувствовал, что это уже совершается, совершается во всем мире, потому что это совершается в просветленной близости к смерти душе его.

– Ей гряди скоро! Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе! – проговорил он и слегка значительно и, как показалось Меженецкому, сумасшедше улыбнулся.

XIII

«Вот он, представитель народа, – подумал Меженецкий, выходя от старика. – Это лучший из них. И какой мрак! Они (он разумел Романа с его друзьями) говорят: с таким народом, каков он теперь, ничего нельзя сделать».

Меженецкий одно время работал свою революционную работу среди народа и знал всю, как он выражался, «инертность» русского крестьянина; сходилась и с солдатами на службе и отставными и знал их тупую веру в присягу, в необходимость повиновения и невозможность рассуждением подействовать на них. Он знал все это, но никогда не делал из этого знания того вывода, который неизбежно вытекал из него. Разговор с новыми революционерами расстроил, раздражил его.

«Они говорят, что все то, что делали мы, что делали Халтурин, Кибальчич, Перовская, что все это было ненужно, даже вредно, что это-то и вызвало реакцию Александра III, что благодаря им народ убежден, что вся революционная деятельность идет от помещиков, убивших царя за то, что он отнял у них крепостных. Какой вздор! Какое непонимание и какая дерзость думать так!» – думал он, продолжая ходить по коридору.

Все камеры были закрыты, исключая одной той, в которой были новые революционеры. Подходя к ней, Меженецкий услышал смех ненавистной ему брюнетки и трескучий, решительный голос Романа. Они, очевидно, говорили про него. Меженецкий остановился слушать. Роман говорил:

– Не понимая экономических законов, они не отдавали себе отчета в том, что делали. И большая доля тут была...

Меженецкий не мог и не хотел дослушать, чего тут была большая доля, но ему и не нужно было знать этого. Один тон голоса этого человека показывал то полное презрение, которое испытывали эти люди к нему, к Меженецкому, герою революции, погубившему двенадцать лет жизни для этой цели.

И в душе Меженецкого поднялась такая страшная злоба, какой он еще никогда не испытывал. Зло на всех, на все, на весь этот бессмысленный мир, в котором могли жить только люди, подобные животным, как этот старик с своим агнцем, и такие же полуживотные палачи и тюремщики, эти наглые, самоуверенные, мертворожденные доктринеры.

Вошел дежурный вахтер и увел политических женщин на женскую половину. Меженецкий отошел в дальний конец коридора, чтобы не

встречаться с ними. Вернувшись, вахтер запер дверь новых политических и предложил Меженецкому войти к себе. Меженецкий машинально послушался, но попросил не запираť своей двери.

Вернувшись в свою камеру, Меженецкий лег на койку, лицом к стене.

«Неужели в самом деле так понапрасну погублены все силы: энергия, сила воли, гениальность (он никогда никого не считал выше себя по душевным качествам) погублены задаром!» Он вспомнил недавно, уже по дороге в Сибирь, полученное им письмо от матери Светлогуба, упрекавшей его по-женски, глупо, как он думал, за то, что он погубил ее сына, увлекши в террористическую партию. Получив письмо, он только презрительно улыбнулся: что могла понимать эта глупая женщина о тех целях, которые стояли перед ним и Светлогубом. Но теперь, вспомнив письмо и милую, доверчивую, горячую личность Светлогуба, он задумался сначала о нем, а потом и о себе. Неужели вся жизнь была ошибка? Он закрыл глаза и хотел заснуть, но вдруг с ужасом почувствовал, что возвратилось то состояние, которое он испытывал первый месяц в Петропавловской крепости. Опять боль в темени, опять рожи, большеротые, мохнатые, ужасные, на темном фоне с звездочками, и опять фигуры, представляющиеся открытым глазам. Новое было то, что какой-то уголовный, в серых штанах, с бритой головой, качался над ним. И опять, по связи идей, он стал искать отдушника, на котором можно бы было утвердить веревку.

Невыносимая злоба, требующая проявления, жгла сердце Меженецкого. Он не мог сидеть на месте, не мог успокоиться, не мог отогнать своих мыслей.

«Как? – стал он уж задавать себе вопрос. – Разрезать артерию? Не сумею. Повеситься? Разумеется, самое простое».

Он вспомнил о веревке, которой была перевязана вязанка дров, лежащая в коридоре. «Стать на дрова или на табуретку. В коридоре ходит вахтер. Но он заснет или выйдет. Надо выждать и тогда унести к себе веревку и утвердить на отдушнике».

Стоя у своей двери, Меженецкий слушал шаги вахтера в коридоре и изредка, когда вахтер уходил в дальний конец, выглядывал в отверстие двери. Вахтер все не уходил и все не засыпал. Меженецкий жадно прислушивался к звукам его шагов и ожидал.

В это время в той камере, где был больной старик, среди темноты, чуть освещаемой коптящей лампой, среди сонных ночных звуков дыхания, ворчания, кряхтения, храпа, кашля, происходило величайшее в мире дело. Старик раскольник умирал, и духовному взору его открылось все то, чего он так страстно искал и желал в продолжение всей своей жизни. Среди

ослепительного света он видел агнца в виде светлого юноши, и великое множество людей из всех народов стояло перед ним в белых одеждах, и все радовались, и зла уже больше не было на земле. Все это совершилось, старик знал это, и в его душе и во всем мире, и он чувствовал великую радость и успокоение.

Для людей же, бывших в камере, было то, что старик громко хрипел предсмертным хрипом, и сосед его проснулся и разбудил других; и когда хрип кончился и старик затих и похолодел, товарищи его по камере стали стучать в дверь.

Вахтер отпер дверь и вошел к арестантам. Минут через десять два арестанта вынесли мертвое тело и понесли его вниз в мертвецкую. Вахтер вышел за ними и запер дверь за собою. Коридор остался пустой.

«Запирай, запирай, – подумал Меженецкий, следивший из своей двери за всем, что делалось, – не помешаешь мне уйти от всего этого нелепого ужаса».

Меженецкий не испытывал уже теперь того внутреннего ужаса, который до этого томил его. Он весь был поглощен одной мыслью: как бы что-нибудь не помешало ему исполнить свое намерение.

С трепещущим сердцем он подошел к вязанке дров, развязал веревку, вытянул ее из-под дров и, оглядываясь на дверь, понес к себе в камеру. В камере он влез на табуретку и накинул веревку на отдушник. Связав оба конца веревки, он перетянул узел и из двойной веревки сделал петлю. Петля была слишком низко. Он вновь перевязал веревку, опять сделал петлю, примерил на шею и, беспокойно прислушиваясь и оглядываясь на дверь, влез на табуретку, всунул голову в петлю, оправил ее и, оттолкнув табуретку, повис...

Только при утреннем обходе вахтер увидал Меженецкого, стоявшего на согнутых в коленях ногах подле лежавшей на боку табуретки. Его вынули из петли. Прибежал смотритель и, узнав, что Роман был врач, позвал его, чтобы оказать помощь удушеннику.

Были употреблены все обычные приемы для оживления, но Меженецкий не ожил.

Тело Меженецкого снесли в мертвецкую и положили на нары рядом с телом старика раскольника.

Что я видел во сне...

– Она как дочь не существует для меня; пойми, не существует, но не могу же я оставить ее на шее чужих людей. Сделаю так, чтобы она могла жить, как она хочет, но знать ее я не могу. Да, да. Никогда в голову не могло прийти что-нибудь подобное... Ужасно, ужасно!

Он пожал плечами, встряхнул головой и поднял глаза кверху. Говорил это шестидесятилетний князь Михаил Иванович Ш. своему младшему брату, князю Петру Ивановичу, пятидесятишестилетнему губернскому предводителю в центральном губернском городе.

Разговор происходил в губернском городе, куда приехал старший петербургский брат, узнав, что бежавшая из его дома год назад тому дочь поселилась с ребенком в этом самом городе.

Князь Михаил Иванович был красивый, бело-седой, свежий высокий старик с гордым и привлекательным лицом и приемами. Семья его состояла из раздражительной, часто ссорившейся с ним из-за всяких пустяков, вульгарной жены, сына не совсем удачного, мота и кутилы, но вполне «порядочного», как понимал отец, человека, и двух дочерей, из которых одна, старшая, хорошо вышла замуж и жила в Петербурге, и меньшая любимая дочь Лиза, та самая, которая почти год тому назад исчезла из дома и только теперь нашлась с ребенком в дальнем губернском городе.

Князь Петр Иванович хотел спросить брата: как, при каких условиях ушла Лиза, кто мог быть отцом ребенка, но не мог решиться спросить. Еще сегодня утром, когда жена Петра Ивановича стала выражать сочувствие деверю, князь Петр Иванович видел, какое страдание выразилось на лице брата и как он старательно скрыл то страдание под выражением неприступной гордости и стал расспрашивать невестку о цене ее квартиры. За завтраком, при всех семейных и гостях, он, как всегда, был ядовито и остроумно насмешлив. Со всеми, кроме детей, с которыми он был как-то почтительно ласков, он со всеми был неприступно надменен. И притом был так естествен, что все как будто признавали за ним право быть надменным.

Вечером брат составил ему партию в винт. Когда он ушел в приготовленную ему комнату, он только что взялся вынимать фальшивые зубы, как в дверь слегка постучались двумя ударами.

– Кто там?

– C'est moi, Mishel. [\[17\]](#)

Князь Михаил Иванович узнал голос невестки, поморщился, вставил

назад зубы и проговорил про себя: «Чего ей нужно», и громко:

– Entrez.^[18]

Невестка была тихое, кроткое существо, безропотно покорявшаяся мужу, но чудачка, как ее называли (некоторые считали ее даже дурочкой), хотя и хорошенькая, всегда растрепанная, неряшливо, небрежно одетая, всегда рассеянная и с самыми странными, неподходящими к предводительше, неаристократическими мыслями, которые она вдруг выражала к удивлению всех, и знакомых и мужа.

– Vous pouvez me renvoyer, mais je ne m'en irai pas, je vous le dis d'avance,^[19] – начала она свою речь с свойственной ей нелогичностью.

– Dieu préserve,^[20] – отвечал деверь, с своей обычной, несколько преувеличенной учтивостью подвигая ей кресло. – Ça ne vous dérange pas?^[21] – сказал он, вынимая папиросу.

– Вот что, Мишель, я не буду говорить ничего неприятного, я только хотела сказать об Лизаньке.

Михаил Иванович вздохнул, очевидно от боли, но тотчас же справился и, улыбаясь усталой улыбкой, сказал:

– Разговор с тобой может быть для меня об одном предмете, именно о том, о котором ты хочешь говорить, – сказал он, не глядя на нее и, очевидно, избегая даже названия предмета разговора.

Но толстененькая, кругленькая, миловидная невестка не смутилась и, тем же добрым, умоляющим взглядом своих голубых глаз продолжая смотреть на Михаила Ивановича, сказала, так же, и еще более, чем он, тяжело вздыхая:

– Мишель, mon bon ami,^[22] пожалейте ее. – Она, как всегда говоря с деверем, сбивалась на «вы». – Ведь она человек.

– Я никогда не сомневался в этом, – с неприятной улыбкой отвечал Михаил Иванович.

– Она дочь.

– Была. Да. Но, милая Алин, к чему эти разговоры?

– Мишель, милый, повидайте ее. Я хотела сказать вам только то, что тот, кто виноват во всем...

Князь Михаил Иванович вспыхнул, лицо его стало страшно.

– Ради бога, не будем говорить. Довольно я перестрадал. Теперь ничего нет для меня, кроме желания поставить ее в такое положение, чтобы она никому не была в тягость, чтобы ей не нужно было входить ни в какие сношения со мной, чтобы она могла жить своей отдельной жизнью и мы с семьей своей жизнью, не зная ее. Я не могу иначе.

– Мишель, все «я». Ведь она тоже «я».

– Это несомненно, но, милая Алин, пожалуйста, оставим это. Мне слишком тяжело.

Александра Дмитриевна помолчала, покачала головой.

– И Маша (жена Михаила Ивановича) так же смотрит?

– Совершенно так же.

Александра Дмитриевна пощелкала языком.

– Brisons là-dessus. Et bonne nuit, ^[23] – сказал он.

Но Александра Дмитриевна не уходила. Она помолчала.

– Петя мне говорил, что вы хотите оставить деньги той женщине, у которой она живет. Вы знаете адрес?

– Знаю.

– Так не делайте это через нас, а съездите сами. Вы только посмотрите, как она живет. Если вы не захотите видеть ее, то наверное не увидите. Его там нет, никого нет.

Михаил Иванович вздрогнул всем телом.

– Ах, за что, за что вы меня мучаете? Это негостеприимно.

Александра Дмитриевна встала и с слезами в голосе, умиляясь сама над собой, проговорила:

– Она такая жалкая и такая хорошая.

Он встал и стоял, дожидаясь, пока она кончит. Она протянула ему руку.

– Мишель, это нехорошо, – сказала она и вышла.

Долго после нее ходил Михаил Иванович по ковру комнаты, превращенной для него в спальню, и морщился, и вздрагивал, и вскрикивал: «Ох, ох!» и, услышав себя, пугался и замолкал.

Мучала его оскорбленная гордость. Его дочь, его, выросшего в доме своей матери, знаменитой Авдотьи Борисовны, принимавшей посещения императриц, его, знакомство с которым считалось за великую честь, его, проведшего свою жизнь рыцарем без страха и упрека... То, что у него был побочный сын от француженки, которого он устроил за границей, не уменьшало в нем его высокого мнения о себе. И вот его дочь, для которой он не только сделал все, что может и должен сделать отец: дал прекрасное воспитание, дал ей возможность выбирать себе партию в высшем и лучшем русском обществе, но не только та дочь, которой он дал все то, чего только может желать девушка, но которую он прямо любил, которой любовался, гордился, эта дочь опозорила его, сделала с ним то, что он не может смотреть в глаза людям, что ему стыдно всех.

И он вспоминал те времена, когда он не только относился к ней как к своей дочери, к члену его семьи, но когда он нежно любил ее, радовался на

нее, гордился ею. Он вспоминал ее, какою она была, когда ей было восемь, девять лет: умненькая, все понимающая, живая, быстрая, грациозная девочка с черными блестящими глазами и распущенными русыми волосами на костлявой своей спинке. Вспоминал он, как она вскакивала к нему на колени, и обнимала за шею, и щекотала его, заливаясь хохотом, и, несмотря на его крик, не переставала, и потом целовала в рот, в глаза, в щеки. Он был враг всякой экспансивности, но эта экспансивность умиляла его, и он иногда отдавался ей и вспоминал теперь, как было приятно ласкать ее.

И это-то когда-то милое существо могло сделаться тем, что оно стало теперь, – существом, про которое он не мог думать без отвращения.

Он вспоминал теперь тоже то время, когда она становилась женщиной, и то особенное чувство страха и оскорбления, которое он испытывал к ней, когда замечал, что мужчины смотрят на нее как на женщину. Он вспоминал об этом своем ревнивом отношении к дочери, когда она с кокетливым чувством, зная, что она хороша, приходила к нему в бальном платье, и когда он видал ее на балах. Он боялся нечистых взглядов на нее, а она не только не понимала этого, но радовалась этому. «Да, – думал он, – какое суеверие чистота женщин. Напротив, они не знают стыда, у них нет стыда».

Он вспомнил, как она, непонятно для него почему, отказала двум очень хорошим женихам и как, продолжая ездить в свет, все больше и больше увлекалась не кем-нибудь, но увлекалась своим успехом. Но успех этот не мог продолжаться долго. Прошли год, два, три. Все пригляделись к ней. Она была красива, но уже не первой молодости, стала как бы обычным аксессуаром балов. Михаил Иванович вспоминал, как он видел, что она засидится, и желал для нее одного – выдать поскорее замуж, хоть не так хорошо, как можно было прежде, но хоть как-нибудь прилично. Но она как-то особенно вызывающе-гордо держала себя, ему казалось, и, вспоминая это, еще более злое чувство поднялось в нем против нее. Отказала стольким порядочным людям, чтобы потом этот ужас! «О, ох! – опять застонал он, и, остановившись, закурил папиросу, и хотел думать о другом, как он перешлет ей деньги, не допустив ее до себя, но опять встало воспоминание о том, как она уже недавно – ей было уже больше двадцати лет – затеяла какой-то роман с четырнадцатилетним мальчиком, пажем, гостившим у них в деревне, как она довела мальчика до сумасшествия, как он разливался-плакал, и как она серьезно, холодно и даже грубо отвечала отцу, когда он, чтобы прекратить этот глупый роман, велел мальчику уехать; и как с тех пор у него и прежде довольно холодные отношения к дочери стали совсем холодными и с ее стороны. Она как будто считала себя

чем-то оскорбленной.

«А как я был прав, – думал он теперь. – Это бесстыдная и недобрая натура».

И вот опять последнее ужасное воспоминание письма из Москвы, в котором она писала, что она не может вернуться домой, что она несчастная, погибшая женщина, просит простить и забыть ее, и ужасные воспоминания о разговорах с женой и догадках, цинических догадках, перешедших наконец в достоверность, что несчастье случилось в Финляндии, куда ее отпустили гостить к тетке, и что виновник его ничтожный студент-швед, пустой, дрянной человек и женатый.

Все это он вспоминал теперь и ходил, ходил взад и вперед по ковру комнаты, вспоминая и прежнюю свою любовь к ней, гордость за нее, и ужасаясь на это непонятное для него падение и ненавидя ее за ту боль, которую она ему сделала. Он вспоминал то, что говорила ему невестка, и старался представить себе, как бы он мог простить ее, но стоило ему только вспомнить «его», и ужас, отвращение, оскорбленная гордость наполняли его сердце. И он вскрикивал: «Ох, ох», – и старался думать о другом.

«Нет, это невозможно. Отдам Пете деньги, чтобы он давал ей ежемесячно. А у меня нет, нет дочери...»

И он попал опять на прежнюю колею того странного, смешанного чувства, которое не переставая мучало его: чувства умиления перед воспоминанием о его любви к ней и чувства мучительной злобы за то, что она могла сделать ему так больно.

II

Лиза в этот один последний год пережила без всякого сравнения больше, чем она пережила во все прежние двадцать пять лет. В этот год ей вдруг открылась вся пустота ее прежней жизни: ясна стала вся низменность, вся гадость той жизни, которую она вела в своем богатом петербургском обществе и доме, где она вместе со всеми играла животной жизнью, касаясь только верхов ее, пользуясь всеми прелестями ее, но не спускаясь до глубины ее. Хорошо было год, два, три, но когда это: вечера, балы, концерты, ужины, бальные платья, прически, выставяющие красоту тела, молодые и не молодые ухаживатели, все одинакие, все что-то как будто знающие, имеющие как будто право всем пользоваться и надо всем смеяться, когда летние месяцы на дачах с такой же природой, тоже только дающей верхи приятности жизни, когда и музыка и чтение, тоже такие же – только задирающие вопросы жизни, но не разрешающие их, – когда все это продолжалось семь, восемь лет, не только не обещая никакой перемены, но, напротив, все больше и больше теряя прелести, она пришла в отчаяние, и на нее стало находить состояние отчаяния, желания смерти. Подруги направляли ее на деятельность благотворительности. Она увидала, с одной стороны, нищету, настоящую, отталкивающую, и притворную, еще более жалкую и отталкивающую, и увидала страшную холодность дам-патронесс, приезжающих на своих тысячных экипажах и в тысячных нарядах, и ей становилось все тяжелее и тяжелее. Хотелось чего-нибудь настоящего, хотелось жизни, а не игры с ней, не снимания пенек. И не было никакой. Лучшее из ее воспоминаний была любовь к кадету Коко, как его звали. То было хорошее, честное, прямое, но ничего подобного теперь не было и не могло быть. Она все больше и больше тосковала и в этом тоскливом положении поехала к тетке в Финляндию. Новая обстановка, новая природа, новые люди, какие-то особенные, показались ей особенно привлекательны.

Как и когда это началось, она не могла дать себе отчета. У тетки гостил швед. Он говорил о своих работах, о своем народе, о новом шведском романе, и она сама не знает, как и когда началось это страшное заражение взглядами и улыбками, смысл которых нельзя было выразить словами, но которые имели значение, как ей казалось, превосходящее всякие слова. Эти взгляды и улыбки открывали друг другу их души, не только их души, но какие-то общие всему человечеству, великие и самые важные тайны.

Всякое сказанное ими слово получало от этих улыбок величайшее и блаженнейшее значение. Такое же значение получала музыка, когда они слушали ее вместе или пели дуэты. Такое же значение получали слова читаемых вслух книг. Иногда они спорили, каждый отстаивал свое мнение, но стоило им встретиться глазами и блеснуть улыбке, и спор оставался где-то внизу, а они поднимались над ним в какой-то возвышенной, доступной только им области.

Как это случилось, как, когда из-за этих взглядов и улыбок выступил дьявол, в одно и то же время схвативший их, она не могла бы сказать, но когда она почувствовала страх перед дьяволом, невидимые нити, связывающие их, были уж так переплетены, что она чувствовала свое бессилие вырваться из них и всю надежду возлагала уже на него, на его благородство. Она надеялась, что он не воспользуется своей силою, но и смутно не желала этого.

Бессилие ее в борьбе усиливалось еще тем, что ей не за что было держаться. Жизнь ее светская, с своей поверхностностью и фальшью, опротивела ей. Мать свою она не любила, отец, как ей казалось, оттолкнул ее от себя, и ей страстно хотелось не игры с жизнью, а самой жизни, и в любви, в совершенной женской любви к мужчине, она предчувствовала эту жизнь. И страстная, здоровая натура влекла ее туда же. И эта жизнь представлялась ей в нем, в его высокой, сильной фигуре, в его белокурой голове и белых поднятых усах, из-под которых сияла притягивающая всемогущая улыбка. В этом она видела обещание чего-то самого лучшего, что есть на свете. И вот улыбки и взгляды, надежды и обещания чего-то невозможно прекрасного привели к тому, к чему они должны были привести, но чего она боялась и чего смутно, бессознательно ожидала. И вдруг все прекрасное, духовное, радостное, полное надежд на будущее, вдруг все стало отвратительным, животным и не только печальным, но отчаянным.

Она смотрела в глаза ему, старалась улыбаться, старалась притвориться, что она не боится ничего, что это так и должно быть, но она в глубине души знала, что теперь все пропало, что в нем нет того, чего она искала, что было в ней, что было в Коко. Она сказала ему, что он должен написать теперь ее отцу, прося ее руки. Он сказал, что сделает это. Потом, при втором свидании, сказал, что не может сделать этого сейчас. В глазах его было что-то робкое, неясное, и она еще больше усумнилась в нем. На другой день он прислал ей письмо, в котором объявил, что он женат, что жена давно оставила его, что он погиб теперь в ее глазах, что он виноват, умоляет ее о прощении.

Она позвала его и на словах сказала ему, что она любит его и, все равно, женат он был или нет, чувствует себя навеки связанной с ним и не оставит его.

В следующее свидание он сказал, что у него ничего нет, что родители его бедные и что он может предложить ей только самую бедную жизнь. Она сказала, что ей ничего не нужно и что она сейчас же готова ехать с ним, куда он хочет.

Он отговаривал ее, советовал подождать. Она согласилась. Но жизнь с скрыванием от домашних, с случайными свиданиями и тайной перепиской была ей мучительна, и она настаивала на отъезде и бегстве.

Когда она переехала в Петербург, он писал ей, обещая приехать, потом перестал писать и исчез. Она попыталась жить по-прежнему, но не могла. Она стала болеть. Ее лечили, но положение ее становилось хуже и хуже. Когда же она убедилась, что ей нельзя будет скрыть то, что она хотела скрыть, она решила убить себя. Но как сделать это так, чтобы смерть казалась естественной? Она хотела убить себя, ей казалось, что она окончательно решила это, и достала яду, всыпала его в рюмку и готова была выпить. Она и выпила бы его, если бы в это время не вбежал к ней пятилетний племянник, сын сестры, показывая ей подаренную бабушкой игрушку. Она остановилась, приласкала мальчика и вдруг расплакалась. Ей пришла мысль, что она могла бы быть матерью, если бы он не был женат, и мысль о материнстве в первый раз заставила ее вернуться в себя, думать не о том, что подумают и скажут о ней другие, а о своей, настоящей своей жизни. Убить себя ради мнения других людей казалось легко, но убить себя для себя было невозможно. Она вылила яд и перестала думать о самоубийстве, а стала жить сама в себе, и жизнь эта была мучительна, но была жизнь, она не хотела и не могла расстаться с нею. Она стала молиться, чего она давно уже не делала, но это не облегчало: она страдала не за себя, а за страдания отца, которые она понимала, и жалела его, но знала, что страдания эти будут, и она виной их. Несколько месяцев так шла ее жизнь, и вдруг с ней случилось событие, никому незаметное, даже ей почти незаметное, но такое, которое уже совсем перевернуло ее жизнь. Она вдруг, сидя за работой, — она вязала одеяло, — почувствовала странное ощущение движения... в себе.

— Да нет, не может быть. — Она замерла с крючком и одеялом в руках. И вдруг опять то же удивительное колебание. Неужели это он или она? И она, забыв про все, про его гадость и ложь, про раздражительность матери, про горе отца, просияла улыбкой, но не той гнусной улыбкой, которой она отвечала на такие же улыбки его, а светлой, чистой, радостной улыбкой.

Она ужасалась теперь мысли, что она могла думать убить его вместе с собой, и теперь все свои мысли направила на то, как уйти из дома, куда и где сделаться матерью, несчастной, жалкой матерью, но все-таки матерью. И она все это придумала и устроила, и ушла и поселилась в далеком губернском городе, где никто бы не мог найти ее и где она думала быть вдали от своих, и где, на ее беду, был назначен губернатором брат ее отца, чего она никак не ожидала.

Она жила у акушерки Марьи Ивановны уже четвертый месяц и, узнав о том, что дядя в том же городе, собиралась уехать куда-нибудь дальше.

III

Михаил Иванович проснулся рано и в это же утро, войдя в кабинет брата, отдал ему приготовленный чек на деньги, которые он оставлял брату, прося его ежемесячно выдавать их дочери, и спросил, когда отходит в Петербург курьерский. Поезд отходил в семь часов вечера, так что Михаил Иванович мог успеть пообедать ранним обедом до отъезда. Напившись кофе с невесткой, которая ничего не говорила больше о том, что так было тяжело ему, а только робко взглядывала на него, он, по своей обыкновенной гигиенической привычке, пошел сделать обычную прогулку.

Александра Дмитриевна проводила его до передней.

– Вы пройдите, Мишель, в городской сад, там прекрасно ходить и от всего близко, – сказала она, жалостно глядя ему в сердитое лицо.

Михаил Иванович послушался ее совета и пошел в городской сад, откуда было все близко, и с досадой думал о глупости, упорстве и бессердечности женщин. «Ей не жалко меня, – думал он о невестке. – Она и понять не может моих страданий. А она? – он подумал о дочери. – Она знает, что это для меня, какая это мука. Какой ужасный удар в конце жизни, которую укоротит, наверное, она же. Ну, да и лучше конец, чем эти мучения. И все это pour les beaux yeux d'un chenapan».^[24] – «О-о-о», – громко простонал он, и такое чувство ненависти и злобы поднялось в нем при мысли о всем том, что теперь будут говорить в городе, когда все узнают (наверно, все уже знают), такое чувство злобы поднялось в нем против нее, что захотелось все сказать ей, дать ей понять все значение того, что она сделала. «Они не понимают».

«Оттуда все близко», – подумал он и, достав записную книжку, прочел ее адрес: «Кухонная улица, дом Абрамова, Вера Ивановна Селиверстова». Она жила под этим именем. Он подошел к выходу и кликнул извозчика.

– Вам кого, господин? – спросила его Марья Ивановна, акушерка, когда он вошел на узкую площадку крутой вонючей лестницы.

– Госпожа Селиверстова здесь?

– Вера Ивановна? Здесь, пожалуйста. Она вышедши, в лавочку пошла, должно, сейчас придет.

Михаил Иванович вошел за толстой Марьей Ивановной в маленькую гостиную, и его, как ножом, резнул, как ему показалось, отвратительный, злой крик ребенка из соседней комнатки.

Марья Ивановна извинилась, ушла в комнатку, и слышно было, как

успокаивала ребенка. Ребенок затих, и она вышла.

– Это ее ребеночек. Она сейчас придет. Вы кто ж будете?

– Я знакомый, да я лучше после приду, – сказал Михаил Иванович, готовясь уйти. Так мучительно ему было готовиться к встрече с ней и так невозможно казалось какое бы то ни было объяснение.

Он только повернулся и хотел уйти, как по лестнице послышались легкие, быстрые шаги, и он узнал голос Лизы:

– Марья Ивановна! что, не кричал без меня... А я...

И она вдруг увидела отца. Кулек, который она держала в руке, выпал у нее из рук.

– Папа?! – вскрикнула она и, вся бледная и трясущаяся всем телом, остановилась в дверях.

Он смотрел на нее и не двигался с места. Она похудела, глаза стали больше, нос заострился, руки тонкие, костлявые. И не знал, что сказать и что сделать. Он забыл теперь все то, что думал о своем сраме, и ему только жалко, жалко было ее, жалко и за ее худобу, и за ее плохую, простую одежду, и, главное, за жалкое лицо ее с умоляющими о чем-то, устремленными на него глазами.

– Папа, прости, – сказала она, подвигаясь к нему.

– Меня, – проговорил он, – меня прости, – и он захлопал, как ребенок, целуя ее лицо, руки и обливая их слезами.

Жалость к ней открыла ему самого себя. И увидав себя, какой он был действительно, он понял, как он виноват перед ней, виноват за свою гордость, холодность, даже злобу к ней. И он рад был тому, что виноват, что ему нечего прощать, а самому нужно прощение.

Она повела его в свою комнату, рассказала ему, как она живет, но не показывала ему ребенка и ничего не говорила о прошедшем, зная, что это было бы мучительно для него. Он сказал ей, что ей надо устроиться иначе.

– Да, если бы в деревне, – сказала она.

– Мы все обдумаем это, – сказал он.

Вдруг за дверью сначала запищал, а потом закричал ребенок. Она открыла широко глаза и, не спуская их с отца, замерла в нерешительности.

– Что ж, тебе кормить надо, – сказал Михаил Иванович, шевеля бровями от явного внутреннего усилия.

Она поднялась, и ей вдруг пришла безумная мысль показать тому, кого она так давно любила, того, кого она теперь любила больше всего на свете. Но, прежде чем сказать то, что хотела, она взглянула в лицо отца. Рассердится он или нет?

Лицо отца выражало не сердитость, но одно страдание.

– Да иди, иди, – сказал он. – Слава богу. Да, я завтра приду опять, и мы решим. Прощай, голубушка. Да, прощай. – И опять ему трудно было удержать поднявшийся комок в горле.

Когда Михаил Иванович вернулся к брату, Александра Дмитриевна тотчас же спросила его:

– Ну что?

– Да ничего.

– Видели? – спросила она, по лицу его догадываясь, что что-то случилось.

– Да, – скороговоркой проговорил он и вдруг заплакал. – Да, и глуп и стар стал, – сказал он, успокоившись.

– Нет, умен, очень умен.

Михаил Иванович простил дочь, совсем простил, и ради прощенья победил в себе весь страх перед славой людской. Он устроил дочь у сестры Александры Дмитриевны, жившей в деревне, и видался с дочерью и любил ее не только по-прежнему, но еще больше, чем прежде, и часто приезжал к ней и гостил у нее. Но ребенка он избегал видеть и не мог победить в себе чувства отвращения, омерзения к нему. И это было источником страданий дочери.

13 ноября 1906

Ходынка

– Не понимаю этого упрямства. Зачем тебе не спать и идти «в народ», когда ты можешь спокойно ехать завтра с тетей Верой прямо в павильон. И все увидишь. Я ведь говорил тебе, что Бер мне обещал провести тебя. Да ты, как фрейлина, и имеешь право.

Так говорил известный всему высшему свету под прозвищем «Пижон» князь Павел Голицын своей двадцатитрехлетней дочери Александре, по признанному за ней прозвищу «Рина». Разговор этот происходил вечером 17 мая 1896 года, в Москве, накануне народного праздника коронации. Дело было в том, что Рина, красивая, сильная девушка, с характерным голицынским профилем, горбатым носом хищной птицы, уже пережила период увлечений светскими балами и была, или по крайней мере считала себя, передовой женщиной, и была народницей. Она была единственная дочь и любимица отца и делала, что хотела. Теперь ей взбрела мысль, как говорил отец, идти на народное гулянье с своим кузеном, не в полдень с двором, а вместе с народом, с дворником и помощником кучера, которые шли из их дома и собирались выходить рано утром.

– Да мне, папа, хочется не смотреть на народ, а быть с ним. Мне хочется видеть его отношение к молодому царю. Неужели нельзя хоть раз...

– Ну, делай как хочешь, я знаю твое упрямство.

– Не сердись, милый папа. Я тебе обещаюсь, что буду благоразумна, и Алек будет неотступно со мной.

Как ни странной и дикой казалась эта затею отцу, он не мог не согласиться.

– Разумеется, возьми, – отвечал он на ее вопрос, можно ли взять коляску. – Доедешь до Ходынки и пришьешь назад.

– Ну, так так.

Она подошла к нему. Он, по обычаю, перекрестил ее: она поцеловала его большую белую руку. И они разошлись.

В этот же вечер в квартире, сдававшейся известной Марьей Яковлевной рабочим с папиросной фабрики, шли также разговоры о завтрашнем гулянье. В квартире Емельяна Ягоднова сидели зашедшие к нему товарищи и сговаривались, когда выходить.

– В пору уж и не ложиться, а то, того гляди, проспишь, – говорил Яша,

веселый малый, живший за перегородкой.

– Отчего не поспать, – отвечал Емельян. – С зарей выйдем. Так и ребята сказывали.

– Ну, спать так спать. Только уж ты, Семеныч, разбуди, коли что.

Семеныч Емельян обещал и сам достал из стола шелковые нитки, подвинул к себе лампу и занялся пришивкой оторванной пуговицы к летнему пальто. Окончив дело, приготовил лучшую одежду, выложив на лавку, вычистил сапоги, потом помолился, прочтя несколько молитв: «Отче», «Богородицу», значения которых он не понимал, да и никогда не интересовался, и, сняв сапоги и портки, лег на примятый тюфячок скрипучей кровати.

«Отчего же? – думал он. – Бывает же людям счастье. Може, и точно попадется выигрышный билет. (Среди народа был слух, что, кроме подарков, будут раздавать еще и выигрышные билеты.) Уж что там десять тысяч. Хушь бы пятьсот рублей. То-то бы наделал делов: старикам бы послал, жену бы с места снял. А то какая жизнь врозь. Часы бы настоящие купил. Шубу бы себе и ей сделал. А то бьешься, бьешься – и все из нужды не выбьешься». И вот стало ему представляться, как он с женой идет по Александровскому саду, а тот самый городской, что летось его забрал за то, что он пьяный ругался, что этот городской уж не городской, а генерал, и генерал этот ему смеется и зовет в трактир орган слушать. И орган играет, и играет точно как часы бьют. И Семеныч просыпается и слышит, что часы шипят и бьют, и хозяйка, Марья Яковлевна, за дверью кашляет, а в окне уже не так темно, как было вчера.

«Как бы не проспать».

Емельян встает, идет босыми ногами за перегородку, будит Яшу, одевается, маслит голову, причесывается, глядит в разбитое зеркальце.

«Ничего, хорошо. За то и девки любят. Да не хочу баловаться...»

Идет к хозяйке. Как вчера уговорено, берет в мешочек пирога, два яйца, ветчины, полбутылки водки, и, чуть занимается заря, они с Яшей выходят со двора и идут к Петровскому парку. Они не одни. И впереди идут, и сзади догоняют, и со всех сторон выходят и сходятся и мужчины, и женщины, и дети, все веселые и нарядные, на одну и ту же дорогу.

И вот дошли до Ходынского поля. А тут уж народ по всему полю чернеет. И из разных мест дым идет. Заря была холодная, и люди раздобываются сучьев, поленьев и раздувают костры.

Сошелся Емельян с товарищами, тоже костер развели, сели, достали закуску, вино. А тут и солнце взошло, чистое, ясное. И весело стало. Играют песни, болтают, шутят, смеются, всему радуются, радости

ожидают. Выпил Емельян с товарищами, закурил и еще веселей стало.

Все были нарядны, но и среди нарядных рабочих и их жен заметны были богачи и купцы с женами и детьми, которые попадались промеж народа. Так заметна была Рина Голицына, когда она, радостная, сияющая от мысли, что она добилась своего и с народом, среди народа, празднует восшествие на престол обожаемого народом царя, ходила с братом Алеком между кострами.

– Проздравляю, барышня хорошая, – крикнул ей молодой фабричный, поднося ко рту стаканчик. – Не побрезгуй нашей хлеба-соли.

– Спасибо.

– Кушайте сами, – подсказал Алек, щеголяя своим знанием народных обычаев, и они прошли дальше.

По привычке всегда занимать первые места, они, пройдя по полю между народом, где становилось уж тесно (народу было так много, что, несмотря на ясное утро, над полем стоял густой туман от дыханий народа), они пошли прямо к павильону. Но полицейские не пустили их.

– И прекрасно. Пожалуйста, пойдем опять туда, – сказала Рина, и они опять вернулись к толпе.

– Вре, – отвечал Емельян, сидя с товарищами вокруг разложенной на бумаге закуски, на рассказ подошедшего знакомого фабричного о том, что выдают. – Вре.

– Я тебе сказываю. Не по закону, а выдают. Я сам видел. Несет и узелок и стакан.

– Известно, шельмы артельщики. Им что. Кому хотят, тому дают.

– Да это что же. Разве это можно противу закону?

– Вот те можно.

– Да идем, ребята. Чего смотреть на них.

Все встали. Емельян убрал свою бутылочку с оставшейся водкой и пошел вперед вместе с товарищами.

Не прошел он двадцати шагов, как народ стеснил так, что идти стало трудно.

– Чего лезешь?

– А ты чего лезешь?

– Что ж, ты один?

– Да буде.

– Батюшки, задавили, – слышался женский голос. Детский крик слышался с другой стороны.

– Ну тебя к матери...

– Да ты что? Али тебе одному нужно?

– Всю разберут. Ну, дай доберусь до них. Черти, дьяволы!

Это кричал Емельян и, напруживая здоровые, широкие плечи и растопыривая локти, раздвигал, как мог, и рвался вперед, хорошенько не зная зачем, – потому только, что все рвались и что ему казалось, что прорваться вперед непременно нужно. Сзади его, с обоих боков были люди, и все жали его, а впереди люди не двигались и не пускали вперед. И все что-то кричали, кричали, стонали, охали. Емельян молчал и, стиснув здоровые зубы и нахмутив брови, не унывал, не ослабевал и толкал передних, и хоть медленно, но двигался. Вдруг все всколыхнулось и после ровного движения шарахнулось вперед и в правую сторону. Емельян взглянул туда и увидал, как пролетело что-то одно, другое, третье и упало в толпу. Он не понял, что это такое, но близко около него чей-то голос закричал:

– Черти проклятые – в народ швырять стали.

И там, куда летели мешочки с подарками, слышны были крики, хохот, плач и стоны.

Емельяна кто-то больно толкнул под бок. Он стал еще мрачнее и сердитее. Но не успел он опомниться от этой боли, как кто-то наступил ему на ногу. Пальто его, новое пальто, зацепилось за что-то и разорвалось. В сердце ему вступила злоба, и он из всех сил стал напирать на передовых, толкая их перед собой. Но тут вдруг случилось что-то такое, чего он не мог понять. То он ничего не видал перед собой, кроме спин людских, а тут вдруг все, что было впереди, открылось ему. Он увидал палатки, те палатки, из которых должны были раздавать гостинцы. Он обрадовался, но радость его была только одну минуту, потому что тотчас же он понял, что открылось ему то, что было впереди, только потому, что они все подошли к валу и все передние, кто на ногах, кто котом, свалились в него, и сам он валится туда же, на людей, валится сам на людей, а на него валятся другие, задние. Тут в первый раз на него нашел страх. Он упал. Женщина в ковровом платке навалилась на него. Он стряхнул ее с себя, хотел вернуться, но сзади давили и не было сил. Он подался вперед, но ноги его ступали по мягкому – по людям. Его хватали за ноги и кричали. Он ничего не видел, не слышал, и продирался вперед, ступая по людям.

– Братцы, часы возьмите, золотые! Братцы, выручьте! – кричал человек подле него.

«Не до часов теперь», – подумал Емельян и стал выбираться на другую сторону вала. В душе его было два чувства, и оба мучительные: одно – страх за себя, за свою жизнь, другое – злоба против всех этих ошалелых людей, которые давили его. А между тем та, с начала поставленная себе

цель: дойти до палаток и получить мешок с гостинцами и в нем выигрышный билет, с самого начала поставленная им себе, влекла его.

Палатки уже были в виду, видны были артельщики, слышны были крики тех, которые успели дойти до палаток, слышен был и треск дощатых проходов, в которых спиралась передняя толпа. Емельян понатужился, и ему оставалось уж не больше двадцати шагов, когда он вдруг услышал под ногами, скорее промежду ног, детский крик и плач. Емельян взглянул под ноги: мальчик, простоволосый, в разорванной рубашонке, лежал навзничь и, не переставая голося, хватал его за ноги. Емельяну вдруг что-то вступило в сердце. Страх за себя прошел. Прошла и злоба к людям. Ему стало жалко мальчика. Он нагнулся, подхватил его под живот, но задние так наперли на него, что он чуть не упал, выпустил из рук мальчика, но тотчас же, напрягши все силы, опять подхватил его и вскинул себе на плечо. Напиравшие менее стали напирать, и Емельян понес мальчика.

– Давай его сюда, – крикнул шедший вплоть с Емельяном кучер и взял мальчика и поднял его выше толпы.

– Беги по народу.

И Емельян, оглядываясь, видел, как мальчик, то ныряя в народе, то поднимаясь над ним, по плечам и головам людей уходил все дальше и дальше.

Емельян продолжал двигаться. Нельзя было не двигаться, но теперь его уже не занимали подарки, ни то, чтобы дойти до палаток. Он думал об мальчике, и о том, куда делся Яша, и о тех задавленных людях, которых он видел, когда проходил по валу. Добравшись до палатки, он получил мешочек и стакан, но это уже не радовало его. Порадовало его в первую минуту то, что здесь кончалась давка. Можно было дышать и двигаться. Но тут же, сейчас и эта радость прошла от того, что он увидал здесь. А увидал он женщину в полосатом разорванном платье, с растрепанными русыми волосами и в ботинках с пуговицами. Она лежала навзничь; ноги в ботинках прямо торчали кверху. Одна рука лежала на траве, другая была, с сложенными пальцами, ниже груди. Лицо было не бледное, а с синевой белое, какое бывает только у мертвых. Эта женщина была первая задавлена насмерть и была выкинута сюда, за ограду, перед царским павильоном.

В то время когда Емельян увидал ее, над ней стояли два городских, и полицейский что-то приказывал. И тут же подъехали казаки, и начальник что-то приказал им, и они пустились на Емельяна и других людей, стоявших здесь, и погнали их назад в толпу. Емельян опять попал в толпу, опять давка, и давка еще худшая, чем прежде. Опять крики, стоны женщин, детей, опять одни люди топчут других, и не могут не топтать. Но у

Емельяна уж не было теперь ни страха за себя, ни злобы к тем, кто давил его, было одно желание – уйти, избавиться, разобраться в том, что поднялось в душе, закурить и выпить. Ему страшно хотелось закурить и выпить. И он добился своего: вышел на простор и закурил и выпил.

Но не то было с Алеком и с Риной. Не ожидая ничего, они шли между сидящим кружками народом, разговаривая с женщинами, детьми, как вдруг народ весь ринулся к палаткам, когда прошел слух, что артельщики не по закону раздают гостинцы. Не успела Рина оглянуться, как она уже была оттерта от Алека и толпа понесла ее куда-то. Ужас охватил ее. Она старалась молчать, но не могла, и вскрикивала, прося пощады. Но пощады не было, ее давили все больше и больше, платье обрывали, шляпа слетела. Она не могла утверждать, но ей казалось, что с нее сорвали часы с цепочкой. Она была сильная девушка и могла бы еще держаться, но душевное состояние ее ужаса было мучительно, она не могла дышать. Оборванная, измятая, она кое-как держалась; но в тот час, когда казаки бросились на толпу, чтобы разогнать ее, она, Рина, отчаялась, и, как только отчаялась, ослабела, и с ней сделалось дурно. Она упала и ничего больше не помнила.

Когда она опомнилась, она лежала навзничь на траве. Какой-то человек, вроде мастерового, с бородкой, в разорванном пальто, сидел на корточках перед нею и брызгал ей в лицо водою. Когда она открыла глаза, человек этот перекрестился и выплюнул воду. Это был Емельян.

– Где я? Кто вы?

– На Ходынке. А я кто? Человек я. Тоже помяли и меня. Да наш брат всего вытерпит, – сказал Емельян.

– А это что? – Рина указала на деньги медные у себя на животе.

– А это, значит, так думал народ, что померла, так на похоронки. А я пригляделся: думаю – нет, жива. Стал отливать.

Рина оглянулась на себя и увидела, что она вся растерзанная и часть груди ее голая. Ей стало стыдно. Человек понял и закрыл ее.

– Ничего, барышня, жива будешь.

Подошел еще народ, городской. Рина приподнялась, и села, и объявила, чья она дочь и где живет. А Емельян пошел за извозчиком.

Народу уже собралось много, когда Емельян приехал на извозчике. Рина встала, ее хотели подсаживать, но она сама села. Ей только было стыдно за свою растерзанность.

– Ну, а братец-то где? – спрашивала одна из подошедших женщин у Риной.

– Не знаю. Не знаю, – с отчаянием проговорила Рина. (Приехав домой, Рина узнала, что Алек, когда началась давка, успел выбраться из толпы и вернулся домой без всякого повреждения.)

– Да вот он спас меня, – говорила Рина. – Если бы не он, не знаю, что бы было. Как вас зовут? – обратилась она к Емельяну.

– Меня-то? Что меня звать.

– Княжна ведь она, – подсказала ему одна из женщин, – бога-а-а-тая.

– Поедемте со мной к отцу. Он вас отблагодарит.

И вдруг у Емельяна на душе что-то поднялось такое сильное, что не променял бы на двухсоттысячный выигрыш.

– Чего еще. Нет, барышня, ступайте себе. Чего еще благодарить.

– Да нет же, я не буду спокойна.

– Прощай, барышня, с Богом. Только пальто мою не увези.

И он улыбнулся такой белозубой, радостной улыбкой, которую Рина вспоминала как утешение в самые тяжелые минуты своей жизни.

И такое же еще большее радостное чувство, выносящее его из этой жизни, испытывал Емельян, когда вспоминал Ходинку и эту барышню и последний разговор с нею.

[Нечаянно]

Он вернулся в шестом часу утра и прошел по привычке в уборную, но, вместо того чтобы раздеваться, сел – упал в кресло, уронив руки на колени, и сидел так неподвижно минут пять, или десять, или час, – он не помнил.

– Семерка червей. Бита! – И он увидел его ужасную, непоколебимую морду, но все-таки просвечивающую самодовольством.

– Ах, черт! – громко проговорил он.

За дверью зашевелилось. И, в ночном чепце и ночной с прошивкой сорочке, в зеленых бархатных туфлях, вышла его жена, красивая энергическая брюнетка с блестящими глазами.

– Что с тобой? – сказала она просто, но, взглянув на его лицо, вскрикнула то же самое. – *Что с тобой?* Миша! Что с тобой?

– Со мной то, что я пропал.

– Играл?

– Да.

– Ну и что?

– Что? – с каким-то злорадством повторил он. – То, что я погиб! – и он всхлипнул, удерживая слезы.

– Сколько раз я просила, умоляла.

Ей жалко было его, но жальче было себя – и за то, что будет нужда, и за то, что она не спала всю ночь, мучаясь и дожидаясь его. «Уж пять часов», – подумала она, взглянув на часы, лежавшие на столике.

– Ах, мучитель. Сколько?

Он взмахнул обеими руками мимо ушей.

– Все! Не все, но больше всего: все свое, все казенное. Бейте меня. Делайте со мной, что хотите. Я погиб. – И он закрыл лицо руками. – Ничего больше не знаю!

– Миша! Миша, послушай. Пожалей меня, я ведь тоже человек, я не спала всю ночь. Тебя ждала, мучилась, и вот награда. Скажи по крайней мере – что? сколько?

– Столько, что не могу, не может никто заплатить. Все шестнадцать тысяч. Все кончено. Убежать, но как?

Он взглянул на нее, и, чего никак не ожидал, она привлекала его к себе. «Как она хороша», – подумал он и взял ее за руку. Она оттолкнула его.

– Миша, да говори же толком, как же ты это мог?

– Надеялся отыграться. – Он достал портсигар и жадно стал курить. –

Да, разумеется. Я мерзавец, я не стою тебя. Брось меня. Прости в последний раз, и я уйду, исчезну. Катя. Я не мог, не мог. Я был как во сне, нечаянно. – Он поморщился. – Но что же делать. Все равно погиб. Но ты прости. – Он опять хотел обнять ее, но она сердито отстранилась.

– Ах, эти жалкие мужчины. Храбрытся, пока все хорошо, а как плохо – так отчаяние и никуда не годятся.

Она села на другую сторону туалетного столика.

– Расскажи порядком.

И он рассказал ей. Рассказал, как он вез деньги в банк и встретил Некраскова. Он предложил ему заехать к себе и играть. И они играли, и он проиграл все и теперь решил покончить с собой. Он говорил, что решил покончить с собой, но она видела, что он ничего не решил, а был в отчаянии и готов был на все. Она выслушала его и, когда он кончил:

– Все это глупо, гадко: нечаянно проиграть деньги нельзя. Это какое-то кретинство.

– Ругай, что хочешь делай со мной.

– Да я не ругать хочу, а хочу спасти тебя, как всегда спасала, как ты ни гадок и жалок мне.

– Бей, бей. Недолго уже...

– Так вот, слушай. По-моему, как ни мерзко, безжалостно мучать меня... Я больна – нынче еще принимала... и вдруг этот сюрприз. И эта беспомощность. Ты говоришь, что делать? Делать очень просто что. Сейчас же, – теперь шесть часов, – поезжай к Фриму и расскажи ему.

– Разве Фрим пожалеет? Ему нельзя рассказать.

– Как, однако, ты глуп. Неужели я буду советовать тебе рассказать директору банка, что ты доверенные тебе деньги проиграл в... Расскажи ему, что ты ехал на Николаевский вокзал... Нет. Сейчас поезжай в полицию. Нет, не сейчас, а утром в десять часов. Ты шел по Нечаевскому переулку, на тебя набросились двое. Один с бородой, другой почти мальчик, с браунингом, и отняли деньги. И тотчас же к Фриму. То же самое.

– Да, но ведь... – Он опять закурил папиросу. – Ведь они могут узнать от Некраскова.

– Я пойду к Некраскову. И скажу ему. Я сделаю.

Миша начал успокаиваться и в восемь часов утра заснул как мертвый. В десять она разбудила его.

Это происходило рано поутру в верхнем этаже. В нижнем же этаже, в семействе Островских, в шесть часов вечера происходило следующее.

Только что кончили обедать. И молодая мать, княгиня Островская,

подозвала лакея, обнесшего уже всех пирожным, апельсинным желе, спросила чистую тарелку и, положив на нее порцию желе, обратилась к своим детям, – их было двое: старший – мальчик семи лет, Вока; девочка – четырех с половиной, Танечка. Оба были очень красивые дети: Вока – серьезный, здоровый, степенный мальчик, с прелестной улыбкой, выставлявшей разрозненные, меняющиеся зубы, и черноглазая, быстрая, энергичная Танечка, болтливая, забавная хохотунья, всегда веселая и со всеми ласковая.

– Дети, кто снесет няне пирожное?

– Я, – проговорил Вока.

– Я, я, я, я, я, я, – прокричала Танечка и уж сорвалась со стула.

– Нет, кто первый сказал. Вока. Бери, – сказал отец, всегда баловавший Танечку и потому всегда бывший рад случаю выказать свою беспристрастность. – А ты, Танечка, уступи брату, – сказал он любимице.

– Воке уступить я всегда рада. Вока, бери, иди. Для Воки мне ничего не жалко.

Обыкновенно дети благодарили за обед. И родители пили кофе и дожидались Воки. Но его что-то долго не было.

– Танечка, сбегай в детскую, посмотри, отчего Вока долго не идет.

Танечка соскочила со стула, зацепила ложку, уронила, подняла, положила на край стола, она опять упала, опять подняла и с хохотом, семеня своими обтянутыми чулками сытыми ножками, полетела в коридор и в детскую, позади которой была нянина комната. Она было пробежала в детскую, но вдруг позади себя услышала всхлипывание. Она оглянулась, Вока стоял подле своей кровати и, глядя на игрушечную лошадь, держал в руке тарелку и горько плакал. На тарелке ничего не было.

– Вока, что ты? Вока, а пирожное?

– Я-я-я нечаянно съел дорогой. Я не пойду... никуда... не пойду. Я, Таня... я, право, нечаянно... я все съел... сначала немного, а потом все съел.

– Ну, что же делать?

– Я нечаянно...

Танечка задумалась. Вока заливался, плакал. Вдруг Танечка вся просияла.

– Вока, вот что. Ты не плачь, а пойди к няне и скажи ей, что ты нечаянно, и попроси прощенья, а завтра мы ей свое отдадим. Она добрая.

Рыдания Воки прекратились, он вытирал слезы и ладонями, и противной стороной ручек.

– А как же я скажу? – проговорил он дрожащим голосом.

– Ну, пойдём вместе.

И они пошли и вернулись счастливые и веселые. И счастливые и веселые были и няня и родители, когда няня, смеясь и умиляясь, рассказала им всю историю.

Незаконченное. Наброски

Посмертные записки старца Федора Кузмича умершего 20 января 1864 года в Сибири, близ Томска на заимке купца Хромова

Еще при жизни старца Федора Кузмича, появившегося в Сибири в 1836 году и прожившего в разных местах двадцать семь лет, ходили про него странные слухи о том, что это скрывающий свое имя и звание, что это не кто иной, как император Александр Первый; после же смерти его слухи еще более распространились и усилились. И тому, что это был действительно Александр Первый, верили не только в народе, но и в высших кругах и даже в царской семье в царствование Александра Третьего. Верил этому и историк царствования Александра Первого, ученый Шильдер.

Поводом к этим слухам было, во-первых, то, что Александр умер совершенно неожиданно, не болев перед этим никакой серьезной болезнью, во-вторых, то, что умер он вдали от всех, в довольно глухом месте, Таганроге, в-третьих, то, что, когда он был положен в гроб, те, кто видели его, говорили, что он так изменился, что нельзя было узнать его и что поэтому его закрыли и никому не показывали, в-четвертых, то, что Александр неоднократно говорил, писал (и особенно часто в последнее время), что он желает только одного: избавиться от своего положения и уйти от мира, в-пятых, – обстоятельство мало известное, – то, что при протоколе описания тела Александра было сказано, что спина его и ягодицы были багрово-сизо-красные, что никак не могло быть на изнеженном теле императора.

Что же касается до того, что именно Кузмича считали скрывшимся Александром, то поводом к этому было, во-первых, то, что старец был ростом, сложением и наружностью так похож на императора, что люди (камер-лакеи, признавшие Кузмича Александром), выдавшие Александра и его портреты, находили между ними поразительное сходство, и один и тот же возраст, и та же характерная сутуловатость; во-вторых, то, что Кузмич, выдававший себя за непомнящего родства бродягу, знал иностранные языки и всеми приемами своими величавой ласковости обличал человека, привыкшего к самому высокому положению; в-третьих, то, что старец никогда никому не открыл своего имени и звания, а между тем невольно прорывающимися выражениями выдавал себя за человека, когда-то

стоявшего выше всех других людей; и, в-четвертых, то, что он перед смертью уничтожил какие-то бумаги, из которых остался один листок с шифрованными странными знаками и инициалами А. и П.; в-пятых, то, что, несмотря на всю набожность, старец никогда не говел. Когда же посетивший его архиерей уговаривал его исполнить долг христианина, старец сказал: «Если бы я на исповеди не сказал про себя правды, небо удивилось бы; если же бы я сказал, кто я, удивилась бы земля».

Все догадки и сомнения эти перестали быть сомнениями и стали достоверностью вследствие найденных записок Кузмича. Записки эти следующие. Начинаются они так:

I

Спаси Бог бесценного друга Ивана Григорьевича^[25] за это восхитительное убежище. Не стою я его доброты и милости Божией. Я здесь спокоен. Народа ходит меньше, и я один с своими преступными воспоминаниями и с Богом. Постараюсь воспользоваться уединением, чтобы подробно описать свою жизнь. Она может быть поучительна людям.

Я родился и прожил сорок семь лет своей жизни среди самых ужасных соблазнов и не только не устоял против них, но упивался ими, соблазнялся и соблазнял других, грешил и заставлял грешить. Но Бог оглянулся на меня. И вся мерзость моей жизни, которую я старался оправдать перед собой и сваливать на других, наконец открылась мне во всем своем ужасе, и Бог помог мне избавиться не от зла – я еще полон его, хотя и борюсь с ним, – но от участия в нем. Какие душевные муки я пережил и что совершилось в моей душе, когда я понял всю свою греховность и необходимость искупления (не веры в искупление, а настоящего искупления грехов своими страданиями), я расскажу в своем месте. Теперь же опишу только самые действия мои, как я успел уйти из своего положения, оставив вместо своего труп труп замученного мною до смерти солдата, и приступлю к описанию своей жизни с самого начала.

Бегство мое совершилось так. В Таганроге я жил в том же безумии, в каком жил все эти последние двадцать четыре года. Я, величайший преступник, убийца отца, убийца сотен тысяч людей на войнах, которых я был причиной, гнусный развратник, злодей, верил тому, что мне про меня говорили, считал себя спасителем Европы, благодетелем человечества, исключительным совершенством, *un heureux hasard*,^[26] как я сказал это *madame Stael*.^[27] Я считал себя таким, но Бог не совсем оставил меня, и

недремлющий голос совести не переставая грыз меня. Все мне было нехорошо, все были виноваты. Один я был хорош, и никто не понимал этого. Я обращался к Богу, молился то православному Богу с Фотием, то католическому, то протестантскому с Парротом, то иллюминатскому с Крюденер, но и к Богу я обращался только перед людьми, чтоб они любовались мною. Я презирал всех людей, а эти-то презренные люди, их мнение только и было для меня важно, только ради его я жил и действовал. Одному мне было ужасно. Еще ужаснее с нею, с женою. Ограниченная, лживая, капризная, злая, чахоточная и вся притворство, она хуже всего отравляла мою жизнь. Nous étions censés^[28] проживать нашу новую lune de miel,^[29] а это был ад в приличных формах, притворный и ужасный.

Один раз мне особенно было гадко, я получил накануне письмо от Аракчеева об убийстве его любовницы. Он описывал мне свое отчаянное горе. И удивительное дело: его постоянная тонкая лесть, не только лесть, но настоящая собачья преданность, начавшаяся еще при отце, когда мы вместе с ним, тайно от бабушки, присягали ему, эта собачья преданность его делала то, что я если любил в последнее время кого из мужчин, то любил его. Хотя и неприлично употреблять это слово «любил», относя его к этому извергу. Связывало меня с ним еще и то, что он не только не участвовал в убийстве отца, как многие другие, которые именно за то, что они были участниками моего преступления, мне были ненавистны. Он не только не участвовал, но был предан моему отцу и предан мне. Впрочем, про это после.

Я спал дурно. Странно сказать, убийство красавицы, злой Настасьи (она была удивительно чувственно красива) вызвало во мне похоть. И я не спал всю ночь. То, что через комнату лежит чахоточная, постылая жена, не нужная мне, злило и еще больше мучало меня. Мучали и воспоминания о Мари (Нарышкиной), бросившей меня для ничтожного дипломата. Видно, и мне и отцу суждено было ревновать к Гагариным. Но я опять увлекаюсь воспоминаниями. Я не спал всю ночь. Стало рассветать. Я поднял гардину, надел свой белый халат и кликнул камердинера. Все еще спали. Я надел сюртук, штатскую шинель и фуражку и вышел мимо часовых на улицу.

Солнце только что поднималось над морем, был свежий осенний день. На воздухе мне сейчас же стало лучше. Мрачные мысли исчезли, и я пошел к игравшему местами на солнце морю. Не доходя угла с зеленым домом, я услышал с площади барабан и флейту. Я прислушался и понял, что на площади происходила экзекуция: прогоняли сквозь строй. Я, столько раз разрешавший это наказание, никогда не видал этого зрелища. И странное

дело (это, очевидно, было дьявольское влияние), мысли об убитой чувственной красавице Настасье и об рассекаемых шпицрутенами телах солдат сливались в одно раздражающее чувство. Я вспомнил о прогнанных сквозь строй семеновцах и о военнопоселенцах, сотни которых были загнаны насмерть, и мне вдруг пришла странная мысль посмотреть на это зрелище. Так как я был в штатском, я мог это сделать.

Чем ближе я шел, тем явственнее слышалась барабанная дробь и флейта. Я не мог ясно рассмотреть без лорнета своими близорукими глазами, но видел уже ряды солдат и движущуюся между ними высокую, с белой спиной фигуру. Когда же я стал в толпе людей, стоявшей позади рядов и смотревшей на зрелище, я достал лорнет и мог рассмотреть все, что делалось. Высокий человек с привязанными к штыку обнаженными руками и с голой, кое-где алевшей уже от крови, рассеченной белой сутуловатой спиной шел по улице сквозь строй солдат с палками. Человек этот был я, был мой двойник. Тот же рост, та же сутуловатая спина, та же лысая голова, те же баки, без усов, те же скулы, тот же рот и те же голубые глаза, но рот не улыбающийся, а раскрывающийся и искривляющийся от вскрикиваний при ударах, и глаза не умильные, ласкающие, а страшно выпяченные и то закрывающиеся, то открывающиеся.

Когда я взгляделся в лицо этого человека, я узнал его. Это был Струменский, солдат, левофланговый унтер-офицер 3-й роты Семеновского полка, в свое время известный всем гвардейцам по своему сходству со мною. Его шутя называли Александром II.

Я знал, что он был вместе с бунтовавшими семеновцами переведен в гарнизон, и понял, что он, вероятно, здесь в гарнизоне сделал что-нибудь, вероятно, бежал, был пойман и вот наказывался. Как я потом узнал, так это и было.

Я стоял как заколдованный, глядя на то, как шагал этот несчастный и как его били, и чувствовал, что что-то во мне делается. Но вдруг я заметил, что стоявшие со мной люди, зрители, смотрят на меня, – одни сторонятся, другие приближаются. Очевидно, меня узнали. Увидав это, я повернулся и быстро пошел домой. Барабан все бил, флейта играла; стало быть, казнь все продолжалась. Главное чувство мое было то, что мне надо было сочувствовать тому, что делалось над этим двойником моим. Если не сочувствовать, то признавать, что делается то, что должно, – и я чувствовал, что я не мог. А между тем я чувствовал, что если я не признаю, что это так и должно быть, что это хорошо, то я должен признать, что вся моя жизнь, все мои дела – все дурно, и мне надо сделать то, что я давно хотел сделать: все бросить, уйти, исчезнуть.

Чувство это охватило меня, я боролся с ним, я то признавал, что это так и должно быть, что это печальная необходимость, то признавал, что мне надо было быть на месте этого несчастного. Но, странное дело, мне не жалко было его, и я, вместо того чтобы остановить казнь, только боялся, что меня узнают, и ушел домой.

Скоро перестало быть слышно барабаны, и, вернувшись домой, я как будто освободился от охватившего меня там чувства, выпил свой чай и принял доклад от Волконского. Потом обычный завтрак, обычные, привычные – тяжелые, фальшивые отношения с женой, потом Дибич и доклад, подтверждавший сведения о тайном обществе. В свое время, описывая всю историю своей жизни, опишу, если Богу будет угодно, все подробно. Теперь же скажу только, что и это я внешним образом принял спокойно. Но это продолжалось только до конца обеда. После обеда я ушел в кабинет, лег на диван и тотчас же заснул.

Едва ли я проспал пять минут, как толчок во всем теле разбудил меня, и я услышал барабанную дробь, флейту, звуки ударов, вскрикивания Струменского и увидел его или себя, – я сам не знал, он ли был я, или я был я, – увидел его страдающее лицо и безнадежные подергивания и хмурые лица солдат и офицеров. Затмение это продолжалось недолго: я вскочил, застегнул сюртук, надел шляпу и шпагу и вышел, сказав, что пойду гулять.

Я знал, где был военный госпиталь, и прямо пошел туда. Как всегда, все засуетились. Запыхавшись, прибежал главный доктор и начальник штаба. Я сказал, что хочу пройти по палатам. Во второй палате я увидел плешивую голову Струменского. Он лежал ничком, положив голову на руки, и жалобно стонал. «Был наказан за побег», – доложили мне.

Я сказал: «А!», сделал свой обычный жест того, что слышу и одобряю, и прошел мимо.

На другой день я послал спросить, что Струменский. Мне сказали, что его причастили и он умирает.

Это был день именин брата Михаила. Был парад и служба. Я сказал, что нездоров после крымской поездки, и не пошел к обедне. Ко мне опять пришел Дибич и докладывал опять о заговоре во 2-й армии, напоминая то, что говорил мне об этом граф Витт еще до крымской поездки, и донесение унтер-офицера Шервуда.

Тут только, слушая доклад Дибича, приписывавшего такую огромную важность этим замыслам заговора, я вдруг почувствовал все значение и всю силу того переворота, который произошел во мне. Они делают заговор, чтобы изменить образ правления, ввести конституцию, – то самое, что я хотел сделать двадцать лет тому назад. Я делал и разделял конституции в

Европе, и что и кому от этого стало лучше? И, главное, кто я, чтобы делать это? Главное было то, что вся внешняя жизнь, всякое устройство внешних дел, всякое участие в них – а уж я ли не участвовал в них и не перестраивал жизнь народов Европы – было не важно, не нужно и не касалось меня. Я вдруг понял, что все это не мое дело. Что мое дело – я, моя душа. И все мои прежние желания отречения от престола, тогда с рисовкой, с желанием удивить, опечалить людей, показать им свое величие души, вернулись теперь, но вернулись с новой силой и с полной искренностью, уже не для людей, а только для себя, для души. Как будто весь этот пройденный мною в светском смысле блестящий круг жизни был пройден только для того, чтобы вернуться к тому юношескому, вызванному раскаянием, желанию уйти от всего, но вернуться без тщеславия, без мысли о славе людской, а для себя, для Бога. Тогда это были неясные желания, теперь это была невозможность продолжать ту же жизнь.

Но как? Не так, чтобы удивить людей, чтобы меня хвалили, а, напротив, надо было уйти так, чтобы никто не знал и чтобы пострадать. И эта мысль так обрадовала, так восхитила меня, что я стал думать о средствах приведения ее в исполнение, все силы своего ума, своей, свойственной мне, хитрости употребил на то, чтобы привести ее в исполнение.

И удивительное дело, исполнение моего намерения оказалось гораздо более легким, чем я ожидал. Намерение мое было такое: притвориться больным, умирающим и, подговорив и подкупив доктора, положить на мое место умирающего Струменского и самому уйти, бежать, скрыв от всех свое имя.

И все делалось, как бы нарочно, для того, чтобы мое намерение удалось. 9-го я, как нарочно, заболел лихорадкой. Я проболел около недели, во время которой я все больше и больше укреплялся в своем намерении и обдумывал его. 16-го я встал и чувствовал себя здоровым.

В этот день я, по обыкновению, сел бриться и, задумавшись, сильно обрезался около подбородка. Пошло много крови, мне сделалось дурно, и я упал. Прибежали, подняли меня. Я тотчас же понял, что это может мне пригодиться для исполнения моего намерения, и, хотя чувствовал себя хорошо, притворился, что я очень слаб, слег в постель и велел позвать себе помощника Виллие. Виллие не пошел бы на обман, этого же молодого человека я надеялся подкупить. Я открыл ему свое намерение и план исполнения и предложил ему восемьдесят тысяч, если он сделает все то, что я от него требовал. План мой был такой: Струменский, как я узнал, в это утро был при смерти и должен был кончиться к ночи. Я лег в

постель и, притворившись раздраженным на всех, не допускал к себе никого, кроме подкупленного врача. В эту же ночь врач должен был привезти в ванне тело Струменского и положить его на мое место и объявить о моей неожиданной смерти. И удивительное дело, все было исполнено так, как мы предполагали. И 17 ноября я был свободен.

Тело Струменского в закрытом гробу похоронили с величайшими почестями. Брат Николай вступил на престол, сослав в каторгу заговорщиков. Я видел потом в Сибири некоторых из них, я же пережил ничтожные в сравнении с моими преступлениями страдания и незаслуженные мною величайшие радости, о которых расскажу в своем месте.

Теперь же, стоя по пояс в гробу, семидесятидвухлетним стариком, понявшим тщету прежней жизни и значительность той жизни, которой я жил и живу бродягой, постараюсь рассказать повесть моей ужасной жизни.

Моя жизнь

12 декабря 1849.

Сибирская тайга, близ Краснореченска

Сегодня день моего рождения, мне семьдесят два года. Семьдесят два года тому назад я родился в Петербурге. В Зимнем дворце, в покоях моей матери императрицы – тогда великой княгини Марьи Федоровны.

Спал я сегодня ночью довольно хорошо. После вчерашнего нездоровья мне стало несколько легче. Главное, прекратилось сонное духовное состояние, возобновилась возможность всей душой обращаться с Богом. Вчера ночью в темноте молился. Ясно сознал свое положение в мире: я – вся моя жизнь – есть нечто нужное тому, кто меня послал. И я могу делать это нужное ему и могу не делать. Делая нужное ему, я содействую благу своему и всего мира. Не делая этого, лишаюсь своего блага – не всего блага, а того, которое могло быть моим, но не лишаю мир того блага, которое предназначено ему (миру). То, что я должен бы был сделать, сделают другие. И его воля будет исполнена. В этом свобода моей воли. Но если он знает, что будет, если все определено им, то нет свободы? Не знаю. Тут предел мысли и начало молитвы, простой, детской и старческой молитвы: «Отче, не моя воля да будет, но твоя. Помогни мне. Прииди и вселися в ны». Просто: «Господи, прости и помилуй; да, Господи, прости и помилуй, прости и помилуй. Словами не могу сказать, а сердце ты знаешь, ты сам в нем».

И я заснул хорошо. Просыпался, как всегда, по старческой слабости, раз пять и видел сон о том, что купаюсь в море и плаваю и удивляюсь, как меня вода держит высоко, – так, что я совсем не погружаюсь в нее; и вода зеленоватая, красивая; и какие-то люди мешают мне, и женщины на берегу, а я нагой, и нельзя выйти. Смысл сновидения тот, что мешает мне еще крепость моего тела, но выход близок.

Встал до рассвета, высек огня и долго не мог зажечь серничка. Надел свой лосиный халат и вышел на улицу. Из-за осыпанных снегом лиственниц и сосен краснела красно-оранжевая заря. Внес вчера наколонные дрова и затопил, и стал еще колоть. Рассвело. Поел размоченных сухарей; печь истопилась, закрыл трубу и сел писать.

Родился я ровно семьдесят два года тому назад, 12 декабря 1777 года, в Петербурге, в Зимнем дворце. Имя дано мне было, по желанию бабки, Александр, – в предзнаменование того, как она сама говорила мне, чтобы я

был столь же великим человеком, как Александр Македонский, и столь же святым, как Александр Невский. Крестили меня через неделю в большой церкви Зимнего дворца. Несла меня на глазетовой подушке герцогиня курляндская, покрывало поддерживали высшие чины, крестной матерью была императрица, крестным отцом был император австрийский и король прусский. Комната, в которую поместили меня, была так устроена по плану бабушки. Я ничего этого не помню, но знаю по рассказам.

В обширной комнате этой с тремя высокими окнами, посередине ее, среди четырех колонн прикреплен к высокому потолку бархатный балдахин с шелковыми занавесами по полу. Под балдахином поставлена кровать железная, с кожаным тюфячком, подушечкой и легким английским одеялом. Кругом балдахина балюстрада в два аршина вышины – так, чтобы посетители не могли близко подходить. В комнате никакой мебели, только позади балдахина постель кормилицы. Все подробности моего телесного воспитания были обдуманы бабушкой. Запрещено было меня укачивать, пеленали особенным образом, ноги были без чулок, купали сначала в теплой, потом в холодной воде, одежда была особенная, надевалась сразу, без швов и завязок. Как только я начал ползать, так меня клали на ковер и предоставляли самому себе. Первое время мне рассказывали, что бабушка часто сама садилась на ковер и играла со мной. Я ничего этого не помню, не помню и кормилицу.

Кормилицей моей была жена садовникова молодца, Авдотья Петрова из Царского Села. Я не помню ее. Я увидел ее в первый раз, когда мне было восемнадцать лет и она в Царском подошла ко мне в саду и назвала себя. Было это в то мое хорошее время моей первой дружбы с Чарторижским и искреннего отвращения ко всему тому, что делалось при обоих дворах, как несчастного отца, так и ставшей мне ненавистной тогда бабки. Я был еще человеком тогда, и даже не дурным человеком, с добрыми стремлениями. Я шел с Адамом по парку, когда из боковой аллеи вышла хорошо одетая женщина, с необыкновенно добрым, очень белым, приятным, улыбающимся и взволнованным лицом. Она быстро подошла ко мне и, упав на колени, схватила мою руку и стала целовать ее.

– Батюшка, ваше высочество. Вот когда Бог привел.

– Кто вы?

– Кормилка ваша Авдотья, Дуняша, одиннадцать месяцев кормила. Привел Бог взглянуть.

Я насилу поднял ее, спросил, где она живет, и обещал зайти к ней. Милый intérieur^[30] ее чистенького домика; ее милая дочка, совершенная русская красавица, моя молочная сестра, (которая) была невестой

берейтора придворного; отец ее, садовник, такой же улыбающийся, как и жена, и куча детей, тоже улыбающихся, – все они точно осветили меня в темноте. «Вот настоящая жизнь, настоящее счастье, – думал я. – Так все просто, ясно, никаких интриг, зависти, ссор».

Так вот эта милая Дуняша и кормила меня. Главной няней моей была немка Софья Ивановна Бенкендорф, а няней – англичанка Гесслер. Софья Ивановна Бенкендорф, немка, была толстая, белая, прямоносая женщина, с величественным видом, когда она распоряжалась в детской, и удивительно униженной, низкопоклонной, низкоприседающей при бабушке, которая была на голову ниже ее ростом. Она ко мне относилась особенно раболепно и вместе с тем строго. То она была царицей, в своих широких юбках и (с) своим величественным прямоносым лицом, то вдруг делалась притворяющейся девчонкой.

Прасковья Ивановна (Гесслер), англичанка, была длиннолицая, рыжеватая, всегда серьезная англичанка. Но зато, когда она улыбалась, она расслаивалась вся, и нельзя было удержаться от улыбки. Мне нравилась ее аккуратность, ровность, чистота, твердая мягкость. Мне казалось, что она что-то знает такого, чего не знал никто, ни маменька, ни батюшка, даже сама бабушка.

Мать свою я помню сначала как какое-то странное, печальное, сверхъестественное и прелестное видение. Красивая, нарядная, блестящая бриллиантами, шелком, кружевами и обнаженными полными белыми руками, она входила в мою комнату и с каким-то странным, чуждым мне, не относящимся ко мне грустным выражением лица ласкала меня, брала на свои сильные прекрасные руки, подносила к еще более прекрасному лицу, откидывала густые пахучие волосы, и целовала меня и плакала, и раз даже спустила меня с рук и упала в дурноте.

Странное дело: внушено ли мне это было бабушкой, или таково было обхождение со мною матери, или я детским чутьем проник ту дворцовую интригу, которой я был центром, но у меня не было простого чувства, даже никакого чувства любви к матери. Что-то натянутое чувствовалось в ее обращении ко мне. Она как будто что-то выказывала через меня, забывая меня, и я это чувствовал. Так это и было. Бабка отняла меня от родителей, взяла в свое полное распоряжение, для того чтобы передать мне престол, лишив его ненавидимого ею сына, моего несчастного отца. Я, разумеется, долго ничего не знал этого, но с первых же дней сознания я, не понимая причин, сознавал себя предметом какой-то вражды, соревнования, игрушкой каких-то замыслов и чувствовал холодность и равнодушие к себе, к своей детской душе, не нуждавшейся ни в какой короне, а только в

простой любви. И ее-то и не было. Была мать, всегда грустная в моем присутствии. Один раз она, поговорив о чем-то по-немецки с Софьей Ивановной, расплакалась и выбежала почти из комнаты, слышав шаги бабушки. Был отец, который иногда входил в нашу комнату и к которому потом водили меня с братом. Но отец этот, мой несчастный отец, еще больше и решительнее, чем мать, при виде меня выражал свое неудовольствие, сдержанный гнев даже.

Помню, как раз нас с братом Константином привели на их половину. Это было перед отъездом его в путешествие за границу в 1781 году. Он вдруг отстранил меня рукой и с страшными глазами вскочил с кресла и, задыхаясь, заговорил что-то обо мне и бабушке. Я не понял что, но помню слова:

– Après 62 tout est possible... [\[33\]](#)

Я испугался, заплакал. Матушка взяла меня на руки и стала целовать. И потом поднесла ему. Он быстро благословил меня и, стуча своими высокими каблуками, почти выбежал из комнаты. Уже долго потом я понял значение этого взрыва. Они с матушкой ехали путешествовать под именем Comte и Comtesse du Nord. [\[34\]](#) Бабушка хотела этого. И он боялся, чтобы в его отсутствие он бы не был объявлен лишенным права на престол и я признан наследником...

Боже мой, Боже мой! И он дорожил тем, что погубило телесно и духовно и его и меня, и я, несчастный, дорожил тем же.

Кто-то стучится, произнося молитву: «Во имя Отца и Сына». Я сказал: «Аминь». Уберу писание, пойду отопру. И если Бог велит, будут продолжать завтра.

13 декабря

Спал мало и видел нехорошие сны: какая-то женщина, неприятная, слабая, жметя ко мне, и я не ее боюсь, не греха, а боюсь, что увидит жена. И будут опять упреки. Семьдесят два года, и я все еще не свободен... Наяву можно себя обманывать, но сновидение дает верную оценку той степени, до которой ты достиг. Видел еще – и это опять подтверждение той низкой степени нравственности, на которой я стою, – что кто-то принес мне здесь во мху конфеты, какие-то необыкновенные конфеты, и мы разобрали их из моха и роздали. Но после раздачи остались еще конфеты, и я выбираю их для себя, а тут мальчик вроде сына турецкого султана, черноглазый, неприятный, тянется к конфетам, берет их в руки, и я отталкиваю его и между тем знаю, что ребенку гораздо свойственнее есть конфеты, чем мне,

и все-таки не даю ему и чувствую к нему недоброе чувство, и в то же время знаю, что это дурно.

И странное дело, наяву со мной нынче случилось это самое. Пришла Марья Мартемьяновна. Вчера стучался от нее посол с запросом, может ли она побывать. Я сказал, что можно. Мне тяжелы эти посещения, но я знаю, что ее огорчил бы отказ. И вот нынче она приехала. Полозья издалека слышно было, как визжали по снегу. И она, войдя в своей шубе и платках, внесла кульки с гостинцами и такой холод, что я оделся в халат. Она привезла оладей, масла постного и яблок. Она приехала спросить о дочери. Сватается богатый вдовец. Отдавать ли? Очень мне тяжело это их представление о моей прозорливости. Все, что я говорю против, они приписывают моему смирению. Я сказал, что всегда говорю, что целомудрие лучше брака, но, по слову Павла, лучше жениться, чем разжигаться. С ней вместе приехал ее зять Никанор Иванович, тот самый, который звал меня поселиться в его доме и потом не переставая преследовал меня своими посещениями.

Никанор Иванович – это великое для меня искушение. Не могу преодолеть антипатии, отвращения к нему. «Ей, Господи, даруй мне зрети прегрешения моя и не осуждать брата моего». А я вижу все его согрешения, угадываю их с пронизательностью злобы, вижу все его слабости и не могу победить антипатии к нему, к брату моему, к носителю, так же как и я, божественного начала.

Что значат такие чувства? Я в моей долгой жизни не раз испытывал их. Но самые сильные мои две антипатии это были Лудовик XVIII, с его животом, горбатым носом, противными белыми руками, с его самоуверенностью, наглостью, тупостью (вот я сейчас уже начинаю ругать его), и другая антипатия – это Никанор Иванович, который вчера два часа мучал меня. Все, от звука его голоса до волос и ногтей, вызывало во мне отвращение. И я, чтоб объяснить свою мрачность Марье Мартемьяновне, солгал, сказав, что мне нездоровится. После них стал на молитву и после молитвы успокоился. Благодарю тебя, Господи, за то, что одно, единственное одно, что нужно мне, в моей власти. Вспомнил, что Никанор Иванович был младенцем и будет умирать, тоже вспомнил и о Лудовике XVIII, зная, что он уже умер, и пожалел, что Никанора Ивановича уже не было, чтобы я мог выразить ему мое доброе к нему чувство.

Марья Мартемьяновна привезла много свечей, и я могу писать вечером. Вышел на двор. С левой стороны потухли яркие звезды в удивительном северном сиянии. Как хорошо, как хорошо! Итак, продолжаю.

Отец с матерью уехали в заграничное путешествие, и мы с братом Константином, родившимся два года после меня, перешли на все время отсутствия родителей в полное распоряжение бабки. Брата называли Константином в ознаменование того, что он должен был быть греческим императором в Константинополе.

Дети всех любят, особенно тех, которые любят и ласкают их. Бабка ласкала, хвалила меня, и я любил ее, несмотря на отталкивающий меня дурной запах, который, несмотря на духи, всегда стоял около нее; особенно когда она меня брала на колени. И еще неприятны мне были ее руки, чистые, желтоватые, сморщенные, какие-то склизкие, глянцевитые, с пальцами, загибающимися внутрь, и далеко, неестественно оттянутыми, обнаженными ногтями. Глаза у нее были мутные, усталые, почти мертвые, что вместе с улыбающимся беззубым ртом производило тяжелое, но не отталкивающее впечатление. Я приписывал это выражение глаз (о котором вспоминаю теперь с омерзением) ее трудам о своих народах, как мне внушили это, и я жалел ее за это томное выражение глаз. Видел я раза два Потемкина. Этот кривой, косой, огромный, черный, потный, грязный человек был ужасен. Особенно же ужасен он мне был тем, что он один не боялся бабки и говорил своим трескучим голосом громко при ней и смело, хотя и называл меня высочеством, ласкал и тормозил меня.

Из тех, кого я видел у нее в это мое первое время детства, был еще Ланской. Он всегда был с ней, и все замечали его, все ухаживали за ним. Главное, сама императрица беспрестанно оглядывалась на него. Я не понимал, разумеется, тогда, что такое был Ланской, и он очень нравился мне. Нравились мне его букли, нравились обтянутые в лосины красивые ляжки и икры, нравилась его веселая, счастливая, беззаботная улыбка и бриллианты, которые повсюду блестели на нем.

Время это было очень веселое. Нас возили в Царское. Мы катались на лодках, копались в саду, гуляли, катались на лошадях. Константин, толстенький, рыженький, un petit Bacchus,^[35] как его называла бабушка, веселил всех своими шутками, смелостью и выдумками. Он всех передразнивал, и Софью Ивановну, и даже саму бабушку.

Важным событием за это время была смерть Софьи Ивановны Бенкендорф. Случилось это вечером в Царском, при бабушке. Софья Ивановна только что привела нас после обеда и что-то говорила, улыбаясь, как вдруг лицо ее стало серьезно, она зашаталась, прислонилась к двери, скользнула по ней и тяжело упала. Сбежались люди, нас увели. Но на другой день мы узнали, что она умерла. Я долго плакал и скучал и не мог опомниться. Все думали, что я плакал об Софье Ивановне, а я плакал не о

ней, а о том, что люди умирают, что есть смерть. Я не мог понять этого, не мог поверить тому, чтобы это была участь всех людей. Помню, что тогда в моей детской пятилетней душе восстали во всем своем значении вопросы о том, что такое смерть, что такое жизнь, кончающаяся смертью. Те главные вопросы, которые стоят перед всеми людьми и на которые мудрые ищут и не находят ответы и легкомысленные стараются отстранить, забыть. Я сделал, как это свойственно ребенку, и особенно в том мире, в котором жил: я отстранил от себя эту мысль, забыл про смерть, жил так, как будто ее нет, и вот дожил до того, что она стала страшна мне.

Другое важное событие в связи со смертью Софьи Ивановны был переход наш в мужские руки и назначение к нам в воспитатели Николая Ивановича Салтыкова. Не того Салтыкова, который, по всем вероятностям, был нашим дедом, а Николая Ивановича, служившего при дворе отца, маленького человечка с огромной головой, глупым лицом и всегдашней гримасой, которую удивительно представлял маленький брат Костя. Переход этот в мужские руки был для меня горем разлучения с милой Прасковьей Ивановной, прежней няней.

Людям, не имевшим несчастья родиться в царской семье, я думаю, трудно представить себе всю ту извращенность взгляда на людей и на свои отношения к ним, которую испытывали мы, испытывал я. Вместо того естественного ребенку чувства зависимости от взрослых и старших, вместо благодарности за все блага, которыми пользуешься, нам внушалась уверенность в том, что мы особенные существа, которые должны быть не только удовлетворяемы всеми возможными для людей благами, но которые одним своим словом, улыбкой не только расплачиваются за все блага, но награждают и делают людей счастливыми. Правда, от нас требовали учтвого отношения к людям, но я детским чутьем понимал, что это только видимость и что это делается не для них, не для тех, с кем мы должны быть учтивы, а для себя, для того, чтобы еще значительнее было свое величие.

Какой-то торжественный день, и мы едем по Невскому в огромном, высоком ландо: мы, два брата, и Николай Иванович Салтыков. Мы сидим на первом месте. Два напудренных лакея в красных ливреях стоят сзади. Весенний яркий день. На мне расстегнутый мундир, белый жилетик и по нем голубая андреевская лента, так же одет и Костя; на головах шляпы с перьями, которые мы то и дело снимаем и кланяемся. Народ везде останавливается, кланяется, некоторые бегут за нами. «On vous salue, – повторяет Николай Иванович. – À droite».^[36] Проезжаем мимо гауптвахты, и выбегает караул.

Этих я всегда вижу. Любовь к солдатам, к военным экзерцициям у

меня была с детства. Нам внушали – особенно бабушка, та самая, которая менее всех верила в это, – что все люди равны и что мы должны помнить это. Но я знал, что те, кто говорят так, не верят в это.

Помню, раз Саша Голицын, игравший со мной в бары, толкнул меня и сделал больно.

– Как ты смеешь!

– Я нечаянно. Что за важность!

Я чувствовал, как кровь прилила мне к сердцу от оскорбления и злобы. Я пожаловался Николаю Ивановичу, и мне не было стыдно, когда Голицын просил у меня прощения.

На нынче довольно. Свеча догорает. И надо еще нащепать лучины. А топор туп, и наточить нечем, да и не умею.

16 декабря

Три дня не писал. Был нездоров. Читал Евангелие, но не мог вызвать в себе того понимания его, того общения с Богом, которое испытывал прежде. Прежде много раз думал, что человек не может не желать. Я всегда желал и желаю. Желал прежде победы над Наполеоном, желал умиротворения Европы, желал освобождения себя от короны, и все желания мои или исполнялись и, когда исполнялись, переставали влечь меня к себе, или делались неисполнимы, и я переставал желать. Но пока эти исполнялись или становились неисполнимыми прежние желания, зарождались новые, и так шло и идет до конца. Теперь я желал зимы, она настала, желал уединения, почти достиг этого, теперь желаю описать свою жизнь и сделать это наилучшим образом, так, чтобы принести пользу людям. И если исполнится и если не исполнится, явятся новые желания. Вся жизнь в этом.

И мне пришло в голову, что если вся жизнь в зарождении желаний и радость жизни в исполнении их, то нет ли такого желания, которое свойственно бы было человеку, всякому человеку, всегда, и всегда исполнялось бы или, скорее, приближалось бы к исполнению? И мне ясно стало, что это было бы так для человека, который желал бы смерти. Вся жизнь его была бы приближением к исполнению этого желания; и желание это наверное исполнилось бы.

Сначала это мне показалось странным. Но, вдумавшись, я вдруг увидел, что это так и есть, что в этом одном, в приближении к смерти, разумное желание человека. Желание не в смерти, не в самой смерти, а в том движении жизни, которое ведет к смерти. Движение же это есть освобождение от страстей и соблазнов того духовного начала, которое

живет в каждом человеке. Я чувствую это теперь, освободившись от большей части того, что скрывало от меня сущность моей души, ее единство с Богом, скрывало от меня Бога. Я пришел к этому бессознательно. Но если бы я поставил своим высшим благом (а это не только возможно, но так и должно быть), считал бы своим высшим благом освобождение от страстей, приближение к Богу, то все, что придвигало бы меня к смерти: старость, болезни, было бы исполнением моего единого и главного желания. Это так, и это я чувствую, когда я здоров. Но когда я, как вчера и третьего дня, болею желудком, я не могу вызвать этого чувства и, хотя и не противлюсь смерти, не могу желать приближаться к ней. Да, такое состояние есть состояние сна духовного. Надо спокойно ждать.

Продолжаю вчерашнее. То, что я пишу про свое детство, я пишу больше по рассказам, и часто то, что мне про меня рассказывали, перемешивается с тем, что я испытал, так что я не знаю иногда, что я пережил и что слышал от людей.

Жизнь моя, вся, от рождения моего и до самой теперешней старости, напоминает мне местность, всю покрытую густым туманом, или даже после сражения под Дрезденом, когда все скрыто, ничего не видно, и вдруг тут и там открываются островки, *des éclaircies*,^[37] в которых видишь ни с чем не соединенных людей, предметы, со всех сторон окруженные непроницаемой завесой. Таковы мои детские воспоминания. Эти *éclaircies* в детстве только редко, редко открываются среди бесконечного моря тумана или дыма, потом чаще и чаще, но даже и теперь у меня есть времена, не оставляющие ничего в воспоминании. В детстве же их чрезвычайно мало, и чем дальше назад, тем меньше.

Я говорил об этих просветах первого времени: смерти Бенкендорфши, прощанье с родителями, передразнивание Кости, но и еще несколько воспоминаний того времени теперь, когда я думаю о прошедшем, открываются передо мной. Так, например, я совершенно не помню, когда появился Костя, когда мы стали жить вместе, а между тем живо помню, как мы раз, когда мне было не более семи, а Косте пяти лет, мы после всенощной накануне Рождества пошли спать и, воспользовавшись тем, что все вышли из нашей комнаты, соединились в одной кровати. Костя в одной рубашке перелез ко мне и начал какую-то веселую игру, состоящую в том, чтобы шлепать друг друга по голому телу. И хохотали до боли живота и были очень счастливы, когда вдруг вошел в своем расшитом кафтане с орденами Николай Иванович с своей огромной напудренной головой и, выпучив глаза, бросился на нас и с каким-то ужасом, которого я никак не мог объяснить себе, разогнал нас и гневно обещал наказать нас и

пожаловаться бабушке.

Другое памятное мне воспоминание, уже несколько позже – мне было около девяти лет, – это происшедшее у бабушки почти при нас столкновение Алексея Григорьевича Орлова с Потемкиным. Было это незадолго до поездки бабушки в Крым и нашего первого путешествия в Москву. Как обыкновенно, Николай Иванович приводит нас к бабушке. Большая с лепным и расписным потолком комната полна народом. Бабушка уже причесанная. Волосы ее зачесаны кверху надо лбом и как-то особенно искусно заложены на темени. Она сидит в белом пудроманте перед золотым туалетом. Горничные ее стоят над нею и убирают ее голову. Она, улыбаясь, смотрит на нас, продолжая говорить с большим, высоким, широким генералом с андreeвской лентой и страшно развороченной щекой ото рта до уха. Это Орлов, *Le balafre*.^[38] Я тут в первый раз видел его. Около бабушки андерсоны, левретки. Моя любимица Мими вскакивает с подола бабушки и вскакивает на меня лапами и лижет в лицо. Мы подходим к бабушке и целуем ее белую пухлую руку. Рука переворачивается, и загнутые пальцы ловят меня за лицо и ласкают. Несмотря на духи, я чувствую неприятный бабушкин запах. Но она продолжает глядеть на *balafre* и говорит с ним.

– Какоф маладец, – говорит она, указывая на меня. – Вы ишо не витали его, граф? – говорит.

– Молодцы оба, – говорит граф, целуя руку мою и Костину.

– Карашо, карашо, – говорит она горничной, надевающей ей на голову чепец. Горничная эта – Марья Степановна, набеленная, нарумяненная, добродушная женщина, которая всегда ласкает меня.

– *Où est ma tabatiere?*^[39]

Ланской подходит, подает открытую табакерку. Бабушка нюхает и, улыбаясь, глядит на подходящую шутиху Матрену Даниловну.

Живой труп
Драма в шести действиях
(Двенадцати картинах)

Действующие лица

Федор Васильевич Протасов (Федя).

Елизавета Андреевна Протасова (Лиза), его жена.

Миша, мальчик, их сын.

Анна Павловна, мать Лизы.

Саша, сестра Лизы.

Виктор Михайлович Каренин.

Анна Дмитриевна Каренина, мать его.

Марья Васильевна Крюкова, подруга Лизы.

Сергей Дмитриевич Абрезков, князь.

Маша, цыганка.

Иван Макарович, старый цыган, отец Маши.

Настасья Ивановна, старая цыганка, мать Маши.

приятели Феди.

Михаил Андреевич

Афремов

Стахович

Буткевич

Коротков

Иван Петрович Александров.

Петушков, художник.

Артемьев.

Вознесенский, секретарь Каренина.

Судебный следователь.

Письмоводитель судебного следователя.

Мельников.

Петрушин, адвокат.

Молодой адвокат.

Доктор.

Офицер у цыган.

Музыкант.

цыганки.

Катя
Гаша

Цыганка.
1-й цыган.
2-й цыган.

Дама в суде.
Офицер в суде.
Судейский.
Няня Протасовых.
Дуняша, горничная Протасовых.
Лакей Протасовых.
Лакей Карениных.
Женщина в трактире.
Половой в трактире.
Городовой.
Курьер.
Хозяин трактира.
Господин в суде.
Судьи, зрители, свидетели.
Цыгане и цыганки (хор).

Действие первое

Картина первая

Явление первое

Анна Павловна, полная седая дама, в корсете, сидит одна за чайным столом.

Явление второе

Анна Павловна и **Няня** с чайником.

Няня. Можно у вас водицы?

Анна Павловна. Можно. Что Мишечка?

Няня. Да беспокоен. Нет хуже, как сама барыня кормит. У них свои там горести, а ребеночек страдает. Какое же молоко может быть, когда ночи не спят, плачут.

Анна Павловна. Да, кажется, теперь успокоилась.

Няня. Хорошо спокойствие. Смотреть тошно. Что-то писали и плакали.

Явление третье

Те же и **Саша**.

Саша (*входит. К няне*). Лиза в детской вас ищет.

Няня. Иду, иду. (*Уходит.*)

Явление четвертое

Анна Павловна и **Саша**.

Анна Павловна. Няня говорит, что она все плачет. Как это она не может успокоиться.

Саша. Нет, вы, мама, удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка, и вы хотите, чтобы она была спокойна.

Анна Павловна. Не спокойна, – а что сделано, то сделано. Если я,

мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того. Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого дурного человека, освободиться от такого золота.

Саша. Мама, зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, а, напротив, удивительный, удивительный человек, несмотря на его слабости.

Анна Павловна. Ну, именно удивительный человек. Как только деньги в руках – свои ли, чужие ли...

Саша. Мама, он никогда чужих не брал.

Анна Павловна. Все равно, женины.

Саша. Да ведь он же отдал все свое состояние жене.

Анна Павловна. Еще бы не отдать, когда он сам знает, что он все промотает.

Саша. Промотает ли, не промотает, я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем, особенно с таким, как Федя.

Анна Павловна. По-твоему, надо ждать, пока он все промотает и приведет в дом своих цыганок-любовниц?

Саша. Нет у него любовниц.

Анна Павловна. Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня, нет, шалишь; я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила его.

Саша. Как вы это говорите легко.

Анна Павловна. Нет, не легко. Мне, матери, видеть дочь разведенной не легко. Поверь, что очень не легко. Но все лучше, чем загубить молодую жизнь. Нет, я бога благодарю, что она теперь решилась и что все кончено.

Саша. Может быть, и не кончено.

Анна Павловна. Только бы он дал развод.

Саша. Что же будет хорошего?

Анна Павловна. Будет то, что она молода и еще может быть счастлива.

Саша. Ах, мама, это ужасно, что вы говорите; не может Лиза полюбить другого.

Анна Павловна. Отчего не может? если она будет свободна. Найдутся люди в тысячу раз лучше вашего Федя и будут счастливы жениться на Лизе.

Саша. Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктора Каренина.

Анна Павловна. Отчего же не думать про него? Он любит ее десять лет, и она любит его.

Саша. Любит, но не так, как мужа. Это дружба с детства.

Анна Павловна. Знаем мы эту дружбу. Только бы не было препятствий.

Явление пятое

Те же. Входит **Горничная.**

Анна Павловна. Что вы?

Горничная. Барыня посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу.

Анна Павловна. Какая барыня?

Горничная. Лизавета Андреевна, барыня.

Анна Павловна. Ну так что ж?

Горничная. Виктор Михайлович приказали сказать, что сейчас сами будут.

Анна Павловна (удивленно). Только что о нем говорили. Не понимаю только зачем? (*Саше.*) Ты не знаешь?

Саша. Может быть, знаю, а может быть, не знаю.

Анна Павловна. Все секреты.

Саша. Лиза придет, она вам скажет.

Анна Павловна (качая головой, к горничной). А самовар подогреть надо. Возьми, Дуняша.

Горничная берет самовар и уходит.

Явление шестое

Анна Павловна и Саша.

Анна Павловна (к *Саше*, которая встала и хочет идти). Вышло, как я говорила. Сейчас же и послала за ним.

Саша. Послала, может быть, совсем не за тем.

Анна Павловна. Так за чем же?

Саша. Теперь, в эту минуту, Каренин для нее все равно что Трифоновна.

Анна Павловна. А вот увидишь. Ведь я ее знаю. Она зовет его, ищет утешения.

Саша. Ах, мама, как вы мало ее знаете, что можете думать это.

Анна Павловна. Да вот увидишь. И я очень, очень рада.

Саша. Увидим. (*Напевает и уходит.*)

Явление седьмое

Анна Павловна одна.

Анна Павловна (*покачивает головой и бормочет*). И прекрасно. И пускай... И прекрасно, и пускай... Да...

Явление восьмое

Анна Павловна и Горничная.

Горничная (*входит*). Виктор Михайлович приехали.

Анна Павловна. Ну что же. Проси, да скажи барыне.

Горничная проходит во внутреннюю дверь.

Явление девятое

Анна Павловна и Виктор Каренин.

Каренин (*входит, здоровается с Анной Павловной*). Лизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал. А я и так собирался к вам нынче вечером, так что очень рад... Лизавета Андреевна здорова?

Анна Павловна. Она здорова, ребенок немножко беспокоится. Она сейчас придет. (*Грустно.*) Да, да, тяжелое время... Вы ведь все знаете...

Каренин. Знаю. Ведь я тут был третьего дня, когда было получено от него письмо. Но неужели это так и решено бесповоротно?

Анна Павловна. Еще бы, разумеется. Переживать все, что было, еще раз, было бы ужасно.

Каренин. Да, вот где десять раз примерь, а раз отрежь. Резать по живому очень трудно.

Анна Павловна. Разумеется, трудно. Но ведь их брак уже давно был надрезан. Так что разорвать было менее трудно, чем кажется. Он сам понимает, что после всего, что было, ему уже самому нельзя вернуться.

Каренин. Отчего же?

Анна Павловна. Ну как же вы хотите после всех его гадостей, после того, как он клялся, что этого не будет и что если это будет, то он сам лишает себя всех прав мужа и дает ей полную свободу?

Каренин. Да, но какая же может быть свобода женщины, связанной браком?

Анна Павловна. Развод. Он обещал развод, и мы настоем.

Каренин. Да, но Лизавета Андреевна так любила его...

Анна Павловна. Ах, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли от нее остается что-нибудь. Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа?

Каренин. Для любви все можно.

Анна Павловна. Вы говорите – любить, но как же любить такого человека – тряпку, на которого ни в чем нельзя положиться? Ведь теперь что было... *(Оглядывается на дверь и торопится рассказать.)* Дела расстроены, все заложено, платить нечем. Наконец дядя присылает две тысячи, внести проценты. Он едет с этими деньгами и... пропадает. Жена сидит с больным ребенком, ждет, и, наконец, получается записка – прислать ему белье и вещи...

Каренин. Да, да, я знаю.

Явление десятое

Те же. Входят **Саша** и **Лиза**.

Анна Павловна. Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.

Каренин. Да, меня немного задержали. *(Здоровается с сестрами.)*

Лиза. Благодарствуйте. У меня до вас большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам.

Каренин. Все, что могу.

Лиза. Вы ведь все знаете.

Каренин. Да, я знаю.

Анна Павловна. Так я вас оставлю. *(Саше.)* Пойдем. Оставь их одних. *(Уходит с Сашей.)*

Явление одиннадцатое

Лиза и Каренин.

Лиза. Да, он написал мне письмо, что считает все конченным. Я *(удерживает слезы)*... так была оскорблена, так... ну, одним словом, я согласилась разорвать. И ответила ему, что принимаю его отказ.

Каренин. Но потом?..

Лиза. Потом? Потом я почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Все лучше, чем расстаться с ним. Ну, одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор... отдайте ему это письмо и

скажите... и привезите его.

Каренин. Хорошо. (*Удивленно.*) Да, но как же?

Лиза. Скажите, что я прошу его все забыть, все забыть и вернуться. Я бы могла просто послать письмо. Но я знаю его: первое движение, как всегда, будет хорошее, но потом чье-нибудь влияние, и он раздумает и сделает не то, что хочет...

Каренин. Сделаю, что могу.

Лиза. Вы удивляетесь, что я прошу именно вас?

Каренин. Нет... Впрочем, надо говорить правду – да, удивляюсь...

Лиза. Но не сердитесь?..

Каренин. Разве я могу на вас сердиться?

Лиза. Я просила вас потому, что знаю, что вы любите его.

Каренин. И его и вас. Вы знаете это. И люблю не для себя, а для вас. И я благодарю вас за то, что вы верите мне: сделаю, что могу.

Лиза. Я знала. Я вам все скажу: я нынче ездила к Афремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Этого увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете?

Каренин. Разумеется, сейчас.

Лиза. Поезжайте, найдите его и скажите, что все забыто, что я жду его.

Каренин (*встает*). Но где искать его?

Лиза. Он у цыган. Я сама была там. Я была у крыльца. Хотела послать письмо, потом раздумала и решила просить вас... адрес вот. Ну, так скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было, что все забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.

Каренин. Сделаю все, что могу. (*Выжидает, потом кланяется и уходит.*)

Явление двенадцатое

Лиза одна.

Лиза. Не могу, не могу. Все лучше, чем... не могу.

Явление тринадцатое

Лиза, входит **Саша**.

Саша. Ну что? Послала?

Лиза делает утвердительный знак головой.

И он согласился?

Лиза. Разумеется.

Саша. Зачем его – не понимаю...

Лиза. Кого же?

Саша. Да ведь ты знаешь, что он влюблен в тебя?

Лиза. Это все было и прошло. Но кого же ты хочешь, чтобы я просила? Как ты думаешь, вернется он?

Саша. Я уверена, потому что...

Явление четырнадцатое

Те же и Анна Павловна.

Анна Павловна входит, Саша замолкает.

Анна Павловна. А Виктор Михайлович где?

Лиза. Уехал.

Анна Павловна. Как уехал?

Лиза. Я просила его исполнить мою просьбу.

Анна Павловна. Какую просьбу? Опять секреты?

Лиза. Не секреты, а просто просила его самому передать письмо Феде.

Анна Павловна. Феде? Федор Васильевичу?

Лиза. Да, Феде.

Анна Павловна. Я думала, что между вами все отношения кончены.

Лиза. Я не могу расстаться с ним.

Анна Павловна. Как, опять все сначала?

Лиза. Я хотела, я старалась, но я не могу. Все, что хотите, но только бы не разлучаться с ним.

Анна Павловна. Так что же, ты хочешь вернуть его?

Лиза. Да.

Анна Павловна. Опять пустить к себе в дом эту гадину?

Лиза. Мама, я прошу вас не говорить так про моего мужа.

Анна Павловна. Он был муж.

Лиза. Нет, он теперь мой муж.

Анна Павловна. Мот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним

расстаться?

Лиза. За что вы меня мучаете? Мне и так тяжело, а вы точно нарочно хотите...

Анна Павловна. Я мучаю, так я уеду. Не могу я видеть этого.

Лиза молчит.

Я вижу, что вы этого хотите, что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего я в вас не понимаю. Все это по-новому. То развелась, решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен.

Лиза. Ничего этого нет.

Анна Павловна. Каренин делал предложение... и посылаешь его за мужем. Что это? Чтобы возбудить ревность?

Лиза. Мама! Это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня.

Анна Павловна. Так мать выгони из дома, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и бог с вами, как хотите, так и делайте. (*Уходит, хлопая дверью.*)

Явление пятнадцатое

Лиза и Саша.

Лиза (*падает на стул*). Этого не доставало!

Саша. Ничего. Все будет хорошо. Мама мы успокоим.

Явление шестнадцатое

Те же и Анна Павловна.

Анна Павловна (*молча проходит*). Дуняшка, мой чемодан!

Саша. Мама! Вы послушайте! (*Уходит за ней и подмигивает сестре.*)

Занавес

Картина вторая

Явление первое

Комната у цыган. Хор поет «Канавелу». **Федя** лежит на диване ничком, без сюртука. **Афремов** на стуле верхом против запевалы. **Офицер** у стола, на котором стоит шампанское и стаканы. Тут же **Музыкант** записывает.

Афремов. Федя! Спишь?

Федя (*поднимается*). Не разговаривайте. Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля... Теперь «Не вечерняя».

Цыган. Нельзя, Федор Васильевич. Теперь пусть Маша одна споет.

Федя. Ну, ладно. А потом «Не вечерняя». (*Опять ложится.*)

Офицер. «Час роковой». Согласны?

Афремов. Пускай.

Офицер (*к музыканту*). Что ж, записали?

Музыкант. Невозможно. Всякий раз по-новому. И какая-то скала иная. Вот тут. (*Подзывает. К цыганке, которая смотрит.*) Это как? (*Напевает.*)

Цыганка. Да так и есть. Так чудесно.

Федя (*поднимаясь*). Не запишет. А запишет да в оперу всунет – все изгадит. Ну, Маша, валяй хоть «Час»! Бери гитару. (*Встает, садится перед ней и смотрит ей в глаза.*)

Маша поет.

И это хорошо. Ай да Маша. Ну, теперь «Не вечерняя».

Афремов. Нет, постой. Прежде мою, похоронную.

Офицер. Отчего похоронную?

Афремов. А это оттого, что когда я умру... понимаешь, умру, в гробу буду лежать, придут цыгане... понимаешь? Так жене завещаю. И запоют «Шэл мэ верста», – так я из гроба вскочу, – понимаешь? (*Музыканту.*) Вот что запиши. Ну, катай.

Цыгане поют.

А, каково. Ну – «Размолодчики мои».

Поют. Афремов делает выходку. Цыгане улыбаются и, продолжая петь, хлопают. Афремов садится. Песня кончается.

Цыган. Ай да Михаил Андреевич, настоящий цыган.

Федя. Ну, теперь – «Не вечернюю».

Явление второе

Те же. Входит **Цыган**.

Цыган (к *Феде*). Вас барин спрашивает.

Федя. Какой барин?

Цыган. Не знаю. Одет хорошо. Соболья шуба.

Федя. Барарай? Ну что же, зови.

Явление третье

Те же, без цыгана.

Афремов. Кто ж это к тебе сюда?

Федя. А черт его знает. Кому до меня дело? (*Встает, шатаясь.*)

Маша уходит и что-то говорит по-цыгански с своими.

Явление четвертое

Те же, без Маши. Входит **Каренин**. Оглядывается.

Федя. А, Виктор. Вот кого не ждал. Раздевайся. Каким ветром тебя сюда занесло? Ну, садись. Слушай, Виктор. «Не вечерняя».

Цыгане поют.

Вот это она. Вот это она. Удивительно, и где же делается то все, что тут высказано? Ах, хорошо. И зачем может человек доходить до этого восторга, а нельзя продолжать его?

Музыкант (*записывает*). Да, очень оригинально.

Федя. Не оригинально, а это настоящее...

Афремов. Ну, чавалы, вы отдохните. (*Берет гитару и подсаживается к Кате.*)

Музыкант. В сущности, оно просто, но только ритм.

Каренин. je voudrais vous parler sans témoins. [\[40\]](#)

Федя. О чем?

Каренин. je viens de chez vous. Votre femme m'a chargé de cette lettre, et puis... [\[41\]](#)

Федя (*берет письмо, читает, хмурится, потом ласково улыбается*).

Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме?

Каренин. Знаю. И хочу сказать...

Федя. Постой, постой. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьян и мои слова невменяемы, то есть я невменяем. Я пьян, но в этом деле вижу все ясно. Ну, что же тебе поручено сказать?

Каренин. Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она... ждет тебя. Просит тебя все забыть и вернуться.

Федя (*слушает молча, глядя ему в лицо*). Я все-таки не понимаю, почему ты?

Каренин. Лизавета Андреевна прислала за мной и просила меня...

Федя. Так...

Каренин. Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя: поедem домой.

Федя. Ты лучше меня. Какой вздор! Лучше меня нетрудно быть. Я негодяй, а ты хороший, хороший человек. И от этого самого я не изменю своего решения. И не от этого. А просто не могу и не хочу. Ну как я поеду?

Каренин. Поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься, и завтра...

Федя. А завтра что? Все буду я – я, а она – она. Нет. (*Подходит к столу и пьет.*) Зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слова, то чтобы она бросила меня. Я не сдержал, и кончено.

Каренин. Для тебя, но не для нее.

Федя. Удивительно, что ты заботаешься о том, чтобы наш брак был не нарушен.

Каренин хочет что-то сказать. Входит Маша.

Явление пятое

Те же и Маша. Потом цыгане.

Федя (*перебивает его*). Ты послушай, ты послушай. Маша, спой.

Цыгане сходятся.

Маша (*шепотом*). Повеличать бы.

Федя (смеется). Величать: Виктор сударь Михайлович...

Цыгане поют.

Каренин (сконфуженно слушает, потом спрашивает). Сколько дать?

Федя. Ну, дай двадцать пять.

Каренин дает.

Явление шестое

Те же, без Каренина.

Федя. Чудесно! Теперь «Лен». (Оглядывается.) Удрал Каренин. Ну, черт с ним.

Цыгане разбредаются.

(Махает рукой, подходит к Маше, садится на диван рядом с ней.) Ах, Маша, Маша, как ты мне разворачиваешь нутро все.

Маша. Ну, а что я вас просила...

Федя. Что? Денег? (Вынимает из кармана штанов.) Ну что же, ВОЗЬМИ.

Маша смеется, берет деньги и прячет в пазуху.

Федя (цыганам). Вот и разберись тут. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь.

Маша. Как не понимать. Я понимаю, что кого люблю, для того и стараюсь и пою лучше.

Федя. А меня любишь?

Маша. Видно, что люблю.

Федя. Удивительно. (Целует ее.)

Цыгане и цыганки уходят. Остаются парочки: Федя с Машей, Афремов с Катей, офицер с Гашей. Музыкант пишет, цыган перебирает вальс на гитаре.

Ведь я женат, а тебе хор не велит. Хорошо тебе?

Маша. Разумеется, хорошо, когда хорошие гости. И нам весело.

Федя. Ты знаешь, кто это?

Маша. Слышала фамилию.

Федя. Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой к жене. Она меня, дурака, любит, а я вот что делаю.

Маша. Что же, это нехорошо. Надо к ней ехать. Надо ее пожалеть.

Федя. Ты думаешь, надо? А я думаю, не надо.

Маша. Известно, коли не любишь, так и не надо. Только любовь дорога.

Федя. А ты почему знаешь?

Маша. Должно, знаю.

Федя. Ну, поцелуй меня. Чавалы! Еще «Лен», и тогда шабаш.

Начинают петь.

Ах, хорошо! Кабы только не просыпаться. Так и помереть.

Занавес

Действие второе

Картина первая

После первого действия прошло две недели. У Лизы. Каренин и Анна Павловна сидят в столовой. Саша выходит из двери.

Явление первое

Каренин. Ну что?

Саша. Доктор сказал, что теперь опасности уж нет. И только не простудить.

Анна Павловна. Ну, слава богу. А то Лиза совсем извелась.

Саша. Он говорит, что это был или ложный круп, или в слабой форме... Это что? (Указывая на корзинку.)

Анна Павловна. Да это Виктор привез виноград.

Каренин. Не хотите ли?

Саша. Да, она любит. Она очень нервна стала.

Каренин. Две ночи не спать, не есть.

Саша (улыбаясь). Да вы тоже...

Каренин. Я другое дело.

Явление второе

Те же. Выходят **доктор** и **Лиза**.

Доктор (внушительно). Так так-с. Через каждые полчаса меняйте, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Мазать гортань не нужно. Температуру в комнате держать так же...

Лиза. А если опять будет задыхаться?

Доктор. Не должно быть. Если будет – пульверизация. И, кроме того, порошок, утром один и вечером другой. Я сейчас пропишу.

Анна Павловна. Не хотите ли, доктор, чаю?

Доктор. Нет, благодарю, больные ждут. (Садится к столу.)

Саша приносит бумагу и чернила.

Лиза. Так, наверное, это не круп.
Доктор (*улыбаясь*). Совершенно верно. (*Пишет.*)

Анна Павловна стоит над доктором.

Каренин. Ну, теперь выкушайте чая или, еще лучше, поспите, а то посмотрите, на что вы похожи.

Лиза. Теперь я ожила. Спасибо вам. Вот истинный друг. (*Жмет ему руку.*)

Саша сердито отходит к доктору.

Благодарствуйте, мой друг. Вот где дорога помощь.

Каренин. Что же я сделал? Вот уж не за что благодарить меня.

Лиза. А кто ночи не спал, кто привез эту знаменитость? Все вы...

Каренин. Уж я так награжден и тем, что Мика вне опасности, и, главное, – вашей добротой. (*Опять жмет руку и смеется, показывая монету, оставшуюся у ней в руке.*)

Лиза (*улыбается*). Это доктору. Только я никогда не умею как отдать.

Каренин. Ну и я тоже не могу.

Анна Павловна (*подходит*). Что не могу?

Лиза. Давать деньги доктору. Он спас мне больше, чем жизнь, а я даю деньги. Что-то тут такое неприятное.

Анна Павловна. Давай я дам. Я умею как. Очень просто...

Доктор (*встает и дает рецепт*). Так эти порошки в столовой ложке отварной воды хорошенько размешать и... (*Продолжает наставление.*)

Каренин у стола пьет чай. Отходят вперед Анна Павловна и Саша.

Саша. Не могу видеть их отношений. Она точно влюблена в него.

Анна Павловна. Что ж тут удивительного?

Саша. Противно...

Доктор уходит, прощается со всеми. Анна Павловна идет провожать его.

Явление третье

Лиза, Каренин и Саша.

Лиза (*Каренину*). Он так мил теперь. Как только ему стало лучше, он сейчас же стал улыбаться и болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется.

Каренин. Да вы выпейте чаю, съешьте что-нибудь.

Лиза. Мне теперь ничего не нужно. Мне так хорошо, после этих страхов. (*Всхлипывает.*)

Каренин. А вот вы видите, как вы слабы.

Лиза. Я счастлива. Хотите взглянуть на него?

Каренин. Разумеется.

Лиза. Пойдемте со мной.

Уходят.

Явление четвертое

Саша и Анна Павловна.

Анна Павловна (*возвращается*). Так прекрасно отдала, и он взял. Ты что насупилась?

Саша. Отвратительно. Она его с собой повела в детскую. Точно он жених или муж.

Анна Павловна. Да тебе-то что? Из чего ты кипятишься? Или ты за него замуж собиралась?

Саша. Я, за эту версту? Да я скорее не знаю за кого выйду, но не за него. Да и никогда мне в голову не приходило. Мне только противно, что Лиза после Феди может так сближаться с чужим человеком.

Анна Павловна. Какой же он чужой – друг детства.

Саша. Но ведь я вижу по улыбкам, по глазам, что они влюблены.

Анна Павловна. Что же тут удивительного? Человек принял участие в болезни ребенка, сочувствовал, помогал, и она благодарна. И кроме того – отчего же ей не полюбить и не выйти замуж за Виктора?

Саша. Это было бы ужасно. Отвратительно, отвратительно.

Явление пятое

Каренин и *Лиза* выходят.
Каренин прощается молча. Саша сердито уходит.

Явление шестое

Анна Павловна и *Лиза*.
Лиза (к матери). Что с ней?
Анна Павловна. Право, не знаю.

Лиза вздыхает молча.

Занавес

Картина вторая

У Афремова в кабинете. Вино в налитых стаканах. Гости.

Явление первое

Афремов, Федя, Стахович мохнатый. Буткевич бритый, Коротков, прихвостень.

Коротков. А я вам говорю, что за флагом останется: Ла-бель-буа – первая лошадь в Европе. Пари.

Стахович. Полно врать. Ведь ты знаешь, что никто тебе не верит. И пари держать не станет.

Коротков. Я тебе говорю. Твой Картуш за флагом.

Афремов. Да полноте ссориться. Я вас помирю. Спросите Федю. Он верно скажет.

Федя. Обе лошади хороши. Дело в езде.

Стахович. Гусев подлец. Надо только его в руках держать.

Коротков (*кричит*). Нет!

Федя. Ну постойте, я вас помирю. Дерби кто взял?

Коротков. Взял, да ничего не стоит. Это случай. Кабы Кронпринц не

заболел – посмотрел бы.

Входит Лакей.

Явление второе

Те же и лакей.

Афремов. Что ты?

Лакей. Госпожа приехали, спрашивают Федор Васильевича.

Афремов. Какая? дама?

Лакей. Не могу знать. Только настоящая дама.

Афремов. Федя. К тебе дама!

Федя (*испуганно*). Кто это?

Афремов. Не знает кто. (*Лакею.*) Проси в залу.

Федя. Да постой, я пойду посмотрю. (*Уходит.*)

Явление третье

Те же, без Феди и лакея.

Коротков. Кто это к нему? Наверно, Машка.

Стахович. Какая Машка?

Коротков. Цыганка Маша. Втюрилась в него, как кошка влюблена.

Стахович. Какая милая. И поет.

Афремов. Прелесть! Танюша да она. Вчера они с Петром пели.

Стахович. Ведь экой счастливец этот...

Афремов. Что его бабы любят, бог с ним.

Коротков. Терпеть не могу цыганок. Никакого изящества нет.

Буткевич. Ну, не говори.

Коротков. Я их всех за одну француженку отдам.

Афремов. Ну, да ты известный эстет. Пойти посмотреть, кто это.
(*Уходит.*)

Явление четвертое

Те же, без Афремова.

Стахович. Если Маша, так приведи ее сюда, пусть споет. Нет, теперь не то цыгане. Танюша была. Ах, черт возьми.

Буткевич. А я думаю, что все то же.

Стахович. Как то же, когда романсы пошлые вместо песни?

Буткевич. И романсы есть хорошие.

Коротков. А хочешь пари, что я заставлю спеть, и ты не узнаешь: песня это или романс?

Стахович. Коротков вечно пари.

Явление пятое

Те же и Афремов.

Афремов (*входит*). Господа, это не Маша. А принять ее негде, кроме здесь. Пройдемте в бильярдную.

Коротков. Давай пари. Что, заробел?

Стахович. Хорошо, хорошо.

Коротков. Вот и попадешь на бутылку.

Стахович. Ну ладно. Вино захвати.

Уходят, разговаривая.

Явление шестое

Входят Федя и Саша.

Федя. Пойдем сюда. Ах, ах. Как это ты. Да, да...

Саша (*смущенно*). Федя, прости меня, если тебе неприятно, но, ради бога, выслушай меня. (*Голос ее дрожит.*)

Федя (*ходит по комнате. Саша села, смотрит на него*). Слушаю.

Саша. Федя, вернись домой.

Федя. Я тебя очень понимаю, Саша, милая, и на твоём месте я бы сделал то же: постарался бы как-нибудь вернуть все к старому, но на моем

месте, если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как ни странно это сказать, на моем месте, – ты бы, наверное, сделала то, что я, то есть ушла бы, перестала бы мешать чужой жизни...

Саша. Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя?

Федя. Ах, милая Саша, голубушка, может, может. И еще будет счастлива, гораздо счастливее, чем со мной.

Саша. Никогда.

Федя. Это тебе кажется. (*Держит в руке письмо и гнет.*) Да не в том дело, то есть не то что не в том дело, а главное дело в том, что я-то не могу. Знаешь, толстую бумагу перегибай так и этак. И сто раз перегнешь. Она все держится, а перегнешь сто первый раз, и она разойдется. Так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть ей в глаза. И ей также – поверь.

Саша. Нет, нет.

Федя. Говоришь нет, а сама знаешь, что да.

Саша. Я могу только по себе судить. Если бы я была на ее месте и ты бы ответил то, что ты отвечаешь, это было бы ужасно для меня.

Федя. Да, для тебя.

Молчание. Оба смущены.

Саша (*встает*). Неужели так и останется?

Федя. Должно быть.

Саша. Федя, вернись.

Федя. Спасибо тебе, милая Саша. Всегда ты мне останешься дорогим воспоминанием... но прощай, голубушка. Дай мне поцеловать тебя. (*Целует ее в лоб.*)

Саша (*взволнованная*). Нет, я не прощаюсь и не верю, и не хочу верить... Федя...

Федя. Ну так слушай же. Только слово, что то, что я тебе скажу, никому не скажешь. Дашь слово?

Саша. Разумеется.

Федя. Ну так слушай, Саша. Правда, что я муж, отец ее ребенка, но я лишний. Постой, постой не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, не имею права, во-вторых, не имею повода. Виктор Каренин старый ее друг и мой тоже. И он любит ее, и она любит его.

Саша. Нет.

Федя. Любит, как может любить честная, нравственная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа, но она любит и

будет любить, когда препятствие это (*показывает на себя*) будет устранено. И я устраню его, и они будут счастливы. (*Голос дрожит.*)

Саша. Федя, не говори так.

Федя. Ведь ты знаешь, что это правда, и я буду рад их счастью, и лучше я ничего не могу сделать, и не вернусь, и дам им свободу, и так и скажи. И не говори, не говори, и прощай. (*Целует ее в голову и отворяет дверь.*)

Саша. Федя, я восхищаюсь перед тобой.

Федя. Прощай, прощай.

Саша уходит.

Явление седьмое

Федя один.

Федя. Да, да, чудесно, прекрасно. (*Звонит.*)

Явление восьмое

Федя и лакей.

Федя. Позовите барина.

Лакей уходит.

Явление девятое

Федя один.

Федя. И правда, и правда.

Явление десятое

Входит Афремов.

Афремов. Как же устроил?

Федя. Чудесно. «И божилась, и клялась...» Чудесно. Где все?

Афремов. Да там, играют.

Федя. Отлично. Пойдем... «побывать ко мне на час».

Занавес

Действие третье

Картина первая

Князь Абрезков – 60-летний элегантный холостяк. Бритый, с усами. Старый военный с большим достоинством и грустью. Анна Дмитриевна Каренина – мать Виктора, молодящаяся, 50 лет, grande-mère. Перебивает речь французскими словами. Лиза, Виктор, лакей. Кабинет Анны Дмитриевны, роскошно-скромный, полон сувениров.

Явление первое

Анна Дмитриевна пишет письмо.

Явление второе

Анна Дмитриевна и лакей.

Лакей. Князь Сергей Дмитриевич.

Анна Дмитриевна. Ну, разумеется. (Оборачивается и поправляется перед зеркалом.)

Явление третье

Анна Дмитриевна и князь Абрезков.

Князь Абрезков (входит). J'espère que je ne force pas la consigne.^[42] (Целует руку.)

Анна Дмитриевна. Вы знаете, что vous êtes toujours le bienvenu.^[43] А теперь, нынче, особенно. Вы получили мою записку?

Князь Абрезков. Получил, и вот мой ответ.

Анна Дмитриевна. Ах, мой друг, я начинаю совсем отчаиваться. Il est

ensorcelé, positivement ensorcelé.^[44] Я никогда не встречала в нем такой настойчивости, такого упрямства, такой безжалостности, равнодушия ко мне. Он совсем переменялся с тех пор, как эта женщина бросила мужа.

Князь Абрезков. Но что же именно, как стоит дело?

Анна Дмитриевна. Так, что во что бы то ни стало хочет жениться.

Князь Абрезков. Но как же муж?

Анна Дмитриевна. Дает развод.

Князь Абрезков. Вот как.

Анна Дмитриевна. И он, Виктор, идет на это, и вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины. Tout ça est dégoûtant.^[45] И это не отталкивает его. Я его не понимаю. Он с своей чуткостью, робостью...

Князь Абрезков. Любит. Ах, если человек точно любит, тогда...

Анна Дмитриевна. Да, но отчего же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью-дружбой, которая идет через всю жизнь? Такую любовь я понимаю, ценю.

Князь Абрезков. Теперь новое поколение уж не может довольствоваться идеальными отношениями. La possession de l'âme ne leur suffit plus.^[46] Что делать. Но как же быть с ним?

Анна Дмитриевна. Нет, про него не говорите. Но это какое-то колдовство. Его точно подменили. Ведь вы знаете, я была у нее. Он так просил меня. Я поехала, не застала ее, оставила карточку. Elle m'a fait demander quand je pourrai la recevoir.^[47] И нынче (*смотрит на часы*), во втором часу, стало быть сейчас, должна приехать. Я обещала Виктору принять, но понимаете мое положение. Я вся не своя. И по старой привычке послала за вами. Мне нужна ваша помощь.

Князь Абрезков. Благодарствуйте.

Анна Дмитриевна. Вы поймите, что это посещение ее решает все дело – судьбу Виктора. Мне надо или не согласиться... А как я могу...

Князь Абрезков. Вы совсем не знаете ее?

Анна Дмитриевна. Никогда не видала. Но боюсь ее. Не может хорошая женщина согласиться оставить мужа. И хорошего человека. Ведь он товарищ Виктора и бывал у нас. Он был очень милый. Да какой бы он ни был. Quels que soient les torts qu'il a eus vis-à-vis d'elle,^[48] нельзя бросать мужа. Надо нести свой крест. Я одно не понимаю, как может Виктор с своими убеждениями согласиться на женитьбу на разведенной. Сколько раз – недавно он при мне горячо спорил с Спицыным, доказывая, что развод несогласен с истинным христианством, и теперь сам идет на это. Si elle a pu le charmer à un tel point,^[49] я боюсь ее. Но, впрочем, я вас позвала, чтобы

слышать вас, и все только сама говорю. Что вы думаете? Скажите. Что по-вашему? Как надо? Вы говорили с Виктóром?

Князь Абрезков. Я говорил с ним. И я думаю, что он любит ее, привык любить так, любовь эта взяла такую власть над ним – а он человек, медленно, но твердо принимающий. Что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. И он никого, кроме ее, любить не будет и без нее и с другой счастлив быть не может.

Анна Дмитриевна. А как Варя Казанцева пошла бы за него. И какая девушка и как любит.

Князь Абрезков (улыбаясь). C'est compter sans son hôte.^[50] Это теперь совсем несбыточно. И, я думаю, лучше покориться и помочь ему жениться.

Анна Дмитриевна. На разведенной, чтобы он встречал мужа своей жены? Я не понимаю, как вы можете спокойно говорить про это. Разве это та женщина, которую мать может желать женой своего единственного сына, и такого сына?

Князь Абрезков. Да что же делать, милый друг. Разумеется, лучше бы жениться на девушке, которую вы знаете, любите. Но коли этого нельзя... Да потом, если бы он женился на цыганке или бог знает на ком. А Лиза Рахманова очень хорошая, милая женщина; я по племяннице Нелли знаю ее. Кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина.

Анна Дмитриевна. Нравственная женщина, которая решается бросить мужа.

Князь Абрезков. Я не узнаю вас. Вы недобры, вы жестоки. Муж ее один из тех людей, про которых говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше жене враг. Это слабый, совершенно падший, пьяный человек. Он промотал все свое состояние, все ее состояние, – у нее ребенок. Как же вы осуждаете женщину, которая оставила такого человека? И то не она, а он оставил ее.

Анна Дмитриевна. Ах, какая грязь, какая грязь. И я должна пачкаться в ней.

Князь Абрезков. А ваша религия?

Анна Дмитриевна. Да, да, прощение. «Как и мы оставляем должникам нашим». Mais c'est plus fort que moi.^[51]

Князь Абрезков. Ну как же ей жить с таким человеком? Если бы она и не любила другого, она должна бы была это сделать. Для ребенка должна. Он сам, муж, умный и добрый человек, когда он в своем уме, советует ей это сделать.

Явление четвертое

Анна Дмитриевна, Князь Абрезков, входит Каренин, целует руку матери, здоровается с князем Абрезковым.

Каренин. Мама! Я зашел сказать вам одно: Лизавета Андреевна сейчас придет, и я прошу, умоляю вас только об одном: если вы продолжаете быть несогласны на мой брак...

Анна Дмитриевна (*перебивая его*). Разумеется, продолжаю быть несогласна.

Каренин (*продолжая речь и хмурясь*). ...то прошу, умоляю вас об одном: не говорите о своем несогласии, не решайте в отрицательном смысле.

Анна Дмитриевна. Я думаю, что мы и не будем ни о чем таком говорить. Я по крайней мере уж никак не начну.

Каренин. Она тем менее. Мне только хотелось, чтобы вы узнали ее.

Анна Дмитриевна. Не понимаю одно: как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем, с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству?

Каренин. Мама! Это жестоко с вашей стороны! Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне?

Анна Дмитриевна. Я люблю тебя, хочу тебе счастья.

Каренин (*к князю Абрезкову*). Сергей Дмитриевич!

Князь Абрезков. Разумеется, вы хотите ему счастья, но нам, с нашими сединами, уже трудно понимать молодежь. А особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так.

Анна Дмитриевна. Вот, вот, именно. Все против меня. Разумеется, ты можешь сделать это, vous êtes majeur,^[52] но ты погубишь меня.

Каренин. Не узнаю вас. Это хуже, чем жестокость.

Князь Абрезков (*к Виктóру*). Перестань, Виктóр. Мама говорит всегда хуже, чем делает.

Анна Дмитриевна. Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее.

Князь Абрезков. Это наверно.

Явление пятое

Анна Дмитриевна, Князь Абрезков, Каренин и лакей входят.

Князь Абрезков. Вот и она.

Каренин. Я уйду.

Лакей. Лизавета Андреевна Протасова.

Каренин. Я ухожу, мама. Пожалуйста...

Князь Абрезков тоже встает.

Анна Дмитриевна. Просите. (К князю Абрезкову.) Нет, вы останьтесь.

Явление шестое

Анна Дмитриевна и князь Абрезков.

Князь Абрезков. Я думал, вам легче en tête-à-tête. ^[53]

Анна Дмитриевна. Нет, я боюсь. (Суется.) Если я захочу остаться с ней tête-à-tête, я кивну вам. Ça dépendra... ^[54] А то мне остаться одной с ней, это свяжет меня. Я тогда так сделаю вам.

Князь Абрезков. Я пойму. Я уверен, что она понравится вам. Только будьте справедливы.

Анна Дмитриевна. Как вы все против меня.

Явление седьмое

Те же. Входит Лиза в шляпе, визитном платье.

Анна Дмитриевна (приподнимаясь). Я жалела, что не застала вас, но вот вы так добры, что сами приехали.

Лиза. Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть.

Анна Дмитриевна. Вы знакомы? (Указывает на князя Абрезкова.)

Князь Абрезков. Как же, я имел честь быть представленным. (Shake hands ^[55]. Садятся.) Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас.

Лиза. Да, мы дружны были очень. (*Оглядываясь робко на Анну Дмитриевну.*) И теперь дружны. (*К Анне Дмитриевне.*) Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть.

Анна Дмитриевна. Я знала хорошо вашего мужа. Он был дружен с Виктором и бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас?

Лиза. Да, мы там женились.

Анна Дмитриевна. А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.

Лиза. Да, он нигде почти не бывал.

Анна Дмитриевна. И не познакомил меня с вами.

Неловкое молчание.

Князь Абрезков. Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Вы помните? Очень было мило. И вы играли.

Лиза. Нет... да... как же... помню. Я играла.

Опять молчание.

Анна Дмитриевна, простите меня, если вам неприятно то, что я скажу, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал... потому что он, то есть потому, что вы хотели меня видеть... но лучше все сказать... (*Всхлипывает.*) Мне очень тяжело... а вы добры.

Князь Абрезков. Да, я лучше уйду.

Анна Дмитриевна. Да, уходите.

Князь Абрезков. До свиданья. (*Прощается с обеими женщинами и уходит.*)

Явление восьмое

Анна Дмитриевна и Лиза.

Анна Дмитриевна. Послушайте, Лиза, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству.

Лиза. Андреевна.

Анна Дмитриевна. Ну все равно – Лиза. Мне вас жаль, вы мне симпатичны. Но я люблю Викторá. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу, как свою. Это гордая душа. Он был горд еще семилетним мальчиком. Горд не именем, не богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой, и он соблюдал ее. Он чист, как девушка.

Лиза. Я знаю.

Анна Дмитриевна. Он никого женщин не любил. Вы первая. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы, матери, – у вас еще маленький, вам рано, – мы готовимся к этому. Я готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать. Но отдать такой же чистой, как он.

Лиза. Я... Разве я...

Анна Дмитриевна. Простите, я знаю, вы не виноваты, но вы несчастны. И я его знаю. Теперь он готов все перенести, и перенесет, и никогда не скажет, но будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать, и он не будет счастлив.

Лиза. Я думала об этом.

Анна Дмитриевна. Лиза, милая. Вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. А если так, то вы не захотите связать его и заставить раскаиваться – хоть он не скажет, никогда не скажет.

Лиза. Я знаю, что не скажет. Я думала об этом и задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Но что ж я могу сделать, когда он говорит, что не хочет жить без меня. Я говорила: будем друзьями, но устройте себе свою жизнь, не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет.

Анна Дмитриевна. Да, теперь не хочет.

Лиза. Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я люблю его для его, а не для своего счастья. Только помогите мне, не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его блага.

Анна Дмитриевна. Да, да, я полюбила вас. *(Целует ее. Лиза плачет.)* Но все-таки, все-таки это ужасно. Если бы он тогда, когда вы еще не выходили замуж, полюбил вас.

Лиза. Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастью друга.

Анна Дмитриевна. Ах, как это все тяжело. Но все же будем любить друг друга, и бог поможет нам найти то, что мы хотим.

Явление девятое

Те же и Каренин.

Каренин (*выходя*). Мама, милая. Я все слышал. Я ожидал этого: вы полюбили ее. И все будет хорошо.

Лиза. Как мне жалко, что вы все слышали, – я бы не говорила...

Анна Дмитриевна. Все-таки ничего не решено. Я могу сказать одно, что если бы не все эти тяжелые обстоятельства, я бы рада была. (*Целует ее.*)

Каренин. Пожалуйста, только не меняйтесь.

Занавес

Картина вторая

Квартира скромная, постель, письменный стол, диван.

Явление первое

Федя один.

В дверь стучат. Из-за двери женский голос: «Что ты заперся, Федор Васильевич? Федя, отпори».

Явление второе

Федя и Маша.

Федя (встает, отпирает дверь).

Входит Маша.

Вот спасибо, что пришла. Скучно. Ужасно скучно.

Маша. Что же к нам не пришел? Опять пьешь? Эх ты, а обещал.

Федя. Ты знаешь, что – денег нет.

Маша. И зачем я тебя полюбила?

Федя. Маша!

Маша. Что Маша, Маша. Если бы любил, давно бы развелся. И там тебя просили. И говоришь, что не любишь. А держишься за нее. Не хочешь, видно.

Федя. Ведь ты знаешь, отчего не хочу.

Маша. Пустяки все. Правду говорят, что пустой ты человек.

Федя. Что же мне тебе говорить? Сказать, что мне больно то, что ты говоришь, так ты это сама знаешь.

Маша. Ничего тебе не больно...

Федя. Сама знаешь, что мне одна радость в жизни твоя любовь.

Маша. Моя-то моя. А твоей-то нет.

Федя. Ну, я уверять не стану. Да и незачем – ты сама знаешь.

Маша. Федя, за что ты меня мучишь?

Федя. Кто кого.

Маша (*плачет*). Недобрый ты.

Федя (*подходит и обнимает ее*). Маша! О чем ты? Перестань. Жить надо, а не хныкать. Тебе-то уж не пристало. Красавица ты моя!

Маша. Любишь?

Федя. Кого же мне любить?

Маша. Только меня? Ну, читай, что ты написал.

Федя. Да тебе скучно будет.

Маша. Коли уж ты написал, так хорошо будет.

Федя. Ну, слушай. (*Читает.*) «Поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у Мурыгиной площадки. Площадка эта был крепкий остров с сильными выводами. Был темный, теплый, тихий день. Туман...»

Явление третье

Федя и Маша. В дверь входит старый цыган Иван Макарович и старая цыганка Настасья Ивановна – родители Маши.

Настасья Ивановна (*подступая к дочери*). Тут проклятая овца беглая. Барину почтенье. (*К дочери.*) Что ж ты с нами делаешь? А?

Иван Макарович (*к Феде*). Нехорошо, барин, делаешь. Девку губишь.

Ох, нехорошо, погано делаешь.

Настасья Ивановна. Надевай платок, марш сейчас. Вишь, убежала. Что я хорю скажу? Путаешься с голышом. Что с него взять?

Маша. Не путаюсь я. А люблю барина, и больше ничего. Я хор не бросаю, петъ буду, а что...

Иван Макарович. Поговори еще, я тебе косу-то повиыдеру. Шкура. Кто так делал? Ни отец, ни мать, ни тетка. Скверно, барин. Мы тебя любили, сколько тебе задаром пели, тебя жалели. А ты что сделал.

Настасья Ивановна. Погубил ни за что дочку, кровную, единственную, ненаглядную, бриллиантовую, неоцененную в навоз втоптал, вот что сделал. Бога в тебе нет.

Федя. Ты, Настасья Ивановна, напрасно на меня думаешь. Твоя дочь мне как сестра. Я ее честь берегу. И ты не думай. А люблю ее. Что же делать.

Иван Макарович. Да вот не любил, когда у вас деньги были. Заплатил бы тогда в хор тысяч десять и взял бы честь честью. А теперь промотал, крадучи увел. Стыдно, барин. Стыдно.

Маша. Он не уводил. Я сама к нему пришла. И теперь уведете, опять приду. Люблю его, и все. Крепче всех ваших замков моя любовь... Не хочу.

Настасья Ивановна. Ну, Машенька, сердечная, не бурчи. Нехорошо сделала, ну и пойдем.

Иван Макарович. Ну, будет разговаривать. Марш! *(Берет за руку.)* Простите, барин.

Все трое уходят.

Явление четвертое

Федя. Входит князь Абрезков.

Князь Абрезков. Простите меня. Я невольно был свидетелем неприятной сцены.

Федя. С кем имею честь?.. *(Узнает.)* Ах, князь Сергей Дмитриевич. *(Здоровается.)*

Князь Абрезков. Невольным свидетелем неприятной сцены. Я бы желал не слышать. Но, услышав, считаю долгом сказать, что слышал. Меня направили сюда, и у двери я должен был дожждаться выхода этих господ.

Тем более что мои постукивания в дверь были не слышны за голосами очень громкими.

Федя. Да, да. Прошу покорно. Благодарю вас за то, что вы мне сказали это. Это дает мне право объяснить вам эту сцену. То, что вы подумаете обо мне, мне все равно. Но мне хочется сказать вам, что упреки, которые вы слышали, этой девушке-цыганке, певице, – несправедливы. Эта девушка так же нравственно чиста, как голубь. И мои отношения с ней дружеские. Если, может быть, на них есть оттенок поэтичности, то это все-таки не уничтожает чистоты – чести этой девушки. Вот это мне хотелось вам сказать. Так что вам от меня угодно? Чем могу вам служить?

Князь Абрезков. Я, во-первых...

Федя. Простите меня, князь. Я стал в такое положение в обществе, что мое малое и давнишнее знакомство с вами не дает мне права на ваше посещение, если у вас нет до меня дела – в чем оно?

Князь Абрезков. Не буду отрицать, вы угадали. У меня есть дело. Но все-таки прошу вас верить, что изменение вашего положения никак не может влиять на мое отношение к вам.

Федя. Совершенно уверен.

Князь Абрезков. Дело мое в том, что сын моего старого друга, Анны Дмитриевны Карениной, и она сама просили меня прямо непосредственно от вас узнать о ваших отношениях... Вы мне позволите говорить о ваших отношениях к вашей жене, Лизавете Андреевне Протасовой?

Федя. Мои отношения с моей женой – могу сказать: моей бывшей женой – совершенно прекращены.

Князь Абрезков. Я так и понимал. И потому только взял на себя эту трудную миссию.

Федя. Прекращены, спешу заявить, не по ее, а по моей, или, скорее, моим бесконечным винам. Она же как была, так и осталась самой безупречною женщиной.

Князь Абрезков. Так вот Виктор Каренин, в особенности его мать просили меня узнать у вас о ваших намерениях.

Федя (*горячась*). Какие намерения? Никаких. Я предоставляю ей полную свободу. Мало того, никогда не нарушу ее спокойствия. Я знаю, что она любит Виктор Каренина. И пускай. Я считаю его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком, и я думаю, что она будет с ним (*как это говорится обыкновенно*) счастлива. И que Le Bon Dieu les bénisse.^[56] Вот и все.

Князь Абрезков. Да, но мы бы...

Федя (*перебивает*). И не думайте, чтобы у меня было малейшее

чувство ревности. Если я сказал про Викторá, что он скучный, то я беру это слово назад. Он прекрасный, честный, нравственный человек, почти что противоположность мне. И он любил ее с детства. Может быть, и она его любила, когда вышла за меня. Это бывает. Самая лучшая любовь бывает такая, про которую не знаешь. Она, я думаю, всегда любила. Но, как честная женщина, даже себе не признавалась в этом, но это какая-то тень лежала на нашей семейной жизни... впрочем, что я делаю вам признание.

Князь Абрезков. Пожалуйста, сделайте. Верьте, что для меня важнее моей миссии определенные к вам мои человеческие отношения, мое желание понять вполне эти отношения. Я понимаю вас. Понимаю, что эта тень, как вы прекрасно выразились, могла быть...

Федя. Да и была, и, может быть, от этого я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую она мне давала, и чего-то искал и увлекался. Да, впрочем, я как будто оправдываюсь. Я не хочу, да мне и нельзя оправдываться. Я *был*, смело говорю *был* дурной муж, *был*, потому что теперь я в сознании своем давно не муж и считаю ее совершенно свободной. Стало быть, вот вам и ответ на вашу миссию.

Князь Абрезков. Да, но вы знаете семью Викторá и его самого. Его отношения к Лизавете Андреевне все время были и остаются самыми почтительными и далекими. Он помогал ей, когда ей было трудно.

Федя. Да, я своим распутством помогал их сближению. Что же делать, так должно было быть.

Князь Абрезков. Вы знаете его и его семьи строгие православные убеждения. Я не разделяю их. Я шире смотрю на вещи. Но уважаю их и понимаю. Понимаю, что для него и в особенности для матери немислимо сближение с женщиной без церковного брака.

Федя. Да, я знаю его туп... прямолинейность, консерватизм в этом отношении. Но что же им нужно? Развод? Я давно сказал им, что готов дать, но условия принятия вины на себя, всей лжи, связанной с этим, очень тяжелы.

Князь Абрезков. Я понимаю вполне вас и разделяю. Но как же быть? Я думаю, можно так устроить. Впрочем, вы правы. Это ужасно, и я понимаю вас.

Федя (*жмет руку*). Благодарствуйте, милый князь. Я всегда знал вас за честного, доброго человека. Ну, скажите, как мне быть? Что мне делать? Войдите во все мое положение. Я не стараюсь сделаться лучше. Я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать.

Князь Абрезков. Я вас тоже не понимаю. Вы, способный, умный человек, с такой чуткостью к добру, как это вы можете увлекаться, можете

забывать то, что сами от себя требуете? Как вы дошли до этого, как вы погубили свою жизнь?

Федя (*пересиливает слезы волнения*). Вот уж десять лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. Меня жалели товарищи, кутилы, женщины, но разумный, добрый человек, как вы... Спасибо вам. Как я дошел до своей гибели? Во-первых, вино. Вино ведь не то что вкусно. А что я ни делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке – так стыдно, так стыдно... И, только когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка – не оперы и Бетховен, а цыгане... Это такая жизнь, энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательнее, тем после еще стыднее.

Князь Абрезков. Ну, а труд?

Федя. Пробовал. Все нехорошо. Всем я недоволен. Ну, да что о себе говорить. Спасибо вам.

Князь Абрезков. Так что же мне сказать?

Федя. Скажите, что сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться, – чтобы ничто не мешало им жениться?

Князь Абрезков. Разумеется.

Федя. Сделаю. Скажите, что наверное сделаю.

Князь Абрезков. Когда же?

Федя. Постойте. Ну, скажем, две недели. Довольно?

Князь Абрезков (*вставая*). Так и могу сказать?

Федя. Можете. Прощайте, князь, еще раз благодарю вас.

Князь Абрезков уходит.

Явление пятое

Федя один.

Федя (*сидит долго, молча улыбается*). Хорошо. Очень хорошо. Так и надо. Так и надо. Так и надо. Чудесно.

Занавес

Действие четвертое

Картина первая

В трактире. Отдельный кабинет. Половой вводит Федю и Ивана Петровича Александра.

Явление первое

Федя, Иван Петрович и половой.

Половой. Сюда пожалуйста. Здесь никто не беспокоит, а бумагу сейчас подам.

Иван Петрович. Протасов! Я войду.

Федя (серьезный). Пожалуй, войди, но я занят и... Хочешь – войди.

Иван Петрович. Ты хочешь ответить на их требования? Я тебе скажу как. Я бы не стал так. Я всегда говорю прямо и действую решительно.

Федя (половому). Бутылку шампанского.

Половой уходит.

Явление второе

Федя и Иван Петрович.

Федя (вынимает револьвер и кладет). Подожди немножко.

Иван Петрович. Что ж? что ты застрелиться хочешь. Можно, можно. Я тебя понимаю. Они хотят тебя унижить. А ты им покажешь, кто ты. Себя убьешь револьвером, а их великодушием. Я понимаю тебя. Я все понимаю, потому что я гений.

Федя. Ну да, ну да. Только...

Входит половой с бумагой и чернильницей.

Явление третье

Те же и половой.

Федя (*прикрывает пистолет салфеткой*). Откупори. Давай выпьем. (*Пьют. Федя пишет.*) Погоди немного.

Иван Петрович. За твое... большое путешествие. Я ведь стою выше этого. Я не стану удерживать тебя. И жизнь и смерть для гения безразличны. Я умираю в жизни и живу в смерти. Ты убьешь себя, чтобы они, два человека, жалели тебя. А я – я убью себя затем, чтобы весь мир понял, что он потерял. И я не стану колебаться, думать. Взял (*хватает револьвер*) – раз, и готово. Но еще рано. (*Кладет револьвер.*) И мне писать нечего, они сами должны понять... Ах, вы...

Федя (*пишет*). Немножко подожди.

Иван Петрович. Жалкие люди. Копошатся, хлопчут. И не понимают – ничего не понимают... Я не тебе. Я так, высказываю свои мысли. А что нужно для человечества? Очень мало: ценить своих гениев, а они всегда казнили их, гнали, мучали. Нет. Я не буду вашей игрушкой. Я выведу вас на чистую воду. Не-е-ет. Лицемеры!

Федя (*кончил писать, выпивает и читает*). Уйди, пожалуйста.

Иван Петрович. Уйти? Ну, прощай. Я не стану удерживать тебя. Я то же сделаю. Но еще рано. Я только хочу сказать тебе...

Федя. Хорошо. Ты скажешь, но после, а теперь вот что, дружок: пожалуйста, отдай вот это хозяину (*подает ему деньги*) и спроси на мое имя письмо и посылку. Пожалуйста.

Иван Петрович. Хорошо. Так ты меня подождешь? Я еще важное скажу тебе. Такое, чего ты не услышишь не только на этом свете, но и в будущем, по крайней мере до тех пор, пока я не приду туда. Так все отдать?

Федя. Сколько нужно.

Иван Петрович уходит.

Явление четвертое

Федя один.

Федя (вздыхает облегченно, запирает за Иваном Петровичем дверь, берет револьвер, взводит, прикладывает к виску, вздрагивает и осторожно опускает. Мычит). Нет, не могу, не могу, не могу.

Стучат в дверь.

Кто там?

Из-за двери голос Маши: «Я».

Кто я? Ах, Маша... (Отворяет дверь.)

Явление пятое

Федя и Маша.

Маша. Была у тебя, у Попова, у Афремова и догадалась, что здесь. (Видит револьвер.) Вот хорошо-то. Вот дурак. Право, дурак. Да неужели ты в самом деле?

Федя. Нет, не мог.

Маша. А меня-то нет разве? Безбожник. Меня-то не пожалел. Ах, Федор Васильевич, грех, грех. За мою любовь...

Федя. Хотел их отпустить, обещал. А лгать не могу.

Маша. А я-то?

Федя. Что ты? И тебя бы развязал. Разве тебе лучше со мной мучаться.

Маша. Стало быть, лучше. Не могу я без тебя жить.

Федя. Какая со мной жизнь? Поплакала бы, да и прожила бы.

Маша. И совсем не плакала бы, черт с тобой. Коли ты меня не жалеешь. (Плачет.)

Федя. Маша! Дружок! Ведь я хотел лучше сделать.

Маша. Себе лучше.

Федя (улыбаясь). Да как же себе лучше, коли бы я себя убил?

Маша. Разумеется, лучше. Да что тебе нужно? Ты скажи.

Федя. Как что нужно? Много нужно.

Маша. Ну что? Что?

Федя. Нужно, во-первых, сдержать обещание. Это первое, и этого довольно. Лгать и делать все эти гадости, что нужно для развода, не могу.

Маша. Положим, что гадко. Я сама...

Федя. Потом нужно точно их освободить, и жену и его. Что же, они хорошие люди. Зачем им мучаться? Это два.

Маша. Ну уж хорошего в ней мало, коли она тебя бросила.

Федя. Не она бросила – я бросил.

Маша. Ну хорошо, хорошо. Все ты. Она ангел. Еще что ж?

Федя. А еще то, что ты хорошая, милая девочка – люблю тебя, и коли останусь жить, то погублю тебя.

Маша. Это уж не твое дело. Я сама про себя знаю, где погибну...

Федя (*вздыхает*). А главное, главное... Что моя жизнь? Разве я не вижу, что я пропал, не гожусь никуда. Всем и себе в тягость, как говорил твой отец. Негодящий я...

Маша. Вот вздор. Я от тебя не отлеплюсь. Прилепилась я, да и все. А что ты плохо живешь, пьешь да кутишь... А ты живой человек – брось. Вот и все.

Федя. Легко сказать.

Маша. И сделай так.

Федя. Да вот как смотрю на тебя, так, кажется, все сделаю.

Маша. И сделаешь. Все сделаешь. (*Видит письмо.*) Это что же? Ты им писал? Что же писал?

Федя. Что писал? (*Берет письмо и хочет разорвать.*) Теперь уже не нужно.

Маша (*вырывает письмо*). Писал, что убил себя, да? Не писал про пистолет? Писал, что убил?

Федя. Да, что меня не будет.

Маша. Давай, давай, давай. Читал ты «Что делать?»?

Федя. Читал, кажется.

Маша. Скучный это роман, а одно очень, очень хорошо. Он, этот, как его, Рахманов, взял, да и сделал вид, что он утопился. И ты вот не умеешь плавать?

Федя. Нет.

Маша. Ну вот. Давай сюда свое платье. Все, и бумажник.

Федя. Да как же?

Маша. Стой, стой, стой. Поедем домой. Там переоденешься.

Федя. Да ведь это обман.

Маша. И прекрасно. Пошел купаться, платье осталось на берегу. В кармане бумажник и это письмо.

Федя. Ну, а потом?

Маша. А потом, потом уедем и будем жить во славу.

Явление шестое

Те же. Входит Иван Петрович.

Иван Петрович. Вот те на. А револьвер? Я себе возьму.

Маша. Бери, бери. А мы едем.

Занавес

Картина вторая

Гостиная у Протасовой.

Явление первое

Каренин и Лиза.

Каренин. Он так определенно обещал, что я уверен, что он исполнит обещание.

Лиза. Мне совестно, но я должна сказать, что то, что я узнала про эту цыганку, совсем освободило меня. Не думай, что это была ревность. Это не ревность, а, знаешь, освобождение. Ну как вам сказать...

Каренин. Опять: вам.

Лиза (улыбаясь). Тебе. Да не мешайте, не мешай мне сказать, что я чувствую. Главное, что мучало меня, это то, что я чувствовала, что люблю двух. А это значит, что я безнравственная женщина.

Каренин. Ты безнравственная женщина?

Лиза. Но с тех пор, как я узнала, что у него есть другая женщина, что я, стало быть, не нужна ему, я освободилась и почувствовала, что я могу, не

солгав, сказать, что люблю вас – тебя. Теперь в душе у меня ясно, и меня мучает только мое положение. Этот развод. Это все так мучительно. Это ожидание.

Каренин. Сейчас, сейчас решится. Кроме того, что он обещал, я просил секретаря съездить к нему с прошением и не уезжать, пока он не подпишет. Если бы я не знал его, как знаю, я подумал бы, что он нарочно делает это.

Лиза. Он? Нет, это все та же его и слабость и честность. Не хочет говорить неправду. А только напрасно послал ему деньги.

Каренин. Нельзя же. Это могло быть причиной остановки.

Лиза. Нет, деньги – что-то нехорошее.

Каренин. Ну, ему бы уж можно было быть менее pointilleux. [\[57\]](#)

Лиза. Какие мы делаемся эгоисты.

Каренин. Да, каюсь. Ты сама виновата. После этого ожидания, этой безнадёжности я теперь так счастлив. А счастье делает эгоистом. Ты виновата.

Лиза. Ты думаешь, что ты один. Я тоже. Я чувствую, что вся полна, купаюсь в своем счастье. Все: и Мика поправился, и твоя мать меня любит, и ты, и, главное, я, я люблю.

Каренин. Да? Без раскаяния? Без возврата?

Лиза. С того дня все вдруг переменялось во мне.

Каренин. И не может вернуться?

Лиза. Никогда. Я только одного желаю, чтобы в тебе это было так же совсем кончено, как во мне.

Явление второе

Те же и няня с ребенком.

Входит няня с мальчиком. Мальчик идет к матери. Она берет его на колени.

Каренин. Какие мы несчастные люди.

Лиза. А что? (Целует ребенка.)

Каренин. Когда ты вышла замуж и, вернувшись из-за границы, я узнал это и почувствовал, что потерял тебя, я был несчастлив, и мне было радостно узнать, что ты помнила меня. Мне этого было довольно. Потом,

когда установились наши дружеские отношения и я чувствовал, что ты ласкова ко мне, что есть в нашей дружбе маленькая искра чего-то большего, чем дружба, я был уже почти счастлив. Меня мучил только страх за то, что я нечестен относительно Феде. Но, впрочем, у меня всегда было такое твердое сознание невозможности других отношений, кроме самой чистой дружбы, к жене моего друга, – да и тебя я знал, – так что это не мучило меня, и я был доволен. Потом, когда Федя стал мучить тебя и я чувствовал, что я поддержка тебе и что ты боишься моей дружбы, я был уже совсем счастлив, и у меня начиналась какая-то неопределенная надежда. Потом... когда он уже стал невозможен, ты решила оставить его, и я в первый раз сказал все, и ты не сказала – нет, но в слезах ушла от меня, я был уже вполне счастлив, и если бы у меня спросили, чего я еще хочу, я бы сказал: ничего. Но потом явилась возможность соединить с тобой жизнь; тамап полюбила тебя, возможность эта стала осуществляться, ты сказала мне, что любила и любишь меня, потом сказала мне, как теперь, что его нет для тебя, что ты любишь меня одного, – чего бы, казалось, мне желать? Но нет, теперь, теперь я мучаюсь прошедшим, хотелось бы, чтобы не было этого прошедшего, не было того, что напоминает о нем.

Лиза (с упреком). Виктор!

Каренин. Лиза, ты прости меня! То, что я говорю, я говорю потому, что не хочу, чтобы во мне была мысль о тебе и от тебя скрытая. Все это я сказал нарочно затем, чтобы показать, как я дурен и как я знаю, что идти дальше некуда, что я должен бороться с собой и побороть себя. И я поборол. Я люблю его.

Лиза. Так и надо. Я сделала все, что могла. Не я, а в моем сердце сделалось все, чего ты мог желать: из него все исчезло, кроме тебя.

Каренин. Все?

Лиза. Все, все. Я бы не стала говорить.

Явление третье

Те же и лакей.

Лакей. Господин Вознесенский.

Каренин. Это он от Феде с ответом.

Лиза (Каренину). Зовите сюда.

Каренин (встает и идет к двери). Ну вот и ответ.

Лиза (отдает ребенка няне). Неужели все решится, Виктор! (Целует его.)

Явление четвертое

Каренин, Лиза и Вознесенский входит.

Каренин. Ну что?

Вознесенский. Их нет.

Каренин. Как нет? И не подписал прошение?

Вознесенский. Простение не подписано, а оставлено письмо вам и Лизавете Андреевне. (Подает из кармана письмо.) Я приехал на квартиру. Мне сказали, что в ресторане. Я пошел. Тогда Федор Васильевич сказали, чтобы я пришел через час, и найду ответ. Я пришел, и вот...

Каренин. Неужели опять откладывание, отговорки? Нет, это прямо нехорошо. Как он упал.

Лиза. Да прочти, что?

Каренин открывает письмо.

Вознесенский. Я не нужен вам?

Каренин. Да нет, прощайте, благодарю... (Останавливается, удивленно читая.)

Вознесенский уходит.

Явление пятое

Каренин и Лиза.

Лиза. Что? что?

Каренин. Это ужасно.

Лиза (хватает письмо). Читай.

Каренин (читает). «Лиза и Виктор, обращаюсь к вам обоим. Не буду

лгать, называя вас милыми или дорогими. Не могу совладать с чувством горечи и упрека – упрека себе, но все-таки мучительного, когда думаю о вас, о вашей любви, о вашем счастье. Все знаю. Знаю, что, несмотря на то что я муж, я рядом случайностей помешал вам. C'est moi qui suis l'intrus.^[58] Но все-таки не могу удержаться от чувства горечи и холодности к вам. Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизаньку, но в действительности больше чем холоден. Знаю, что я не прав, и не могу измениться».

Лиза. Как это он...

Каренин (*продолжая читать*). «Но к делу. Это самое раздваивающее меня чувство и заставляет меня иначе, чем как вы хотели, исполнить ваше желание. Лгать, играть гнусную комедию, давая взятки в консистории, и вся эта гадость невыносима, противна мне. Как я ни гадок, но гадок в другом роде, а в этой гадости не могу принять участие, просто не могу. Другой выход, к которому я прихожу, – самый простой: вам надо жениться, чтобы быть счастливыми. Я мешаю этому, следовательно, я должен уничтожиться...»

Лиза (*хватает за руку Каренина*). Виктór!

Каренин (*читает*). «Должен уничтожиться. Я и уничтожаюсь. Когда вы получите это письмо, меня не будет.

P. S. Очень жаль, что вы прислали мне деньги на ведение дела развода. Это неприятно и непохоже на вас. Ну, что же делать. Я столько раз ошибался. Можно и вам раз ошибиться. Деньги возвращаются. Мой исход короче, дешевле и вернее. Об одном прошу: не сердитесь на меня и добром поминайте меня. А еще, тут есть часовщик Евгеньев, не можете ли вы помочь ему и устроить его? Он слабый, но хороший. Прощайте. Федя».

Лиза. Он убил себя. Да?

Каренин (*звонит, бежит в переднюю*). Верните господина Вознесенского!

Лиза. Я знала, я знала. Федя, милый Федя.

Каренин. Лиза!

Лиза. Неправда, неправда, что я не любила, не люблю его. Люблю его одного, люблю. И его я погубила. Оставь меня.

Входит Вознесенский.

Явление шестое

Те же и Вознесенский.

Каренин. Где же Федор Васильевич? Что вам сказали?

Вознесенский. Сказали, что они вышли поутру, оставили это письмо и больше не возвращались.

Каренин. Это надо узнать. Лиза, я оставляю тебя.

Лиза. Прости меня, но я тоже не могу лгать. Оставь меня теперь. Иди, узнай все...

Занавес

Действие пятое

Картина первая

Грязная комната трактира. Стол с пьющими чай и водку. На первом плане столик, у которого сидит опустившийся, оборванный Федя и с ним Петушков, внимательный, нежный человек с длинными волосами, духовного вида. Оба слегка выпивши.

Явление первое

Федя и Петушков.

Петушков. Я понимаю, понимаю. Вот это настоящая любовь. Ну и что ж?

Федя. Да, знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека... а тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и эта чистая, самоотверженная любовь – отдает все, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст.

Петушков. Да, это у нас в живописи валёр называется. Только тогда можно сделать вполне ярко-красный, когда кругом... Ну, да не в том дело. Я понимаю, понимаю...

Федя. Да, и это, кажется, один добрый поступок у меня за душой – то, что я не воспользовался ее любовью. А знаете отчего?

Петушков. Жалость...

Федя. Ох, нет. У меня к ней жалости не было. У меня перед ней всегда был восторг, и когда она пела – ах, как пела, да и теперь, пожалуй, поет, – и всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее просто потому, что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание. (Пьет.)

Петушков. Вот понимаю, понимаю. Идеально.

Федя. Я вам что скажу: были у меня увлечения. И один раз я был влюблен, такая была дама – красивая, и я был влюблен, скверно, по-собачьи, и она мне дала rendez-vous.^[59] И я пропустил его, потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, удивительно, когда вспоминаю, то

хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно, а... раскисаюсь, как в грехе. А тут с Машей – напротив. Всегда радуюсь, радуюсь, что ничем не осквернил это свое чувство... могу падать еще, весь упасть, все с себя продам, весь во вшах буду, в коросте, а этот бриллиант, не брильянт, а луч солнца, да, – во мне, со мной.

Петушков. Понимаю, понимаю. Где же она теперь?

Федя. Не знаю. И не хотел бы знать. Это все было из другой жизни. И не хочу мешать с этой.

За столом сзади слышен крик женщины. Хозяин приходит и городовой – уводят. Федя и Петушков глядят, слушают и молчат.

Петушков (после того, как там затихло). Да, ваша жизнь удивительная.

Федя. Нет, самая простая. Всем ведь нам в нашем круге, в том, в котором я родился, три выбора – только три: служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно, может быть, не умел, но, главное, было противно. Второй – разрушать эту пакость; для этого надо быть героем, а я не герой. Или третье: забыться – пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся. (Пьет.)

Петушков. Ну, а семейная жизнь? Я бы был счастлив, если бы у меня была жена. Меня жена погубила.

Федя. Семейная жизнь? Да. Моя жена идеальная женщина была. Она и теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки, – знаешь, в квасе изюминка? – не было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься. А потом я стал делать гадости. А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня.

Петушков. Отчего вы говорите: как будто?

Федя. А оттого говорю, что никогда не было в ней того, чтоб она в душу мне влезла, как Маша. Ну, да не про то. Она беременная, кормящая, а я пропаду и вернусь пьяный. Разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее. Да, да (приходит в восторг), вот сейчас пришло в голову: оттого-то я люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучал за то... не то что не люблю... Да нет, просто не люблю. Ревновал – да, но и то прошло.

Явление второе

Те же и Артемьев.

Подходит Артемьев с кокардой, крашеными усами, в подправленной древней одежде.

Артемьев. Приятного аппетита. (Кланяется Феде.) Познакомились с артистом-художником?

Федя (холодно). Да, мы знакомы.

Артемьев (Петушкову). Что ж, портрет кончил?

Петушков. Нет, расстроилось.

Артемьев (садится). Я не мешаю вам?

Федя и Петушков молчат.

Петушков. Федор Васильевич рассказывал про свою жизнь.

Артемьев. Тайны? Так я не мешаю, продолжайте. Я-то уж в вас не нуждаюсь. Свиньи. (Отходит к соседнему столу и требует себе пива. Все время слушает разговор Феде с Петушковым, перегибаясь к ним.)

Федя. Не люблю этого господина.

Петушков. Обиделся.

Федя. Ну, бог с ним. Не могу. Как такой человек – у меня слова не идут. Вот с вами мне легко, приятно. Так что я говорил?

Петушков. Говорили, что ревновали. Ну, а как же вы разошлись с вашей женой?

Федя. Ах. (Задумывается.) Это удивительная история. Жена моя замужем.

Петушков. Как же? Развод?

Федя. Нет. (Улыбается.) Она от меня осталась вдовой.

Петушков. То есть как же?

Федя. А как же: вдовой. Меня ведь нет.

Петушков. Как нет?

Федя. Нет. Я труп. Да.

Артемьев перегибается, прислушивается.

Видите ли... Вам я могу сказать. Да это давно, и фамилию мою настоящую вы не знаете. Дело было так. Когда я уже совсем измучал жену, прокутил все, что мог, и стал невыносим, явился покровитель ей. Не думайте, что что-нибудь грязное, нехорошее, – нет, мой же приятель и хороший, хороший человек, только прямая во всем противоположность мне. А так как у меня гораздо больше дурного, чем хорошего, то это и был и есть хороший, очень хороший человек: честный, твердый, воздержный и просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил ее и потом, когда она вышла за меня, примирился с своей участью. Но потом, когда я стал гадою, стал мучать ее, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого. И они полюбили друг друга, а я к этому времени совсем свихнулся и сам бросил жену. А тут еще Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я все делался невозможнее и невозможнее, кончилось тем, что...

Петушков. Как всегда...

Федя. Нет. Я уверен и знаю, что они оставались чисты. Он, религиозный человек, считал грехом брак без благословенья. Ну, стали требовать развод, чтоб я согласился. Надо было взять на себя вину. Надо было всю эту ложь... И я не мог. Поверите ли, мне легче было покончить с собой, чем лгать. И я уже хотел покончить. А тут добрый человек говорит: зачем? И все устроили. Прощальное письмо я послал, а на другой день нашли на берегу одежду и мой бумажник, письма. Плавать я не умею.

Петушков. Ну, а как же тело-то, не нашли же?

Федя. Нашли. Представьте. Через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть. Разложившееся тело. Она взглянула. – Он? – Он. – Так и осталось. Меня похоронили, а они женились и живут здесь и благоденствуют. А я – вот он. И живу и пью. Вчера ходил мимо их дома. Свет в окнах, тень чья-то прошла по сторе. И иногда скверно, а иногда ничего. Скверно, когда денег нет... (*Пьет.*)

Артемьев (*подходит*). Ну, уж простите, слышал вашу историю. История очень хорошая и, главное, полезная. Вы говорите – скверно, когда денег нет. Это нет сквернее. А вам в вашем положении надо всегда иметь деньги. Ведь вы труп. Хорошо.

Федя. Позвольте. Я не вам рассказывал и не желаю ваших советов.

Артемьев. А я желаю их вам подать. Вы труп, а если оживете, то что они-то – ваша супруга с господином, которые благоденствуют, – они двоеженцы и в лучшем случае преследуют в не столь отдаленные. Так зачем же вам без денег быть?

Федя. Прошу вас оставить меня.

Артемьев. Просто пишите письмо. Хотите, я напишу, только дайте адрес, а вы меня поблагодарите.

Федя. Убирайтесь. Я вам говорю. Я вам ничего не говорил.

Артемьев. Нет, говорили. Вот он свидетель. Половой слышал, что вы говорили, что труп.

Половой. Мы ничего не знаем.

Федя. Негодяй.

Артемьев. Я негодай? Эй, городской. Акт составить.

Федя встает и уходит. Артемьев держит его. Приходит городской.

Занавес

Картина вторая

Действие в деревне, на террасе, обросшей плющом.

Явление первое

Анна Дмитриевна Каренина, **Лиза** беременная, **нянька с ребенком.**

Лиза. Теперь уж едет со станции.

Мальчик. Кто едет?

Лиза. Папа.

Мальчик. Папа едет со станции?

Лиза. C'est étonnant comme il l'aime, tout-à-fait comme son père.^[60]

Анна Дмитриевна. tant mieux. Se souvient-il de son père véritable?^[61]

Лиза (вздыхает). Я не говорю ему. Думаю, зачем его путать? А потом думаю, что надо сказать ему. Вы как думаете, maman?

Анна Дмитриевна. Я думаю, Лиза, что это дело чувства, и если ты отдашься своему чувству, твое сердце подскажет тебе, что и когда надо сказать. Как удивительно умиротворяет смерть. Признаюсь, было время, когда он, Федя, – ведь я его знала ребенком, – был мне неприятен, но теперь я только помню его милым юношей, другом Викто́ра и тем страстным человеком, который хоть и незаконно, нерелигиозно, но пожертвовал собой для тех, кого любил. On aura beau dire, l'action est belle...^[62] Надеюсь,

Виктор не забудет привезти шерсти, сейчас вся выйдет. (*Вяжет.*)

Лиза. Вот он и едет.

Слышны колеса и бубенчик. Лиза встает и подходит к краю террасы.

Кто-то с ним, дама. Маша! Я ее сто лет не видала. (*Идет к двери.*)

Явление второе

Те же. Входят Каренин и Марья Васильевна.

Марья Васильевна^[63] (*целуется с Лизой и Анной Дмитриевной*). Виктор меня встретил и увез.

Анна Дмитриевна. Прекрасно сделал.

Марья Васильевна. Да, разумеется. Думаю, когда еще увижу, и опять отложу, вот и приехала, если не прогоните, – до вечернего поезда.

Каренин (*целует жену и мать и мальчика*). А я как счастлив, поздравьте меня. Два дня дома. Завтра все без меня сделают.

Лиза. Прекрасно. Два дня. Давно не бывало. Съездим в пустынь. Да?

Марья Васильевна. Как похож! Какой молодец! Только бы не все наследовал: сердце отцовское.

Анна Дмитриевна. Но не слабость.

Лиза. Все, все. Виктор согласен со мной, что если бы только смолodu оно было направлено.

Марья Васильевна. Ну, я этого ничего не понимаю. Я только не могу подумать о нем без слез.

Лиза. И мы тоже. Как он вырос в нашей памяти.

Марья Васильевна. Да, я думаю.

Лиза. Как казалось неразрешимо одно время. И как вдруг все разрешилось.

Анна Дмитриевна. Ну, Виктор, привез шерсть?

Каренин. Привез, привез. (*Берет мешок и выбирает.*) Вот шерсть, вот одеколон, и вот письма, и вот конверт казенный на твое имя (*подает жене*). Ну-с, Марья Васильевна, если вам угодно помыться, то я проведу вас. Мне и самому нужно почиститься, а то сейчас обедать. Лиза! Ведь в нижнюю угловую Марью Васильевну?

Лиза, бледная, трясущимися руками держит бумагу и читает.

Что с тобой? Лиза! Что там?

Лиза. Он жив. Боже мой! Когда он освободит меня! Виктор! Что это?
(Рыдает.)

Каренин (берет бумагу и читает). Это ужасно.

Анна Дмитриевна. Что, да скажи же.

Каренин. Это ужасно. Он жив. И она двоемужница, и я преступник.
Это бумага от судебного следователя, который требует к себе Лизу.

Анна Дмитриевна. Какой ужасный человек... Зачем он это сделал?

Каренин. Все ложь, ложь.

Лиза. О, как я ненавижу его. Я не знаю, что я говорю. (Уходит в слезах. Каренин за нею.)

Явление третье

Анна Дмитриевна и Марья Васильевна.

Марья Васильевна. Как же он остался жив?

Анна Дмитриевна. Знаю только, что как только Виктор прикоснулся к этому миру грязи, они затянут его. Вот и затянули. Все обман, все ложь.

Занавес

Действие шестое

Картина первая

Камера судебного следователя.

Явление первое

Судебный следователь. Мельников и письмоводитель.

Судебный следователь (сидит за столом и разговаривает с Мельниковым. Сбоку письмоводитель. Перебирает бумаги). Да я ей никогда этого не говорил. Она выдумала, а потом меня упрекает.

Мельников. Она не упрекает, а огорчается.

Судебный следователь. Ну хорошо, я приду обедать. А теперь дело очень интересное. (Письмоводителю.) Просите.

Письмоводитель. Обоих?

Судебный следователь (кончая курить и пряча папиросу). Нет, одну госпожу Каренину, или, правильнее, по первому мужу – Протасову.

Мельников (уходя). А, это Каренина.

Судебный следователь. Да. Грязное дело. Положим, я еще только начинаю расследование, но нехорошо. Ну, прощай.

Мельников уходит.

Явление второе

Судебный следователь, Письмоводитель и Лиза под вуалью, в черном, входит.

Судебный следователь. Прошу покорно. (Указывая на стул.) Поверьте, что очень сожалею о необходимости делать вам вопросы, но мы поставлены в необходимость... Пожалуйста, успокойтесь и знайте, что вы

можете не отвечать на вопросы. Только мое мнение, что вам, да и для всех лучше – правда. Всегда лучше и даже практичнее.

Лиза. Мне нечего скрывать.

Судебный следователь. Так вот. (*Смотрит в бумаги.*) Ваше имя, звание, исповедание – это все я записал – так?

Лиза. Да.

Судебный следователь. Вы обвиняетесь в том, что вы, зная о том, что ваш муж жив, вышли замуж за другого.

Лиза. Я не знала.

Судебный следователь. И еще в том, что уговорили своего мужа, подкупив его деньгами, совершить обман – подобие самоубийства, с тем чтобы освободиться от него.

Лиза. Все это неправда.

Судебный следователь. Так вот позвольте несколько вопросов. Переслали вы ему в июле прошлого года деньги, тысячу двести рублей?

Лиза. Деньги эти были его деньги. Они были выручены за его вещи. И в то время как я рассталась с ним и ждала от него развода, я послала их ему.

Судебный следователь. Так-с. Очень хорошо. Деньги эти посланы семнадцатого июля, то есть за два дня до его исчезновения.

Лиза. Кажется, что семнадцатого июля. Я не помню.

Судебный следователь. А почему прекращены были ходатайства в консистории в то же время и было отказано адвокату?

Лиза. Не знаю.

Судебный следователь. Ну-с, а когда полиция пригласила вас свидетельствовать труп, каким образом признали вы в нем своего супруга?

Лиза. Я была так взволнована тогда, что не смотрела на тело. И так была уверена, что это он, что, когда меня спросили, я ответила, кажется, что он.

Судебный следователь. Да, вы не рассмотрели от весьма понятного волнения. Хорошо-с. Ну-с, а почему, позвольте узнать, от вас ежемесячно была посылка денег в Саратов, в тот самый город, в котором проживал ваш первый муж?

Лиза. Деньги эти посылал мой муж. И я не могу сказать про их назначение, так как это не моя тайна. Но только они не посылались Федору Васильевичу. Мы были твердо уверены, что его нет. Это я могу вам верно сказать.

Судебный следователь. Очень хорошо. Одно позвольте вам заметить, милостивая государыня, мы слуги закона, но это не мешает нам быть людьми. И поверьте, что я понимаю вполне ваше положение и принимаю

участие в нем. Вы были связаны с человеком, который тратил имущество, делал неверности, ну, одним словом, делал несчастье вам.

Лиза. Я любила его.

Судебный следователь. Да, но все-таки вам естественно желание освободиться, и вы избрали этот более простой путь, не подумав о том, что это приведет вас к тому, что считается преступлением двоебрачия, – это понятно и мне. И присяжные поймут это. И потому я бы советовал вам открыть все.

Лиза. Мне нечего открывать. Я никогда не лгала. *(Плачет.)* Я не нужна больше?

Судебный следователь. Я бы попросил вас побыть еще здесь. Я не буду, не буду больше беспокоить вас вопросами. Только извольте прочесть и подписать вот допрос. Так ли выражены ваши ответы? Прошу покорно сюда. *(Указывает кресло у окна. К письмоводителю.)* Попросите господина Каренина.

Явление третье

Те же. Входит Каренин, строго, торжественно.

Судебный следователь. Прошу покорно.

Каренин. Благодарю. *(Стоит.)* Что вам угодно?

Судебный следователь. Я обязан снять допрос.

Каренин. В качестве чего?

Судебный следователь *(улыбаясь).* Я в качестве судебного следователя. С вас же я должен снять допрос в качестве обвиняемого.

Каренин. Вот как? В чем же?

Судебный следователь. [В женитьбе на замужней женщине^[64]]. Впрочем, позвольте сделать вопросы по порядку. Присядьте.

Каренин. Благодарю.

Судебный следователь. Ваше имя?

Каренин. Виктор Каренин.

Судебный следователь. Звание?

Каренин. Камергер, действительный статский советник.

Судебный следователь. Возраст?

Каренин. Тридцать восемь лет.

Судебный следователь. Веры?

Каренин. Православной, под судом и следствием не бывал. Ну-с?

Судебный следователь. Известно ли вам было, что Федор Васильевич Протасов жив, когда вы вступали в брак с его женою?

Каренин. Не было известно. Мы оба были убеждены, что он утонул.

Судебный следователь. Куда вы посылали ежемесячно деньги в Саратов после ложного известия о смерти Протасова?

Каренин. Я не желаю отвечать на этот вопрос.

Судебный следователь. Очень хорошо. С какою целью были посланы вами деньги тысячу двести рублей господину Протасову перед самой симуляцией его смерти семнадцатого июля?

Каренин. Деньги эти были переданы мне моею женою.

Судебный следователь. Госпожою Протасовой?

Каренин. Моею женою для отправки ее мужу. Деньги эти она считала его собственностью и, разорвав связи с ним, считала несправедливым удерживать эти деньги.

Судебный следователь. Теперь еще один вопрос: почему вы прекратили ходатайство о разводе?

Каренин. Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом.

Судебный следователь. Есть у вас это письмо?

Каренин. Письмо затеряно.

Судебный следователь. Как странно, что затеряно и отсутствует все то, что могло бы убедить правосудие в справедливости ваших показаний.

Каренин. Нужно вам еще что-нибудь?

Судебный следователь. Мне ничего не нужно, кроме исполнения моего долга, а вам нужно оправдаться, и я сейчас советовал госпоже Протасовой и то же посоветовал бы вам: не скрывать того, что всем очевидно, а рассказать все, как было дело. Тем более что господин Протасов в таком положении, что он уже показывал все, как было, и, вероятно, и на суде все так же покажет. Я бы советовал...

Каренин. Я бы просил вас оставаться в рамках исполнения своих обязанностей. А советы свои оставить. Можем мы уйти? (*Подходит к Лизе. Она встает и берет его за руку.*)

Судебный следователь. Очень сожалею, что должен задержать вас...

Каренин удивленно оборачивается.

О нет, не в том смысле, чтобы арестовать вас. Хотя это и было бы

удобнее для расследования истины, я не прибегну к этой мере. Я только желал бы при вас сделать допрос Протасову и дать вам с ним очную ставку, при которой вам удобнее будет уличить его в неправде. Прошу присесть. Позовите господина Протасова.

Явление четвертое

Те же. Входит грязный, опустившийся Федя.

Федя (обращается к Лизе и Каренину). Лиза, Лизавета Андреевна, Виктор. Я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват... Простите, простите... (Кланяется им в ноги.)

Судебный следователь. Прошу вас отвечать на вопросы.

Федя. Спрашивайте.

Судебный следователь. Ваше имя?

Федя. Ведь вы знаете.

Судебный следователь. Прошу вас отвечать.

Федя. Ну, Федор Протасов.

Судебный следователь. Ваше звание, года, вера?

Федя (молчит). Как вам не совестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.

Судебный следователь. Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы.

Федя. Ну, коли не совестно, извольте. Звание – кандидат, года – сорок, веры – православной. Ну-с, дальше?

Судебный следователь. Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?

Федя. Наверно, нет. Я хотел точно убить себя, но потом... Ну, да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.

Судебный следователь. Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?

Федя. Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он ко мне пришел в Ржанов дом? Я был пьян и врал ему, что – не помню. Все это вздор. Теперь я не пьян и говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. И это бы так и осталось, если б не негодяй Артемьев. И если кто виноват, то я один.

Судебный следователь. Я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги?

Федя молчит.

Вы получали через Симонова посылаемые вам в Саратов деньги?

Федя молчит.

Почему же вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это может очень повредить вам и им. Так как же?

Федя (*молчит и потом*). Ах, господин следователь, как вам не стыдно. Ну что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, и, чтоб показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые в тысячи раз лучше вас.

Судебный следователь. Прошу вас...

Федя. Нечего просить. Я скажу все, что думаю. (*Письмоводителю.*) А вы пишете. По крайней мере в первый раз будут в протоколе разумные человеческие речи. (*Возвышает голос.*) Живут три человека: я, он, она. Между ними сложные отношения, борьба добра со злом, такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы – любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал, что должно, что я, негодный, ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая двадцатого числа по двугривенному за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите, которые вас к себе в переднюю не пустят. Но вы добрались и рады...

Судебный следователь. Я вас выведу.

Федя. Я не боюсь никого, потому что я труп и со мной ничего не сделаете; нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.

Каренин. Мы можем уйти?

Судебный следователь. Сейчас. Подписать протокол.

Федя. И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки.
Судебный следователь. Уведите его. Я арестую вас.
Федя (к Каренину и Лизе). Так простите.
Каренин (подходит и подает руку). Так, видно, должно было быть.

Лиза проходит. Федя низко кланяется.

Занавес

Картина вторая

Коридор в здании окружного суда. На заднем плане стеклянная дверь, у которой стоит Курьер. Правее другая дверь, в которую вводят подсудимых. К первой двери подходит Иван Петрович, оборванный, хочет пройти.

Явление первое

Курьер и Иван Петрович.

Курьер. Куда? Нельзя. Вишь, лезет.
Иван Петрович. Отчего нельзя? Закон гласит: заседания публичны.

Раздаются аплодисменты.

Курьер. А вот нельзя, да и все. Не велено.
Иван Петрович. Невежа. Не знаешь, с кем говоришь.

Выходит молодой адвокат во фраке.

Явление второе

Те же и молодой адвокат.

Молодой адвокат. Что вы, по делу?

Иван Петрович. Нет, я публика. А вот невежда, цербер. Не пускает.

Молодой адвокат. Да ведь здесь не для публики?

Иван Петрович. Знаю. Там не пускают. Меня-то можно пустить.

Молодой адвокат. Погодите, перерыв будет сейчас. (*Хочет уходить, встречает князя Абрезкова.*)

Явление третье

Те же и князь Абрезков.

Князь Абрезков. Позвольте узнать, в каком положении дело?

Молодой адвокат. Речи адвокатов. Петрушин говорит.

Опять аплодисменты.

Князь Абрезков. Что же, как подсудимые несут свое положение?

Молодой адвокат. С большим достоинством, особенно Каренин и Лизавета Андреевна. Не их судят, а они судят общество. Это чувствуется. На эту тему и говорит Петрушин.

Князь Абрезков. Ну, а Протасов?

Молодой адвокат. Ужасно взволнован. Весь трясется как-то. Но это понятно по его жизни. Но как-то особенно раздражен: перебивал несколько раз и прокурора и адвоката. В каком-то особенном возбуждении.

Князь Абрезков. Какой же результат полагаете?

Молодой адвокат. Трудно сказать. Состав присяжных смешанный. Во всяком случае, предумышленности не признают, но все-таки...

Выходит господин, князь Абрезков двигается к двери.

Вы хотите пройти?

Князь Абрезков. Да, хотел бы.

Молодой адвокат. Вы князь Абрезков?

Князь Абрезков. Я.

Молодой адвокат (к курьеру). Пропустите. Тут сейчас налево стул свободный. (*Пропускает князя Абрезкова.*)

Дверь отворяется, и виден говорящий адвокат.

Явление четвертое

Курьер, молодой адвокат и Иван Петрович.

Иван Петрович. Аристократы! Я аристократ духа. А это выше.

Молодой адвокат. Ну уж извините. (*Проходит.*)

Явление пятое

Курьер, Иван Петрович и Петушков, поспешно идет.

Петушков. А, здравствуй, Иван Петрович! Что дело?

Иван Петрович. Да еще речи адвокатов. Да вот не пускают.

Курьер. А вы не шумите тут. Тут не кабак.

Опять аплодисменты, отворяются двери, выходят адвокаты, зрители; мужчины и дамы.

Явление шестое

Те же, дама и офицер.

Дама. Прекрасно. Прямо до слез довел.

Офицер. Лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура.

Явление седьмое

Те же. Отворяется другая дверь, выходят подсудимые: сначала Лиза и Каренин – и проходят по коридору, за ними Федя один.

Дама. Тише. Вот он. Посмотрите, как он взволнован. (Дама и офицер проходят.)

Федя (подходит к Ивану Петровичу). Принес?

Иван Петрович. Вот он. (Подает что-то.)

Федя (прячет в карман и хочет идти; видит Петушкова). Глупо, пошло. Скучно. Скучно. Бессмысленно. (Хочет уходить.)

Явление восьмое

Те же и Петрушин, адвокат, толстый, румяный, оживленный, подходит.

Петрушин. Ну, батюшка, дела наши хороши, только вы в последней речи не напортите мне.

Федя. Да я не буду говорить. Что им говорить? Я не буду.

Петрушин. Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь уж все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили, что, если вас судят, так только за то, что вы не совершили самоубийства, то есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому и церковному.

Федя. Я ничего не скажу.

Петрушин. Отчего?

Федя. Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите: в худшем случае что может быть?

Петрушин. Я уже говорил вам: в худшем случае ссылка в Сибирь.

Федя. То есть кого ссылка?

Петрушин. И вас и вашей жены.

Федя. А в лучшем?

Петрушин. Церковное покаяние и, разумеется, расторжение второго брака.

Федя. То есть они опять меня свяжут с ней, то есть ее со мной?

Петрушин. Да, уж это как должно быть. Да вы не волнуйтесь. И, пожалуйста, скажите, как я вам говорю. И только. Главное, ничего лишнего. Ну, впрочем... (Замечая, что их окружили и слушают.) Я устал, пойду посижу, и вы отдохните, пока присяжные совещаются. Главное, не робеть.

Федя. И другого не может быть решения?
Петрушин (уходя). Никакого другого.

Явление девятое

Те же, кроме Петрушина, и судейский.

Судейский. Проходите, проходите, нечего в коридоре стоять.

Федя. Сейчас. (Вынимает пистолет и стреляет себе в сердце. Падает. Все бросаются к нему.) Ничего, кажется, хорошо. Лизу...

Явление десятое

Выбегают из всех дверей зрители, судьи, подсудимые, свидетели. Впереди всех Лиза. Сзади Маша и Каренин и Иван Петрович, Князь Абрезков.

Лиза. Что ты сделал, Федя? Зачем?

Федя. Прости меня, что не мог... иначе распутать тебя... Не для тебя... мне так лучше. Ведь я уж давно... готов...

Лиза. Ты будешь жив.

Доктор нагибается. Слушает.

Федя. Я без доктора знаю... Виктор, прощай. А Маша опоздала... (Плачет.) Как хорошо... Как хорошо... (Кончается.)

Занавес

Исповедь
Публицистические произведения

Исповедь

(Вступление к ненапечатанному сочинению)

I

Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.

Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие; но доверие это было очень шатко.

Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались этою новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное.

Помню еще, что, когда старший мой брат Дмитрий, будучи в университете, вдруг, с свойственною его натуре страстностью, предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую и нравственную жизнь, то мы все, и даже старшие, не переставая поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывавшегося брата тем, что и Давид плясал пред ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.

Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а живут все на основании начал, не только не имеющих ничего

общего с вероучением, но большею частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться, и в собственной жизни самому никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью, явлением.

По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большею частию встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большею частию встречались в людях, признающих себя неверующими.

В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь; от чиновников требуют свидетельств в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину еще больше, мог прожить десятки лет, не вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру.

Так что как теперь, так и прежде вероучение, принятое по доверию и поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противоположных вероучению, и человек очень часто долго живет, воображая, что в нем цело то вероучение, которое сообщено было ему с детства, тогда как его давно уже нет и следа.

Мне рассказывал С., умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет двадцати шести уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой, с детства принятой привычке, стал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. Когда С. кончил и стал ложиться, брат его сказал ему: «А ты еще все делаешь это?» И больше ничего они не сказали друг другу. И С. перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И вот тридцать лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он знал убеждения своего брата и присоединился бы к ним, не потому, чтоб он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, было как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести; слово это было указанием на то, что там, где он думал, что есть вера, давно уже пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на

молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их.

Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования, говорю о людях, правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. (Эти люди – самые коренные неверующие, потому что если вера для них – средство для достижения каких-нибудь житейских целей, то это уж наверно не вера.) Эти люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и жизни растопил искусственное здание, и они или уже заметили это и освободили место, или еще не заметили этого.

Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я очень рано стал много читать и думать, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с шестнадцати лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в бога, или, скорее, я не отрицал бога, но какого бога, я бы не мог сказать; не отрицал я и Христа и его учение, но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя – то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью, – единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно – я учился всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать свою волю – составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изоцряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменялось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других.

Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни – и трогательную и поучительную в эти десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею женщиной: «Rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut»;^[65] еще другого счастья она желала мне – того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья – того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любоддеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.

Так я жил десять лет.

В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого: меня хвалили.

Двадцати шести лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.

Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в

том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы – художники, поэты. Наше призвание – учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, – в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учит. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я – художник, поэт – писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество, у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собою. Одни говорили: мы – самые хорошие и полезные учителя, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы – настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга. Кроме того, было много между ними людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня усомниться в истинности нашей веры.

Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам – много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни – но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта – обман.

Но странно то, что хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но от чина, данного мне этими людьми, – от чина художника, поэта, учителя – я не отрекся. Я наивно воображал, что я – поэт, художник, и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.

Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том,

что я призван учить людей, сам не зная чему.

Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко, и страшно, и смешно – возникает именно то самое чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших.

Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить и говорить, писать, печатать – как можно скорее, как можно больше, что все это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других. И, не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: что хорошо, что дурно, – мы не знаем, что ответить, мы все, не слушая друг друга, все враз говорили, иногда потакая друг другу и восхваляя друг друга с тем, чтоб и мне потакали и меня похвалили, иногда же раздражаясь и перекрикивая друг друга, точно так, как в сумасшедшем доме.

Тысячи работников дни и ночи из последних сил работали, набирали, печатали миллионы слов, и почта развозила их по всей России, а мы все еще больше и больше учили, учили и учили и никак не успевали всему научить, и все сердились, что нас мало слушают.

Ужасно странно, но теперь мне понятно. Настоящим, задушевым рассуждением нашим было то, что мы хотим как можно больше получать денег и похвал. Для достижения этой цели мы ничего другого не умели делать, как только писать книжки и газеты. Мы это и делали. Но для того чтобы нам делать столь бесполезное дело и иметь уверенность, что мы – очень важные люди, нам надо было еще рассуждение, которое бы оправдывало нашу деятельность. И вот у нас было придумано следующее: все, что существует, то разумно. Все же, что существует, все развивается. Развивается же все посредством просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, газет. А нам платят деньги и нас уважают за то, что мы пишем книги и газеты, и потому мы – самые полезные и хорошие люди. Рассуждение это было бы очень хорошо, если бы мы все были согласны; но так как на каждую мысль, высказываемую одним, являлась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая другим, то это должно бы было заставить нас одуматься. Но мы этого не замечали. Нам платили деньги, и люди нашей партии нас хвалили, – стало быть, мы, каждый из нас, считали себя правыми.

Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой не было; тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все сумасшедшие, – называл всех сумасшедшими, кроме себя.

III

Так я жил, предаваясь этому безумию еще шесть лет, до моей женитьбы. В это время я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердило меня еще больше в той вере совершенствования вообще, которой я жил, потому что ту же самую веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени. Вера эта выражалась словом «прогресс». Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: жить сообразно с прогрессом, – говорю совершенно то же, что скажет человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: «Куда держаться?» – если он, не отвечая на вопрос, скажет: «Нас несет куда-то».

Тогда я не замечал этого. Только изредка не разум, а чувство возмущалось против этого общего в наше время суеверия, которым люди заслоняют от себя свое непонимание жизни. Так, в бытность мою в Париже, вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела и то и другое врозь застучало в ящике, я понял – не умом, а всем существом, – что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, – я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем. Другой случай сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания.

Но это были только редкие случаи сомнения, в сущности же я продолжал жить, исповедуя только веру в прогресс. «Все развивается, и я развиваюсь; а зачем это я развиваюсь вместе со всеми, это видно будет». Так бы я тогда должен был формулировать свою веру.

Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне и попал на занятие крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому

что в нем не было той, ставшей для меня очевидною, лжи, которая мне уже резала глаза в деятельности литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят.

В сущности же я вертелся все около одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтоб учить, не зная чему. В высших сферах литературной деятельности мне ясно было, что нельзя учить, не зная, чему учить, потому что я видел, что все учат различному и спорами между собой скрывают только сами от себя свое незнание; здесь же, с крестьянскими детьми, я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтоб исполнить свою похоть – учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу ничему учить такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно. После года, проведенного в занятиях школой, я другой раз поехал за границу, чтобы там узнать, как бы это так сделать, чтобы, самому ничего не зная, уметь учить других.

И мне казалось, что я этому выучился за границей, и, вооруженный всей этой премудростью, я в год освобождения крестьян вернулся в Россию и, заняв место посредника, стал учить и необразованный народ в школах, и образованных людей в журнале, который я начал издавать. Дело, казалось, шло хорошо, но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться. И я бы тогда же, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел в пятьдесят лет, если б у меня не было еще одной стороны жизни, не изведанной еще мною и обещавшей мне спасение: это была семейная жизнь.

В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась деятельность моя в школах, так противно мне стало мое влияние в журнале, состоявшее все в одном и том же – в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически, – бросил все и поехал в степь к башкирам – дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью.

Вернувшись оттуда, я женился. Новые условия счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня от всякого искания общего смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в

детях и потому в заботах об увеличении средств жизни. Стремление к усовершенствованию, подмененное уже прежде стремлением к усовершенствованию вообще, к прогрессу, теперь подменилось уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше.

Так прошло еще пятнадцать лет.

Несмотря на то что я считал писательство пустяками, в продолжение этих пятнадцати лет я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей.

Я писал, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше.

Так я жил, но пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?

Сначала мне казалось, что это так – бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это все известно и что, если я когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить мне труда, – что теперь только мне некогда этим заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая все на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно.

Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это – смерть.

То же случилось и со мной. Я понял, что это – не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том,

что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж!..»

И я ничего и ничего не мог ответить.

IV

Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперед знал, что, удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет.

Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это – обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица.

Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме гибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих страданий и настоящей смерти – полного уничтожения.

Жизнь мне опостылела – какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению

жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться! Если не распутаюсь, то всегда успею, говорил я себе. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкафами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще надеялся от нее.

И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем: это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми-десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишиться себя жизни.

Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то что я не признавал никакого «кого-то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая естественная мне форма представления.

Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30–40 лет жил, жил учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она, – как я дурак дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. «А ему смешно...»

Но есть ли или нет этот кто-нибудь, который смеется надо мной, мне от этого не легче. Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче – завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся – раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить – вот что удивительно! Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман! Вот именно, – что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто – жестоко и глупо.

Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он все держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня; но этот мед уже не радует меня, – а белая и черная мышь – день и ночь – подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мед уже не сладок мне. Я вижу одно – неизбежного дракона и мышей, – и не могу отвратить от них взор. И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда.

Прежний обман радостей жизни, заглушавший ужас дракона, уже не обманывает меня. Сколько ни говори мне: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи, – я не могу делать этого, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не могу не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу это одно, потому что это одно – истина.

Остальное все – ложь.

Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины, – любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, – уже не сладки мне.

«Семья...» – говорил я себе; но семья – жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия! Любя их, я не могу скрывать от них истины, – всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина – смерть.

«Искусство, поэзия?..» Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, что это – дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая уничтожит все – и меня, и мои дела, и память о них; но скоро я увидел, что и это – обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость, как же я могу заманивать других? Пока я не жил своею жизнью, а чужая жизнь несла меня на своих волнах, пока я верил, что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его, – отражения жизни всякого рода в поэзии и искусствах доставляли мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства; но когда я стал отыскивать смысл жизни, когда я почувствовал необходимость самому жить, – зеркальце это стало мне или ненужно, излишне и смешно, или мучительно. Мне нельзя уже было утешаться тем, что я в зеркальце вижу, что положение мое глупо и отчаянно. Хорошо мне было радоваться этому, когда в глубине души я верил, что жизнь моя имеет смысл. Тогда эта игра светов и теней – комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни – потешала меня. Но когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна, – игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Никакая сладость меда не могла быть сладка мне, когда я видел дракона и мышей, подтачивающих мою опору.

Но и этого мало. Если б я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать это, мог бы знать, что это – мой удел. Но я не мог успокоиться на этом. Если б я был как человек, живущий в лесу, из которого он знает, что нет выхода, я бы мог жить; но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу, знает, что всякий шаг еще больше путает его, и не может не метаться.

Вот это было ужасно. И чтоб избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня, – знал, что этот ужас

ужаснее самого положения, но не мог отогнать его и не мог терпеливо ожидать конца. Как ни убедительно было рассуждение о том, что все равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь и все кончится, я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей. И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству.

V

«Но, может быть, я просмотрел что-нибудь, не понял чего-нибудь? – несколько раз говорил я себе. – Не может же быть, чтобы это состояние отчаяния было свойственно людям». И я искал объяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, которые приобрели люди. И я мучительно и долго искал, и не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи, – искал, как ищет погибающий человек спасенья, – и ничего не нашел.

Я искал во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние – бессмыслица жизни, – есть единственное несомненное знание, доступное человеку.

Я искал везде, и, благодаря жизни, проведенной в учении, а также тому, что, по связям своим с миром ученым, мне были доступны сами ученые всех разнообразных отраслей знания, не отказывавшиеся открывать мне все свои знания не только в книгах, но и в беседах, – я узнал все то, что на вопрос жизни отвечает знание.

Долго я никак не мог поверить тому, что знание ничего другого не отвечает на вопросы жизни, как то, что оно отвечает. Долго мне казалось, вглядываясь в важность и серьезность тона науки, утверждавшей свои положения, не имеющие ничего общего с вопросами человеческой жизни, что я чего-нибудь не понимаю. Долго я робел перед знанием, и мне казалось, что несоответственность ответов моим вопросам происходит не по вине знания, а от моего невежества; но дело было для меня не шуточное, не забава, а дело всей моей жизни, и я волей-неволей был приведен к убеждению, что вопросы мои – одни законные вопросы, служащие основой всякого знания, и что виноват не я с моими вопросами, а наука, если она имеет притязательность отвечать на эти вопросы.

Вопрос мой – тот, который в пятьдесят лет привел меня к

самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, – тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: «Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, – что выйдет из всей моей жизни?»

Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?» Еще иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?»

На этот-то, один и тот же, различно выраженный вопрос я искал ответа в человеческом знании. И я нашел, что по отношению к этому вопросу все человеческие знания разделяются как бы на две противоположные полусферы, на двух противоположных концах которых находятся два полюса: один – отрицательный, другой – положительный; но что ни на том, ни на другом полюсе нет ответов на вопросы жизни.

Один ряд знаний как бы и не признает вопроса, но зато ясно и точно отвечает на свои независимо поставленные вопросы: это – ряд знаний опытных, и на крайней точке их стоит математика; другой ряд знаний признает вопрос, но не отвечает на него: это – ряд знаний умозрительных, и на крайней их точке – метафизика.

С ранней молодости меня занимали умозрительные знания, но потом и математические и естественные науки привлекли меня, и пока я не поставил себе ясно своего вопроса, пока вопрос этот не вырос сам во мне, требуя настоятельно разрешения, до тех пор я удовлетворялся теми подделками ответов на вопрос, которые дает знание.

То, в области опытной, я говорил себе: «Все развивается, дифференцируется, идет к усложнению и усовершенствованию, и есть законы, руководящие этим ходом. Ты – часть целого. Познав, насколько возможно, целое и познав закон развития, ты познаешь и свое место в этом целом, и самого себя». Как ни совестно мне признаться, но было время, когда я как будто удовлетворялся этим. Это было то самое время, когда я сам усложнялся и развивался. Мускулы мои росли и укреплялись, память обогащалась, способность мышления и понимания увеличивалась, я рос и развивался, и, чувствуя в себе этот рост, мне естественно было думать, что это-то и есть закон всего мира, в котором я найду разрешение и вопросов моей жизни. Но пришло время, когда рост во мне прекратился – я почувствовал, что не развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабеют, зубы падают, – и я увидал, что этот закон не только ничего мне не объясняет, но что и закона такого никогда не было и не могло быть, а что я принял за

закон то, что нашел в себе в известную пору жизни. Я строже отнесся к определению этого закона; и мне ясно стало, что законов бесконечного развития не может быть; ясно стало, что сказать: в бесконечном пространстве и времени все развивается, совершенствуется, усложняется, дифференцируется, – это значит ничего не сказать. Все это – слова без значения, ибо в бесконечном нет ни сложного, ни простого, ни переда, ни зада, ни лучше, ни хуже.

Главное же то, что вопрос мой личный: что я такое с моими желаниями? – оставался уже совсем без ответа. И я понял, что знания эти очень интересны, очень привлекательны, но что точны и ясны эти знания обратно пропорционально их приложимости к вопросам жизни: чем менее они приложимы к вопросам жизни, тем они точнее и яснее, чем более они пытаются давать решения на вопросы жизни, тем более они становятся неясными и непривлекательными. Если обратишься к той отрасли этих знаний, которые пытаются давать решения на вопросы жизни, – к физиологии, психологии, биологии, социологии, – то тут встречаешь поражающую бедность мысли, величайшую неясность, ничем не оправданную притязательность на решение неподлежащих вопросов и беспрестанные противоречия одного мыслителя с другими и даже с самим собою. Если обратишься к отрасли знаний, не занимающихся разрешением вопросов жизни, но отвечающих на свои научные, специальные вопросы, то восхищаешься силой человеческого ума, но знаешь вперед, что ответов на вопросы жизни нет. Эти знания прямо игнорируют вопрос жизни. Они говорят: «На то, что ты такое и зачем ты живешь, мы не имеем ответов и этим не занимаемся; а вот если тебе нужно знать законы света, химических соединений, законы развития организмов, если тебе нужно знать законы тел, их форм и отношение чисел и величин, если тебе нужно знать законы своего ума, то на все это у нас есть ясные, точные и несомненные ответы».

Вообще отношение наук опытных к вопросу жизни может быть выражено так: Вопрос: Зачем я живу? – Ответ: В бесконечно большом пространстве, в бесконечно долгое время, бесконечно малые частицы видоизменяются в бесконечной сложности, и когда ты поймешь законы этих видоизменений, тогда поймешь, зачем ты живешь.

То, в области умозрительной, я говорил себе: «Все человечество живет и развивается на основании духовных начал, *идеалов*, руководящих его. Эти идеалы выражаются в религиях, в науках, искусствах, формах государственности. Идеалы эти все становятся выше и выше, и человечество идет к высшему благу. Я – часть человечества, и потому призвание мое состоит в том, чтобы содействовать сознанию и

осуществлению идеалов человечества». И я во время слабоумия своего удовлетворялся этим; но как скоро ясно восстал во мне вопрос жизни, вся эта теория мгновенно рушилась. Не говоря о той недобросовестной неточности, при которой знания этого рода выдают выводы, сделанные из изучения малой части человечества, за общие выводы, не говоря о взаимной противоречивости разных сторонников этого воззрения о том, в чем состоят идеалы человечества, – странность, чтобы не сказать – глупость, этого воззрения состоит в том, что для того, чтоб ответить на вопрос, предстоящий каждому человеку: «что я такое», или: «зачем я живу», или: «что мне делать», – человек должен прежде разрешить вопрос: «что такое жизнь всего неизвестного ему человечества, из которой ему известна одна крошечная часть в один крошечный период времени». Для того чтобы понять, что он такое, человек должен прежде понять, что такое все это таинственное человечество, состоящее из таких же людей, как и он сам, не понимающих самих себя.

Должен сознаться, что было время, когда я верил этому. Это было то время, когда у меня были свои излюбленные идеалы, оправдывавшие мои прихоти, и я старался придумать такую теорию, по которой я мог бы смотреть на свои прихоти как на закон человечества. Но как скоро восстал в моей душе вопрос жизни во всей ясности, ответ этот тотчас же разлетелся прахом. И я понял, что как в науках опытных есть настоящие науки и полунуки, пытающиеся давать ответы на не подлежащие им вопросы, так и в этой области я понял, что есть целый ряд самых распространенных знаний, старающихся отвечать на неподлежащие вопросы. Полунуки этой области – науки юридические, социальные, исторические – пытаются разрешать вопросы человека тем, что они мнимо, каждая по-своему, разрешают вопрос жизни всего человечества.

Но как в области опытных знаний человек, искренно спрашивающий, как мне жить, не может удовлетвориться ответом: изучи в бесконечном пространстве бесконечные по времени сложности изменения бесконечных частиц, и тогда ты поймешь свою жизнь, точно так же не может искренний человек удовлетвориться ответом: изучи жизнь всего человечества, которого ни начала, ни конца мы не можем знать и малой части которого мы не знаем, и тогда ты поймешь свою жизнь. И точно так же, как в полунуках опытных, и эти полунуки тем более исполнены неясностей, неточностей, глупостей и противоречий, чем далее они уклоняются от своих задач. Задача опытной науки есть причинная последовательность материальных явлений. Стоит опытной науке ввести вопрос о конечной причине, и получается чепуха. Задача умозрительной науки есть сознание

беспричинной сущности жизни. Стоит ввести исследование причинных явлений, как явления социальные, исторических, и получается чепуха.

Опытная наука тогда только дает положительное знание и являет величие человеческого ума, когда она не вводит в свои исследования конечной причины. И, наоборот, умозрительная наука – тогда только наука и являет величие человеческого ума, когда она устраняет совершенно вопросы о последовательности причинных явлений и рассматривает человека только по отношению к конечной причине. Такова в этой области наука, составляющая полюс этой полусферы, – метафизика, или умозрительная философия. Наука эта ясно ставит вопрос: что такое я и весь мир? и зачем я и зачем весь мир? И с тех пор как она есть, она отвечает всегда одинаково. Идеями ли, субстанцией ли, духом ли, волею ли называет философ сущность жизни, находящуюся во мне и во всем существующем, философ говорит одно, что эта сущность есть и что я есть та же сущность; но зачем она, он не знает и не отвечает, если он точный мыслитель. Я спрашиваю: Зачем быть этой сущности? Что выйдет из того, что она есть и будет?.. И философия не только не отвечает, а сама только это и спрашивает. И если она – истинная философия, то вся ее работа только в том и состоит, чтоб ясно поставить этот вопрос. И если она твердо держится своей задачи, то она и не может отвечать иначе на вопрос: «что такое я и весь мир?» – «всё и ничто»; а на вопрос: «зачем существует мир и зачем существую я?» – «не знаю».

Так что, как я ни верти теми умозрительными ответами философии, я никак не получу ничего похожего на ответ, – и не потому, что, как в области ясной, опытной, ответ относится не до моего вопроса, а потому, что тут, хотя вся работа умственная направлена именно на мой вопрос, ответа нет, и вместо ответа получается тот же вопрос, только в усложненной форме.

VI

В поисках за ответами на вопрос жизни я испытал совершенно то же чувство, которое испытывает заблудившийся в лесу человек.

Вышел на поляну, влез на дерево и увидал ясно беспредельные пространства, но увидал, что дома там нет и не может быть; пошел в чащу, во мрак, и увидал мрак, и тоже нет и нет дома.

Так я блуждал в этом лесу знаний человеческих между просветами знаний математических и опытных, открывавших мне ясные горизонты, но такие, по направлению которых не могло быть дома, и между мраком

умозрительных знаний, в которых я погружался тем в больший мрак, чем дальше я подвигался, и убедился, наконец, в том, что выхода нет и не может быть.

Отдаваясь светлой стороне знаний, я понимал, что я только отвожу себе глаза от вопроса. Как ни заманчивы, ясны были горизонты, открывавшиеся мне, как ни заманчиво было погружаться в бесконечность этих знаний, я понимал уже, что они, эти знания, тем более ясны, чем менее они мне нужны, чем менее отвечают на вопрос.

Ну, я знаю, – говорил я себе, – все то, что так упорно желает знать наука, а ответа на вопрос о смысле моей жизни на этом пути нет. В умозрительной же области я понимал, что, несмотря на то, или именно потому, что цель знания была прямо направлена на ответ моему вопросу, ответа нет иного, как тот, который я сам дал себе: Какой смысл моей жизни? – Никакого. – Или: Что выйдет из моей жизни? – Ничего. – Или: Зачем существует все то, что существует, и зачем я существую? – Затем, что существует.

Спрашивая у одной стороны человеческих знаний, я получал бесчисленное количество точных ответов о том, о чем я не спрашивал: о химическом составе звезд, о движении солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека, о формах бесконечно малых атомов, о колебании бесконечно малых невесомых частиц эфира; но ответ в этой области знаний на мой вопрос: в чем смысл моей жизни? – был один: ты – то, что ты называешь твоей жизнью, ты – временное, случайное сцепление частиц. Взаимное воздействие, изменение этих частиц производит в тебе то, что ты называешь твоею жизнью. Сцепление это продержится некоторое время; потом взаимодействие этих частиц прекратится – и прекратится то, что ты называешь жизнью, прекратятся и все твои вопросы. Ты – случайно слепившийся комочек чего-то. Комочек преет. Прение это комочек называет своей жизнью. Комочек раскочится – и кончится прение и все вопросы. Так отвечает ясная сторона знаний и ничего другого не может сказать, если она только строго следует своим основам.

При таком ответе оказывается, что ответ отвечает не на вопрос. Мне нужно знать смысл моей жизни, а то, что она есть частица бесконечного, не только не придает ей смысла, но уничтожает всякий возможный смысл.

Те же неясные сделки, которые делает эта сторона опытного, точного знания с умозрением, при которых говорится, что смысл жизни состоит в развитии и содействии этому развитию, по неточности и неясности своей не могут считаться ответами.

Другая сторона знания, умозрительная, когда она строго держится

своих основ, прямо отвечая на вопрос, везде и во все века отвечает и отвечала одно и то же: мир есть что-то бесконечное и непонятное. Жизнь человеческая есть непостижимая часть этого непостижимого «всего». Опять я исключаю все те сделки между умозрительными и опытными знаниями, которые составляют весь балласт полунаук, так называемых юридических, политических, исторических. В эти науки опять так же неправильно вводятся понятия развития, совершенствования с тою только разницей, что там – развитие всего, а здесь – жизни людей. Неправильность одна и та же: развитие, совершенствование в бесконечном не может иметь ни цели, ни направления и по отношению к моему вопросу ничего не отвечает.

Там же, где умозрительное знание точно, именно в истинной философии, не в той, которую Шопенгауэр называл профессорской философией, служащей только к тому, чтобы распределить все существующие явления по новым философским графам и назвать их новыми именами, – там, где философ не упускает из вида существенный вопрос, ответ всегда один и тот же, – ответ, данный Сократом, Шопенгауэром, Соломоном, Буддой.

«Мы приблизимся к истине только настолько, насколько мы удалимся от жизни, – говорит Сократ, готовясь к смерти. – К чему мы, любящие истину, стремимся к жизни? К тому, чтоб освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни тела. Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам?»

«Мудрец всю жизнь ищет смерть, и потому смерть не страшна ему».

«Познавши внутреннюю сущность мира как волю, – говорит Шопенгауэр, – и во всех явлениях, от бессознательного стремления темных сил природы до полной сознанием деятельности человека, признавши только предметность этой воли, мы никак не избежим того следствия, что вместе с свободным отрицанием, самоуничтожением воли исчезнут и все те явления, то постоянное стремление и влечение без цели и отдыха на всех ступенях предметности, в котором и через которое состоит мир, исчезнет разнообразие последовательных форм, исчезнут вместе с формой все ее явления с своими общими формами, пространством и временем, а наконец и последняя основная его форма – субъект и объект. Нет воли, нет представления, нет и мира. Перед нами, конечно, остается только ничто. Но то, что противится этому переходу в ничтожество, наша природа есть ведь только эта самая воля к существованию (Wille zum Leben), составляющая нас самих, как и наш мир. Что мы так боимся ничтожества, или, что то же, так хотим жить – означает только, что мы сами не что иное, как это

хотение жизни, и ничего не знаем, кроме него. Поэтому то, что останется по совершенном уничтожении воли для нас, которые еще полны волей, есть, конечно, ничто; но и, наоборот, для тех, в которых воля обратилась и отреклась от себя, для них этот наш столь реальный мир, со всеми его солнцами и млечными путями, *есть ничто*».

«Суета сует, – говорит Соломон, – суета сует – все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род преходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: „смотри, вот это новое“; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Екклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростию все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтоб они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все суета и томление духа... Говорил я в сердце моем так: вот я возвеличился, приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это – томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания – умножает скорбь.

Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя веселием и насладюсь добром; но и это – суета. О смехе сказал я: глупость, а о веселии: что оно делает? Вздумал я в сердце своем улаждать вином тело мое и, между тем как сердце мое руководилось мудростью, придерживаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни своей жизни. Я предпринял большие дела: построил себе дома, насадил себе виноградники. Устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые деревья; сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произрастающих деревьев; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; собрал себе серебра, и золота, и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и улаждения сынов человеческих – разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселия. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали

руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И оглянулся я, чтобы взглянуть на мудрость, и безумие, и глупость. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце своем: и меня постигнет та же участь, как и глупого, – к чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это – суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым! И возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела, которые делаются под солнцем, ибо все – суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его – скорби, и его труды – беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это – суета. Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда своего...

Всему и всем – одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злему, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые не знают ничего, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению; и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более чести вовеки ни в чем, что делается под солнцем».

Так говорит Соломон или тот, кто писал эти слова.

А вот что говорит индийская мудрость.

Сакиа-Муни, молодой счастливый царевич, от которого скрыты были болезни, старость, смерть, едет на гулянье и видит страшного старика, беззубого и слюнявого. Царевич, от которого до сих пор скрыта была старость, удивляется и выпрашивает возницу, что это такое и отчего этот человек пришел в такое жалкое, отвратительное, безобразное состояние? И когда он узнает, что это общая участь всех людей, что ему, молодому царевичу, неизбежно предстоит то же самое, он не может уже ехать гулять и приказывает вернуться, чтоб обдумать это. И он запирается один и обдумывает. И, вероятно, придумывает себе какое-нибудь утешение, потому что опять веселый и счастливый выезжает на гулянье. Но в этот раз

ему встречается больной. Он видит изможденного, посиневшего, трясущегося человека, с помутившимися глазами. Царевич, от которого скрыты были болезни, останавливается и спрашивает, что это такое. И когда он узнает, что это – болезнь, которой подвержены все люди, и что он сам, здоровый и счастливый царевич, завтра может заболеть так же, он опять не имеет духа веселиться, приказывает вернуться и опять ищет успокоения и, вероятно, находит его, потому что в третий раз едет гулять; но в третий раз он видит еще новое зрелище; он видит, что несут что-то. «Что это?» – Мертвый человек. – «Что значит мертвый?» – спрашивает царевич. Ему говорят, что сделаться мертвым значит сделаться тем, чем сделался этот человек. Царевич подходит к мертвому, открывает и смотрит на него. «Что же будет с ним дальше?» – спрашивает царевич. Ему говорят, что его закопают в землю. «Зачем?» – Затем, что он уже наверно не будет больше никогда живой, а только будет от него смрад и черви. – «И это удел всех людей? И со мною то же будет? Меня закопают, и от меня будет смрад, и меня съедят черви?» – Да. – «Назад! Я не еду гулять и никогда не поеду больше».

И Сакиа-Муни не мог найти утешения в жизни, и он решил, что жизнь – величайшее зло, и все силы души употребил на то, чтоб освободиться от нее и освободить других. И освободить так, чтоб и после смерти жизнь не возобновлялась как-нибудь, чтоб уничтожить жизнь совсем, в корне. Это говорит вся индийская мудрость.

Так вот те прямые ответы, которые дает мудрость человеческая, когда она отвечает на вопрос жизни.

«Жизнь тела есть зло и ложь. И потому уничтожение этой жизни тела есть благо, и мы должны желать его», – говорит Сократ.

«Жизнь есть то, чего не должно бы быть, – зло, и переход в ничто есть единственное благо жизни», – говорит Шопенгауэр.

«Все в мире – и глупость и мудрость, и богатство и нищета, и веселье и горе – все суета и пустяки. Человек умрет, и ничего не останется. И это глупо», – говорит Соломон.

«Жить с сознанием неизбежности страданий, ослабления, старости и смерти нельзя – надо освободить себя от жизни, от всякой возможности жизни», – говорит Будда.

И то, что сказали эти сильные умы, говорили, думали и чувствовали миллионы миллионов людей, подобных им. И думаю и чувствую и я.

Так что блуждание мое в знаниях не только не вывело меня из моего отчаяния, но только усилило его. Одно знание не отвечало на вопросы жизни, другое же знание ответило, прямо подтверждая мое отчаяние и

указывая, что то, к чему я пришел, не есть плод моего заблуждения, болезненного состояния ума, – напротив, оно подтвердило мне то, что я думал верно и сошелся с выводами сильнейших умов человечества.

Обманывать себя нечего. Все – суета. Счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни; надо избавиться от нее.

VII

Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни, надеясь в людях, окружающих меня, найти его, и я стал наблюдать людей – таких же, как я, как они живут вокруг меня и как они относятся к этому вопросу, приведшему меня к отчаянию.

И вот что я нашел у людей, находящихся в одном со мною положении по образованию и образу жизни.

Я нашел, что для людей моего круга есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.

Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Люди этого разряда – большею частью женщины, или очень молодые, или очень тупые люди – еще не поняли того вопроса жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, ожидающего их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они держатся, и лижут капли меда. Но они лижут эти капли меда только до времени: что-нибудь обратит их внимание на дракона и мышей, и – конец их лизанью. От них мне нечему научиться, нельзя перестать знать того, что знаешь.

Второй выход – это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть, не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать мед самым лучшим образом, особенно если его на кусте попало много. Соломон выражает этот выход так:

«И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему бог под солнцем.

Итак, иди ешь с веселием хлеб твой и пей в радости сердца вино твое... Наслаждайся жизнью с женщиною, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все суетные дни твои, потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем... Все, что может рука твоя по силам делать, делай, потому что в могиле, куда ты

пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

Этого второго вывода придерживается большинство людей нашего круга. Условия, в которых они находятся, делают то, что благ у них больше, чем зол, а нравственная тупость дает им возможность забывать, что выгода их положения случайна, что всем нельзя иметь 1000 женщин и дворцов, как Соломон, что на каждого человека с 1000 жен есть 1000 людей без жен, и на каждый дворец есть 1000 людей, в поте лица строящих его, и что та случайность, которая нынче сделала меня Соломоном, завтра может сделать меня рабом Соломона. Тупость же воображения этих людей дает им возможность забывать про то, что не дало покоя Будде, – неизбежность болезни, старости и смерти, которая не нынче – завтра разрушит все эти удовольствия. То, что некоторые из этих людей утверждают, что тупость их мысли и воображения есть философия, которую они называют позитивной, не выделяет их, на мой взгляд, из разряда тех, которые, не видя вопроса, лижут мед. И этим людям я не мог подражать: не имея их тупости воображения, я не мог ее искусственно произвести в себе. Я не мог, как не может всякий живой человек, оторвать глаз от мышей и дракона, когда он раз увидал их.

Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Так поступают редкие сильные и последовательные люди. Поняв всю глупость шутки, какая над ними сыграна, и поняв, что блага умерших паче благ живых и что лучше всего не быть, так и поступают и кончают сразу эту глупую шутку, благо есть средства: петля на шею, вода, нож, чтоб им проткнуть сердце, поезда на железных дорогах. И людей из нашего круга, поступающих так, становится все больше и больше. И поступают люди так большею частью в самый лучший период жизни, когда силы души находятся в самом расцвете, а унижающих человеческий разум привычек еще усвоено мало. Я видел, что это самый достойный выход, и хотел поступить так.

Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может. Люди этого разбора знают, что смерть лучше жизни, но, не имея сил поступить разумно – поскорее кончить обман и убить себя, чего-то как будто ждут. Это есть выход слабости, ибо если я знаю лучшее и оно в моей власти, почему не отдаться лучшему?.. Я находился в этом разряде.

Так люди моего разбора четырьмя путями спасаются от ужасного противоречия. Сколько я ни напрягал своего умственного внимания, кроме этих четырех выходов, я не видал еще иного. Один выход: не понимать

того, что жизнь есть бессмыслица, суета и зло и что лучше не жить. Я не мог не знать этого и, когда раз узнал, не мог закрыть на это глаза. Другой выход – пользоваться жизнью такою, какая есть, не думая о будущем. И этого не мог сделать. Я, как Сакиа-Муни, не мог ехать на охоту, когда знал, что есть старость, страдания, смерть. Воображение у меня было слишком живо. Кроме того, я не мог радоваться минутной случайности, кинувшей на мгновение наслаждение на мою долю. Третий выход: поняв, что жизнь есть зло и глупость, прекратить, убить себя. Я понял это, но почему-то все еще не убивал себя. Четвертый выход – жить в положении Соломона, Шопенгауэра – знать, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мною шутка, и все-таки жить, умываться, одеваться, обедать, говорить и даже книжки писать. Это было для меня отвратительно, мучительно, но я оставался в этом положении.

Теперь я вижу, что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей. Как ни убедителен и несомненен казался мне ход моей мысли и мыслей мудрых, приведших нас к признанию бессмыслицы жизни, во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения.

Оно было такое: Я, мой разум – признали, что жизнь неразумна. Если нет высшего разума (а его нет, и ничто доказать его не может), то разум есть творец жизни для меня. Не было бы разума, не было бы для меня и жизни. Как же этот разум отрицает жизнь, а он сам творец жизни? Или, с другой стороны: если бы не было жизни, не было бы и моего разума, – стало быть, разум есть сын жизни. Жизнь есть все. Разум есть плод жизни, и разум этот отрицает самую жизнь. Я чувствовал, что тут что-то неладно.

Жизнь есть бессмысленное зло, это несомненно, – говорил я себе. – Но я жил, живу еще, и жило и живет все человечество. Как же так? Зачем же оно живет, когда может не жить?

Что ж, я один с Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни?

Рассуждение о суете жизни не так хитро, и его делают давно и все самые простые люди, а жили и живут. Что ж, они-то все живут и никогда и не думают сомневаться в разумности жизни?

Мое знание, подтвержденное мудростью мудрецов, открыло мне, что все на свете – органическое и неорганическое – все необыкновенно умно устроено, только мое одно положение глупо. А эти дураки – огромные массы простых людей – ничего не знают насчет того, как все органическое и неорганическое устроено на свете, а живут, и им кажется, что жизнь их очень разумно устроена!

И мне приходило в голову: а что, как я чего-нибудь еще не знаю? Ведь точно так поступает незнание. Незнание ведь всегда это самое говорит. Когда оно не знает чего-нибудь, оно говорит, что глупо то, чего оно не знает. В самом деле выходит так, что есть человечество целое, которое жило и живет, как будто понимая смысл своей жизни, ибо, не понимая его, оно не могло бы жить, а я говорю, что вся эта жизнь бессмыслица, и не могу жить.

Никто не мешает нам с Шопенгауэром отрицать жизнь. Но тогда убей себя – и не будешь рассуждать. Не нравится тебе жизнь, убей себя. А живешь, не можешь понять смысла жизни, так прекрати ее, а не вертись в этой жизни, рассказывая и расписывая, что ты не понимаешь жизни. Пришел в веселую компанию, всем очень хорошо, все знают, что они делают, а тебе скучно и противно, так уйди.

Ведь в самом деле, что же такое мы, убежденные в необходимости самоубийства и не решающиеся совершить его, как не самые слабые, непоследовательные и, говоря попросту, глупые люди, носящиеся с своею глупостью, как дурак с писаной торбой?

Ведь наша мудрость, как ни несомненно верна она, не дала нам знания смысла нашей жизни. Все же человечество, делающее жизнь, миллионы – не сомневаются в смысле жизни.

В самом деле, с тех давних-давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь да знаю, жили люди, зная то рассуждение о тщете жизни, которое мне показало ее бессмыслицу, и все-таки жили, придавая ей какой-то смысл. С тех пор как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Все, что есть во мне и около меня, все это – плод их знания жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю ее, все это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. И я-то, их произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими наученный, их мыслями и словами думающий, доказал им, что они – бессмыслица! «Тут что-то не так, – говорил я себе. – Где-нибудь я ошибся». Но в чем была ошибка, я никак не мог найти.

VIII

Все эти сомнения, которые теперь я в состоянии высказать более или

менее связно, тогда я не мог бы высказать. Тогда я только чувствовал, что, как ни логически неизбежны были мои, подтверждаемые величайшими мыслителями, выводы о тщете жизни, в них было что-то неладно. В самом ли рассуждении, в постановке ли вопроса, я не знал; я чувствовал только, что убедительность разумная была совершенная, но что ее было мало. Все эти доводы не могли убедить меня так, чтоб я сделал то, что вытекало из моих рассуждений, т. е. чтоб я убил себя. И я бы сказал неправду, если бы сказал, что я разумом пришел к тому, к чему я пришел, и не убил себя. Разум работал, но работало и еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, как сознанием жизни. Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать внимание на то, а не на это, и эта-то сила и вывела меня из моего отчаянного положения и совершенно иначе направила разум. Эта сила заставила меня обратить внимание на то, что я с сотнями подобных мне людей не есть все человечество, что жизни человечества я еще не знаю.

Оглядывая тесный кружок сверстных мне людей, я видел только людей, не понимавших вопроса, понимавших и заглушавших вопрос пьянством жизни, понявших и прекращавших жизнь и понявших и по слабости доживавших отчаянную жизнь. И я не видал иных. Мне казалось, что тот тесный кружок ученых, богатых и досужих людей, к которому я принадлежал, составляет все человечество, а что те миллиарды живших и живых, это – *так*, какие-то скоты – не люди.

Как ни странно, ни невероятно непонятно кажется мне теперь то, как мог я, рассуждая про жизнь, просмотреть окружавшую меня со всех сторон жизнь человечества, как я мог до такой степени смешно заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя, Соломонов и Шопенгауэров есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь миллиардов есть не стоящее внимания обстоятельство, как ни странно это мне теперь, я вижу, что это было так. В заблуждении гордости своего ума мне так казалось несомненным, что мы с Соломоном и Шопенгауэром поставили вопрос так верно и истинно, что другого ничего быть не может, так несомненно казалось, что все эти миллиарды принадлежат к тем, которые еще не дошли до постижения всей глубины вопроса, что я искал смысла своей жизни и ни разу не подумал: «Да какой же смысл придают и придавали своей жизни все миллиарды, жившие и живущие на свете?»

Я долго жил в этом сумасшествии, особенно свойственном, не на словах, но на деле, нам – самым либеральным и ученым людям. Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви к настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидеть, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том,

что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать, – это повеситься, я чувствовал, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей и увидел совершенно другое. Я увидел, что все эти миллиарды живших и живущих людей, все, за редкими исключениями, не подходят к моему делению, что признать их не понимающими вопроса я не могу, «потому что они сами ставят его и с необыкновенной ясностью отвечают на него. Признать их эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь их складывается больше из лишений и страданий, чем наслаждений; признать же их неразумно доживающими бессмысленную жизнь могу еще меньше, так как всякий акт их жизни и самая смерть объясняются ими. Убивать же себя они считают величайшим злом. Оказывалось, что у всего человечества есть какое-то не признаваемое и презираемое мною знание смысла жизни. Выходило то, что знание разумное не дает смысла жизни, исключает жизнь; смысл же, придаваемый жизни миллиардами людей, всем человечеством, зиждется на каком-то презренном, ложном знании.

Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, все человечество – признают этот смысл в неразумном знании. И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это Бог, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и все то, чего я не могу принять, пока я не сошел с ума.

Положение мое было ужасно. Я знал, что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а там в вере – ничего, кроме отрицания разума, которое еще невозможнее, чем отрицание жизни. По разумному знанию выходило так, что жизнь есть зло, и люди знают это, от людей зависит не жить, а они жили и живут, и сам я жил, хотя и знал уже давно то, что жизнь бессмысленна и есть зло. По вере выходило, что для того, чтобы понять смысл жизни, я должен отречься от разума, того самого, для которого нужен смысл.

IX

Выходило противоречие, из которого было только два выхода: или то, что я называл разумным, не было так разумно, как я думал; или то, что мне казалось неразумно, не было так неразумно, как я думал. И я стал

проверять ход рассуждений моего разумного знания.

Проверяя ход рассуждений разумного знания, я нашел его совершенно правильным. Вывод о том, что жизнь есть ничто, был неизбежен; но я увидал ошибку. Ошибка была в том, что я мыслил несоответственно поставленному мною вопросу. Вопрос был тот: зачем мне жить, т. е. что выйдет настоящего, не уничтожающегося из моей призрачной, уничтожающейся жизни, какой смысл имеет мое конечное существование в этом бесконечном мире? И чтоб ответить на этот вопрос, я изучал жизнь.

Решения всех возможных вопросов жизни, очевидно, не могли удовлетворять меня, потому что мой вопрос, как он ни прост кажется сначала, включает в себя требование объяснения конечного бесконечным и наоборот.

Я спрашивал: какое вневременное, внепричинное, внепространственное значение моей жизни? А отвечал я на вопрос: какое временное, причинное и пространственное значение моей жизни? Вышло то, что после долгого труда мысли я ответил: никакого.

В рассуждениях моих я постоянно приравнивал, да и не мог поступить иначе, конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, а потому у меня и выходило, что и должно было выходить: сила есть сила, вещество есть вещество, воля есть воля, бесконечность есть бесконечность, ничто есть ничто, и дальше ничего не могло выйти.

Было что-то подобное тому, что бывает в математике, когда, думая решать уравнение, решаешь тождество. Ход размышления правилен, но в результате получается ответ: $a=a$, или $x=x$, или $0=0$. То же самое случилось и с моим рассуждением по отношению к вопросу о значении моей жизни. Ответы, даваемые всей наукой на этот вопрос, – только тождества.

И действительно, строго разумное знание, то знание, которое, как это сделал Декарт, начинает с полного сомнения во всем, откидывает всякое допущенное на веру знание и строит все вновь на законах разума и опыта – и не может дать иного ответа на вопрос жизни, как тот самый, который я и получил, – ответ неопределенный. Мне только показалось сначала, что знание дало положительный ответ – ответ Шопенгауэра: жизнь не имеет смысла, она есть зло. Но, разобрав дело, я понял, что ответ не положительный, что мое чувство только выразило его так. Ответ же строго выраженный, как он выражен и у браминов, и у Соломона, и у Шопенгауэра, есть только ответ неопределенный, или тождество: $0=0$, жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто. Так что знание философское ничего не отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решен им, что для него решение остается неопределенным.

Поняв это, я понял, что и нельзя было искать в разумном знании ответа на мой вопрос и что ответ, даваемый разумным знанием, есть только указание на то, что ответ может быть получен только при иной постановке вопроса, только тогда, когда в рассуждение будет введен вопрос отношения конечного к бесконечному. Я понял и то, что, как ни неразумны и уродливы ответы, даваемые верою, они имеют то преимущество, что вводят в каждый ответ отношение конечного к бесконечному, без которого не может быть ответа. Как я ни поставлю вопрос: как мне жить? – ответ: по закону божью. Что выйдет настоящего из моей жизни? – Вечные мучения или вечное блаженство. Какой смысл, не уничтожаемый смертью? – Соединение с бесконечным богом, рай.

Так что, кроме разумного знания, которое мне прежде представлялось единственным, я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное – вера, дающая возможность жить. Вся неразумность веры оставалась для меня та же, как и прежде, но я не мог не признать того, что она одна дает человечеству ответы на вопросы жизни и, вследствие того, возможность жить.

Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна, жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человечество, я увидел, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся: я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера.

Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидел одно и то же. Где жизнь, там вера, с тех пор, как есть человечество, дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же.

Какие бы и кому бы ни давала ответы какая бы то ни была вера, всякий ответ веры конечному существованию человека придает смысл бесконечного, – смысл, не уничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. Значит – в одной вере можно найти смысл и возможность жизни. И я понял, что вера в самом существенном своем значении не есть только «обличение вещей невидимых» и т. д., не есть откровение (это есть только описание одного из признаков веры), не есть только отношение человека к богу (надо определить веру, а потом бога, а не через бога определять веру), не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего понимается вера, – вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила

жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Если он не видит и не понимает призрачности конечного, он верит в это конечное; если он понимает призрачность конечного, он должен верить в бесконечное. Без веры нельзя жить.

И я вспомнил весь ход своей внутренней работы и ужаснулся. Теперь мне было ясно, что для того, чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или иметь такое объяснение смысла жизни, при котором конечное приравнивалось бы бесконечному. Такое объяснение у меня было, но оно мне было ненужно, пока я верил в конечное, и я стал разумом проверять его. И перед светом разума все прежнее объяснение разлетелось прахом. Но пришло время, когда я перестал верить в конечное. И тогда я стал на разумных основаниях строить из того, что я знал, такое объяснение, которое дало бы смысл жизни; но ничего не построилось. Вместе с лучшими умами человечества я пришел к тому, что $0=0$, и очень удивился, что получил такое решение, тогда как ничего иного и не могло выйти.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях опытных? Я хотел узнать, зачем я живу, и для этого изучал все то, что вне меня. Ясно, что я мог узнать многое, но ничего из того, что мне нужно.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях философских? Я изучал мысли тех существ, которые находились в том же самом положении, как и я, которые не имели ответа на вопрос: зачем я живу. Ясно, что я ничего и не мог узнать иного, как то, что я сам знал, что ничего знать нельзя.

Что такое я? – часть бесконечного. Ведь уже в этих двух словах лежит вся задача. Неужели этот вопрос только со вчерашнего дня сделало себе человечество? И неужели никто до меня не сделал себе этого вопроса – вопроса такого простого, просящегося на язык каждому умному дитяти?

Ведь этот вопрос был поставлен с тех пор, как люди есть; и с тех пор, как люди есть, понятно, что для решения этого вопроса одинаково недостаточно приравнивать конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, и с тех пор, как люди есть, отысканы отношения конечного к бесконечному и выражены.

Все эти понятия, при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятия бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума.

Если бы не было так ужасно, было бы смешно, с какой гордостью и самодовольством мы, как дети, разбираем часы, вынимаем пружину, делаем

из нее игрушку и потом удивляемся, что часы перестают идти.

Нужно и дорого разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь. И это единственное разрешение, которое мы находим везде, всегда и у всех народов, – разрешение, вынесенное из времени, в котором теряется для нас жизнь людей, разрешение столь трудное, что мы ничего подобного сделать не можем, – это-то разрешение мы легкомысленно разрушаем, с тем чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому и на который у нас нет ответа.

Понятия бесконечного бога, божественности души, связи дел людских с богом, понятия нравственного добра и зла – суть понятия, выработанные в скрывающейся от наших глаз исторической дали жизни человечества, суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого, а я, откинув всю эту работу всего человечества, хочу все сам один сделать по-новому и по-своему.

Я не так думал тогда, но зародыши этих мыслей уже были во мне. Я понимал, 1) что мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость, глупо: мы понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем. Это явно глупо, потому что, если жизнь глупа, – а я так люблю все разумное, – то надо уничтожить жизнь, и некому будет отрицать ее. 2) Я понимал, что все наши рассуждения вертятся в заколдованном круге, как колесо, не цепляющееся за шестерню. Сколько бы и как бы хорошо мы ни рассуждали, мы не можем получить ответа на вопрос, и всегда будет $0=0$, и что потому путь наш, вероятно, ошибочен. 3) Я начинал понимать, что в ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не имел права отрицать их на основании разума, и что, главное, ответы эти одни отвечают на вопрос жизни.

X

Я понимал это, но от этого мне было не легче.

Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. И я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня.

Я, естественно, обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям ученым, к православным богословам, к монахам-старцам, к православным богословам нового оттенка и даже к так называемым новым

христианам, исповедующим спасение верою в искупление. И я ухватывался за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни.

Несмотря на то, что я делал всевозможные уступки, избегал всяких споров, я не мог принять веры этих людей, — я видел, что то, что выдавали они за веру, было не объяснение, а затемнение смысла жизни, и что сами они утверждали свою веру не для того, чтоб ответить на тот вопрос жизни, который привел меня к вере, а для каких-то других, чуждых мне целей.

Помню мучительное чувство ужаса возвращения к прежнему отчаянию после надежды, которое я испытывал много и много раз в сношениях с этими людьми. Чем больше, подробнее они излагали мне свои вероучения, тем яснее я видел их заблуждение и потерю моей надежды найти в их вере объяснение смысла жизни.

Не то, что в изложении своего вероучения они примешивали к всегда бывшим мне близкими христианским истинам еще много ненужных и неразумных вещей, — не это оттолкнуло меня; но меня оттолкнуло то, что жизнь этих людей была та же, как и моя, с тою только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, которые они излагали в своем вероучении. Я ясно чувствовал, что они обманывают себя и что у них, так же как у меня, нет другого смысла жизни, как того, чтобы жить, пока живется, и брать все, что может взять рука. Я видел это по тому, что если б у них был тот смысл, при котором уничтожается страх лишений, страданий и смерти, то они бы не боялись их. А они, эти верующие нашего круга, точно так же, как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить его, боялись лишений, страданий, смерти, и так же, как я и все мы, неверующие, жили, удовлетворяя похотям, жили так же дурно, если не хуже, чем неверующие.

Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их веры. Только действия, такие, которые бы показывали, что у них есть смысл жизни такой, при котором страшные мне нищета, болезнь, смерть не страшны им, могли бы убедить меня. А таких действий я не видел между этими разнообразными верующими нашего круга. Я видал такие действия, напротив, между людьми нашего круга самыми неверующими, но никогда между так называемыми верующими нашего круга.

И я понял, что вера этих людей — не та вера, которой я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера годится, может быть, хоть не для утешения, а для некоторого рассеяния раскаивающемуся Соломону на смертном одре, но она не может годиться для огромного большинства человечества, которое

призвано не потешаться, пользуясь трудами других, а творить жизнь. Для того чтобы все человечество могло жить, для того чтобы оно продолжало жизнь, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов, должно быть другое, настоящее знание веры. Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что жили эти миллиарды и живут и нас с Соломонами вынесли на своих волнах жизни.

И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение мнимоверующих из нашего круга. К истинам христианским примешано было тоже очень много суеверий, но разница была в том, что суеверия верующих нашего круга были совсем ненужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейскою потехой; суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизни без этих суеверий, — они были необходимым условием этой жизни. Вся жизнь верующих нашего круга была противоречием их вере, а вся жизнь людей верующих и трудящихся была подтверждением того смысла жизни, который давало знание веры. И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей проходила в тяжелом труде и они были менее недовольны жизнью, чем богатые. В противоположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а с спокойною и твердою уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это — добро. В противоположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще же всего с радостью. В противоположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем кругу, смерть беспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое

исключение среди народа. И таких людей, лишенных всего того, что для нас с Соломоном есть единственное благо жизни, и испытывающих при этом величайшее счастье, – многое множество. Я оглянулся шире вокруг себя. Я взгляделся в жизнь прошедших и современных огромных масс людей. И я видел таких, понявших смысл жизни, умеющих жить и умирать, не двух, трех, десять, а сотни, тысячи, миллионы. И все они, бесконечно различные по своему нраву, уму, образованию, положению, все одинаково и совершенно противоположно моему неведению знали смысл жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишения и страдания, жили и умирали, видя в этом не суету, а добро.

И я полюбил этих людей. Чем больше я вникал в их жизнь живых людей и жизнь таких же умерших людей, про которых читал и слышал, тем больше я любил их, и тем легче мне самому становилось жить. Я жил так года два, и со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга – богатых, ученых – не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусства – все это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысл в этом нельзя. Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его.

XI

И вспомнив то, как те же самые верования отталкивали меня и казались бессмысленными, когда их исповедовали люди, жившие противно этим верованиям, и как эти же самые верования привлекли меня и показались мне разумными, когда я видел, что люди живут ими, – я понял, почему я тогда откинул эти верования и почему нашел их бессмысленными, а теперь принял их и нашел полными смысла. Я понял, что я заблудился и как я заблудился. Я заблудился не столько оттого, что неправильно мыслил, сколько оттого, что я жил дурно. Я понял, что истину закрыло от меня не столько заблуждение моей мысли, сколько самая жизнь моя в тех исключительных условиях эпикурейства, удовлетворения похотям, в которых я провел ее. Я понял, что мой вопрос о том, что есть моя жизнь, и ответ: зло, – был совершенно правилен. Неправильно было только то, что ответ, относящийся только ко мне, я отнес к жизни вообще: я спросил себя, что такое моя жизнь, и получил ответ: зло и бессмыслица. И

точно, моя жизнь – жизнь потворства похоти – была бессмысленна и зла, и потому ответ: «жизнь зла и бессмысленна» – относился только к моей жизни, а не к жизни людской вообще. Я понял ту истину, впоследствии найденную мною в Евангелии, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже – разум для того, чтобы понять ее. Я понял, почему я так долго ходил около такой очевидной истины, и что если думать и говорить о жизни человечества, то надо говорить и думать о жизни человечества, а не о жизни нескольких паразитов жизни. Истина эта была всегда истина, как $2 \times 2 = 4$, но я не признавал ее, потому, что, признав $2 \times 2 = 4$, я бы должен был признать то, что я нехорош. А чувствовать себя хорошим для меня было важнее и обязательнее, чем $2 \times 2 = 4$. Я полюбил хороших людей, возненавидел себя, и я признал истину. Теперь мне все ясно стало.

Что, если бы палач, проводящий жизнь в пытках и отсечении голов, или мертвый пьяница, или сумасшедший, засевший на всю жизнь в темную комнату, огадивший эту свою комнату и воображающий, что он погибнет, если выйдет из нее, – что, если бы они спросили себя: что такое жизнь? Очевидно, они не могли бы получить на вопрос: что такое жизнь, – другого ответа, как тот, что жизнь есть величайшее зло; и ответ сумасшедшего был бы совершенно правилен, но для него только. Что, как я такой же сумасшедший? Что, как мы все, богатые, ученые люди, такие же сумасшедшие?

И я понял, что мы действительно такие сумасшедшие. Я-то уж наверное был такой сумасшедший. И в самом деле, птица существует так, что она должна летать, собирать пищу, строить гнезда, и когда я вижу, что птица делает это, я радуюсь ее радостью. Коза, заяц, волк существуют так, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они делают это, у меня есть твердое сознание, что они счастливы и жизнь их разумна. Что же должен делать человек? Он должен точно так же добывать жизнь, как и животные, но с тою только разницей, что он погибнет, добывая ее один, – ему надо добывать ее не для себя, а для всех. И когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и жизнь его разумна. Что же я делал во всю мою тридцатилетнюю сознательную жизнь? Я не только не добывал жизни для всех, я и для себя не добывал ее. Я жил паразитом и, спросив себя, зачем я живу, получил ответ: низачем. Если смысл человеческой жизни в том, чтобы добывать ее, то как же я,

тридцать лет занимавшийся тем, чтобы не добывать жизнь, а губить ее в себе и других, мог получить другой ответ, как не тот, что жизнь моя есть бессмыслица и зло? Она и была бессмыслица и зло.

Жизнь мира совершается по чьей-то воле, – кто-то эту жизнь всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее – делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от меня, а уж тем менее – чего хотят от всех нас и от всего мира.

Если голого, голодного нищего взяли с перекрестка, привели в крытое место прекрасного заведения, накормили, напоили и заставили двигать вверх и вниз какую-то палку, то, очевидно, что прежде, чем разбирать, зачем его взяли, зачем двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения, нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если он будет двигать палкой, тогда он поймет, что палка эта движет насос, что насос накачивает воду, что вода идет по грядкам; тогда его выведут из крытого колодца и поставят на другое дело, и он будет собирать плоды и войдет в радость господина своего и, переходя от низшего дела к высшему, все дальше и дальше понимая устройство всего заведения и участвуя в нем, никогда и не подумает спрашивать, зачем он здесь, и уж никак не станет упрекать хозяина.

Так и не упрекают хозяина те, которые делают его волю, люди простые, рабочие, неученые, те, которых мы считаем скотами; а мы вот, мудрецы, есть едим все хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин, и вместо того чтобы делать, сели в кружок и рассуждаем: «Зачем это двигать палкой? Ведь это глупо». Вот и додумались. Додумались до того, что хозяин глуп или его нет, а мы умны, только чувствуем, что никуда не годимся, и надо нам как-нибудь самим от себя избавиться.

XII

Сознание ошибки разумного знания помогло мне освободиться от соблазна праздного умствования. Убеждение в том, что знание истины можно найти только жизнью, побудило меня усомниться в правильности моей жизни; но спасло меня только то, что я успел вырваться из своей исключительности и увидеть жизнь настоящую простого рабочего народа и понять, что это только есть настоящая жизнь. Я понял, что, если я хочу

понять жизнь и смысл ее, мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, приняв тот смысл, который придает ей настоящее человечество, слившись с этой жизнью, проверить его.

В это же время со мною случилось следующее. Во все продолжение этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя: не кончить ли петлей или пулей, – во все это время, рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием бога.

Я говорю, что это искание бога было не рассуждение, но чувство, потому что это искание вытекало не из моего хода мыслей, – оно было даже прямо противоположно им, – но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь.

Несмотря на то что я вполне был убежден в невозможности доказательства бытия божия (Кант доказал мне, и я вполне понял его, что доказать этого нельзя), я все-таки искал бога, надеялся на то, что я найду его, и обращался по старой привычке с мольбой к тому, чего я искал и не находил. То я проверял в уме доводы Канта и Шопенгауэра о невозможности доказательства бытия божия, то я начинал опровергать их. Причина, говорил я себе, не есть такая же категория мышления, как пространство и время. Если я есмь, то есть на то причина, и причина причин. И эта причина всего есть то, что называют богом; и я останавливался на этой мысли и старался всем существом сознать присутствие этой причины. И как только я сознавал, что есть сила, во власти которой я нахожусь, так тотчас же я чувствовал возможность жизни. Но я спрашивал себя: «Что же такое эта причина, эта сила? Как мне думать о ней, как мне относиться к тому, что я называю богом?» И только знакомые мне ответы приходили мне в голову: «Он – творец, промыслитель». Ответы эти не удовлетворяли меня, и я чувствовал, что пропадает во мне то, что мне нужно для жизни. Я приходил в ужас и начинал молиться тому, которого я искал, о том, чтоб он помог мне. И чем больше я молился, тем очевиднее мне было, что он не слышит меня и что нет никого такого, к которому бы можно было обращаться. И с отчаянием в сердце о том, что нет и нет бога, я говорил: «Господи, помилуй, спаси меня! Господи, научи меня, бог мой!» Но никто не миловал меня, и я чувствовал, что жизнь моя останавливается.

Но опять и опять с разных других сторон я приходил к тому же признанию того, что не мог же я без всякого повода, причины и смысла явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом,

каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пищу в высокой траве, но я пищу оттого, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? Опять бог.

«Он знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть», – говорил я себе. И стоило мне на мгновение признать это, как тотчас же жизнь поднималась во мне, и я чувствовал и возможность и радость бытия. Но опять от признания существования бога я переходил к отыскиванию отношения к нему, и опять мне представлялся тот бог, наш творец, в трех лицах, приславший сына-искупителя. И опять этот отдельный от мира, от меня бог, как льдина, таял, таял на моих глазах, и сиять ничего не оставалось, и опять иссыхал источник жизни, я приходил в отчаяние и чувствовал, что мне нечего сделать другого, как убить себя. И, что было хуже всего, я чувствовал, что и этого я не могу сделать.

Не два, не три раза, а десятки, сотни раз приходил я в эти положения – то радости и оживления, то опять отчаяния и сознания невозможности жизни.

Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и думал все об одном, как я постоянно думал все об одном и том же эти последние три года. Я опять искал бога.

«Хорошо, нет никакого бога, – говорил я себе, – нет такого, который бы был не мое представление, но действительность такая же, как вся моя жизнь; нет такого. И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое представление, да еще неразумное».

«Но понятие мое о боге, о том, которого я ищу? – спросил я себя. – Понятие-то это откуда взялось?» И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл. Но радость моя продолжалась недолго. Ум продолжал свою работу. «Понятие бога – не бог, – сказал я себе. – Понятие есть то, что происходит во мне, понятие о боге есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить в себе. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, без чего бы не могла быть жизнь». И опять все стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять захотелось убить себя.

Но тут я оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне; и я вспомнил все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в бога. Как было прежде, так и теперь, сказал я себе: стоит мне знать о боге, и я живу; стоит забыть, не верить в него, и я умираю. Что же такое эти оживления и умирания?

Ведь я не живу, когда теряю веру в существование бога, ведь я бы уж давно убил себя, если б у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу еще? – вскрикнул во мне голос. – Так вот он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь.

«Живи, отыскивая бога, и тогда не будет жизни без бога». И сильнее чем когда-нибудь все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня.

И я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во мне этот переворот, я не мог бы сказать. Как незаметно, постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, так же постепенно, незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая – та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни. Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего все человечество, т. е. я вернулся к вере в бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда все это было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить.

Со мной случилось как будто вот что: я не помню, когда меня посадили в лодку, оттолкнули от какого-то неизвестного мне берега, указали направление к другому берегу, дали в неопытные руки весла и оставили одного. Я работал, как умел, веслами и плыл; но чем дальше я выплывал на середину, тем быстрее становилось течение, относившее меня прочь от цели, и тем чаще и чаще мне встречались пловцы, такие же, как я, уносимые течением. Были одинокие пловцы, продолжавшие грести; были пловцы, побросавшие весла; были большие лодки, огромные корабли, полные народом; одни бились с течением, другие отдавались ему. И чем дальше я плыл, тем больше, глядя на направление вниз, по потоку всех плывущих, я забывал данное мне направление. На самой середине потока, в тесноте лодок и кораблей, несущихся вниз, я уже совсем потерял направление и бросил весла. Со всех сторон с весельем и ликованием вокруг меня неслись на парусах и на веслах пловцы вниз по течению, уверяя меня и друг друга, что и не может быть другого направления. И я

поверил им и поплыл с ними. И меня далеко отнесло, так далеко, что я слышал шум порогов, в которых я должен был разбиться, и увидел лодки, разбившиеся в них. И я опомнился. Долго я не мог понять, что со мной случилось. Я видел перед собой одну погибель, к которой я бежал и которой боялся, нигде не видел спасения и не знал, что мне делать. Но, оглянувшись назад, я увидел бесчисленные лодки, которые, не переставая, упорно перебивали течение, вспомнил о берегу, о веслах и направлении и стал выгребаться назад вверх по течению и к берегу.

Берег – это был бог, направление – это было предание, весла – это была данная мне свобода выгребиться к берегу – соединиться с богом. Итак, сила жизни возобновилась во мне, и я опять начал жить.

XIII

Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей. Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни. Смысл этот, если можно его выразить, был следующий. Всякий человек произошел на этот свет по воле бога. И бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым. Смысл этот народ черпает из всего вероучения, переданного и передаваемого ему пастырями и преданием, живущим в народе и выражающимся в легендах, пословицах, рассказах. Смысл этот был мне ясен и близок моему сердцу. Но с этим смыслом народной веры неразрывно связано у нашего не раскольникового народа, среди которого я жил, много такого, что отталкивало меня и представлялось необъяснимым: таинства, церковные службы, посты, поклонение мощам и иконам. Отделить одно от другого народ не может, не мог и я. Как ни странно мне было многое из того, что входило в веру народа, я принял все, ходил к службам, становился утром и вечером на молитву, постился, говел, и первое время разум мой не противился ничему. То самое, что прежде казалось мне невозможным, теперь не возбуждало во

мне противления.

Отношение мое к вере теперь и тогда было совершенно различное. Прежде сама жизнь казалась мне исполненной смысла, и вера представлялась произвольным утверждением каких-то совершенно ненужных мне, неразумных и не связанных с жизнью положений. Я спросил себя тогда, какой смысл имеют эти положения, и, убедившись, что они не имеют его, откинул их. Теперь же, напротив, я твердо знал, что жизнь моя не имеет и не может иметь никакого смысла, и положения веры не только не представлялись мне ненужными, но я несомненным опытом был приведен к убеждению, что только эти положения веры дают смысл жизни. Прежде я смотрел на них как на совершенно ненужную тарабарскую грамоту, теперь же, если я не понимал их, то знал, что в них смысл, и говорил себе, что надо учиться понимать их.

Я делал следующее рассуждение. Я говорил себе: знание веры вытекает, как и все человечество с его разумом, из таинственного начала. Это начало есть бог, начало и тела человеческого, и его разума. Как преемственно от бога дошло до меня мое тело, так дошли до меня мой разум и мое постигновение жизни, и потому все те ступени развития этого постигновения жизни не могут быть ложны. Все то, во что истинно верят люди, должно быть истина; она может быть различно выражаема, но ложью она не может быть, и потому если она мне представляется ложью, то это значит только то, что я не понимаю ее. Кроме того, я говорил себе: сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Естественно, что для того, чтобы вера могла отвечать на вопрос умирающего в роскоши царя, замученного работой старика раба, несмышленного ребенка, мудрого старца, полоумной старухи, молодой счастливой женщины, мятущегося страстями юноши, всех людей при самых разнообразных условиях жизни и образования, – естественно, если есть один ответ, отвечающий на вечный один вопрос жизни: «зачем я живу, что выйдет из моей жизни?» – то ответ этот, хотя единый по существу своему, должен быть бесконечно разнообразен в своих проявлениях; и чем единее, чем истиннее, глубже этот ответ, тем, естественно, страннее и уродливее он должен являться в своих попытках выражения, сообразно образованию и положению каждого. Но рассуждения эти, оправдывающие для меня странность обрядовой стороны веры, были все-таки недостаточны для того, чтобы я сам, в том единственном для меня деле жизни, в вере, позволил бы себе делать поступки, в которых бы я сомневался. Я желал всеми силами души быть в состоянии слиться с народом, исполняя обрядовую сторону его веры; но я

не мог этого сделать. Я чувствовал, что я лгал бы перед собой, насмеялся бы над тем, что для меня свято, если бы я делал это. Но тут мне на помощь явились новые, наши русские богословские сочинения.

По объяснению этих богословов основной догмат веры есть непогрешимая церковь. Из признания этого догмата вытекает, как необходимое последствие, истинность всего исповедуемого церковью. Церковь, как собрание верующих, соединенных любовью и потому имеющих истинное знание, сделалась основой моей веры. Я говорил себе, что божеская истина не может быть доступна одному человеку, она открывается только всей совокупности людей, соединенных любовью. Для того чтобы постигнуть истину, надо не разделяться; а для того чтобы не разделяться, надо любить и примиряться с тем, с чем не согласен. Истина откроется любви, и потому, если ты не подчиняешься обрядам церкви, ты нарушаешь любовь; а нарушая любовь, ты лишаешься возможности познать истину. Я не видал тогда софизма, находящегося в этом рассуждении. Я не видал тогда того, что единение в любви может дать величайшую любовь, но никак не богословскую истину, выраженную определенными словами в Никейском символе, не видал и того, что любовь никак не может сделать известное выражение истины обязательным для единения. Я не видал тогда ошибки этого рассуждения и благодаря ему получил возможность принять и исполнять все обряды православной церкви, не понимая большую часть их. Я старался тогда всеми силами души избегать всяких рассуждений, противоречий и пытался объяснить, сколько возможно разумно, те положения церковные, с которыми я сталкивался.

Исполняя обряды церкви, я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело все человечество. Я соединялся с предками моими, с любимыми мною – отцом, матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили и жили, и меня произвели. Я соединялся и со всеми миллионами уважаемых мною людей из народа. Кроме того, самые действия эти не имели в себе ничего дурного (дурным я считал потворство похотям). Вставая рано к церковной службе, я знал, что делал хорошо уже только потому, что для смирения своей гордости ума, для сближения с моими предками и современниками, для того, чтобы, во имя искания смысла жизни, я жертвовал своим телесным спокойствием. То же было при говении, при ежедневном чтении молитв с поклонами, то же при соблюдении всех постов. Как ни ничтожны были эти жертвы, это были жертвы во имя хорошего. Я говел, постился, соблюдал временные молитвы дома и в церкви. В слушании служб церковных я вникал в каждое слово и

придавал им смысл, когда мог. В обедне самые важные слова для меня были: «возлюбим друг друга да единомыслием...» Дальнейшие слова: «исповедуем отца и сына и святого духа» – я пропускал, потому что не мог понять их.

XIV

Мне так необходимо было тогда верить, чтобы жить, что я бессознательно скрывал от себя противоречия и неясности вероучения. Но это осмысливание обрядов имело предел. Если ектения все яснее и яснее становилась для меня в главных своих словах, если я объяснял себе кое-как слова: «пресвятую владычицу нашу богородицу и всех святых помянувшие, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу-богу предадим», – если я объяснял частое повторение молитв о царе и его родных тем, что они более подлежат искушению, чем другие, и потому более требуют молитв, то молитвы о покорении под нозы врага и супостата, если я их объяснял тем, что враг есть зло, – молитвы эти и другие, как херувимская и все таинство проскомидии или «взбранной воеводе» и т. п., почти две трети всех служб или вовсе не имели объяснений, или я чувствовал, что я, подводя им объяснения, лгу и тем совсем разрушаю свое отношение к богу, теряя совершенно всякую возможность веры.

То же я испытывал при праздновании главных праздников. Помнить день субботний, т. е. посвятить один день на обращение к богу, мне было понятно. Но главный праздник был воспоминание о событии воскресения, действительность которого я не мог себе представить и понять. И этим именем воскресенья назывался еженедельно празднуемый день. И в эти дни совершалось таинство евхаристии, которое было мне совершенно непонятно. Остальные все двенадцать праздников, кроме Рождества, были воспоминания о чудесах, о том, о чем я старался не думать, чтобы не отрицать: Вознесенье, Пятидесятница, Богоявление, Покров и т. д. При праздновании этих праздников, чувствуя, что приписывается важность тому самому, что для меня составляет самую обратную важность, я или придумывал успокоивавшие меня объяснения, или закрывал глаза, чтобы не видеть того, что соблазняет меня.

Сильнее всего это происходило со мною при участии в самых обычных таинствах, считаемых самыми важными: крещении и причастии. Тут не только я сталкивался с не то что непонятными, но вполне понятными действиями: действия эти казались мне соблазнительными, и я

был поставляем в дилемму – или лгать, или отбросить.

Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет. Службы, исповедь, правила – все это было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни открывается мне. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каясь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я подошел к царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера.

Но я теперь позволяю себе говорить, что это было жестокое требование, тогда же я и не подумал этого, мне только было невыразимо больно. Я уже не был в том положении, в каком я был в молодости, думая, что все в жизни ясно; я пришел ведь к вере потому, что, помимо веры, я ничего, наверное ничего, не нашел, кроме гибели, поэтому откидывать эту веру нельзя было, и я покорился. И я нашел в своей душе чувство, которое помогло мне перенести это. Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кощунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И, зная вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз.

Я продолжал точно так же исполнять обряды церкви и все еще верил, что в том вероучении, которому я следовал, была истина, и со мною происходило то, что теперь мне ясно, но тогда казалось странным.

Слушал я разговор безграмотного мужика-странника о боге, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я все больше и больше понимал истину. То же было со мной при чтении Четвы-Минеи и Прологов; это стало любимым моим чтением. Исключая чудеса, смотря на них как на фабулу, выражающую мысль, чтение это открывало мне смысл жизни. Там были жития Макария Великого, Иоасафа-царевича (история Будды), там были слова Иоанна Златоуста, слова о путнике в колодце, о монахе,

нашедшем золото, о Петре-мытаре; там история мучеников, всех заявлявших одно, что смерть не исключает жизни; там истории о спасшихся безграмотных, глупых и не знающих ничего об учениях церкви.

Но стоило мне сойтись с учеными верующими или взять их книги, как какое-то сомнение в себе, недовольство, озлобление спора возникали во мне, и я чувствовал, что я, чем больше вникаю в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и иду к пропасти.

XV

Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость. Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в ту истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять ее в таком виде.

Так я жил года три, и первое время, когда я как оглашенный только понемногу приобщался к истине, только руководимый чутьем шел туда, где мне казалось светлее, эти столкновения менее поражали меня. Когда я не понимал чего-нибудь, я говорил себе: «Я виноват, я дурен». Но чем больше я стал проникаться теми истинами, которым я учился, чем более они становились основой жизни, тем тяжелее, разительнее стали эти столкновения и тем резче становилась та черта, которая есть между тем, чего я не понимаю, потому что не умею понимать, и тем, чего нельзя понять иначе, как солгав перед самим собою.

Несмотря на эти сомнения и страдания, я еще держался православия. Но явились вопросы жизни, которые надо было разрешить, и тут разрешение этих вопросов церковью – противное самым основам той веры, которою я жил, – окончательно заставило меня отречься от возможности общения с православием. Вопросы эти были, во-первых, отношение церкви православной к другим церквям – к католичеству и к так называемым раскольникам. В это время, вследствие моего интереса к вере, я сближался с верующими разных исповеданий: католиками, протестантами, старообрядцами, молоканами и др. И много я встречал из них людей нравственно высоких и истинно верующих. Я желал быть братом этих людей. И что же? То учение, которое обещало мне соединить всех единою верою и любовью, это самое учение в лице своих лучших представителей сказало мне, что это всё люди, находящиеся во лжи, что то, что дает им

силу жизни, есть искушение дьявола и что мы одни в обладании единой возможной истины. И я увидал, что всех, не исповедующих одинаково с нами веру, православные считают еретиками, точь-в-точь так же, как католики и другие считают православие еретичеством; я увидал, что ко всем, не исповедующим внешними символами и словами свою веру так же, как православие, – православие, хотя и пытается скрыть это, относится враждебно, как оно и должно быть, во-первых, потому, что утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть самое жестокое слово, которое может сказать один человек другому, и, во-вторых, потому, что человек, любящий детей и братьев своих, не может не относиться враждебно к людям, желающим обратить его детей и братьев в веру ложную. И враждебность эта усиливается по мере большего знания вероучения. И мне, полагавшему истину в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что самое вероучение разрушает то, что оно должно произвести.

Соблазн этот до такой степени очевиден, до такой степени нам, образованным людям, живавшим в странах, где исповедуются разные веры, и выдавшим то презрительное, самоуверенное, непоколебимое отрицание, с которым относится католик к православному и протестанту, православный к католику и протестанту и протестант к обоим, и такое же отношение старообрядца, пашковца, шекера и всех вер, что самая очевидность соблазна в первое время озадачивает. Говоришь себе: да не может же быть, чтобы это было так просто, и все-таки люди не видали бы того, что если два утверждения друг друга отрицают, то ни в том, ни в другом нет той единой истины, какую должна быть вера. Что-нибудь тут есть. Есть какое-нибудь объяснение, – и я думал, что есть, и отыскивал это объяснение, и читал все, что мог, по этому предмету, и советовался со всеми, с кем мог. И не получал никакого объяснения, кроме того же самого, по которому сумские гусары считают, что первый полк в мире Сумский гусарский, а желтые уланы считают, что первый полк в мире – это желтые уланы. Духовные лица всех разных исповеданий, лучшие представители из них, ничего не сказали мне, как только то, что они верят, что они в истине, а те в заблуждении, и что все, что они могут, это молиться о них. Я ездил к архимандритам, архиереям, старцам, схимникам и спрашивал, и никто никакой попытки не сделал объяснить мне этот соблазн. Один только из них разъяснил мне все, но разъяснил так, что я уж больше ни у кого не спрашивал.

Я говорил о том, что для всякого неверующего, обращающегося к вере (а подлежит этому обращению все наше молодое поколение), этот вопрос представляется первым: почему истина не в лютеранстве, не в католицизме,

а в православии? Его учат в гимназии, и ему нельзя не знать, как этого не знает мужик, что протестант, католик так же точно утверждают единую истинность своей веры. Исторические доказательства, подгибаемые каждым исповеданием в свою сторону, недостаточны. Нельзя ли, – говорил я, – выше понимать учение, так, чтобы с высоты учения исчезали бы различия, как они исчезают для истинно верующего? Нельзя ли идти дальше по тому пути, по которому мы идем с старообрядцами? Они утверждали, что крест, аллилуйя и хождение вокруг алтаря у нас другие. Мы сказали: вы верите в Никейский символ, в семь таинств, и мы верим. Давайте же держаться этого, а в остальном делайте, как хотите. Мы соединились с ними тем, что поставили существенное в вере выше несущественного. Теперь с католиками нельзя ли сказать: вы верите в то-то и то-то, в главное, а по отношению к *filioque* и папе делайте, как хотите. Нельзя ли того же сказать и протестантам, соединившись с ними на главном? Собеседник мой согласился с моей мыслью, но сказал мне, что такие уступки произведут нарекания на духовную власть в том, что она отступает от веры предков, и произведут раскол, а призвание духовной власти – блюсти во всей чистоте греко-российскую православную веру, переданную ей от предков.

И я все понял. Я ищу веры, силы жизни, а они ищут наилучшего средства исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей. И, исполняя эти человеческие дела, они и исполняют их по-человечески. Сколько бы ни говорили они о своем сожалении о заблудших братьях, о молитвах о них, возносимых у престола всевышнего, – для исполнения человеческих дел нужно насилие, и оно всегда прилагалось, прилагается и будет прилагаться. Если два исповедания считают себя в истине, а друг друга во лжи, то, желая привлечь братьев к истине, они будут проповедовать свое учение. А если ложное учение проповедуется неопытным сынам церкви, находящейся в истине, то церковь эта не может не сжечь книги, не удалить человека, соблазняющего сынов ее. Что же делать с тем, горящим огнем ложной, по мнению православия, веры сектантом, который в самом важном деле жизни, в вере, соблазняет сынов церкви? Что же с ним делать, как не отрубить ему голову или не запереть его? При Алексее Михайловиче сжигали на костре, т. е. по времени прилагали высшую меру наказания; в наше время прилагают тоже высшую меру – запирают в одиночное заключение. И я обратил внимание на то, что делается во имя вероисповедания, и ужаснулся, и уже почти совсем отрекся от православия. Второе отношение церкви к жизненным вопросам было отношение ее к войне и казням.

В это время случилась война в России. И русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквах молились об успехе нашего оружия, и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших беспомощных юношей. И я обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся.

XVI

И я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в том знании веры, к которому я присоединился, не все истина. Прежде я бы сказал, что все вероучение ложно; но теперь нельзя было этого сказать. Весь народ имел знание истины, это было несомненно, потому что иначе он бы не жил. Кроме того, это знание истины уже мне было доступно, я уже жил им и чувствовал всю его правду; но в этом же знании была и ложь. И в этом я не мог сомневаться. И все то, что прежде отталкивало меня, теперь живо предстало передо мною. Хотя я и видел то, что во всем народе меньше было той примеси оттолкнувшей меня лжи, чем в представителях церкви, — я все-таки видел, что и в верованиях народа ложь примешана была к истине.

Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь и истина переданы тем, что называют церковью. И ложь и истина заключаются в предании, в так называемом священном предании и писании.

И волей-неволей я приведен к изучению, исследованию этого писания и предания, — исследованию, которого я так боялся до сих пор.

И я обратился к изучению того самого богословия, которое я когда-то с таким презрением откинул как ненужное. Тогда оно казалось мне рядом ненужных бессмыслиц, тогда со всех сторон окружали меня явления жизни, казавшиеся мне ясными и исполненными смысла; теперь же я бы и рад откинуть то, что не лезет в здоровую голову, но деваться некуда. На этом вероучении зиждется, или, по крайней мере, неразрывно связано с ним, то единое знание смысла жизни, которое открылось мне. Как ни кажется оно мне дико на мой старый твердый ум, это — одна надежда спасения. Надо осторожно, внимательно рассмотреть его, для того чтобы

понять его, даже и не то, что понять, как я понимаю положение науки. Я этого не ищу и не могу искать, зная особенность знания веры. Я не буду искать объяснения всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего, в бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы быть приведенным к неизбежно необъяснимому; я хочу, чтобы все то, что необъяснимо, было таково не потому, что требования моего ума неправильны (они правильны, и вне их я ничего понять не могу), но потому, что я вижу пределы своего ума. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить.

Что в учении есть истина, это мне несомненно; но несомненно и то, что в нем есть ложь, и я должен найти истину и ложь и отделить одно от другого. И вот я приступил к этому. Что я нашел в этом учении ложного, что я нашел истинного и к каким выводам я пришел, составляет следующие части сочинения, которое, если оно того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно, будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано.

* * *

Это было написано мною три года тому назад.

Теперь, пересматривая эту печатаемую часть и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне, когда я переживал ее, я на днях увидел сон. Сон этот выразил для меня в сжатом образе все то, что я пережил и описал, и потому думаю, что и для тех, которые поняли меня, описание этого сна освежит, уяснит и соберет в одно все то, что так длинно рассказано на этих страницах. Вот этот сон: вижу я, что лежу на постели. И мне ни хорошо, ни дурно, я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежать; и что-то, мне кажется, неловко ногам: коротко ли, неровно ли, но неловко что-то; я пошевеливаю ногами и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на чем я лежу, чего мне до тех пор не приходило в голову. И, наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетеных веревочных помочах, прикрепленных к бочинам кровати. Ступни мои лежат на одной такой помочи, голени – на другой, ногам неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать. И движением ног отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее. Но я оттолкнул ее слишком далеко, хочу захватить ее ногами, но с этим движеньем выскальзывает из-под голеней и другая помоча, и ноги мои свешиваются. Я делаю движение всем телом, чтобы справиться,

вполне уверенный, что я сейчас устроюсь; но с этим движением выскальзывают и перемещаются подо мной еще и другие помочи, и я вижу, что дело совсем портится: весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко. Тут только я спрашиваю себя то, чего мне прежде и не приходило в голову. Я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе.

Я не могу даже разобрать – вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть еще хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновение, и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? – спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на последних, не выскочивших еще из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: «Заметь это, это оно!» – и я гляжу все дальше и дальше в бесконечность вверху и чувствую, что я успокаиваюсь, помню все, что было, и вспоминаю, как это все случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх. И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, я вишу все так же? И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень

естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Все это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся.

Царю и его помощникам

Обращение Льва Николаевича Толстого

Опять убийства, опять уличные побоища, опять будут казни, опять страх, ложные обвинения, угрозы и озлобление с одной стороны, и опять ненависть, желание мщения и готовность жертвы с другой. Опять все русские люди разделились на два враждебные лагеря и совершают и готовятся совершить величайшие преступления.

Очень может быть, что теперь проявившееся волнение и будет подавлено. Но если теперь оно и будет подавлено, оно не может заглухнуть, а будет все более и более развиваться в скрытом виде и неизбежно рано или поздно проявится с увеличенной силой и произведет еще худшие страдания и преступления.

Зачем это? Зачем это, когда так легко избавиться от этого?

Обращаемся ко всем вам, людям, имеющим власть, от царя, членов государственного совета, министров, до родных – матери, жены, дядей, братьев и сестер, близких людей царя, могущих влиять на него убеждением. Обращаемся к вам не как к врагам, а как к братьям, неразрывно – хотите ли вы этого или нет – связанным с нами так, что всякие страдания, которые мы несем, отзываются и на вас, и еще гораздо тяжелее, если вы чувствуете, что могли устранить эти страдания и не сделали этого – сделайте так, чтобы положение это прекратилось.

Вам или большинству из вас кажется, что все происходит оттого, что среди правильного течения жизни являются какие-то беспокойные, недовольные люди, мутящие народ и нарушающие это правильное течение, что виноваты во всем только эти люди, что надо усмирить, обуздать этих беспокойных, недовольных людей, и тогда опять все будет хорошо, и изменять ничего не надо.

Но ведь если бы все дело было в беспокойных и злых людях, то стоило бы только переловить, заключить их в тюрьмы, сослать или казнить, и все волнения окончились бы. Но вот уже более 30 лет ловят, заключают, казнят, ссылают этих людей тысячами, а количество их все увеличивается, и недовольство существующим строем жизни не только растет, но все расширяется и захватило теперь уже миллионы людей рабочего народа, огромное большинство всего народа. Ясно, что недовольство происходит не

от беспокойных и злых людей, а от чего-то другого. И стоит только вам, правительственным людям, на минуту отвести внимание от той острой борьбы, которой вы сейчас заняты, – перестать наивно думать то, что выражено в недавнем циркуляре министра внутренних дел – что если полиция будет вовремя разгонять толпу и вовремя стрелять в нее, то все будет тихо и спокойно, – стоит вам только перестать верить этому, чтобы ясно увидеть ту причину, которая производит неудовольствие в народе и выражается волнениями, принимающими все более и более широкие и глубокие размеры.

Причины в том, что вследствие несчастного, случайного убийства царя, который освободил народ, совершенного небольшой группой людей, ошибочно воображавших, что они этим служат всему народу, правительство решило не только не идти вперед, отрешаясь все более и более от несвойственных условиям жизни деспотических форм правления, но напротив, вообразив себе, что спасение именно в этих грубых отживших формах, в продолжение 20 лет не только не идет вперед, соответственно общему развитию и усложнению жизни, и даже не стоит на месте, а идет назад, этим обратным движением все более и более разделяясь с народом и его требованиями.

Так что виноваты не злые, беспокойные люди, а правительство, не желающее видеть ничего, кроме своего спокойствия в настоящую минуту. Дело не в том, чтобы вам сейчас защищаться от врагов, желающих вам зла, – никто не желает вам зла, – а в том, чтобы, увидав причину недовольства общества, устранить ее. Люди все не могут желать раздора и вражды, а всегда предпочитают жить в согласии и любви со своими братьями. Если же теперь они волнуются и как будто желают вам зла, то только потому, что вы представляетесь им той преградой, которая лишает не только их, но и миллионы их братьев лучших благ человека – свободы и просвещения.

Для того чтобы люди перестали волноваться и нападать на вас, так мало нужно, и это малое так нужно для вас самих, так очевидно даст вам успокоение, что было бы удивительно, если бы вы не сделали этого.

А сделать нужно сейчас только очень мало. Сейчас нужно только следующее:

Во-первых– уравнивать крестьян во всех их правах с другими гражданами и потому уничтожить —

- а) ни с чем не связанный, нелепый институт земских начальников;
- б) отменить те особые правила, которые устанавливаются для определения отношений рабочих к нанимателям;

в) освободить крестьян от стеснения паспортов для перехода с места на место и также и от лежащих исключительно на них квартирной, подводной, сельской, полицейской повинности (сотские, десятские);

г) освободить их от несправедливого обязательства платить по круговой поруке долги других людей, а также и от выкупных платежей, давно уже покрывших стоимость выкупаемых земель;

и, главное: д) уничтожить бессмысленное, ни на что не нужное, оставленное только для самого трудолюбивого, нравственного и многочисленного сословия людей, позорное телесное наказание.

Уравнение крестьянства, составляющего огромное большинство народа, во всех правах с другими сословиями особенно важно потому, что не может быть прочно и твердо такое общественное устройство, при котором большинство это не пользуется одинаковыми с другими правами, а находится в положении раба, связанного особыми, исключительными законами. Только при равноправности трудящегося большинства со всеми другими гражданами и освобождении его от позорных исключений может быть твердое устройство общества.

Во-вторых – нужно перестать применять так называемые правила усиленной охраны, уничтожающей все существующие законы и отдающей население во власть очень часто безнравственных, глупых и жестоких начальников. Неприменение усиленной охраны важно потому, что эта приостановка действия общих законов развивает доносы, шпионство, поощряет и вызывает грубое насилие, употребляемое часто против рабочих, входящих в столкновения с хозяевами и землевладельцами (нигде не употребляются такие жестокие истязания, как там, где действуют эти правила). Главное же потому, что только благодаря этой страшной мере все чаще и чаще стала употребляться вернее всего развращающая людей, противная христианскому духу русского народа и не признанная до этого в нашем законодательстве смертная казнь, составляющая величайшее, запрещенное Богом и совестью человека преступление.

В-третьих – нужно уничтожить все преграды к образованию, воспитанию и преподаванию. Нужно:

а) не делать различия в доступе к образованию между лицами различных положений и потому уничтожить все исключительные для народа запрещения чтений, преподаваний и книг, почему-то считаемых вредными для народа;

б) разрешить доступ во все школы лиц всех национальностей и исповеданий, не исключая и евреев, почему-то лишенных этого права;

в) не препятствовать учителям вести преподавание в школах на тех

языках, на которых говорят дети, посещающие школу;

главное: г) разрешить устройство и ведение всякого рода частных школ, как низших, так и высших, всем людям, желающим заниматься педагогической деятельностью.

Освобождение образования, воспитания и преподавания от тех стеснений, в которых они находятся теперь, важно потому, что только эти стеснения мешают рабочему народу избавиться от того самого невежества, которое служит теперь для правительства главным доводом для применения к народу этих самых стеснений. Освобождение от правительственного вмешательства в дело образования рабочего народа дало бы возможность народу усвоить несравненно более быстро и целесообразно все те знания, которые нужны ему, а не те, которые навязываются ему. Разрешение же открытия и ведения школ частными лицами уничтожило бы постоянно возникающие волнения среди учащейся молодежи, недовольной порядками заведений, в которых они находятся. Если бы не было препятствий к устройству свободных частных школ, как низших, так и высших, молодые люди, недовольные порядками правительственных учебных заведений, переходили бы в те частные учреждения, которые отвечали бы их требованиям.

Наконец, *в-четвертых*, и самое важное, нужно уничтожить все стеснения религиозной свободы. Нужно:

а) уничтожить все те законы, по которым всякое отступление от признанной правительством церкви карается как преступление;

б) разрешить открытие и устройство старообрядческих часовен, церквей, молитвенных домов баптистов, молокан, штундистов и др.;

в) разрешить религиозные собрания и религиозные проповеди всех исповеданий;

и г) не препятствовать людям различных исповеданий воспитывать своих детей в той вере, которую они считают истинной.

Сделать это необходимо потому, что, не говоря уже о той выработанной историей и наукой и признанной всем миром истине, что религиозные гонения не только не достигают своей цели, но производят обратное действие, усиливая то, что они хотят уничтожить, не говоря и о том, что только вмешательство власти в дела веры производит вреднейший и потому худший, так сильно обличаемый Христом порок лицемерия, не говоря уже об этом, вмешательство власти в дела веры препятствует достижению высшего блага как отдельного человека, так и всех людей – единения их между собою. Единение же достигается никак не насильственным и невозможным удержанием всех людей в раз усвоенном

внешнем исповедании одного религиозного учения, которому приписывается непогрешимость, а только свободным движением всего человечества в приближении к единой истине, которая одна и поэтому одна и может соединить людей.

Таковы самые скромные и легко исполнимые желания, как мы думаем, огромного большинства русского общества. Применение этих мер несомненно успокоит общество и избавит его от тех страшных страданий и (то, что хуже страданий) преступлений, которые неизбежно совершатся с обеих сторон, если правительство будет заботиться только о подавлении волнений, оставляя нетронутыми их причины.

Обращаемся ко всем вам – царю, министрам, членам государственного совета и советчикам и близким к царю, – вообще ко всем лицам, имеющим власть, помогите успокоению общества и избавлению его от страданий и преступлений. Обращаемся к вам не как к людям другого лагеря, а как к невольным единомышленникам, сотоварищам нашим и братьям.

Не может быть того, чтобы в обществе людей, связанных между собою, было бы хорошо одним, а другим – худо. В особенности же не может этого быть, если худо большинству. Хорошо же всем может быть только тогда, когда хорошо самому сильному, трудящемуся большинству, на котором держится все общество.

Помогите же улучшить положение этого большинства и в самом главном: в его свободе и просвещении. Только тогда и ваше положение будет спокойно и истинно хорошо.

Мнение это не одно мое мнение, а мнение многих и лучших, разумных, бескорыстных и добрых людей, желающих того же.

15 марта 1901

Не могу молчать

I

«Семь смертных приговоров; два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. Четыре казни: две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе».

И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России, в той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни.

Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами, и вот второй, третий год непрерывающие казни, казни, казни.

Беру нынешнюю газету.

Нынче, 9 мая, что-то ужасное. В газете стоят короткие слова: «Сегодня в Херсоне на Стрельбицком поле казнены через повешение двадцать крестьян за разбойное нападение на усадьбу землевладельца в Елисаветградском уезде».^[66]

Двенадцать человек из тех самых людей, трудами которых мы живем, тех самых, которых мы всеми силами развращали и развращаем, начиная от яда водки и до той ужасной лжи веры, в которую мы не верим, но которую стараемся всеми силами внушить им, – двенадцать таких людей задушены веревками теми самыми людьми, которых они кормят, и одевают, и обстраивают и которые развращали и развращают их. Двенадцать мужей, отцов, сыновей, тех людей, на доброте, трудолюбии, простоте которых только и держится русская жизнь, схватили, посадили в тюрьмы, заковали в ножные кандалы. Потом связали им за спиной руки, чтобы они не могли хвататься за веревку, на которой их будут вешать, и привели под виселицы. Несколько таких же крестьян, как и те, которых будут вешать, только вооруженные и одетые в хорошие сапоги и чистые мундиры, с ружьями в руках, сопровождают приговоренных. Рядом с приговоренными в парчовой ризе и в епитрахили, с крестом в руке идет человек с длинными волосами. Шествие останавливается. Руководитель всего дела говорит что-то, секретарь читает бумагу, и когда бумага прочтена, человек с длинными волосами, обращаясь к тем людям, которых другие люди собираются удушить веревками, говорит что-то о Боге и Христе. Тотчас же после этих слов палачи, – их несколько, один не может управиться с таким сложным

делом, — разведя мыло и намылив петли веревок, чтобы лучше затягивались, берутся за закованных, надевают на них саваны, взводят на помост с виселицами и накладывают на шеи веревочные петли.

И вот, один за другим, живые люди сталкиваются с выдернутых из-под их ног скамеек и своею тяжестью сразу затягивают на своей шее петли и мучительно задыхаются. За минуту еще перед этим живые люди превращаются в висящие на веревках мертвые тела, которые сначала медленно покачиваются, потом замирают в неподвижности.

Все это для своих братьев людей старательно устроено и придумано людьми высшего сословия, людьми учеными, просвещенными. Придумано то, чтобы делать эти дела тайно, на заре, так, чтобы никто не видал их, придумано то, чтобы ответственность за эти злодеяния так бы распределялась между совершающими их людьми, чтобы каждый мог думать и сказать: не он виновник их. Придумано то, чтобы разыскивать самых развращенных и несчастных людей и, заставляя их делать дело, нами же придуманное и одобряемое, делать вид, что мы гнушаемся людьми, делающими это дело. Придумана даже такая тонкость, что приговаривают одни (военный суд), а присутствуют обязательно при казнях не военные, а гражданские. Исполняют же дело несчастные, обманутые, развращенные, презираемые, которым остается одно: как получше намылить веревки, чтобы они вернее затягивали шеи, и как бы получше напиться продаваемым этими же просвещенными, высшими людьми яда, чтобы скорее и полнее забыть о своей душе, о своем человеческом звании.

Врач обходит тела, ощупывает и докладывает начальству, что дело совершено, как должно: все двенадцать человек несомненно мертвы. И начальство удаляется к своим обычным занятиям с сознанием добросовестно исполненного, хотя и тяжелого, но необходимого дела. Застывшие тела снимают и зарывают.

Ведь это ужасно!

И делается это не один раз и не над этими только 12-ю несчастными, обманутыми людьми из лучшего сословия русского народа, но делается это, не переставая, годами, над сотнями и тысячами таких же обманутых людей, обманутых теми самыми людьми, которые делают над ними эти страшные дела.

И делается не только это ужасное дело, но под тем же предлогом и с той же хладнокровной жестокостью совершаются еще самые разнообразные мучительства и насилия по тюрьмам, крепостям, каторгам.

Это ужасно, но ужаснее всего то, что делается это не по увлечению, чувству, заглушающему ум, как это делается в драке, на войне, в грабеже

даже, а, напротив, по требованию ума, расчета, заглушающего чувство. Этим-то особенно ужасны эти дела. Ужасны тем, что ничто так ярко, как все эти дела, совершаемые от судьи до палача, людьми, которые не хотят их делать, ничто так ярко и явно не показывает всю губительность деспотизма для душ человеческих, власти одних людей над другими.

Возмутительно, когда один человек может отнять у другого его труд, деньги, корову, лошадь, может отнять даже его сына, дочь, – это возмутительно, но насколько возмутительнее то, что может один человек отнять у другого его душу, может заставить его сделать то, что губит его духовное «я», лишает его духовного блага. А это самое делают те люди, которые устраивают все это и спокойно, ради *блага людей*, заставляют людей, от судьи до палача, подкупам, угрозами, обманами совершать эти дела, наверное лишаящие их истинного блага.

И в то время как все это делается годами по всей России, главные виновники этих дел, те, по распоряжению которых это делается, те, кто мог бы остановить эти дела, – главные виновники этих дел в полной уверенности того, что эти дела – дела полезные и даже необходимые, – или придумывают и говорят речи о том, как надо мешать финляндцам жить так, как хотят этого финляндцы, а непременно заставить их жить так, как хотят этого несколько человек русских, или издают приказы о том, как в «армейских гусарских полках обшлага рукавов и воротников доломанов должны быть по цвету последних, а ментики, кому таковые присвоены, без выпушки вокруг рукавов над мехом».

Да, это ужасно!

II

Ужаснее же всего в этом то, что все эти бесчеловечные насилия и убийства, кроме того прямого зла, которое они причиняют жертвам насилий и их семьям, причиняют еще большее, величайшее зло всему народу, разнося быстро распространяющееся, как пожар по сухой соломе, развращение всех сословий русского народа. Распространяется же это развращение особенно быстро среди простого, рабочего народа потому, что все эти преступления, превышающие в сотни раз все то, что делалось и делается простыми ворами и разбойниками и всеми революционерами вместе, совершаются под видом чего-то нужного, хорошего, необходимого, не только оправдываемого, но поддерживаемого разными, нераздельными в понятиях народа с справедливостью и даже святостью учреждениями:

сенат, синод, дума, церковь, царь.

И распространяется это развращение с необычной быстротой.

Недавно еще не могли найти во всем русском народе двух палачей. Еще недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьев Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. Теперь не то.

В Москве торговец-лавочник, расстроив свои дела, предложил свои услуги для исполнения убийств, совершаемых правительством, и, получая по 100 рублей с повешенного, в короткое время так поправил свои дела, что скоро перестал нуждаться в этом побочном промысле, и теперь ведет по-прежнему торговлю.

В Орле в прошлых месяцах, как и везде, понадобился палач, и тотчас же нашелся человек, который согласился исполнять это дело, срядившись с заведующим правительственными убийствами за 50 рублей с человека. Но, узнав уже после того, как он срядился в цене, о том, что в других местах платят дороже, добровольный палач во время совершения казни, надев на убиваемого саван-мешок, вместо того чтобы вести его на помост, остановился и, подойдя к начальнику, сказал: «Прибавьте, ваше превосходительство, четвертной билет, а то не стану». Ему прибавили, и он исполнил.

Следующая казнь предстояла пятерым. Накануне казни к распорядителю правительственных убийств пришел неизвестный человек, желающий переговорить по тайному делу. Распорядитель вышел. Неизвестный человек сказал:

«Надысь какой-то с вас три четвертных взял за одного. Нынче, слышно, пятеро назначены. Прикажете всех за мной оставить, я по пятнадцати целковых возьму и, будьте покойны, сделаю, как должно».

Не знаю, принято ли было или нет предложение, но знаю, что предложение было.

Так действуют эти совершаемые правительством преступления на худших, наименее нравственных людей народа. Но ужасные дела эти не могут оставаться без влияния и на большинство средних, в нравственном отношении, людей. Не переставая слыша и читая о самых ужасных, бесчеловечных зверствах, совершаемых властями, то есть людьми, которых народ привык почитать как лучших людей, — большинство средних, особенно молодых, занятых своими личными делами людей, невольно, вместо того чтобы понять то, что люди, совершающие гадкие дела, недостойны почтения, делают обратное рассуждение: если почитаемые

всеми люди, рассуждают они, делают кажущиеся нам гадкие дела, то, вероятно, дела эти не так гадки, как они нам кажутся.

О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как прежде шли на охоту. Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их землями, представляется теперь многим людям самым верным разрешением земельного вопроса.

Вообще благодаря деятельности правительства, допускающего возможность убийства для достижения своих целей, всякое преступление: грабеж, воровство, ложь, мучительства, убийства считаются несчастными людьми, подвергшимися развращению правительства, делами самыми естественными, свойственными человеку.

Да, как ни ужасны самые дела, нравственное, духовное, невидимое зло, производимое ими, без сравнения еще ужаснее.

III

Вы говорите, что вы совершаете все эти ужасы для того, чтобы водворить спокойствие, порядок.

Вы водворяете спокойствие и порядок!

Чем же вы его водворяете? Тем, что вы, представители христианской власти, руководители, наставники, одобряемые и поощряемые церковными служителями, разрушаете в людях последние остатки веры и нравственности, совершая величайшие преступления: ложь, предательство, всякого рода мучительство и – последнее самое ужасное преступление, самое противное всякому не вполне развращенному сердцу человеческому: не убийство, не одно убийство, а убийства, бесконечные убийства, которые вы думаете оправдать разными глупыми ссылками на такие-то статьи, написанные вами же в ваших глупых и лживых книгах, кощунственно называемые вами законами.

Вы говорите, что это единственное средство успокоения народа и погашения революции, но ведь это явная неправда. Очевидно, что, не удовлетворяя требованиям самой первобытной справедливости всего русского земледельческого народа: уничтожения земельной собственности, а, напротив, утверждая ее и всячески раздражая народ и тех легкомысленных озлобленных людей, которые начали насильническую борьбу с вами, вы не можете успокоить людей, мучая их, терзая, ссылая,

заточая, вешая детей и женщин. Ведь как вы ни стараетесь заглушить в себе свойственные людям разум и любовь, они есть в вас, и стоит вам опомниться и подумать, чтобы увидеть, что, поступая так, как вы поступаете, то есть участвуя в этих ужасных преступлениях, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняя внутрь.

Ведь это слишком ясно.

Причина совершающегося никак не в материальных событиях, а все дело в духовном настроении народа, которое изменилось и которое никакими усилиями нельзя вернуть к прежнему состоянию, – так же нельзя вернуть, как нельзя взрослого сделать опять ребенком. Общественное раздражение или спокойствие никак не может зависеть от того, что будет жив или повешен Петров или что Иванов будет жить не в Тамбове, а в Нерчинске, на каторге. Общественное раздражение или спокойствие может зависеть только от того, как не только Петров или Иванов, но все огромное большинство людей будет смотреть на свое положение, от того, как большинство это будет относиться к власти, к земельной собственности, к проповедуемой вере, – от того, в чем большинство это будет полагать добро и в чем зло. Сила событий никак не в материальных условиях жизни, а в духовном настроении народа. Если бы вы убили и замучили хотя бы и десятую часть всего русского народа, духовное состояние остальных не станет таким, какого вы желаете.

Так что все, что вы делаете теперь, с вашими обысками, шпионствами, изгнаниями, тюрьмами, каторгами, виселицами – все это не только не приводит народ в то состояние, в которое вы хотите привести его, а, напротив, увеличивает раздражение и уничтожает всякую возможность успокоения.

«Но что же делать, говорите вы, что делать, чтобы теперь успокоить народ? Как прекратить те злодеяния, которые совершаются?»

Ответ самый простой: *перестать делать то, что вы делаете.*

Если бы никто не знал, что нужно делать для того, чтобы успокоить «народ» – весь народ (многие же очень хорошо знают, что нужнее всего для успокоения русского народа: нужно освобождение земли от собственности, как было нужно 50 лет тому назад освобождение от крепостного права), если бы никто и не знал, что нужно теперь для успокоения народа, то все-таки очевидно, что для успокоения народа наверное *не нужно делать того*, что только увеличивает его раздражение. А вы именно это только и делаете.

То, что вы делаете, вы делаете не для народа, а для себя, для того, чтобы удержать то, по заблуждению вашему считаемое вами выгодным, а в сущности самое жалкое и гадкое положение, которое вы занимаете. Так и

не говорите, что то, что вы делаете, вы делаете для народа: это неправда. Все те гадости, которые вы делаете, вы делаете для себя, для своих корыстных, честолюбивых, тщеславных, мстительных, личных целей, для того, чтобы самим пожить еще немножко в том развращении, в котором вы живете и которое вам кажется благом.

Но сколько вы ни говорите о том, что все, что вы делаете, вы делаете для блага народа, люди все больше и больше понимают вас и все больше и больше презирают вас, и на ваши меры подавления и пресечения все больше и больше смотрят не так, как бы вы хотели: как на действия какое-то высшего собирательного лица, правительства, а как на личные дурные дела отдельных недобрых себялюбцев.

IV

Вы говорите: «Начали не мы, а революционеры, а ужасные злодейства революционеров могут быть подавлены только твердыми (вы так называете ваши злодейства), твердыми мерами правительства».

Вы говорите, что совершаемые революционерами злодейства ужасны.

Я не спору и прибавлю к этому еще и то, что дела их, кроме того, что ужасны, еще так же глупы и так же бьют мимо цели, как и ваши дела. Но как ни ужасны и ни глупы их дела: все эти бомбы и подкопы, и все эти отвратительные убийства и грабежи денег, все эти дела далеко не достигают преступности и глупости дел, совершаемых вами.

Они делают совершенно то же, что и вы, и по тем же побудительным причинам. Они так же, как и вы, находятся под тем же (я бы сказал комическим, если бы последствия его не были так ужасны) заблуждением, что одни люди, составив себе план о том, какое, по их мнению, желательно и должно быть устройство общества, имеют право и возможность устраивать по этому плану жизнь других людей. Одинаково заблуждение, одинаковы и средства достижения воображаемой цели. Средства эти – насилие всякого рода, доходящее до смертоубийства. Одинаково и оправдание в совершаемых злодеяниях. Оправдание в том, что дурное дело, совершаемое для блага многих, перестает быть безнравственным и что потому можно, не нарушая нравственного закона, лгать, грабить, убивать, когда это ведет к осуществлению того предполагаемого благого состояния для многих, которое мы воображаем, что знаем, и можем предвидеть, и которое хотим устроить.

Вы, правительственные люди, называете дела революционеров

злодействами и великими преступлениями, но они ничего не делали и не делают такого, чего бы вы не делали, и не делали в несравненно большей степени. Так что, употребляя те безнравственные средства, которые вы употребляете для достижения своих целей, вам-то уж никак нельзя упрекать революционеров. Они делают только то же самое, что и вы: вы держите шпионов, обманываете, распространяете ложь в печати, и они делают то же; вы отбираете собственность людей посредством всякого рода насилия и по-своему распоряжаетесь ею, и они делают то же самое; вы казните тех, кого считаете вредными, – они делают то же. Все, что вы только можете привести в свое оправдание, они точно так же приведут в свое, не говоря уже о том, что вы делаете много такого дурного, чего они не делают: растрату народных богатств, приготовления к войнам и самые войны, покорение и угнетение чужих народностей и многое другое.

Вы говорите, что у вас есть предания старины, которые вы блюдете, есть образцы деятельности великих людей прошедшего. У них тоже предания, которые ведутся тоже издавна, еще раньше большой французской революции, а великих людей, образцов для подражания, мучеников, погибших за истину и свободу, не меньше, чем у вас.

Так что, если есть разница между вами и ими, то только в том, что вы хотите, чтобы все оставалось, как было и есть, а они хотят перемены. А думая, что нельзя всему всегда оставаться по-прежнему, они были бы правее вас, если бы у них не было того же, взятого от вас, странного и губительного заблуждения в том, что одни люди могут знать ту форму жизни, которая свойственна в будущем всем людям, и что эту форму можно установить насилием. Во всем же остальном они делают только то самое, что вы делаете, и теми же самыми средствами. Они вполне ваши ученики, они, как говорится, все ваши капельки подобрали, они не только ваши ученики, они – ваше произведение, они ваши дети. Не будь вас – не было бы их, так что, когда вы силою хотите подавить их, вы делаете то, что делает человек, налегающий всею силою на дверь, открывающуюся на него.

Если есть разница между вами и ими, то никак не в вашу, а в их пользу. Смягчающие для них обстоятельства, во-первых, в том, что их злодейства совершаются при условии большей личной опасности, чем та, которой вы подвергаетесь, а риск, опасность оправдывают многое в глазах увлекающейся молодежи. Во-вторых, в том, что они в огромном большинстве – совсем молодые люди, которым свойственно заблуждаться, вы же – большею частью люди зрелые, старые, которым свойственно разумное спокойствие и снисхождение к заблуждающимся. В-третьих, смягчающие обстоятельства в их пользу еще в том, что как ни гадки их

убийства, они все-таки не так холодно-систематически жестоки, как ваши Шлиссельбурги, каторги, виселицы, расстрелы. Четвертое смягчающее вину обстоятельство для революционеров в том, что все они совершенно определенно отвергают всякое религиозное учение, считают, что цель оправдывает средства, и потому поступают совершенно последовательно, убивая одного или нескольких для воображаемого блага многих. Тогда как вы, правительственные люди, начиная от низших палачей и до высших распорядителей их, вы все стоите за религию, за христианство, ни в каком случае не совместимое с совершаемыми вами делами.

И вы-то, люди старые, руководители других людей, исповедующие христианство, вы говорите, как подравшиеся дети, когда их бранят за то, что они дерутся: «Не мы начали, а они», и лучше этого ничего не умеете, не можете сказать вы, люди, взявшие на себя роль правителей народа. И какие же вы люди? Люди, признающие Богом того, кто самым определенным образом запретил не только всякое убийство, но всякий гнев на брата, который запретил не только суд и наказание, но осуждение брата, который в самых определенных выражениях отменил всякое наказание, признал неизбежность всегдашнего прощения, сколько бы раз ни повторилось преступление, который велел ударившему в одну щеку подставлять другую, а не воздавать злом за зло, который так просто, так ясно показал рассказом о приговоренной к побитию камнями женщине невозможность осуждения и наказания одними людьми других, вы – люди, признающие этого учителя Богом, ничего другого не можете найти сказать в свое оправдание, кроме того, что «они начали, они убивают – давайте и мы будем убивать их».

V

Знакомый мне живописец задумал картину «Смертная казнь», и ему нужно было для натуры лицо палача. Он узнал, что в то время в Москве дело палача исполнял сторож-дворник. Художник пошел на дом к сторожу. Это было на святой. Семейные разряженные сидели за чайным столом, хозяина не было: как потом оказалось, он спрятался, увидев незнакомца. Жена тоже смутилась и сказала, что мужа нет дома, но ребенок-девочка выдала его.

Она сказала: «Батя на чердаке». Она еще не знала, что ее отец знает, что он делает дурное дело и что ему поэтому надо бояться всех. Художник объяснил хозяйке, что нужен ему ее муж для «натуры», для того, чтобы

списать с него портрет, так как лицо его подходит к задуманной картине. (Художник, разумеется, не сказал, для какой картины ему нужно лицо дворника.) Разговорившись с хозяйкой, художник предложил ей, чтобы задобрить ее, взять к себе на выучку мальчика-сына. Предложение это, очевидно, подкупило хозяйку. Она вышла, и через несколько времени вошел и глядящий исподлобья хозяин, мрачный, беспокойный и испуганный, он долго выпытывал художника, зачем и почему ему нужен именно он. Когда художник сказал ему, что он встретил его на улице и лицо его показалось ему подходящим к картине, дворник спрашивал, где он его видел? в какой час? в какой одежде? И, очевидно, боясь и подозревая худое, отказался от всего.

Да, этот непосредственный палач знает, что он палач и что то, что он делает, – дурно, и что его ненавидят за то, что он делает, и он боится людей, и я думаю, что это сознание и страх перед людьми выкупают хоть часть его вины. Все же вы, от секретарей суда до главного министра и царя, посредственные участники ежедневно совершаемых злодеяний, вы как будто не чувствуете свой вины и не испытываете того чувства стыда, которое должно бы вызывать в вас участие в совершаемых ужасах. Правда, вы так же опасаетесь людей, как и палач, и опасаетесь тем больше, чем больше ваша ответственность за совершаемые преступления: прокурор опасается больше секретаря, председатель суда больше прокурора, генерал-губернатор больше председателя, председатель совета министров еще больше, царь больше всех. Все вы боитесь, но не оттого, что, как тот палач, вы знаете, что вы поступаете дурно, а вы боитесь оттого, что вам кажется, что люди поступают дурно.

И потому я думаю, что как ни низко пал этот несчастный дворник, он нравственно все-таки стоит несравненно выше вас, участников и отчасти виновников этих ужасных преступлений, – людей, осуждающих других, а не себя, и высоко носящих голову.

VI

Знаю я, что все люди – люди, что все мы слабы, что все мы заблуждаемся и что нельзя одному человеку судить другого. Я долго боролся с тем чувством, которое возбуждали и возбуждают во мне виновники этих страшных преступлений, и тем больше, чем выше по общественной лестнице стоят эти люди. Но я не могу и не хочу больше бороться с этим чувством.

А не могу и не хочу, во-первых, потому, что людям этим, не видящим всей своей преступности, необходимо обличение, необходимо и для них самих, и для той толпы людей, которая под влиянием внешнего почета и восхваления этих людей одобряет их ужасные дела и даже старается подражать им. Во-вторых, не могу и не хочу больше бороться потому, что (откровенно признаюсь в этом) надеюсь, что мое обличение этих людей вызовет желательное мне извержение меня тем или иным путем из того круга людей, среди которого я живу и в котором я не могу не чувствовать себя участником совершаемых вокруг меня преступлений.

Ведь все, что делается теперь в России, делается во имя общего блага, во имя обеспечения и спокойствия жизни людей, живущих в России. А если это так, то все это делается и для меня, живущего в России. Для меня, стало быть, и нищета народа, лишенного первого, самого естественного права человеческого – пользования той землей, на которой он родился; для меня эти полмиллиона оторванных от доброй жизни мужиков, одетых в мундиры и обучаемых убийству, для меня это лживое так называемое духовенство, на главной обязанности которого лежит извращение и скрывание истинного христианства. Для меня все эти высылки людей из места в место, для меня эти сотни тысяч голодных, блуждающих по России рабочих, для меня эти сотни тысяч несчастных, мрущих от тифа, от цинги в недостающих для всех крепостях и тюрьмах. Для меня страдания матерей, жен, отцов изгнанных, запертых, повешенных. Для меня эти шпионы, подкупы, для меня эти убивающие городовые, получающие награду за убийство. Для меня закапывание десятков, сотен расстреливаемых, для меня эта ужасная работа трудно добываемых, но теперь уже не так гнушающихся этим делом людей-палачей. Для меня эти виселицы с висящими на них женщинами и детьми, мужиками; для меня это страшное озлобление людей друг против друга.

И как ни странно утверждение о том, что все это делается для меня и что я участник этих страшных дел, я все-таки не могу не чувствовать, что есть несомненная зависимость между моей просторной комнатой, моим обедом, моей одеждой, моим досугом и теми страшными преступлениями, которые совершаются для устранения тех, кто желал бы отнять у меня то, чем я пользуюсь. Хотя я и знаю, что все те бездомные, озлобленные, развращенные люди, которые бы отняли у меня то, чем я пользуюсь, если бы не было угроз правительства, произведены этим самым правительством, я все-таки не могу не чувствовать, что сейчас мое спокойствие действительно обусловлено всеми теми ужасами, которые совершаются теперь правительством.

А сознавая это, я не могу долее переносить этого, не могу и должен освободиться от этого мучительного положения.

Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду.

Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю.

VII

И вот для того, чтобы достигнуть одной из этих двух целей, обращаюсь ко всем участникам этих страшных дел, обращаюсь ко всем, начиная с надевающих на людей-братьев, на женщин, на детей колпаки и петли, от тюремных смотрителей и до вас, главных распорядителей и разрешителей этих ужасных преступлений.

Люди-братья! Опомнитесь, одумайтесь, поймите, что вы делаете. Вспомните, кто вы.

Ведь вы, прежде чем быть палачами, генералами, прокурорами, судьями, премьерами, царями, прежде всего вы люди. Нынче выглянули на свет Божий, завтра вас не будет. (Вам-то, палачам всякого разряда, вызывавшим и вызывающим к себе особенную ненависть, вам-то особенно надо помнить это.) Неужели вам, выглянувшему на этот один короткий миг на свет Божий – ведь смерть, если вас и не убьют, всегда у всех нас за плечами, – неужели вам не видно в ваши светлые минуты, что ваше призвание в жизни не может быть в том, чтобы мучить, убивать людей, самим дрожать от страха быть убитыми, и лгать перед собою, перед людьми и перед Богом, уверяя себя и людей, что, принимая участие в этих делах, вы делаете важное, великое дело для блага миллионов? Неужели вы сами не знаете, – когда не опьянены обстановкой, лестью и привычными софизмами, – что все это – слова, придуманные только для того, чтобы, делая самые дурные дела, можно было бы считать себя хорошим человеком? Вы не можете не знать того, что у вас, так же как у каждого из нас, есть только одно настоящее дело, включающее в себя все остальные

дела, – то, чтобы прожить этот короткий промежуток данного нам времени в согласии с той волей, которая послала нас в этот мир, и в согласии с ней уйти из него. Воля же эта хочет только одного: любви людей к людям.

Вы же, что вы делаете? На что кладете свои душевные силы? Кого любите? Кто вас любит? Ваша жена? Ваш ребенок? Но ведь это не любовь. Любовь жены, детей – это не человеческая любовь. Так, и сильнее, любят животные. Человеческая любовь – это любовь человека к человеку, ко всякому человеку, как к сыну Божию и потому брату.

Кого же вы так любите? Никого. А кто вас любит? Никто. Вас боятся, как боятся ката-палача или дикого зверя. Вам льстят, потому что в душе презирают вас и ненавидят – и как ненавидят! И вы это знаете и боитесь людей.

Да, подумайте все вы, от высших до низших участников убийств, подумайте о том, кто вы, и перестаньте делать то, что делаете. Перестаньте – не для себя, не для своей личности, и не для людей, не для того, чтобы люди перестали осуждать вас, но для своей души, для того Бога, который, как вы ни заглушаете его, живет в вас.

31 мая 1908 г.

Ясная Поляна

notes

Примечания

1

Вино, женщины и песни (*нем.*).

Нарастая (*итал.*).

В дальнейшем вместо фамилии Печников фамилия Пчельников.

С этого места начинается вариант конца повести.

Лиза, взгляни направо, это он (*франц.*).

Где, где? Он не так уж красив (*франц.*).

По усмотрению (*франц.*).

Странников (*франц.*).

Спросите у них, твердо ли они уверены, что их паломничество угодно богу (*франц.*).

- Что он сказал? Он не отвечает.
- Он сказал, что он слуга божий.
- Должно быть, это сын священника. Чувствуется порода. Есть у вас мелочь? (*франц.*)

Скажите им, что я даю не на свечи, а чтобы они полакомились чаем...
вам, дедушка (*франц.*).

Помучить его, чтобы он это оценил (*франц.*).

Да здравствуют поляки, гибель москалям! Ура! (*польск.*)

Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей (*лат.*).

Как постелешь, так и поспишь (*нем.*).

Я свирепею, когда думаю об этой проклятой породе (*франц.*).

Это я, Мишель (*франц.*).

Войдите (*франц.*).

Вы можете меня прогнать, но я не уйду, говорю это вам заранее
(франц.).

Боже сохрани (*франц.*).

Вас это не беспокоит? (*франц.*)

Друг мой (*франц.*).

Оставим это. И покойной ночи (*франц.*).

Ради прекрасных глаз негодяя (*франц.*).

Иван Григорьевич Латышев – это крестьянин села Краснореченского, с которым Федор Кузмич познакомился и сошелся в 39-м году и который после разных перемен места жительства построил для Кузмича в стороне от дороги, в горе, над обрывом, в лесу келью. В этой келье и начал Кузмич свои записки. (*Прим. Л.Н. Толстого.*)

Счастливой случайностью (*франц.*).

Госпоже Сталь (*франц.*).

Мы предполагали (*франц.*).

Медовый месяц (*франц.*).

Обстановка (*франц.*).

После 62 года все возможно... (*франц.*)

Граф и графиня Северные (*франц.*).

Маленький Вакх (*франц.*).

Вас приветствуют. Направо (*франц.*).

Просветы (*франц.*).

Человек со шрамом (*франц.*).

Где моя табакерка? (*франц.*)

Я хотел бы говорить с тобой без свидетелей (*франц.*).

Я сейчас от вас. Твоя жена поручила мне это письмо, и потом...
(франц.)

Надеюсь, что я не нарушаю приказа (*франц.*).

Вы всегда желанный гость (*франц.*).

Он околдован, положительно околдован (*франц.*).

Все это отвратительно (*франц.*).

Душевная близость их уже не удовлетворяет (*франц.*).

Она меня просила, когда я смогу принять ее (*франц.*).

Как бы он ни был виноват перед нею (*франц.*).

Если она могла очаровать до такой степени (*франц.*).

Это – считать без хозяина (*франц.*).

Но это выше моих сил (*франц.*).

Ты совершеннолетний (*франц.*).

С глазу на глаз (*франц.*).

Это будет зависеть... (*франц.*)

Здороваются за руку (*англ.*).

Пусть Господь Бог их благословит (*франц.*).

Щепетильным (*франц.*).

Это я посторонний (*франц.*).

Свидание (*франц.*).

Это удивительно, как он его любит, совершенно как своего отца (франц.).

Тем лучше. Помнит ли он своего настоящего отца? (*франц.*)

Что ни говори, поступок прекрасен... (*франц.*)

В рукописи: *Маша*.

Текст редакторский, в рукописи: В двоеженстве.

Ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной (*франц.*).

В газетах появились потом опровержения известия о казни двадцати крестьян. Могу только радоваться этой ошибке: как тому, что задавлено на восемь человек меньше, чем было в первом известии, так и тому, что эта ужасная цифра заставила меня выразить в этих страницах то чувство, которое давно уже мучает меня, и потому только, заменяя слово «двадцать» словом «двенадцать», оставляю без перемены все то, что сказано здесь, так как сказанное относится не к одним двенадцати казненным, а ко всем тысячам, в последнее время убитым и задавленными людьми. (*Примеч. Л.Н. Толстого.*)